

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Облака

*КАЛУЖСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ*

4



КАЛУГА
2021

ББК 84(2Рос=Рус)
О-16

Редактор-составитель
А. В. Трунин

Редколлегия:
М. А. Улыбышева
О. П. Клюкина
Ю. В. Холопов
В. М. Обухов
П. С. Тришкин
П. Е. Топорков
И. А. Красовский

Облака: Калужский литературный альманах / сост. А. В. Трунин. —
О-16 Вып. 4. — Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2021. — 376 с.
ISBN 978-5-907177-43-7

ББК 84(2Рос=Рус)

Адрес электронной почты редакции:
40oblaka2018@mail.ru

ISBN 978-5-907177-43-7



9 785907 177437

© Авторы. Тексты, 2021
© Трунин А. В. Составление, 2021
© Издатель Захаров С. И. («СерНа»). Оформление, 2021

ЗДРАВСТВУЙ,
МИЛАЯ КАЛУГА



Как ещё назвать рубрику, посвящённую юбилею родного города... Конечно, бесхитростными словами из нашего неофициального лирического гимна, которые помнит каждый калужанин, по крайней мере старшего поколения. С него и начнётся маленькая поэтическая антология, в которую вошли стихи двадцати семи поэтов.

У каждого автора свои личные отношения с Калугой. Одних вдохновляет история города, других — его особый облик, в котором рукотворная красота гармонично сливается с природной, третьих — космическая тема, гений Циолковского. Но личные отношения никогда не бывают неизменно безоблачными. В этих стихах рядом с нежностью и любовью может звучать горечь недоумений, с высоким героическим пафосом соседствует ирония, а радость порой пронизывает задумчивая печаль. Это и есть поэтический образ города на Оке — живой, многомерный, изменчивый и вместе с тем целостный, гармоничный — «милая Калуга».

Вслед за стихами юбилейную тему продолжит эссе Владимира Обухова «Гениальный город», которое передаёт поэзию архитектурного облика Калуги. И далее — на страницах альманаха ещё не раз читатель встретит калужские мотивы.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБЛИК КАЛУГИ

Город юности моей

Музыка: *Серафим Туликов*
Слова: *Михаил Пляцковский*

Над рекою, над Окою
Тают белые дымки.
Окликают нас с тобою
Пароходные гудки.

Припев:
Мы влюблённо глядим друг на друга
В позолоте рассветных лучей:
Здравствуй, милая Калуга,
Город юности моей... (2 раза)

Словно в сказке, бор зубчатый
Засмотрелся в синеву.
На завод спешат девочки,
Каблучками мнут траву.

Припев.

В небе зорька серебрится,
Красит крыши облаков.
Всюду говор, всюду лица
Ближких сердцу земляков.

Припев.

Валентин Берестов

* * *

На два дня расставшийся с Москвою,
Я иду по улице своей,
По бульжной, устланной листвою
Низеньких калужских тополей.
Слишком ненадолго отпуская,
Ждёт меня ревнивая Москва.
Помогу отцу пилить дрова
И воды для мамы натаскаю.

Калужские строфы

О скромные заметки краеведов
Из жизни наших прадедов и дедов!
Вы врезались мне в память с детских лет.
Не зря я вырезал вас из газет!

1

Восточных ханов иго вековое,
И зарево пожаров над Москвою,
И сборщик дани на твоём дворе...
Всё началось на Калке, на Каяле,
А кончилось стояньем на Угре.
(Здесь, удочки держа, и мы стояли.)

2

Болотников боярам задал страху.
Попрятались ярюжки и дьяки.
Нос высунешь — и голова на плаху.
И царь — мужик, и судьи — мужики.

3

Двойного самозванца пёстрый стан
Здесь факелы возжёт. И в блеске вспышек
Кружась ночью птицей, панна Мнишек
Смущала сны усталых калужан:
«Димитрий жи-и-в!» Но спал упрямый город.
Димитрий лжив. Не тронет никого
Лихое счастье Тушинского вора
С ясновельможной спутницей его.

4

Губернской Талии, калужской
Мельпомене
Пришлось по нраву острое перо,
Здесь двести лет назад царил на сцене
Блистательный пройдоха Фигаро.

5

Здесь как-то проезжал поэт влюблённый,
Любовью нежных жён не обделённый,
Но самая прелестная из дев
(Поэт дерзнул сравнить её с Мадонной)
Ждала его у речки Суходрев.

6

Дом двухэтажный в самом скучном стиле.
Шамиль с семьёй здесь ссылку перенёс.
И в их кругу семейственном гостили
Полиция, тоска, туберкулёз.

7

Названья здешних улиц, в них воспеты
Бунтовщики, гремевшие в веках.
Не позабыты первым горсоветом
Жан-Поль Марат и даже братья Грах.

8

Здесь Циолковский жил. Землёю этой
Засыпан он. Восходит лунный диск.
И на него космической ракетой
Пророчески нацелен обелиск.
А он не думал вечно спать в могиле.

Считал он: «Космос нужен для того,
Чтоб дружным роем люди в нём кружили,
Которые бессмертье заслужили,—
Ведь воскресят их всех до одного!»
Он был великим. Он был гениальным.
Он путь открыл в те звёздные края...
Училась у него в епархиальном
Учительница школьная моя.

1943, 1952, 1972

Калуга, 1941

Навеки из ворот сосновых,
Весёлым маршем оглушён,
В ремнях скрипучих, в касках новых
Ушёл знакомый гарнизон.

Идут, идут в огонь заката
Бойцы, румяные солдаты.
А мы привыкли их встречать
И вместе праздничные даты
Под их оркестры отмечать.

Идут, молчат, глядят в затылок,
И многим чудится из них,
Что здесь они не только милых,
А всех оставили одних.

Вот так, свернув шинели в скатки,
Они и раньше мимо нас
Шагали в боевом порядке,
Но возвращались каждый раз.

«И-эх, Калуга!» — строй встревожил
Прощальный возглас. И умолк.
А вслед, ликуя, босоножил
Наш глупый, наш ребячий полк.

1943, 1968

Ташкентский адрес

«Улица Лабзак. Проезд Уйчи».
— Слушай, мальчик! Письма получи! —
Письма от одних от калужан
Шлют мне фронт, Сибирь и Казахстан.
Только из Калуги ни листка:
Там стоят фашистские войска.
Я уехал первым. Я — связной

У семей, развеянных войной.
 В тыл глубокий и в жестокий бой
 Адрес мой везли они с собой.
 И хранился он, как талисман,
 У больших и малых калужан.
 С помощью бумаги и пера
 Можно много совершить добра.
 Листик треугольником сверну
 И детей родителям верну.

Василий Лебедев-Кумач

Два друга

Дрались по-геройски, по-русски
 Два друга в пехоте морской:
 Один паренёк был калужский,
 Другой паренёк — костромской.

Они точно братья сроднились,
 Делили и хлеб и табак,
 И рядом их ленточки вились
 В огне непрерывных атак.

В штыки ударяли два друга,
 И смерть отступала сама!
 —А ну-ка, дай жизни, Калуга!
 —Ходи веселей, Кострома!

Но вот под осколком снаряда
 Упал паренёк костромской...
 —Со мною возиться не надо... —
 Он другу промолвил с тоской,

Я знаю, что больше не встану, —
 В глазах беспросветная тьма...
 —О смерти задумал ты рано!
 Ходи веселей, Кострома!

И бережно поднял он друга,
 Но сам застонал и упал.
 —А ну-ка... дай жизни, Калуга! —
 Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознание от боли,
 Себя подбодряли дружки,
 И тихо по снежному полю
 К своим доползли моряки.

Умолкла свинцовая вьюга,
 Пропала смертельная тьма...
 —А ну-ка, дай жизни, Калуга!
 —Ходи веселей, Кострома!

1943

Маргарита Алигер

* * *

Затоптав орудийную вьюгу
 И последние вспышки огня,
 Наши части входили в Калугу
 На рассвете морозного дня.
 Голубое, как детский гостинец,
 Люди небо увидели вдруг.
 Шёл в строю молодой пехотинец
 И глядел изумлённо вокруг.
 Он глядел, точно видел впервые:
 Вот какие они, земляки, —
 Зипуны, кацавейки худые,
 Постаревшие бабьи платки.
 Вот он весь — в оживленьи, в тревоге,
 На задымлённом, сбитом снегу,
 Дорогой городок у дороги,
 Не отдавшийся в руки врагу.
 Всё родное, своё, человечье,
 Защищённое сердцем твоим...
 Он расправил взволнованно плечи,
 Гордый тем, что остался живым.
 Захлебнулся нахлынувшим жаром,
 Вдруг почувствовал юность свою,
 Гордый тем, что недаром, недаром
 Побывал в своём первом бою;
 Что прошёл, головы не склоняя,
 Не зажмурился мальчишеских глаз,
 Слышал, как огневая, стальная,
 Смерть над ним пролетела не раз,
 Видел гибель хорошего друга,
 Золотого дружка своего,
 Для того чтоб такая Калуга
 На рассвете встречала его;
 Чтоб она, розовея спросонок,
 В горьких росах не высохших слёз,
 Как спасённый от смерти ребёнок,
 Улыбалась ему сквозь мороз.

1943

Ярослав Смеляков

Несколько слов о Циолковском

В те дни, когда мы увлечённо
глядим на небесную гладь,
я должен о старом учёном
хоть несколько строк написать.
Напомнить о том человеке,
что жизнь проработал сполна
ещё в девятнадцатом веке
и в наши потом времена.

Он путь пролагал без оглядки
к светилам, мерцавшим во мгле,
старик, в неизменной крылатке
ходивший по нашей земле.

Ах, сколько ума и старанья
и сколько недюжинных сил
ещё в одиночку, заране,
он в вас, корабли мироздания,
и в вашу оснастку вложил!

Ему б полагалась за это
(да некого тут упрекать)
при запуске первой ракеты
на месте почётном стоять.

Ему бы, шагнув через время,
войти, как в себя, в этот год
и праздновать вместе со всеми
её межпланетный полёт...

Я знаю неплохо, поверьте,
и спорить не думаю тут,
что нету у гениев смерти
и мысли их вечно живут.

Я всё это знаю, и всё же
сегодня печалит меня,
что сам прорицатель не дожил
до им предречённого дня.

Станислав Куняев

* * *

Сестре Наталье

Я приеду,
в гостинице номер сниму,
выйду в город,
пройду, ни о чём по жалея,
но взгляну: Золотая аллея в снегу! —
и опомнюсь: в снегу Золотая аллея,
где когда-то под музыку липы цвели,
распускались пионы
созвездьям навстречу
и мелькали огни сигарет,
как шмели,
а какие, какие тут слышались речи!
А теперь тишина.
Неожиданный снег
до весны завалил Золотую аллею,
где давно потерялся мой голос, мой смех,
тот, которым смеяться уже не умею.
А под осень —
под осень шепталась листва
и внезапно взлетала, как жёлтая стая,
в час, когда вдоль аллеи свистели ветра...
Потому и прозвали её Золотая.

1970

* * *

Как посветлела к осени вода,
как потемнела к осени природа!
В моё лицо дохнули холода,
и снегом потянуло с небосвода.
Мои края, знакомые насквозь:
пустынный берег, Подзавалье, речка...
Так кто же я — хозяин или гость?
И что у нас — прощанье или встреча?
От холода я задремал в стогу,
как зверь, готовый погрузиться в спячку,
проснулся, закурил на берегу,
и бросил в воду скомканную пачку,
и не решил, что ближе и родней:
вчерашний шум берёзы отшумевшей
или просторы прибранных полей
и тусклый свет травы заиндевевшей.

И, затагнувшись горестным дымком,
спасая тело от осенней дрожи,
я вдаль глядел и думал об одном:
чем ближе ночь, тем родина дороже.

* * *

Неестественен этот разбег,
неестественно чувство полёта,
неестественен этот рассвет
и пронзительный вой самолёта.
А когда-то в калужском селе
я увидел поля и дорогу.
А когда-то по тёплой земле
начинал я ходить понемногу.
И не знал, для чего облака,
умывался дождями и снегом...
И не знал, что земля велика,
и счастливым ходил человеком!

1963

Валентина Невинная

* * *

Мне мачехой Флоренция была...
Н.З.

Калуга. Первый снег. Чугунные перила.
Провал оврага. Мост, летящий над...
И улиц имена, где только звук — мерило
Всей тяжести веков, значеньям невпопад.

Мне мачехой была, клеветникам —
прислужгой.
Но только горсть обид осталась. Всё трухой
Просыпалось. Перемешалось с вьюгой,
Не лет моих и зим, а с мировой пургой.

Уж как была скоро на суд и на расправу,
Ты, всех измен приют, смутьянов
колыбель!
Не вытравить ничем твою дурную славу,
Но, не попомнив зла, молюсь я о тебе.

Купецкая вдова, раскольная царица!
Ничто тебе — в упрёк, никто тебе — в укор.

Возьми мою любовь и оплати сторицей
Все прошлые грехи, весь будущий позор.

Мой голос тише крыл заступников
небесных,
Молитвенная речь бескровна и слаба.
Но ты тесней всех уз, духовных
и телесных,
Мой незабвенный плен, недобрая
судьба!

Из Москвы в Калугу

Храм Архангела Михаила на выезде
из Москвы,
Будто алая молния, или меч.
Сквозь оконную мглу — ни крестов,
ни главы,
Ни ограды... Лишь снежный смерч.

Лишь дорога (и лес в ледяной бахrome) —
В сонный город, где на холме,
Будто синяя молния, или меч,
Храм Георгия вспыхнет во тьме.

Две судьбы уместились на этой прямой.
От столпа до столпа, от плеча до плеча,
Разомкнулись две молнии надо мной,
И сошлись два небесных меча!

Олег Бушко

* * *

Откуда картины такие —
вводящие из старины
загадочную ностальгию
в калужские зимние сны?
Не жил я в той старой Калуге.
Так чем тем картинам дано
быть словно бы вестью о друге,
с которым расстался давно?
Напомнить исток животворный
восторга перед красотой?
Не дать — про глубокие корни
забыть за дневной суетой?..

Старый дом

Палаты Коробовых

Как страницы летописи, старый,
на родимый город смотрит он —
в островерхой шапке, как боярин
из полузабывшихся времён.
В грозах, смутах и переворотках
красота ему была как щит.
Он вокруг с прищуром мудрым смотрит
и — как будто что спросив, молчит...
Не ему, а нам ответ наш нужен:
мы — какой в веках оставим след?
Мы, держа ответ перед минувшим,
держим перед будущим ответ.

Каменный мост

Он над Березуйским оврагом
несёт несменяемый пост —
красавец, силач, работяга —
незыблемый Каменный мост.
Брели по нему пешеходы,
тянулись с поклажей возки
(промчатся в тяжёлые годы
и танки, и грузовики!)...
Не добрая ль это заслуга:
через разобщённости мрак
пробить луч дороги друг к другу,
как мост этот — через овраг?

Храм Космы и Дамиана

Над избами и над домами
святые подняты кресты —
их храм Космы и Дамиана
вознёс до горней высоты.
Меж куполами реют птицы,
не кличут в храм колокола,
но дома что-то не сидится —
опять заботы, вновь дела...
Но лишь из дома бойко выйдешь,
поднимутся на храм глаза —
и вдруг, как в первый раз,
увидишь,
что над землёю — небеса!..

Глядя на Ромоданово

Пути побаиваясь санного
(к весне непрочен лёд реки),
я вновь люблюсь Ромодановым
с калужской стороны Оки.
И, с зимней распроставшись вьюгою,
в объятых вешнего тепла
и там любятся Калугою
крестьяне древнего села.
Села и града благоденствие —
добра России ипостась.
Войди ж с душою
в храм Рождественский,
на крест святой перекрестись.

Анатолий Кухтинов

Каменный мост

Посмотришь вниз — какая высота!
Овраг разрезал надвое Калугу.
Но берега приблизило друг к другу
рукопожатье древнего моста.

Под ним веками дремлет тишина,
а по нему троллейбусы проходят:
вот так теперь среди новизны находит
вторую жизнь седая старина.

Сквозь серый камень проросла трава,
но он сработан мастерами прочно...
Люблю мосты, связующие с прошлым,
ведущие к истокам мастерства!

Александр Авдониин

Марина Мнишек

Калужский бор — трагические были.
Когда-то здесь — в середине декабря —
В лихой мороз Лжедмитрия убили,
Второго самозванного царя.
Был тяжкий день — охота уморила,
Он слез с коня — и канул, как во тьму...
И будто горько плакала Марина

В тот судный час по мужу своему.
 В Калуге стынь, в Калуге адский холод.
 Почти под окна снега намело...
 Ей так хотелось русского престола,
 Да, видно, на мужей ей не везло.
 Прощай, Москва — российская столица.
 Бунтует рать. Идёт раздор. Вражда.
 Полячка понимает, что не сбьются
 Теперь её надеждам никогда.
 Рыдай, Марина, безутешно воя,
 И помыслы на русский трон гаси.
 Ведь здесь, Марина, всё тебе чужое,
 И ты сама чужая на Руси.
 Нечистая неведомая сила
 Как будто занесла тебя сюда.
 Да, ты горда, о панна, ты красива,
 А вот царить, как видно, не судьба.

Михаил Кузькин-Воронецкий В Калуге листопад

В Калуге листопад и дождь. В Калуге,
 как никогда, мне грустно в эти дни:
 стремительны арктические вьюги,
 но писем не доносят мне они.

Тревога перехватывает горло:
 ты там одна, а как тебе помочь?
 Опять к тебе дороги в небе стёрла
 разлившаяся северная ночь.

И я, тоской отрезанный от мира,
 бреду к Оке по зябкому дождю...
 Всех снежных бурь Игарки и Таймыра
 я, кажется, уже не пережду.

Штрихует дождь насупленные зданья...
 Меж нами тыщи гор и тыщи рек.
 Я четверть века жду с тобой свиданья,
 а я ведь тоже смертный человек.

Марина Улыбышева Калуга

С добрым утром, калужина духа!
 Тесто в тесте! В матрёшке матрёшка!
 В горле — ком! На старуху — проруха!
 Сто одежек — и все на застёжках!

Город, солнцем слегка прикопчённый,
 там, где под ноги падают груши,
 где гордятся космистом учёным,
 туговатым на ухо и душу.

Где от бражки опухнув, охрипнув,
 забивают козла... На закате
 местный изобретатель Архипов
 на тележке под горочку катит.

Пряник мятный! С секретом шкатулка
 расписная от края до края!
 Птица в зайце! Кораблик в бутылке!
 Пой, танцуй! Играй же, играй!

Предавайся пороку, обману,
 Пьянству, чванству, соблазну... Но — глядь!
 Всё равно с утраца, по туману, —
 тишь да гладь! Да церквей благодать!

И где время смыкается с вечным
 преломлённой ложкой в стакане
 проплывёшь ты вдруг в облаке млечном,
 в перламутре сияя и в скани!

* * *

На улице Воронина
 шумят, кричат вороны. На
 все четыре стороны
 верчу я головой.
 Деревья машут ветошью —
 богатой нищей роскошью —
 и в девушку продрогшую
 кидаются листвою.

На улице Воронина
 мной счастье проворонено,
 монеткою обронено —
 ты слышишь — звяк да стук.

Звенит, стучит под каблуком
и убегает молоком,
и взбитым в пену облаком
плывёт, плывёт на юг.

Ах, улица короткая!
Квартал, другой и поворот.
А там пустырь и «воронок»,
и редкий пешеход.
В туман уходит лестница.
Дома как будто без лица.
И только выход светится.
И не найти, где вход.

Под старый Новый год

Поздним вечером, тринадцатым числом...
Свет в Никольском... Тихо молится приход.
И приходит очень Старый Новый год,
очень старый, словно спор добра со злом.

Свет в Предтече. Жёны молятся. Мужья
у ларьков сбывают месячный доход.
А вчера средь бела дня под Новый год
застрелили человека из ружья.

Гром не грянул. Я дремлю. Сквозь пелену
что-то странное мерещится в лучах.
За стеной гоняют чай. Потом — жену.
А потом гоняют блюдец при свечах.

И нисходит дух умершего вождя,
обещает мор и лето без дождя.

Ничего тут не поделывать. Эту жизнь
не хочу я видеть с прежней остротой.
Ах, тоска моя, отстань, отвяжись,
отпусти меня, как в прорубь — золотой.

Ранним утром сторож выйдет на мороз
открывать врата в храм Павла и Петра.
«С Новым годом!» — скажет радио с утра.
«Что в нём нового?» — и в этом весь вопрос.

Строгий лик глядит недвижно сквозь киот.
Рыб ловцы на водоёме сверлят лёд.

Дмитрий Кузнецов

О родном городе

Мне город мой женой-подругой
Не мнился в сутолоке дней,
Не восхищался я Калугой,
Не сочинял стихи о ней.
И под весенние капли,
И долгой осенью сырой
О ней другие песни пели,
Скучали, плакали порой.
Я не скучал, не пел, ни разу,
Иные видя города,
Сентиментальному экстазу
Не поддавался. Но когда
Звучал вопрос: — Откуда родом?
Я говорил про город свой.
Быть может, это связь с народом,
Который всё-таки живой?
А может, это — со странною
Связь, не осознанная мной.
Страна могла бы стать иною,
Не станет родина иной.
Когда её заденет кто-то,
То проявляется во мне
Не злобный пафос «патриота»,
А чувство русское вполне.
Вот так и с городом, —
Не славя, не умиляясь красотой,
Я точно знаю, что не вправе
Однажды позабыть о той,
Вдруг подступающей упруго,
Волне счастливого тепла,
Которой старая Калуга
Меня по улицам влекла
В далёком детстве. Это было —
Я помню, помню навсегда:
Она, как мать, меня любила,
Как мать, жалела иногда,
Как мать искала и бранила,
Ведя побитого домой.
Я помню, помню — это было,
Я не забуду, город мой...
Без гимнов, патоки и лести,
Без слов про время и режим,
Я всё-таки с тобою вместе,
Я от тебя неотторжим.

Валерий Васильев
Январь

Солнце садится на юге,
Белый январь.
Над силуэтом Калуги
Дымы и хмарь.

Слева, над сонным и белым,
Тёмная синь.
Берег касанием беглым
Метит полынь.

Там, одинок и случаен,
Лыжник в пути.
Голос высок и печален,
Будто «прости!».

Вот уж последний над плёсом
Красного взмёт.
Тихо пространством белёсым
Сумрак плывёт.

Словно малиновый вечер
Из-за холмов —
Близится, чувствую, встреча,
Грянет любовь!

* * *

В Калуге звездопад.
Вселенский гул в ночи.
Грех, сполохи и страсти потайные.
Мы, как молекулы, как пузыри болотные
шальные,
Витаем душами... В Калуге звездопад.

Всё суета — и радость, и страданья,
В Калуге звездопад, как в центре
мироздания,
И сумрачно шумят сосновые моря
Под золото и кобальт сентября.
Жизнь не проходит зря. Или проходит зря?

Но входит осень в мой старинный град —
В Калуге листопад... В Калуге звездопад.

Двадцатое столетие — невпопад.
Да что столетие, всё тысячелетие
Скривилось-скурвилось к бесславному
концу.

Русь словно приросла к терновому венцу.
Что третья тысяча грядущая готовит?
Вон карла жуткая бровь хмурит и буровит
И свёклой водит по лимонному лицу.
А за окном — черёмуховый сад,
Черёмуховый снег... В Калуге звездопад.
Над самой крышей росчерки планет,
И меркнет свет, рождая новый свет.
Ликует иван-чай уже миллионы лет —
Как семисвечник в алтаре, струит свой
тихий свет.

Зелёным глазом, не мигая, смотрит
младший брат
И Старший Брат... В Калуге звездопад.

О Господи! Я несказанно рад:
Я ранен много раз — ни разу не сражён,
Я разумом храню, Тобою бережён.
Я выжил там, где невозможно выжить.
Где кровь на две ладони по земле,
Где выжжено всё то, что можно выжечь.
Там всё во мгле, всё до сих пор во мгле.
Июньский сад там превращён был в ад.
Там до сих пор со мной враждует брат,
И храм убит... В Калуге звездопад.

А я поэт. И значит — не жилец,
Паломник, инок, не туда пришлец,
Какому-то созвездию близнец,
Там в алтарях — народов всех отец.
Но где ж Отец? Где Дух Святой? Где Сын?
И почему же я всю жизнь один?
Начало в чём и где всему конец?
Вот... снова я влюбился, как юнец.
Но это слишком — перебор и перепад.
В Калуге звездопад... В Калуге снегопад.

Вадим Терёхин

Матушка моя Родина

Фелица, в том твоя заслуга,
Что с лёгкой царственной руки
Стоит застенчиво Калуга
На берегах реки Оки,
Над Яченкой, над древним бором
Чужда мирской тщете и спорам
И тише луговой травы.

Но по велению закона
Стоит два века под короной,
Чтоб быть заступницей Москвы.

В те дни с губернией на пару
Соорудили мастерски
Театр из скромного амбара.
И вместо соли и муки
В цене подняли страсть и чувства —
Плоды высокого искусства.
Их полюбил и мал, и стар.

И в честь чудесной перемены
Храм Талии и Мельпомены
Стал называться тот амбар.

Калуга, нет в тебе размаха,
И не стоишь ты на виду.
Но я,
Я вышел здесь из праха
И в этот прах опять уйду.
Дорогой, выложенной к храму,
К тебе вернись, ты слышишь, мама.
Вернись безропотно туда —
К истокам и к единоверцам.
И вновь носить тебе под сердцем
Меня до Страшного суда.

Ты не причастна к лику сильных,
Но как-то тихо без войны
Смиряла всех кавказских ссыльных
Петлём из мёртвой тишины.
В тебе смолкали все стихии,
Но были времена лихие,
Когда на эти пустыри
Стекались грозно для разбоя
Все люди огненного боя,
Бунтовщики и лжецари.

Взяла себе судьба народа
Калугу после стольких бед
Войны двенадцатого года
Началом будущих побед.
Отсель погнали мы француза.
Молчат изнеженные Музы.
Бездействуя, на первый взгляд,
Кутузов ждёт на помощь Бога.
Лежит калужская дорога,
И пушки громко говорят.

Здесь не остался даже цоколь
От дома, где когда-то жил
Сам Николай Васильич Гоголь,
Но я здесь гоголем ходил
В начальниках и модном платье.
Пускай завидуют собратья.
В том признаю свою вину,
Что я, не избежав ловушки,
Нашёл в губернии, как Пушкин,
Себе и музу, и жену.

Губерния, твой опыт славен.
Сюда стекались на постой
Аксаков, Чехов, и Державин,
И Достоевский, и Толстой.
Вкусить таинственных уроков
Земля зовёт своих пророков.
И в поиске духовных сил
Они идут не ради хлеба,
Как будто сам Создатель с неба
Сии места перекрестил.

Явилась милость нашей чести —
Нам суждены в поводыри
Землём намоленных предместий
Соборы и монастыри.
Смирят любой нелёгкий нором
Свят-Оптина, Пафнутьев-Боровск,
Казанский и Шамордино.
Среди разгула и бесправья
Им стать опорой православья
Историей страны дано.

Как будто всемогущий Отче
Над нами прорубил дыру,
Но из Калуги стал короче

Обратный путь к его двору.
Особенно когда увидел
Её во тьме простой учитель*
Через магический кристалл.
Он, вопреки всем здравым смыслам,
Гармонию доверил числам
И в ней дорогу рассчитал.

Настанет новая эпоха.
Средь повседневной суеты
Здесь даже Богу было плохо —
Так что ж от жизни хочешь ты?
У нас стоит одна задача —
Идти вперёд, глаза не пряча,
Согласно замыслу Творца.
Судьба Божественного дара —
Смотреть на жизнь и ждать удара,
Но прочь не отводить лица.

Провинция

1

Провинция. Вот город над водой,
который мне запомнится надолго
хотя бы тем, что сущей ерундой
шесть лет из чувства голода и долга
я был тут занят. Кем я ни служил —
писал статьи, мошенничал, учил,
командовал бессмысленным парадом
поклонников бумаги и чернил.
И город стал родным, привычным адом.

2

Провинция, где Господа гневлю —
другой сказал бы: «Где светло и чисто», —
и я тебя по-своему люблю
любовью бескорыстной мазохиста.
Люблю тебя: леса, поля, сады.
Я не знаток слащавой красоты,
иное на меня нашло управу.
И потому подобные труды
оставим нашим дедушкам в забаву.

3

Провинция. У городской черты
гостей встречает всем знакомый парень.

* К. Э. Циолковский.

Как много утекло речной воды —
всё знает металлический Гагарин.
Он здесь бывал ещё как человек,
который поразил двадцатый век
собой и чистотой эксперимента,
когда взлетел космический ковчег.
И вот остался в виде монумента.

4

Провинция. Удельные князьки
из зала удалиться просят нервных.
Торгуются вершки и корешки,
и торг идёт, конечно, в пользу первых,
успевших бойко выйти на поклон
к Нему — отцу народов и времён,
а посему исполненных восторга.
Но время обнажит со всех сторон
бессмысленность и бесполезность торго.

5

Провинция. Вот повод для письма
какому-нибудь избранному другу
о беспросветном горе от ума,
способном потрясти собой Калугу.
Но как-то недосуг: дела, враги.
я тоже тут встаю не с той ноги,
готовой преступить через границу
губернии, лежащей вдоль реки.
И пялюсь на коварную столицу.

6

Провинция. Тому причина есть,
что я ещё не укатил из дома.
Высокой оказаться может честь
стать жертвою родного чернозёма —
не требовать признания и благ,
собой кормить навешанных собак.
Покуда дух горит в презренном теле,
о всех своих соседях думать так,
как редко получается на деле.

7

Провинция. Она ещё жива,
хотя и платит дань аукциону.
И бдит первопрестольная Москва,
и строит круговую оборону,
и держится коммерческим дельцом,

но мы — не клеветую, не свинцом —
долготерпеньем и талантом нашим,
работами и Золотым кольцом
её пределы всё же опояшем.

8

Провинция. У каждого ларька
(а винным оказаться может каждый)
валяют спозаранку дурака
подвижники, сжигаемые жаждой.
И чтоб с потусторонним быть на ты
им надо только огненной воды.
И понесётся: вурдалаки, черти,
поддержат на все темы и лады
душевный разговор ларька и смерти.

9

Провинция. Ещё ттецу в ответ
на происки истерзанного слуха
поверить, что он истинный поэт,
поможет сердобольная старуха.
Не потому, что силой мастерства
он заслужил законные права,
на поприще поднаторев изрядно.
Ей просто очень нравятся слова,
написанные сумрачно, но складно.

10

Провинция. Традиции земли
хранят не только ветхие старушки —
праправнучки прелестной Натали.
Недаром Александр Сергеич Пушкин
частил сюда. А он-то был эстет.
Вот и теперь, спустя две сотни лет,
наследнику рифмованного слова
подарит взгляд и застит белый свет
какая-нибудь Лена Ковалёва.

11

Провинция. Не пестую мечту,
что я при первом призрачном знакомстве
без всяких околичностей найду
читателя в компьютерном потомстве.
Но, может, не сочтя за тяжкий труд,
праправнучки забавою найдут
настроить ЭВМ, но с первой цифры
случится сбой, и тихо потекут,
вдруг потекут размеренные рифмы.

Юрий Холопов

* * *

Часы на Троицком соборе —
усталый звон.
Он слышен мне на косогоре
со всех сторон,
Как будто сотни колоколен
Призыв дают.
Как будто с эхом
звуки эти
Враз не умрут...
Так ты, душа моя нагая —
всему привет!
Но бьёшься ты, изнемогая,
за этот свет.

Каменный мост

Как на Каменном мосту
Льда и снега крошево...
Не ходите, девки, замуж —
Ничего хорошего.

Тянет холодом с реки,
В снег цветочки валяются,
А счастливые деньки
Скоро забываются.

Рано будете вставать,
Мужа холить будете:
Щи варить, бельё стирать...
Вдруг любовь остудите?

Но усталая душа
Глянет в синь небесную:
К Березую подошла
Вновь весна невестою.

Пусть ворчит порой свекровь,
Дети плохо учатся...
Но на свете есть любовь,
Значит, всё получится!

Как над Каменным мостом
Птичьи переливы...
Выходите, девки, замуж —
Станете счастливыми!

Никольская переправа

Только прошлого не трогай —
Будет жизнь тогда легка.
Старой тульской дорогой
Я иду вдоль сосняка.

То асфальт, а то булыжник,
А то глина — нету сил.
Это что за шаромыжник
Здесь дороги намостил?

У Никольской переправы
Нету прежней громкой славы,
Нет парома, нету грома,
И сидит паромщик дома.

Час кричи, свисти и ахай,
Чтоб на лодке, как маяк,
Засветил своей рубахой
Тихий дедушка Моряк.

Он гребёт, веслом табанит,
Беломорина в усах.
С тихим шелестом пристанет
В мокрых ивовых кустах.

—Ты за медную монетку
Переправь бродягу, дедка.
Коль с теченьем нету сладу,
Дай-ка сам за вёсла сяду...

Я гребу и всё ругаю
То дорогу, то народ,
Что в любви к родному краю
Прав своих не обретёт.

Смотрит дедушка, как Бог:
—Ты почто отсель убёг? —

Калуга I

В конце позапрошлого века
Здесь выложен рельсов прогон.
С мечтой утвердить человека
Творил архитектор Лион.

Он строил вокзал для Калуги,
Как новый, неведомый, мир.

Под свист паровозов в округе
Явилось словцо «пассажир».

А площадь, как биржа извоза,
То к бричкам звала, то к саням...
Отсюда любовь к паровозам,
Отсюда печаль по коням.

Жива здесь времён переключка.
Торопится к кассам народ,
Не пар, а мотор электрички
Нас в дальние дали везёт.

И детство своё здесь я вижу,
И юность за шпалами лет...
И город родной мне здесь ближе,
Хотя уже куплен билет.

Сергей Бирюков

Гул Калуги

*Ольге Клюкиной
Александрю Трунину*

калуууууууууууууууууа
и сразу гул
миров
и в разрыве времён
Циолковский с лесенки в доме
приглашает в открытый космос
и дальше велосипедными тропами
продвигаться сквозь луг и гул
калуги
задевая иглы космоса
подпадая под гуд дуг небосвода
то есть свода черепа
где мысль подобно велосипедисту
вычерчивает знаки бесконечности
и песок времени перетекает
из конуса в конус
и Циолковский переворачивает
время
он всё время держит время в руках
оно трепещет рыбкой
только что пойманной в космо-оке
и ока окаймляет око космоса
циолк-циолк-циолк!

Алексей Золотин

Калуга — космос

О, город около Оки,
Страны космическое око!
Твои дома невысоки
И улицы нешироки,
Но сам вознёсся ты высоко.
Вселенной штурм давно не нов,
Но и сейчас, как и сначала,—
Я это утверждать готов,—
Немного в мире городов,
Чьё имя в космосе звучало.
Твоё звучало, и не раз,
Поскольку рядом — Циолковский,
Чей — перед стартами — наказ
Первопроходцы звёздных трасс
Воспринимали как отцовский.
...В знакомый домик над Окой
Идут, ещё не знамениты.
Считалось:
«Ах, чудак какой...» —
А он пророческой рукой
Предначертал и их орбиты.
И, значит, скоро — новый старт
И учащённо сердцу биться
И город — горд,
И город — рад,
Ввысь смотрит город-космонавт
Глазами мудрого провидца.

Владислав Трефилов

* * *

Этот город (за что, почему — не пойму)
я уже полюбил, как родной.
Этот город со страстностью, странной уму,
что он только ни делал со мной.
Он меня проклинал и на улицу гнал,
он отслеживал каждый мой шаг,
он потом посылал за сигналом сигнал:
вот, мол, как, вот, мол, этак и так.
В этом городе, где я скитался, как божж,
где проблемой был каждый ночлег,

я остался, по-прежнему нужен и гожд,
я сберёг себя как человек.

Ничего не просил, а своё отдавал,
и глядел удивлённо вокруг:
вот чужая квартира, вот чей-то подвал,
но неясно, где враг или друг.

Но случилось, и здесь было ночью светло
и тепло становилось зимой.
Всё давал мне порой ты — и это, и то,
мой единственный, город ты мой.

* * *

Закрыв глаза, себя я вижу в городе.
Заснеженным проулочком иду.
Поскрипывают сапоги на холоде,
оскальзываясь изредка на льду.

Холодная луна в морозном инее,
и в нём деревья — будто терема.
Пологий спуск меня выводит к линии.
Канавы. Насыпь. Частные дома.

Тепло цветам в горшках
на подоконниках.
Узоры занавесок и ажур
расцветчивают стёкла тихих домиков.
Я здесь чужой и мимо прохожу.

Проспектами горластыми и бодрыми
и проходным двором, где в марте грязь,
по сонным закоулкам, будто по двору,
иду я, никуда не торопясь.

Но отчего так деловит и быстр так,
и чётко по-военному мой шаг,
как будто он оправдан или выстрадан,
как будто цель ясна тебе, душа?

Поскрипывают сапоги на холоде,
не обходя накатанного льда...
Закрыв глаза, себя я вижу в городе,
но тороплюсь — неведомо куда.

Виктор Пухов

* * *

Есть города далёкие, как звёзды,
И близкие, как твой родимый дом...
К Оке сбегают белые берёзы,
Шумит Калуга клёном под окном.
Звенит эпохой над планетой воздух,
И город мой сдружился с высотой,
Над кромкой бора тихо бродят звёзды,
Любуются земною красотой.
И мне близки заоблачные выси,
И путь до дальних марсиан...
Калуга — колыбель,
Калуга — пристань
К другим планетам рвущихся землян.

Людмила Филатова

* * *

Люблю я старую Калугу.
Как чудо-кит, приокским лугом
Она плывёт в венце церковей
Ко мне из юности моей.
Люблю галдёж возлекиношный,
Пенсионерский доминошный
Бой до глубокой темноты,
Прохожих, что со мной на ты,
Асфальт, жасмин и лопухи,
На подоконниках стихи,
Убогий пляжик возле речки,
Где розовые человечки
Коптят на солнце телеса...
Леса люблю и небеса,
Горбатый мост через овражек,
Что так похож на гребешок!
Космическую славу нажил
Мой город, а гляди, сберёг
Провинциальную теплинку,
Патриархальный свой уклад.
Взгляни, здесь каждая былинка
Всё та ж, что сотни лет назад...

Калуге

Крылья выросли велики,
Словно два рукава реки,
Привязали меня к земле,
По полгорода на крыле,
Привязали к теплу родному...
Не взлететь. Но теперь я дома.

Вячеслав Щетинников

* * *

Я помню детства тёплые дожди,
когда послевоенная Калуга,
натужась,
выходила из нужды,
и птичьим звоном наполнилась округа
и травы выростали высоко,
и людям
очень нравилось смеяться.
А я по лужам шлёпал босиком,
когда грозы учился не бояться.
Былые дорогие времена —
как скромные отцовские медали!
Уже вставали новые дома
с балконами,
но старых не ломали.
Уже вовсю наяривал оркестр
на танцплощадке в парке над Окою.
И звуки танго,
что неслись окрест,
щемили сердце первую тоскою.
И было несказанно хорошо —
не сказочно, нет,
просто несказанно,
как будто
что-то главное нашёл
в самом себе —
негаданно, нежданно.
Далёкие сиреневые дни!
Я вглядываюсь в нынешние лица,
и сердцу грустно — это не они,
тем —
никогда уже не повториться.

Юрий Долгополов

Городской романс

Мой добрый врач, мой зимний город,
Развей печаль мою, как дым,
Как развеваешь снежный порох
По лунным улицам своим.

Из тишины и снега создан
Твоих домов старинных ряд.
Нигде, я знаю, ночью звёзды
К земле так близко не горят.

Знакомо окна голубеют
В саду, где ясень на углу.
От странной нежности слабея,
Приникну я к его стволу.

А тень в окне полна покоя...
А свет в окне такой родной!
И под горячею щекою
Оттаял ясень ледяной.

* * *

По лесной глухомани,
По полям и лугам
Мчатся синие сани
К голубым облакам.

От Москвы до Калуги
Сёла запорошив,
Кони — белые вьюги
Треплют струями грив.

Ели так и мелькают...
В лица ветер до слёз!
А коней погоняет
Краснощёкий мороз.

Будто в роще деревья,
Тихо дремлет в санях
Молодая царевна
В ледяных янтарях,

Иней кроет ресницы
Видно в свете лица:

Что-то чудное снится
Ей под звон бубенца.

Кони машут хвостами,
Снег пуржит по бокам.
Едут синие сани
К голубым облакам.

Александр Щербань

Купчиха-Калуга

А. Н. Северину

На постель изумрудного луга
Пролил синий небесный покой,
Золотая купчиха-Калуга
Отдыхает с сестрою-Окой.

Город Вечного Бабьего Лета,
Запоздалой последней любви,
Осиянный молитвенным светом
Русских храмов на чистой крови.

Выйдем, друг мой, на зов колокольный,
По охрипшей листве побредём,
Город детства с печалью невольной
В два часа, словно жизнь, обойдём.

Люди прошлого ходят меж нами,
Полон город движеньем немым,
Не на Пятницком спят под цветами —
По аллеям текут золотым.

Посыпает хмельной ветер-дворник
Золотою и медной казной
Старый город, уютный, как дворик,
Наше детство над синей рекой.

Словно залы самой Третьяковки
Эти улицы, скверы, дворы,
Где от Хлюстинской до Пестриковской —
Гобелены, полотна, ковры.

И былинною дышит отвагой
Наш хранитель и страж городской —
Красный Каменный мост над оврагом
С римской статью, но русской душой.

И мила мне простая влюблённость,
От которой всё чудится мне
Пушкин в каждом взволнованном клёне,
Натали в полутёмном окне.

А какие сердечные тайны
Прячет старый задумчивый Сад,
Там, где Гоголя призрак витает
И сгорает над бором закат!

Что для счастья провинции надо? —
Детский смех во дворах ввечеру
И старинный театр с колоннадой —
Тоже храм для служенья добру.

... Чуть вздремнут городские фонтаны —
И вскричит на Оке теплоход,
И на грядках речного тумана
Небывалое солнце взойдёт.

Город, словно ребёнок спросонок,
Глянет в синий небесный покров
И услышит церковные звоны,
Как биенье сердец-куполов.

От Иоанна до Мироносиц
Вдоль по Садовой — людская река,
Ветер бывшее швыряет и носит,
Гонит из века в века облака.

От Благовещенья до Воскресения
Улочка с клумбами, дворик с качелями,
Скверик, оградка, слёзы икон,
Пасха и праздничный звон.

От Покрова до Николо-Козинки —
Улочки тонкие, словно тропинки,
Видно, их строил мудрый народ —
Каждая к храму ведёт.

Маргарита Бендрышева

Возвращение домой

Въезжаю в Калугу:
По правую руку
Ока — ледяная кайма.
А слева по скосу,

Как пёстрая россыпь —
Домина, домишки, дома.

В морозных волокнах
Замёрзшие окна,
Но плещет за окнами свет.
А свет — это люди,
И быт, что не труден,
А сладок всем бедам в ответ.

Люблю возвращенье —
Души угощенье
Уютом, приручённым мной.
Когда б ни приспела,
Откуда б ни зрела —
Прекрасна дорога домой!

На окраине

На окраине улица выгнула спину,
Как взъерошенная, недовольная кошка.
Пять минут до дремотного «дома Марины»,
Семь — до гордого дома Шамиля...

О прошлом

Хорошо вспоминать где-то после Покрова:
Непогода подталкивает к размышленьям.
Но весной мечтается только о новом!
На окраине пахнет землёй и цветеньем.

Пьяный ветер, теряя прозрачные ключья,
Пролетел над мостом, над сквозными
ладами,
Где играют в «резиночки» ангелы ночью
Нитяными троллейбусными проводами.

Года первая треть завершится апрелем.
Он уверит, что счастье весёлое близко
И напоит горячим целительным зельем.
Ах, апрель, — это слово звучит

по-эльфийски!

Набережная

У города, что кормится с руки
Разливистой, извилистой реки,
Нет набережной... Браво, люди, браво!
Асфальтовая уличная лава

Ползёт к волне и тянет языки
До самых сходней летней переправы,
До мелководья, где снуют мальки.

Оборка, лента, кружево — каприз! —
Без набережной можно обойтись,
Как без всего по сути наносного.
Есть берег — неизменная основа,
Надёжная и честная — коснись!
Порою так: нет музыки — есть слово,
И счастья нет — но есть простая жизнь.

Калуга

Мещанка Калуга пышна и дебела,
Горсть семечек вечно в её кулаке.
Мещанка Калуга на берег присела
И свесила ноги к прохладной реке.

Ей дышится тяжело от зноя и лени,
Как туго затянуты в ситец бока!
Сверкают на солнце округло колени,
Под пятками волнами плещут века.

Осень в Калуге

Гасят дожди светофоры,
Осень в Калуге опять.
Снова сосновому бору
В платье промокшем стоять.

Снова в лесничестве птицы
Громко ночами кричат.
Небо смыкает ресницы,
Чёрные липы молчат.

Искры цветного неона
Щурятся через туман.
Медь колокольного звона
Падает ветру в карман.

Перст одинокой ракеты
Тучам сигналил: остёр!
Веток трещат кастаньеты —
В парке затеян костёр.

Город на Оке

Калуга — город на Оке —
Татуировкой по руке
Неунывающего лета.
А на картинке — пять мостов,
И катерочки у кустов,
И одинокая ракета.

Калуга — город у Оки,
Здесь застревают каблуки
В щербинках узких тротуаров.
Дрожа на улицах крутых,
Как только держится за них
Лубочный ряд избушек старых!

Калуга — город над Окой —
С провинциальной тоской
Перемешала зов московский.
Блестят рекламные щиты,
Не замечая с высоты
Тот дом, где грезил Циолковский.

Калуга — город на Оке.
Здесь не живётся налегке,
А, впрочем, где легко живётся?
Но, веря в добрые дела,
Неутомима и светла,
Калуга тянется до Солнца!

Владимир Обухов

* * *

На Коровинской, в гору
устремляющей бег,
в стародавнюю пору
старый жил человек.
Все-то книжки листал он,
всё читал да читал,
всё мечтал да мечтал он,
всё считал да считал.
Это славная доля —
мыслить вволю и всласть.
Тут и воля — неволя.
Тут и истина — страсть.
Тут разумная небыль

и заумный расчёт.
По Коровинской в небо
вышел русский народ.
Константин Эдуардович
Циолковский, привет!
Константин Эдуардович...
Загорается свет —
и, над тенью скалистой
словно вспыхнув — на миг,
открывает калитку
стародавний старик.

Александр Трунин

* * *

Сквозь февральскую серую вьюгу,
чтобы стало кому-то тепло,
кто-нибудь, позвоните в Калугу,
просто так позвоните... Алло.

Сквозь неявную жизнь, сквозь вопросы,
на которые брезжит ответ,
сквозь бездомные сны, сквозь белёсый,
ниоткуда струющийся свет,

сквозь последнее наше дыханье,
сквозь оправу, что ночи черней,
просто шёпотом, просто молчаньем,
просто музыкой — это верней.

Улица

Если выйдешь на улицу Ленина
и пойдёшь по ней медленно-медленно,
обязательно встретишь знакомого,
может, старого, может, нового.

А поскольку улица длинная,
и несоро ещё до площади,
может быть, ты встретишь любимую
из совсем недавнего прошлого.

Ах, какая родная улица —
никуда не денешься — Ленина.

Здесь и Маркс гранитный сутулится —
в самом деле, немного ветрено.

Ну а может, встретишь случайную,
почему-то с утра печальную...
Обернёшься — уже не видно её.
Ах, какая улица длинная.

* * *

На Воскресенской яблони цветут.
И ливень пролился в начале мая.
Провинция, недорого уют,
капель холодная и нищенка хромая.

Настолько не столица — до корней
волос последнего из жителей окраин —
Калуга, терпеливица, мы в ней
рождаемся, живём и умираем.

А был ли Гоголь — нам какой кураж?
Была ли губернаторша — ужели?
Дома стоят... Как покосился наш...
Но дождь прошёл, и краски посвежели.

* * *

Когда придётся туго,
не майся, не грусти,
в осеннюю Калугу
ты душу отпусти.

И снизойдёт отрада,
и вызреет покой
под шорох листопада
в аллее Золотой.

В прозрачном поднебесье
без видимых причин
какой-то новой песни
вдруг прозвучит зачин.

И станет свет блее
над палою листвою.
Кто там, в конце аллеи —
аллеи Золотой?

Владимир Обухов

Владимир Михайлович Обухов — искусствовед, художник, писатель. Выпускник отделения истории искусства МГУ. Автор искусствоведческих книг и альбомов, поэтических сборников. Член Союза художников России и Союза российских писателей, вице-президент Академии аналитического искусства, заслуженный работник культуры Российской Федерации.



ГЕНИАЛЬНЫЙ ГОРОД

Гостья из Бремена

Четверть века тому назад приехала ко мне на денёк в гости Марина Д., моя однокашница, красивая и умная. Из дальних краёв приехала: на ту пору проживала она в Германии — в прямо-таки сказочном городе Бремене.

Сказочна его архитектура — старонемецкая, благоговейно сохраняемая.

Сказочен её быт: город густо населён диким зверьём — белками, куницами, лисами... Нет разве что волков да медведей. Дочка Марины, тогда совсем ещё юная, по утрам кормила с крылечка поселившегося по соседству зайца.

Моя гостья, замечательная искусствоведка, конечно же, не могла не пройти, вместе со мной, по старой Калуге. Увы, в те сумасшедшие девяностые годы выглядел наш город отнюдь не сказочно. А скорее — грустно. Уж очень он был запущенный, неухоженный.

Разумеется, я не сомневался в том, что старая Калуга придётся гостье моей по вкусу — несмотря ни на что. Марина знала толк в искусстве архитектуры.

А всё же совершенно неожиданными были для меня её слова: «Володя, это ж гениальный город!»

Гениальный! Не более не менее.

Сказано это было без малейшей аффектации. И воспринято было мной как экспертная оценка. Пусть и чрезвычайно — может, и чрезмерно — высокая.

Вот только многие ли согласятся с такой оценкой? Вряд ли.

И тут вспоминается мне другая, совсем недавняя история.

Посетил как-то Калугу важный и широко известный столичный деятель. Видимо, впервые в жизни своей. И захотел ознакомиться с местными памятниками архитектуры. А познакомившись с нею, этот человек, очень умный и высокообразованный, в полнейшее недоумение пришёл.

Остановился у одного из домов на улице Воскресенской и спросил изумлённо: «Где памятник? Вот это — памятник?»

А строение-то наискромнейшее. Ни колонн на фасаде, ни даже пилястр. Ниши да лопатки.

А тем не менее именно памятник: выстроен дом на рубеже XVIII–XIX веков. И не сомневаюсь, что спроектирован он командой Петра Романовича Никитина.

Как раз такого рода дома, скромные и благородные, образуют в сумме классическую Калугу.

«Словом, — по выражению славного московского искусствоведа Е. В. Николаева, — город ясный и звучный, как поэтическая строфа».

Признание в любви

В книжке Николаева «По калужской земле» о Калуге — всего лишь несколько страничек.

Но странички эти — совершенно особенные.

По сути дела, это отдельное эссе, замечательный образец архитектуроведческой лирики.

«Поздний вечер. Конец лета. Я сижу в парке над рекой»... Так начинается это эссе.

А чуть далее: «С этой минуты я и полюбил Калугу, и теперь уже ясно, что эта любовь никогда не пройдёт».

Этой любовью тут каждое слово проникнуто, каждый пассаж лучится.

Милая Калуга! — восторгается Николаев.

А при этом он блистательно точен чуть ли не во всех суждениях своих.

Но вот Николаев пишет: «Почти в каждом древнем городе есть хоть несколько памятников, ради которых люди едут иной раз многие сотни вёрст, замирая при мысли, что в гостинице не окажется мест. Есть такие памятники и в Калуге: палаты Коробовых, мост через овраг, гостиный двор, усадьба Золотарёва».

Да, конечно, замечательные строения перечислены тут.

Но вот что странно: не упомянуты самые главные памятники классической Калуги — комплекс Присутственных мест и Троицкий собор. Великолепные создания замечательного зодчего — Петра Романовича Никитина.

Тот же Каменный «мост через овраг», конечно же, прекрасен и уникален. «Римский виадук в центре России, фантазия Пиранези» — как написал Николаев.

Но мост есть мост.

А Присутственные места — гигантский дворец, корпусами своими охвативший территорию, на которой располагался прежде калужский кремль. Это великий образец архитектуры «большого стиля».

«Пространство, а не камень — материал архитектуры», — утверждал архитектор Н. Ладовский.

Вполне согласиться с ним, конечно же, нельзя: плоть архитектуры, разумеется, вещественна. А всё же архитектура наивысшего разряда чаще всего ещё и пространственна.

Присутственные места — пример именно такой архитектуры.

Да, прекрасно благородны их строгие фасады.

Да, стройны и торжественны массивы корпусов.

Но великолепнее всех этих великолепий пространственный строй Присутственных мест.

Особенно ощутимо это, когда оказываешься у фасада северного — самого главного — корпуса, в соседстве с Троицким собором, увенчанным тяжким куполом. Пространство тут — ощутимо архитектурно. Его мощный размах ритмичен и гармоничен.

Оно поэтично и возвышенно.

Вот уж точно — гигантская «поэтическая строфа».

Тут особенно ясно понимаешь, как преображает быт классическая архитектура: она привносит в него черты высокого бытия.

И меня смущает мысль: неужели Евгений Николаев, с его точным глазом и чутким умом, не ощутил эту мощь, эту возвышенность, эту гармонию? Ведь, несомненно же, вглядывался он и в суровые лики Присутственных мест, и в строгую статью Троицкого собора.

Но, видимо, величественная красота этих строений как-то не вместились в тот образ «милый Калуги», который, разом возникнув перед ним, так увлёк его воображение, его мысли.

Его, москвича, обаяла и умилила прекрасная провинциальность, отчасти кажущаяся, отчасти действительная, старой калужской архитектуры.

Напомню: в ту минуту, о которой вспоминает Николаев в начале своего очерка о Калуге, он сидел на краю парка, вглядываясь в Заочье, — то есть спиной к собору и к Присутственным местам.

Боюсь, он даже не догадывался тогда, что и большая часть парка выросла на некогда грандиозной Соборной площади, которая не нужна оказалась «милый Калуге». И поныне, уверен, гораздо нужнее ей парковые насаждения и уютные аллеи.

Эта, слишком огромная, столичная на вид, площадь, как и плац-парад, как и весь комплекс Присутственных мест, оказалась несоразмерной провинциальному быту Калуги.

Классическая архитектура возвышает души. И именно поэтому как-то уж очень неловко в соседстве с нею жить мелочной, сугубо мещанской жизнью.

Проще всего стараться не замечать такую архитектуру, по мере возможности переделывая, перестраивая, переиначивая её на провинциальный лад.

Обратить, к примеру, пустынный плац-парад в сквер. Или навесить на изысканно скромные фасады — простоватые, но эффектные колоннады.

Причём, конечно же, из самых добрых побуждений, для того лишь только, чтобы город был уютным и милым.

Никитинская Калуга

Всякое сравнение, как известно, хромает. А вместе с тем редко когда бывает совсем уж бессмысленным.

Николаев писал, что центр Калуги похож на «маленький Ленинград» Ну то есть на Санкт-Петербург.

Сравнение вроде бы как крайне неудачное.

Вслед за этим сам же Николаев пишет: «Калуга вообще очень похожа на Москву, ту Москву, которая ушла уже безвозвратно в прошлое».

И вот с этим-то как раз не поспоришь. Чуть ли не все зодчие, строившие классическую Калугу, начиная с П. Р. Никитина, люди крепкой московской закваски: П. К. Бланк. И. Д. Ясныгин. П. С. Грознов, Н. Ф. Соколов. П. П. Поляков.

И Калуга, действительно, отстроена ими на московский манер.

Так причём же тут Ленинград — Петербург?

А тем не менее классическая Калуга всё же схожа с Петербургом. Правда, не обликом своим, а сутью и характером архитектурного строя.

Ей, как и Петербургу, присуща художественно-архитектурная цельность — как результат целенаправленного становления.

Классический Петербург возник по воле Петра Великого и его потомства — царей и цариц, одержимых манией строительства.

Классическая же Калуга, по сути, по существу, — воплощение замысла Никитина. Авторское произведение этого зодчего.

И пусть воплощение не было одноразовым, быстрым, а затянулось на десятилетия. Пусть в реализации замысла участвовало немалое число зодчих, стремившихся, конечно же, проявить и утвердить свои собственные идеи и амбиции.

Благодаря этому никитинский замысел содержательно обогатился, обрёл новые смыслы и очертания, но не растворился в видоизменениях.

И так было на всём протяжении эпохи классицизма.

Есть такое искусствоведческое понятие — «казаковская Москва».

Это те старомосковские кварталы, углы, закоулки, где всё ещё доминируют красавцы дома, выстроенные М. Ф. Казаковым, его сыновьями и учениками.

Так вот и классическую Калугу вполне можно именовать Калугой никитинской.

И уж если осмеливаемся мы говорить о великой и даже гениальной калужской архитектуре, то, конечно же, имеем в виду именно эту, никитинскую, Калугу.

То есть прежде всего городской ансамбль, задуманный в основных чертах своих Никитиным.

И, конечно, строения, которые были им спроектированы в связи с разработкой и осуществлением генерального плана города.

Прежде всего это казённые здания, построенные или начатые постройкой до 1809 года, то есть до того времени, когда строительство в провинции стало осуществляться только лишь по «образцовым», типовым то есть, проектам.

Это — Троицкий собор, Присутственные места, Каменный мост, военный лазарет, сиротский дом, тюремный замок, Московские казармы.

До сих пор немало в Калуге и частных домов никитинского типа.

Некоторые из них, скорее всего, проектировались в расчёте на финансирование из государственной казны, но в силу разного рода обстоятельств были выстроены на средства частных лиц. Например, Хлюстинская богадельня. И уж точно — золотарёвский дом.

Калужский Путевой дворец

«В Калуге существует предание, что Екатерина II в бытность свою в городе в 1775 году пожелала иметь здесь для себя дворец. Для этого дворца был составлен проект, которому не суждено было осуществиться. Позднее будто бы Золотарёв и воспользовался дворцовым проектом для своего дома», — так писал почти век тому назад С. В. Безсонов. Калужанин. Архитектуровед.

И добавлял: «Мы считаем это предание ни на чём не основанным и маловероятным в том отношении, чтобы дворцовый проект был выдан купцу для его дома».

Вроде бы как весомый аргумент.

Но как быть с тем фактом, что именно в доме Золотарёва на протяжении нескольких десятилетий останавливались, посещая Калугу, потомки Екатерины — великие князья и даже императоры?

Получается, воспользоваться дворцовым проектом купцу нельзя, а вот поселить у себя на дому царя-батюшку или его детей — очень даже можно!

Странная логика.

Право же, Безсонов — не прав.

Предание же, сохранённое им для нас, имеет крепкие основания.

Императрица, надо полагать, пожелала, чтобы в Калуге выстроен был для неё Путевой дворец, в котором она могла бы остановиться в следующий приезд, так, увы, и не состоявшийся.

А любое пожелание царицы — это приказ и закон.

И можно не сомневаться, что генерал-поручик Михаил Никитич Кречетников, которому, скорее всего, и адресовалось высочайшее пожелание, уже в самом начале своего калужского наместничества повелел Никитину составить соответствующий проект.

Благо, тот был автором образцово показательного Путевого дворца в Твери.

Так что проект можно смело датировать 1777 годом.

А вот осуществить его в ту пору не удалось. Государева казна была в ту пору почти пуста — и деньги на строительство в провинции выделялись скупо.

Вот и пришлось в итоге спустя много лет, уже в начале следующего столетия, доверить строительство дворца богатому калужскому купцу.

И он построил именно Путевой дворец. Не для себя, не семейства своего построил, а для губернских представительских нужд. Есть сведения, пусть и никак не подтверждённые документально, что сами Золотарёвы долгое время даже и не жили во дворце, законными хозяевами которого они были.

Впрочем, самый облик золотарёвского дома — лучшее свидетельство того, что это именно царский Путевой дворец.

Особенно примечательны в этом смысле въездные ворота золотарёвской усадьбы. Выстроены они по образцу античных триумфальных арок — и украшены аллегорическими фигурами. Это — Славы. С трубами. С венками.

И кому же, интересно, трубилась слава?

Кому предназначались венки?

Господам Золотарёвым, их родственникам и друзьям?

Ну уж точно не им!

А вот ещё одна занятная и значимая подробность.

Почётных и почтенных гостей, въезжавших в усадьбу со стороны парадного входа в золотарёвский дом, встречали Гермес и Омфала.

Именно их скульптурные изображения размещены на боковом, а тем не менее парадном, торце каретного сарая.

Почему именно они?

Гермес, напомню, — бог дорог.

А Омфала олицетворяет тут — отдохновение.

Ведь как раз на службе у Омфалы Геракл так славно отдохнул, что совершенно изнежился, даже переоделся в женские наряды.

Итак, что в итоге? А то, что золотарёвский дом — это дворец, это царский дворец, это Путевой дворец.

Никитинское барокко

Самое любимое мною здание в Калуге — дом Архангельской, что стоит на пересечении улицы Дарвина с Гостинорядским переулком.

На удивление обаятельный дом. И хорош он собой чрезвычайно.

«Данных о времени постройки дома не сохранилось, — пишет С. В. Безсонов. — Но Г. К. Лукомский на основании стилистических признаков относит его постройку к 80-м годам XVIII столетия, с чем мы вполне согласны».

Однако, судя по всему, выстроен дом уже в начале XIX века.

А вот по всем стилистическим признакам это — образец позднего московского барокко. И значит, строение должно вроде бы как датироваться серединой XVIII столетия!

И как такое могло случиться?

Впрочем, ничего уж очень загадочного, пожалуй, в этом нет.

Цитирую всё того же Безсонова: «Такого же стиля в Калуге был ещё деревянный, оштукатуренный дом по пр. Революции, бывшей Никитской улице, купца Игнатова, разобранный в 1927 году».

А это, как стало теперь известно, дом, в котором жило семейство зодчего П. Р. Никитина, им же, надо полагать, и спроектированный.

Он и впрямь был того же стиля, что и дом Архангельской, — стиля барокко.

А ведь в ту пору, когда Никитин переехал из Твери в Калугу, стиль этот был давно как не в моде. И сам зодчий вполне уже освоился с новомодным стилем — классицизмом.

Вот только не надо забывать, что прежде того и довольно-таки долго Никитин был ведущим мастером московского барокко — как раз в пору заката этого стиля. Это были годы его молодости и ранней зрелости. И, похоже, стиль этот был ему как-то особенно мил — до конца жизни.

Как-никак, а моды меняются быстрее, чем наши пристрастия и привязанности.

К тому же у него должно было накопиться немало давних уже проектов, в том числе и барочного склада, по тем или иным причинам не нашедших применения ни в Москве, ни в Новгороде, ни в Твери. И вполне естественно было воспользоваться ими в Калуге.

Вот и появились здесь барочные строения. И не только, кстати, те два дома, о которых ведётся речь, но и прелюбопытное здание бывшего госпиталя на нынешней улице Салтыкова-Щедрина.

В любом случае вполне возможно, что дом Архангельской спроектирован Никитиным. И не суть важно, когда это могло случиться — до приезда в Калугу или в калужскую пору его жизни.

Ну а в том, что проект был осуществлён спустя много лет после его смерти, нет ничего удивительного. Такова судьба многих его замыслов.

Кстати, первоначально дом Архангельских был более стройным — в своё время его фасад вдоль Гостинорядского переулка был несколько удлинён.

Иные многомудрые архитекторы и поныне винят искусство Никитина в половинчатости. А значит, и отсталости. Дескать, даже и классицистическим его постройкам свойственна барочность.

Как будто барочность — это великий грех.

Как будто рабское подчинение моде — великое достижение.

В конце концов, та же самая «половинчатость» присуща и лучшим созданиям Баженова, гениального зодчего, которого, кажется, никто ещё не винил, в отличие от Никитина, в отсталости и старомодности.

Более того, я убеждён, что в немалой мере именно дух барокко живит и одушевляет многие классицистические создания Никитина — Путевой дворец в Твери, строения Яропольца Гончаровых, Хлюстинскую богадельню в Калуге...

Гостиный двор

Это был из всех местных долгостроев самый замечательный долгострой.

Строительство калужского Гостиного двора началось то ли в 1782-м, то ли в 1764 году (свидетельства тут разные), а завершилось — да и завершилось ли? — в 1823 году.

Это уж калужское купечество постаралось — оно все возможное сделало, чтобы остановить или хотя бы затянуть стройку.

И купцов, конечно, можно понять: это ведь им самим, из собственных кошельков, приходилось оплачивать дорогостоящее дело, не сулящее к тому никакой прибыли.

Кое-чего они добились. Не только затянули строительство на четыре десятилетия, но и изрядно удешевили его.

Первые пять корпусов удалось выстроить до 1797 года, после чего работы остановились аж до 1811 года. И как раз в эту пору случилось нечто фантазмагорическое: высочайше конфирмованный план Гостиного двора запропал. Исчез навсегда.

Ныне нет никаких сомнений, что автор проекта — Никитин. Но о многих деталях и особенностях плана можно лишь догадываться.

В более или менее точном соответствии с ним были выстроены два южных, два северных корпуса, а также боковой, юго-восточный, корпус.

Сравнительно недавно было предпринято что-то вроде реставрации гостиных рядов — возникла идея преобразовать их в грандиозный торговоразвлекательный центр, увенчанный стеклянной крышей. К счастью, замысел этот обернулся пшиком.

Но на некоторое время с корпусов была сбита штукатурка — на радость знатокам архитектуры. Страшно интересно было увидеть, например, каким был изначально юго-восточный корпус. На его боковых стенах были видны остатки тяг, «досок», лопаток, узких окон с килевидными завершениями. А ещё сохранились очертания большой арки над заложенным входом.

Спустя некоторое время, конечно же, все это было вновь закрыто штукатуркой.

Но я успел убедиться, что облик даже и самых ранних корпусов был несколько упрощён когда-то — давным давно.

Ещё семь корпусов, парадными торцами своими обращённых к нынешней улице Ленина, выстроены уже по новому проекту, автором которого принято считать И. Д. Ясныгина.

По настоянию купечества ширина этих построек приметно уменьшена. И опять же упрощён декор.

Пропажа никитинского плана позволила на совершенно новый лад обустроить ансамбль с западной стороны. Здесь в 1821–1823 годах архитектором Н. Ф. Соколовым были выстроены два удлинённых — удвоенных корпуса, основными фасадами своими обращённых к плац-параду.

И это опять-таки, несомненно, диктовалось сугубо экономическими соображениями; в ином случае купеческому сообществу пришлось бы оплачивать строительство аж восьми корпусов, ориентированных с востока на запад.

Строительные работы шли уже к концу, когда калужский губернатор Омеляненко потребовал, чтобы «между построенными корпусами сделаны были зонты с кружалами». Иначе говоря, арки, подобные той, что располагается между нижними корпусами Гостиного двора со стороны улицы Ленина.

Но приказ губернатора выполнен не был.

И дело тут, полагаю, не только в том, что калужские купцы не очень-то желали тратиться на декоративные украшения торговых рядов. Право же, совершенно невозможно было установить «зонты с кружалами», не поступившись при этом архитектурными правилами и законами вкуса. Ведь кровли корпусов, выстроенных после потери никитинского плана, располагаются на разных уровнях.

В общем, строительство Гостиного двора завершилось — вроде бы как не вполне завершившись. А сам он в итоге представляет собой комплекс разновременных построек.

Но вот что замечательно — Гостиный двор воспринимается тем не менее как единый ансамбль: замысел Никитина, пусть и отчасти изменён и упрощён, но всё-таки довольно-таки цельно воплощён.

По счастью, как раз по никитинскому плану выстроены главнейшие корпуса Гостиного двора, образующие его нарядно-парадные фасады — южный и северный. Это — великолепные доминанты ансамбля, которым весьма гармонично вторят постройки Ясныгина и Соколова.

Калужский гостиный двор, право же, наилучший во всей русской провинции памятник псевдоготики, обаятельного «малого стиля» эпохи классицизма. Он — в одном ряду с бажендовскими постройками в Царицыне, с Петровским и царицынским дворцами М. Ф. Казакова.

Никитинская псевдоготика

«Напоминая по всем данным дворцы Петровский и Царицынский, гостинный двор показывает, что в эту эпоху заимствования и влияния, которым поддались калужские строители, все они зависели от архитектора М. Казакова».

Витиеватый пассаж этот принадлежит краеведу Д. И. Малинину, почему-то, кстати, полагавшему, что псевдоготика сменила собою «классические традиции и вкусы зодчих». Отсюда, видимо, и весьма странное определение той эпохи, когда строился Калужский гостинный двор.

Право же, процитировал я тут Малинина вовсе не с целью поиронизировать над ним, отнюдь ведь не искусствоведом, не знатоком истории архитектуры.

Напротив, меня удивила неожиданная точность его утверждения о сходстве Калужского гостинного двора с псевдоготическими дворцами М. Ф. Казакова.

Другое дело, что из вполне правильного наблюдения сделан ложный вывод.

Теперь-то ведь известно, что Гостинный двор спроектирован Никитиным, чьим учеником, а затем помощником был в пору профессионального становления своего Казаков.

И не «калужские строители», конечно же, «зависели от М. Казакова», а сам он — великий эпигон Никитина.

Но все это известно теперь. Малинин же ничего не знал и не мог знать о Никитине. Тем не менее, пусть и ошибаясь, он сумел уловить самую суть дела. В отличие от своего современника С. В. Безсонова, историка архитектуры. Тот полагал, что «по стилю и по своей отделке Гостинный двор приближается к творчеству Баженова». А вместе с тем отмечал, что «аркады Гостинного двора действуют на нас своей тяжестью, суровостью и симметричностью».

А ведь баженовская псевдоготика — динамична и романтически живописна. И уж точно менее всего присущи ей такие качества, как тяжесть, суровость, тяжкая симметрия. Во многих отношениях она контрастна, противоположна псевдоготике Никитина и Казакова.

Гостинный двор — конструктивен в основе своей и зримо массивен. Как, кстати, и никитинские псевдоготические постройки в Росве. Как и спроектированный Никитиным псевдоготический «каменный острог».

Декоративная же отделка Гостинного двора не слишком уж разнообразна. Зато великолепно обыграна основная архитектурная тема — тяжкий ход великолепной аркады.

Кстати, точно такая же аркада обегала некогда тулово ставшей ныне руинной церкви погоста Старки близ Коломны — самого раннего образца русской псевдоготики (храм был выстроен в 1759–1763 годах).

Не раз уже писал о том, что церковь эта спроектирована как раз Никитиным, бывшим на рубеже 1750–1760-х годов ведущим зодчим Москвы. А если это так, то именно он — родоначальник отечественной псевдоготики.

Кстати, самый термин этот всё реже и реже встречается в архитектуроведческих кругах. Кое-кому само это слово, видимо, кажется уничижительным в отношении прекрасного «малого стиля». Мне же термин этот, давно уже утвердившийся в искусствоведческой науке, представляется содержательно точным.

Надо лишь правильно осмыслять это слово.

«Псевдоготика» — это вовсе не «плохая готика», а скорее, нечто среднее между «не совсем готика» и «совсем не готика».

И ведь впрямь это никак не готика и даже не стилизация под неё.

Это — стиль-маскарад: архитектура рядится в средневековые одеяния, то вроде бы европейские, то вроде бы старорусские, но в любом случае театрально фантазмагорические.

Убийственное переустройство

На самом рубеже XIX–XX веков губернский архитектор Б. А. Савицкий перестроил на новый лад здание калужской гимназии. Оно было изрядно расширено и, что называется, благоустроено.

Калужская интеллигенция отнеслась к этому событию благосклонно, если не сказать — восторженно.

«Благодаря сооружению нового корпуса для размещения классов и переустройства старого здания, гимназия приняла такой вид, что стала совершенно неузнаваемой», — писал в тогдашних «Калужских губернских ведомостях» некто Н. П. Авраамов.

И ведь прав он был, совершенно прав.

Великолепное здание классицистической архитектуры преобразовалось в унылый образчик искусства господина Савицкого.

Строение это было, несомненно, спроектировано Никитиным. Более того, скорее всего, оно в немалой мере и построено им.

По сути дела, история строительства здания начинается с 1777 года, когда калужское дворянство «в благодарность за открытие наместничества» вызвалось за свой счёт выстроить здание училища для купеческих и мещанских «маломочных» детей. И в том же году это училище было официально учреждено Кречетниковым.

Так что, скорее всего, здание это было выстроено ещё в конце 1770-х годов. И уж точно при жизни Никитина.

А уже с 1784 года размещалось в нём народное училище, с 1786 года именовавшееся — главным. Впоследствии училище было преобразовано в гимназию.

Строение это представляло оно собой своеобразный, даже несколько необычный в плане ансамбль, состоящий из обращённого к северу стройного массива углового здания и двух флигелей к югу от него.

Ныне, чтобы получить хоть какое-то представление о том, как первоначально выглядело это строение, следует всмотреться в него со стороны нынешней улицы Луначарского: обращённый в эту сторону фасад сохранился почти что в первозданном виде. Всё тут выдержано на точно соблюденных пропорциях и потому абсолютно цельно — в отличие от фасадов, переделанных Савицким, где всякая деталь — сама по себе.

Со стороны же нынешней улицы Ленина здание и вовсе кажется почти что безграничным: оно сильно продлено к югу и образовало единый фасад с примкнувшим к нему домом.

А всё же и поныне огромно градообразующее значение этого смертельно изуродованного строения. Это — мощная архитектурная доминанта, чётко организующая обширные пространства на стыке важнейших городских магистралей.

Как это и было задумано Никитиным.

Погибшие дома

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (1751–1829), тайный советник, сенатор и поэт, был ещё и тестем калужского губернатора Александра Петровича Оболенского, тоже сенатора и тайного советника.

На старости лет, выйдя в отставку, Нелединский-Мелецкий надумал перебраться в Калугу, поближе к старшей дочери своей — губернаторше Аграфене Юрьевне.

В 1825 году, по распоряжению Оболенского, был выстроен домик — «деревянный на каменном фундаменте при загородном доме губернатора», в три комнатки. В нём и поселился Нелединский-Мелецкий. И жил тут до самой смерти.

Однако славу свою, надолго его пережившую, домик этот обрёл после того, как стал временным жильём для Гоголя, трижды — в 1849, 1850 и 1851 годах — побывавшего в Калуге. Тут он немало потрудился, создавая второй том «Мёртвых душ».

С той поры крохотное здание это обратилось в чуть ли не главную достопримечательность Калуги и стало именоваться домиком Гоголя.

Да только сберечь его калужане не смогли.

Незадолго до революции Д. И. Калинин писал: «В настоящее время гоголевский домик ветх и плох, в борьбе со временем и непогодой неуклонно приближается к гибели». Пророчество это вскоре сбылось: 30 декабря 1922 года домик Гоголя сгорел.

А в 1929 году на месте, где стоял домик, появился мемориальный обелиск. С барельефным портретом Гоголя. С соответствующей надписью.

Но уже вскоре местные власти надумали устроить над Яченкой стадион и футбольное поле. А потому, ничтоже сумняше, обелиск переместили в Загородный сад.

Так и ютился он там долгие годы со ставшей совершенно нелепою надписью: «Здесь стоял домик, где жил Гоголь».

В 1998 году обелиск вдруг исчез, а вместо него был поставлен новый памятный знак. Впрочем, со всё тою же надписью.

А потому многие калужане и поныне искренно верят, что домик Гоголя стоял прямо посреди спланированного ещё Никитиным Загородного сада, именуемого ныне парком Циолковского.

Впрочем, и этого обелиска теперь уже нет. Вместо него стоит среди старых деревьев массивный, трагического пафоса исполненный памятник Гоголю, созданный москвичом Николаем Смирновым.

Почему-то злосчастный домик Гоголя часто именуют флигелем загородного дома губернатора. Это совершенно безграмотно, конечно же.

Домик Гоголя был совершенно самостоятельным строением. Уж точно не мог он быть «крылом» (а именно так переводится на русский язык слово «флигель») летней резиденции калужских губернаторов — здания, спроектированного и построенного Никитиным ещё в 1782 году.

Тем не менее был он пусть и не флигелем, но всё же неким дополнением к ансамблю небольшого загородного дворца с садом.

Но вот что удивительно: в отличие от домика Гоголя, загородный дом губернатора, похоже, почти никем не воспринимался как местная достопримечательность, как большая художественная ценность. Во всяком случае, кажется, никому и в голову не пришло хоть единожды сфотографировать или зарисовать его.

И это притом, что дом этот был одним из лучших образцов калужского классицизма. К тому же, как раз на его веранде Гоголь читал своим калужским друзьям и знакомым отрывки из второго тома «Мёртвых душ», позднее им сожжённого.

И место этому дому отведено было замечательное — в конце главной аллеи загородного сада, над Яченкой, с великолепными видами на бор, на безбрежный оокём.

Но вот осенью 1913 года появляется проект отдать это здание под ресторан. Славный защитник калужской старины Малинин сообщает о варварской этой затее А. Ростиславову, на ту пору — весьма влиятельному столичному художественному критику.

Ростиславов — уроженец Калуги. И тоже — защитник старины. Разумеется, он возмущён дикой затеей. И пишет Малинину: «Конечно, это опять сплошное «свинство» (извините за выражение) и надо что-то предпринять».

При этом он полагает, однако, что в «Общество защиты и сохранения памятников старины» нет смысла обращаться, «так как дом не такая старина и более историческая, чем художественная достопримечательность».

Впрочем, тут же раздумчиво добавляет: «По-моему, Впрочем, и художественная».

Главное же, Ростиславов пообещал «тиснуть» статейку — и «тиснул». И, как писал Малинин, «шум, поднятый вокруг пресловутой затеи, похоронил её в самом начале».

Но во всей этой истории меня более всего занимает тот огорчительный факт, что даже Ростиславов, истово боровшийся за сохранение старой архитектуры и изрядно изучивший её, как-то не вполне был уверен в художественной ценности прекрасного дома над Яченкой.

Вместе с тем думается мне порой: а может, и к лучшему было бы, если б в доме этом разместился ресторан? Оно как-то вульгарно, конечно. Но, глядишь, и сохранилось бы здание до наших дней. Пусть даже и в качестве точки общепита.

Похоже, уже тогда находилось оно в полнейшем запустении.

Во всяком случае как раз в это время историки архитектуры Ю. и З. Шамурины писали о нём: «От уютной усадебной постройки — старинного летнего губернаторского дома в Пушкинском загородном саду не осталось и следа».

Авторы замечательного очерка об архитектуре Калуги даже и не заметили его.

А дом был ещё более или менее цел.

Он был разобран в 1928 году.

Ценность бесценного

Искусство бесценно.

Формула банальная и вроде бы как неопровержимая.

Ну как можно определить денежный эквивалент создания искусства, пусть даже и не самого великого?

Да и редко кто пытается это делать. Разве что галеристы, искусствоведы-эксперты да скупщики краденого.

Но это у них работа такая — назначать цены плодам вдохновения, учитывая при этом не столько их истинную художественную ценность, сколько эстетические потребности и финансовые возможности некоторой части населения.

А так, если уж правду говорить, искусство чаще всего, действительно, бесценно.

В том смысле, что на деле ни гроша не стоит.

Сколько рублей (долларов, евро) стоит, стоит, например, красота дивных классицистических домиков Калуги?

Нисколько!

То есть, конечно, сами по себе эти строения какую-то «балансовую» и рыночную стоимость имеют. Стены у них довольно крепкие, крыши и потолки ещё не обвалились, да и располагаются они в престижной части города.

Тут всё понятно.

Но художественная ценность тут совершенно ни при чём.

Я прожил в Калуге неполные полвека.

За это время отчасти изничтожены, отчасти изуродованы были целые улицы старой Калуги: Воробьевка, Тульская, Смоленка...

На моих глазах снесли усадьбу генерала Кольцова с деревянными ампирными воротами.

Почти полностью уничтожены никитинского типа деревянные постройки усадьбы Кожевниковых.

Чуть ли не туалетной плиткой покрыт фасад классицистического особняка, в котором проживала грузинская царевна Фёкла Ираклиевна.

Ну и так далее.

И что? Вроде бы как ничего особенного не произошло, небо на землю не обвалилось.

Только Калуга как-то потускнела. Немалую долю великой своей красоты потеряла.

Улица Зодчего Никитина

Чуть ли не в самом начале улицы Никитина стоит массивный двухэтажный каменный дом.

Насколько я понимаю, здание это построено было некогда Золотарёвыми и до революции располагалось в нём общежитие Епархиального училища. На моей же памяти, это был один из корпусов больницы «Красный Крест», на втором его этаже располагались палаты для тяжелобольных.

Недавно кто-то вроде бы как здание это приватизировал. И каково его будущее — большой вопрос.

Было время — вид этого здания постоянно смущал меня: что-то уж очень знакомое виделось мне в его облике. Стыдно сказать, но далеко не сразу сообразил я, что дом № 6 по улице Никитина чрезвычайно схож с тверскими жилыми строениями, спроектированными П. Р. Никитиным и составившим «сплошную фасаду» вдоль берега Волги.

Ощущение такое, что кто-то чудесным образом перенёс фрагмент этой застройки из Твери в Калугу.

И у меня, конечно же, ни малейшего сомнения нет, что дом на Никитина спроектирован — Никитиным.

Построен же он, скорее всего, в начале XIX века. И ничего странного в этом нет. Тем более что дом-то — золотарёвский. Как и нынешнее здание краеведческого музея, примерно в эти же годы по никитинским чертежам построенное.

Та же история приключилась и с Хлюстинской богадельней, расположенной опять же на улице Никитина. Построена она крепостным зодчим И. Кашириным в 1809 году. Долгое время считалось, что он и автор проекта замечательно красивого здания.

До той поры, пока московский искусствовед Татьяна Сытина не предположила, что спроектировал здание Никитин. И так веско обосновала своё предположение, что воспринято оно было как убедительная атрибуция.

Удивительно ли, что некоторые мои знакомые издавна были убеждены, что улица Никитина названа так по имени зодчего. На деле же носила она имя какого-то другого Никитина — то ли знаменитого поэта, то ли мало кому известного большевика.

Осмелюсь утверждать, что я был первым или одним из первых, кто предложил переименовать эту улицу, практически не переименовывая её: назвать её улицей зодчего Никитина.

Помимо всего прочего, это ведь и очень практично. Не требует никаких затрат и никаких хлопот.

Понятно, что здравая эта идея не одному мне пришла в голову.

И вот не так давно на стене благородного классицистического здания, в самом начале улицы (Никитина, 4), появилась памятная доска со следующим текстом: «Улица Никитина (Золотарёвская / Новорезжская) была построена по регулярному плану Калуги 1778 года великого русского архитектора Петра Романовича Никитина».

И хоть не имею я никакого отношения к установке этой доски, но, увидев её впервые, изрядно обрадовался.

Есть теперь в Калуге улица великого русского зодчего Никитина.

Кстати, дом, на стене которого памятная доска установлена, полагаю, спроектирован командой Никитина, а возможно, и им самим.

СТИХИ,
ПРОЗА,
ДРАМАТУРГИЯ





Людмила Филатова

Людмила Николаевна Филатова живёт и работает в Калуге, член Союза писателей России, автор двенадцати поэтических книг, ряда сборников избранного, пьес и прозы, лауреат премий «Звезда полей» им. Н. Рубцова, «Отчий дом» им. братьев Киреевских, им. М. Цветаевой и им. Л. Леонова. Публиковалась в журналах «Истоки», «Современник», «Мир Паустовского», в антологии русской женской поэзии «Вечерний альбом», в сборнике «Современная русская лирика», в трёхтомнике «Антология русского лиризма XX век». В калужском литературно-поэтическом театре идут спектакли по её стихам и пьеса «Мена».

БАБОЧКА ПОД СТЕКЛОМ

Отрывки из повести

Однажды видела, как соседский мальчик бабочку под стеклом закапывал... Секретик делал.
Я ему говорю: «Она ведь живая!»
А он: «Зато всегда — тут будет! Даже зимой.
Снег разгрёбёшь, — красиво...»

Она любила эти воскресные бреющие полёты по городу, особенно вечерние, когда во всём — необъяснимая тайна меняющихся, будто вытекающих друг из друга образов, бликов и световых пятен. Душа её мгновенно заходила от всего этого, как сердце от любовного томления... И ей, уже похоронившей себя под чужими рукописями и собственными невоплощёнными амбициями, тотчас хотелось и самой влиться в эту восхитительную фантазмагорию, растворившись в ней без остатка.

— Калуга моя, роднулечка, — с придыханием шептала она, блуждая по любимым улочкам и закоулкам. — Лишь теперь тебя и разглядела... А раньше — как сквозь мутные очки, по молодости, наверно. Молодость, она ведь только собой занята, потому и слепая. А созрела душа, и всё — словно в кровь вошло: и люд заводской, и богема местная, и молодёжь, хамоватая правда, но с душой! Улочки, дворики, садики... Старинные фасады, полуоблупленные, Гостиные ряды, как в Питере. Мост, ещё каменный, над Березуем и островок тенистого парка над оским обрывом. А больше всего — Воробьёвка: крутой спуск с ветерком под подол, подростки с удочками, катера у причала, узкий дикий пляжик с завсегдаями. Куда ни глянешь — всё близкое, родное. Там — что-то хорошее с тобой случилось, тут — тоже! А почему, спросите, только хорошее? Да потому, что это молодость была! Столько порывов, чайний...

Вот здесь, в панельном, у реки, подружка живёт, актриса драматическая! А в этом, кирпичном, у церковной башенки, литераторы местные собираются, провинциальную литературу двигают...

Ой, река моя, Ока, ты — калачиком рука... Все-то к тебе тянутся, а некоторые и вообще без тебя не могут, как я, например.

Ведь если — вон туда, берегом, берегом, да чуть пониже... Там дорогие мои Кувшиновы станцию лодочную сторожат, собакам кашу на плитке варят. И стоит в реку войти, на спину лечь, прямо к ним течением и принесёт. Встречайте, дорогие, ещё одного мокрого поселенца!

А по вечерам, когда стемнеет, — огоньки на Оке, дрожащие. Иномарки у портового кабачка, сгрудившись, жуками перегретыми дремлют. И «ночные бабочки», ну, те самые, — в чём-то неимоверно воздушном... Вроде и в одежде, а в общем-то — голые...

Музыка. Смех. И такая тоска накатывает по твоему уходящему, такому короткому, женскому времени. Прощайте, поцелуй в росе и жасмин до одури. Здравствуй, мороженое со слезами и туфли на низком каблуке. Скорей бы уже опять лето, скорей, — коротко передохнула Лена, — когда...

Оки божественное ложе опять цветёт по берегам,
и я, но лишь чуть-чуть моложе, лечу на глассере, вон там...

.

Во вторник наконец позвонил «этот Игорь»... Лена вынесла его рукопись, но он усадил её в машину: «Покатаемся?»

А почему бы и нет? Семеро по лавкам не плачут. Сначала хотела детей, не получилось. А потом — зачем они от алкаша?..

Ездили, молча, до темноты. Город, казалось, ссутулился под тяжестью тяжёлых осенних облаков. Витрины магазинов всё ещё радостно пялили на прохожих свои квадратные, уже слегка зарёванные глаза.

«Ну вот... Наконец и дождь... — отметила про себя Елена. — Да приличный какой!»

А иномаркам — хоть бы хны. Шныряют, при полном отсутствии видимости, по три в ряд, да ещё и — цепью!

Вот где деньжищи-то... Но ведь, как наживались, вернее, воровались, — так и улетят... Настоящие богатеи на таких не раскатывают, экономят! Оттого и — богатеи.

Не верю я в русских миллионеров. Другие у наших — и цели, и счёты, и ценности: волюшка — во главе угла!

Пожируют, пожируют, да и пропьют всё или на баб спустят: ведь от злого радения добра не бывает... А как «ням-ням» захочется, опять коммунизм строить начнут или в другие, «высшие», материи ударятся.

А вот — нерусские, это уже другой разговор. Этим — вперёд, и с вымпелом! Но ведь оглянутся когда-нибудь, а жизни-то и не было, — один вымпел...

Её вдруг сильно трянуло, и Елена обнаружила, что едут-то они уже пригородом, вернее, грязными всклокоченными пустырями за ним. Потом машина Игоря вырвалась на бетонку и бесшумно понеслась вдоль полей и узких, уже облысевших к зиме лесополос.

Лена любила быструю езду. Раньше, когда Аркаша был ещё трезвенником, они частенько ездили за город, просто так, чтобы ощутить скорость и окрестные просторы.

Казалось, глаза пили дорогу, впитывали её, и она с бешеной скоростью сматывалась в той части мозга, которая, скорее всего, и ведала генной памятью.

Ведь кто-то из предков уже любил всё это, мы — теперь, а наши дети и внуки непременно полюбят потом, даже если родятся за границей, кровь-то — одна!

Странно, но любовь к Родине охватывала её с наибольшей силой именно в минуты этого, в общем-то, совершенно бессмысленного движения: то, буд-то во сне, — по полузаброшенным деревьям, мимо обветшалых церквей, сараев, погребов и бесконечно тянущихся изгородей, летом — с мальвами и золотыми шарами, а зимой — со смёрзшимся застиранным тряпьем.

Она любила с ветерком промчатся по бетонке!

Или — медленно тащиться по просёлочной... А то и — безрассудно вилить по канавам меж сельмагами и пивными палатками, этими «культурными» центрами на селе, возле которых непременно кучкуются по трое старички, ошастливленные хоть какой-то пенсией, и ещё не сбежавшие в город механизаторы, увы, без всякой денежной наличности!

Сия несправедливость в распределении «общечеловеческих ценностей» к ночи уж точно закончится мордобоем и бабьим визгом.

Вперёд, вперёд... Мимо рабочих посёлков, утыканных бесцветными коробками двухэтажек, мимо почему-то железобетонных остановок — ведь не дзоты же? — внутри расписанных неприличными словами, а снаружи расстрелянных местной шпаной из поджиг. «ТТ» и «Макаровы» — это уже ближе к столице.

Или — вмиг пропорхнуть мимо одиноко стоящих в сторонке школ, в которых учителя уже боятся учеников, а ученики — подкрадывающейся нищеты...

И всё — мимо и мимо... И почему-то никогда — куда-то именно. Казалось, душа пила это бесконечное, слава Богу, ещё ничьё — а может, и не, слава Богу, поди, теперь разберись — пространство и никак не могла напиться.

Процесс этого «пьянства» завораживал. И опьянение надолго задерживалось в скрюченных от напряжения мизинцах, в разгорячённых мочках ушей и в пропахших стылым ветром всклокоченных прядях.

Хотите, верьте, хотите, нет, но Елена так ушла в свои размышления, что вспомнила об Игоре только, когда машина притормозила у её дома.

Единственная фраза, которую он произнёс, была: «С вами жарко ездить!» Расстегнув куртку, он хлопнул дверцей и умчался в неизвестном направлении.

— Мне и самой с собой жарко... — вздохнула Елена, ворочая ключом в чёрной дыре замочной скважины.

.

Народу в лит. курилке сегодня опять — битком!

Тут — самые разговоры, более открытые, раскованные. Даже некурящие заходят чужой дым поглотать.

Пассивное курение. Пассивная жизнь... Пассивное творчество! Хотя какое оно тогда творчество, чёрт его побери?! Нервно смяв пустую пачку из-под «Явы», Елена навесом отправила её в урну — попала!

Может, от слабости эта пассивность? Не физической — духовной. Наследственная усталость...

Хотя сегодня... уж точно — сильный приезжает!

У нас в поэтических кругах его живым памятником величают. Это какую же силу надо иметь, чтобы, пусть и мысленно, такое сотворить...

Я скатаю родину в яйцо.
И оставлю чуждые пределы,
И пройду за вечное кольцо,
Где в лицо никто не мечет стрелы.

Раскатаю родину мою,
Разбужу её приветным словом.
И легко и звонко запою,
Ибо всё на свете станет новым.

Обновить целую страну — до яйца, до первоначала, да и вынести — из всего этого... Как же любить её надо, любую, даже теперешнюю. Не просто жалеть, а всей кровью радеть — за потомков, за будущее.

А вот... и он! Сразу набежали все, как вокруг светоча собрались. Книжки за автографами тянут. Одна поэтесса встала на цыпочки:

— Я вам стихотворение написала...

— О чём?

— О любви.

— О любви у меня уже есть... — «...давай тебе рубашку постираю, и хлеба принесу, и молока...» Я его частенько на семинарах цитирую.

— Так это же — наша Елена...

— А где она?..

И тут слышу:

— Лен, иди сюда... Тебя Кузнецов зовёт!

Подхожу.

— Так вот, ты какая... — Берёт за руку, отводит в угол. Два стула сиденьями к стенке повернул. Сели ко всем спиной.

— Ну, рассказывай... Как живёшь?..

— Как все.

— О любви написала... А в жизни любила кого-нибудь, ну так чтобы — край?!

— Не знаю...

— Вот и я... — не знаю.

— Ох, и дура, ты!

— Дура, — соглашаюсь, — круглая...

А он вдруг улыбается и говорит:

— Совсем, как я...

Вскоре и наши подошли. Пришлось стулья развернуть и общей разговор поддерживать. Но я всё-таки — бочком, бочком, и в сторону. Ведь всё главное уже сказано.

А нашим уже потом объяснила, что вычитала где-то высказывание Кузнецова о поэтессах, в общем-то — нелестное.

Мол, истинные поэты в стихах — с Богом говорят, а поэтессы — со своими мужиками... Крепко меня зацепило. Вот и написала:

Ты с Богом говоришь... А я — с тобой.
Но нам, двоим, увы, не отвечают...
Пока ведёшь с собой неравный бой,
давай тебе рубашку постираю...
И хлеба принесу, и молока,
а если, утомившись, ты задремлешь,
укрою облаком, спустив его на землю:
ведь разве не за этим — облака?..
Склонюсь на миг, прислушавшись к дыханию,
и выйду, тихо двери притворив.
И только тут моя пора настанет
с Всевышним... о тебе поговорить.

Мол, сильны вы, мужики, — но что бы вы без нас делали?.. В общем, спор затеяла... Пусть и ласковый, но спор!

Гляжу, не верят мне наши: мол, темню...

Но он-то понимал, о чём я... А другим и необязательно.

— Потом, уже за шампанским, попросил прочесть ещё что-нибудь. Я и прочла, чтоб дать понять, что не только с ним спорю...

Мой Бог, тебе послушно подчиняться
Была почти согласна я... Но скучно:
Ещё одна игрушка лишь и только.
А если я с тобой сейчас поспорю
И, как телец безрогий, пободаюсь
С карающей десницей тёплым лбом,
Я, право, развлеку тебя, мой Боже,
И скуку твою смертную развею...

А он:

— Ты даже сама не знаешь, что написала...

Так и сказал. В общем, — при своём остался!

Но ведь и я — тоже.

Так и не попрощавшись, Елена слетела вниз и, распахнув плащ, шагнула под мелкий, зябкий дождик. В голове что-то складывалось, и хотелось дать ему выход.

Взглянув под гору, она на мгновение замерла. Там, внизу, всё колыхалось и бултыхалось в мокром, зябком золоте.

Фиолетовые просветы между домов казались перевёрнутыми домами другого измерения, в общем, город — в городе... Колдовство какое-то.

Вдруг узкая серебристая машина, незаметно подкравшись, толкнула её под локоть. Дверца бесшумно распахнулась, и в свете фонаря вспыхнул знакомый «ёжик» Игоря.

— Фу ты, напугал... — весело заворчала Елена, садясь в машину, — это ведь не твоя, твоя тёмная была, с одной дверью.

— Эта тоже моя. Едем?

— У меня ещё дела... — соврала Елена, уже забираясь на сиденье. И машина тронулась, нет, с рёвом рванула с места, с жуткими кренами на поворотах пронеслась по городу, перепрыгнула мост и вырвалась на бетонку.

«Испугаться, что ли? — расслабленно подумала Елена. — А чего пугаться-то? Ну, разобьёмся, так это даже к лучшему, не доживу до старухи!»

Жить без любви, без постоянного ожидания её, без фантазий и придумок на тему любви она не умела. Видно, её сделали в сладкий час, и в матроны — по Ефремову — она не годилась, только в куртизанки. А куда деваться стареющей куртизанке, в мемуары подаваться, учить кого-то своему опыту?.. Так и опыта — с гулькин нос!

Однажды, будучи ещё маленькой, взглянув в зеркало, Ленка почему-то не понравилась себе и сказала маме:

— Сейчас залезу на крышу, спрыгну с неё, убьюсь и родюсь заново — хорошенькой-прехорошенькой!

Теперь подобные мысли всё чаще стали приходиться на ум.

Машина неслась по трассе, как сумасшедшая...

«Куда! Куда? — казалось, кричала луна, широко раскрыв рот и раскинув невидимые руки. — Держи! Держи её!»

Лес на обочинах слился в мутную грязно-бурую ленту.

«Совсем как от пишущей машинки, — мелькнуло в замороженном сознании Елены, — интересно, этот Игорь, он псих или Архангел? — пришедший выдернуть меня из всего этого...»

...Надоело-то как! — делать вид, что всё ещё чего-то стоишь, толочься в околотитературном, да и в любом другом пустословии и пустоделании. Хотелось просто писать.

И чтоб ещё печатали.

Встречный транспорт сигналил. Видимо, безумная машина Игоря делала что-то не так, наконец она «споткнулась» на колдобине и, высоко подпрыгнув, еле вырулила.

Елена больно ударилась затылком об обивку кузова. Но ей вдруг стало весело, будто она, как в детстве при переездах, перенеслась в совсем другую жизнь — новую, полную неожиданностей и приключений.

«Надо же — живу!» — почти с благодарностью посмотрела она на Игоря. Может, почувствовав этот случайный квант тепла, он начал сбавлять скорость и резко затормозил метров за десять до надломленного бетонного столба, похожего то ли на букву «л», то ли на кособокое «п».

«Видно, тут кто-то крепко врезался!» — решила Елена.

— Приехали! — выдохнул Игорь, бросил руль и неловко упал правым локтем ей на колени. Лево́й рукой он сгрёб подол её выдавшей вида походной юбки и зачем-то замотал в него голову. Он то всхлипывал, то тяжело дышал, подрагивая от предрассветного озноба.

Лена сочувственно клюнула ему в предплечье и начала тихонько поглаживать по влажному тёплому затылку.

— У-у-у... За что? Не хочу! — что-то бессвязное рвалось и подрагивало у неё под рукой. — Ла... Ларочка...

Спрашивать ни о чём не хотелось, да и знать тоже.

Вся эта беспардонная реальность так называемой перестроечной эпохи настолько опротивела, что стала почти нереальной. Реальной оставалась только природа да ещё то, чем Елена управляла в своих «эмпириях».

Там, и только там, ещё билась сбежавшая от явного маразма — расцвеченная чувствами, обогащённая целью и хоть каким-то смыслом, пусть и вымышленная, но — жизнь!

В будничной же полунищенской суете всё бестолково мельтешило, вело себя настолько неоправданно и глупо, что, пожалуй, не стоило и сожаления.

Наконец Игорь успокоился. Она вытерла ему глаза и поцеловала в нос как маленького. Оглядевшись, он поёжился, словно от навязчивого видения или пугающего воспоминания. Руки его опять заходили ходуном...

«Убил он кого-то здесь, что ли?.. — прикрывшись рукой, потихоньку зевнула Елена. — А впрочем, мне-то что? У нас здесь давно уже — никому ни до кого нет дела! Стада беспризорных человеческих особей...»

Не было сказано ни слова. Машина развернулась, почти на месте, и повезла два нелепых существа назад, в места их невесёлого обитания.

.

На углу «Детского мира» сходу налетела на Пехтереву.

— Ты вчера смылась... А тебе новое задание, по Гоголю!

Пришлось сменить курс. Несмотря на субботу, областной архив был ещё открыт. Отряхнув в прихожей мокрый плащ, Елена подошла к дежурному архивариусу:

— Мне киносценарий заказали к юбилею Гоголя, минут на двадцать пять. Пожалуйста — всё, связанное с его посещениями Калуги.

— Повезло вам... — улыбнулась полноватая женщина с монгольскими скулами и ясными славянскими глазами, — я недавно в подвалах спасательные работы проводила: когда сильный ливень, иногда захлестывает. И вдруг... Ей богу, не было. Я сто раз эту папку перебирала. Как подложил кто! Вот только сейчас в реестр и занесла. Чудеса... Кстати, сегодня в Гоголевку две фуры списанных книг привезут. Не интересуетесь?

Но Елена уже почувствовала знакомый озноб удачи.

Всё, что знала и помнила о Гоголе, вдруг сконцентрировалось в районе рабочего стола, игнорируя даже багровое полыхание заката за зарешеченными окнами архива.

Работа захватила с головой. Но сколь резким был выброс творческой энергии, столь быстро он и закончился, и на смену пришла невероятная усталость, а может, Елену просто сморило в тепле после промозглой уличной сырости...

Разбудило её ощущение чьего-то присутствия. Запах отсыревшего прорезиненного плаща. Лёгкое покашливание. Подняв голову, она подслеповато уставилась на незнакомца.

— Ну и много накопили-с? — Мокрая шляпа. Чёрные пряди вдоль щёк. Ямочка на подбородке. Хитрая носатая улыбка.

— Господи... Николай Васильевич! Собственной персоной! — ущипнула себя Елена. — Знаете, если честно, пока не очень...

— Это хорошо, что не очень. Нечего копать, где не следует.

— Но как же?... Юбилей всё-таки... Да и Россет наша ведь, калужская...

— Ну, Россет, положим — молодчина! Низкий поклон ей. Кое в чём подержала... И это — в Калуге-то! Дремуч тут народец, ох, дремуч... Просто непрошибаем! А знаете, многие душеньки мои, что из «Мёртвых» — ведь от вас, из вашей губернии да окрестных! В Малороссии таких типажей мало: может, оттого, что народец посытей?..

— Простите, а можно хоть пару слов о Россет?.. — просительно заглянула ему в глаза Елена.

— Ох, и настырный же вы народец, шелкопёры-с. Такое подчас нароете, никакой нос не выдюжит, сбежит, и всё тут! Ведь не было у нас ничего! Ну, взгляд... Ну, вздох. Ну, шляпа слетела, хорошо, не голова. Спросила как-то, люблю ли её? Смелая, однако, женщина. Смолчал. Не убеждать же, что не люблю? Так нет, всё неймётся вам, шелкопёрам, теперь ещё юбилей какой-то выдумали... Родился — юбилей! Помер — юбилей! Даже кончину нашу, под водочку-с, будто праздники, отмечаете. Самим-то не чудно?..

— Бывает...

— Господи, всегда боялся, что достанут вот такие из гроба, и ну — вертеть...

— И что?.. Вертели?

— Не руками, так словами...

– Но словом-то — носом вниз в гробу не повернёшь!

– Да пусть плетут... Словотворцу без слухов не можно. Слухи, они скучное и пустое оживляют: если надо — и нос сбежит, и голову сопрут... Кстати, а что если — сам и спёр?.. Для слухов-с. Рядышком поискали б, нашли б. Хороша завязочка?.. А представляете, какова развязочка может быть, например, с такой настырной, как вы?!

– Ой...

– Вот вам и ой. Аванс, небось, уже взяли, и приличный?

– Для меня — да.

– Ну вот... А денежки, да ещё за чертовщинку... Вы ж её копаете, чего лукавить? Сами понимаете, чем пахнут-с.

– Так что же?.. Отказаться?.. — Елена растерянно уставилась на уже готовый сценарий. — А я думала...

– Иногда думать вообще не стоит, чують надо — кожей, шкурой, натурой... Знали ведь, не могли не знать, что с теми было, кто за мою тему брался, а туда же! Небось, и дети есть?..

– Нету.

– Ну это уже легче.

– Знала. Но как-то... Уж больно нищета одолела. Сами видите, какое теперь время!

– Все времена одинаковы. Честь. Совесть. Правда. Они или есть, или нету. А всё остальное — игра-с... Вот и играем-с, как, впрочем, и жизнями своими-с. Ну ладно, чего скусились-то? Что-нибудь придумаем. На то мы и писатели.

– Правда?..

– А знаете, голубушка, вы эту нашу встречу и запишите, только моими словами... Покопайтесь в книжках-то, там у меня диалогов предостаточно. И чтоб ни единого словечка своего, ни единого, слышите?! Тогда кто нагородил, тому и отвечать!

– Что-то в этом... — на минуту смутилась Елена. — Ну ладно. А всё-таки, вторую часть «Мёртвых душ» — под горячую руку сожгли? Или было за что?

– Вот неуёмное племя! Да просто поведал своему духовнику отцу Матвеем, что когда пишу, будто нашёптывает кто. Вот он и велел сжечь! Сжечь-то я — сжёл! Но ведь черновички-то — всегда остаются... Этот — на раскрутку приберёт, та — мыло в сундуке переложила. Бумага всегда в цене.

– Так значит...

– Да проснитесь же, вы! Мы уже закрываемся! — потрясла Елену за плечо уборщица. — Сдавайте ваши бумажки.

Смущённо прошмыгнув к выходу, Елена вынырнула за порог и заскользила по глинистым размывам в сторону Гоголевской библиотеки, «поохотиться»...

На улице было ещё светло.

— Странно, может, и не было этих двух часов? Да и заката тоже?..

До Гоголевки далековато, но, поднявшись к площади Ленина, Елена вдруг попала в облако искрящегося розоватого тумана и, выбравшись из него, обнаружила себя уже под вывеской библиотеки.

.

Уф... Может, это и был красный туман, о котором всё время пишут и говорят? Угораздит же...

Сторожиха уже ждала у входа. Книги, где стопками, где навалом, были разбросаны по всему коридору. Карамзин, оба Толстых, Золя, Куприн, Тургенев... Сначала Елена кинулась на них, как оголодавший в походе подросток. Всё гребла и гребла к животу, пока стопка не начала валиться на голову...

И вдруг в единственное здесь окно заглянула огромная, как всегда чем-то недовольная луна. Серебристо-мертвенный свет тотчас изменил окружающее до неузнаваемости.

Стопки книг в полутёмном коридоре стали походить на надписанные бронзой надгробья. Тиснёные профили... Крупно имена и фамилии... А на некоторых — и даты.

«А ведь все эти тома... — гробы непрожитых жизней своих авторов! — вдруг испугалась столь крамольной мысли Елена. — Ведь когда писали, вряд ли жили, вымыслом упивались... Интересно, пожалели когда-нибудь? Скорее всего, да, уже перед концом, когда все скрытые смыслы проясняются».

Но разве вырвешься из цепких лап служения? Ведь как без смотрящего со стороны по Яну Рыбовичу? Каша будет. Бессмыслица... — Но почему-то захотелось именно этой «каши», своей, собственной, реальной, со всеми бедами и радостями. И, захватив только «Историю государства Российского», она вышла на ступеньки, присела у открытой двери и уставилась на луну. — Завить, что ли?..

— Воскресенье... А где же будни, спросите? Да ну их. Вечный день сурка. Судьба сурка... Жизнь сурка... Особенно у служащих. Интересно, кому они служат-то? Чему?..

Уж точно не себе. Если б себе, давно бы что-нибудь получше нашли, поближе к жизни, к природе. Хотя и мы...

У знакомого писателя романов — уже целая стопка на смывном бачке. Это он — нынешним временам в отместку!

Но ведь если вдуматься... Новое время — новые герои: в лучшем случае — проныры беспринципные. Теперь — добрый, честный, порядочный, это — лузер. Научим своих детей лузерами быть, а их возьмёт, да и пожрёт время это проклятое, пусть уж лучше выживать учатся...

А мы, творцы да творюги, побурчим, побурчим, и, ужав свои творения до смешного, опять — печататься, только уже за счёт живота... Скоро на камне для потомков высекаль будем. Айда, ребята, в каменоломни! И резцами, резцами...

Попинав носком ботинка мокрую почерневшую листву, Елена уныло поплелась по улице.

Может, эта осень вообще никогда не кончится?

Но ведь если любишь свой город, он всякий хорош, даже сырой, грустный и обветшалый. Наоборот, сердце ещё больше млеет от дочернего тепла... И не только — к городу, но и к его обитателям.

Вон ребята даже под дождём тротуарную плитку кладут: гастарбайтеры да наша недобитая, кстати, уже второй раз за столетие, интеллигенция. Ползают по тротуарам бедолаги: кто планы на прописку строит, кто музыку сочиняет, а кто и диссертацию о судьбе России обмозговывает. Снизу-то оно видней, куда стране заблудшей подаваться...

И всё бы ничего, «господа хорошие», но внешние порядок и красота — только глаза кормят. А ведь и, правда, сколько можно рабочий люд — одним хлебом морить?! Как звучит, а?.. Особенно по сравнению с прежними до-революционными лозунгами. Зарплаты ведь на треть поурезали, а пенсии — с гулькин нос!

Купив пару булочек, Елена решила зайти в Дом художника: посмотреть — что пишут, и на чаёк. Но — облом! Все здесь были на вентерях: ждали француз — современных импрессионистов, уже два часа...

— Лен, они с вас начали: французы писателей больше уважают, у них даже сопровождающий — писатель! Только — бегом! Им через час — уже в Москву.

В союзе писателей было сумрачно и духовито. Там с упоением квасили двое маститых...

— Где французы?.. — с порога кинулась на них Елена.

— А мы их — послали... Не хрена им тут делать! Кто их звал, ты? Нет. Мы — тоже. Федь, разливай!

— Ну и где они?..

— Во Франции своей. Где ж им быть? Кутузов их мариновал, мариновал, даже Москву сдал. А мы их — на раз-два!

— Так их же художники ждут...

— Да уехали твои французы! Залезли в свой автобус, и — шерше... Даже от Москвы отказались. Видно — нас хватило... Стопку будешь?

— А за что пьём?..

— Поминки у нас. Нет теперь такой профессии — русский писатель! Была, и нету. Пошли мы с Федей пенсию оформлять, а нам — такой профессии в новых списках нет, а значит, и пенсия ваша — тютю... Лен, и что теперь? После шестидесяти на работу не берут, пробовали уже. Кстати, и помещение это уже не наше. Последний раз тут...

Лена отзвонилась художникам. Возвращаться не было смысла. Если только посмеяться? Но в свете только что услышанного что-то расхотелось.

Поглядев со смотровой площадки на реку, она свернула к Каменному мосту, а потом к Золотой аллее: этих мест новшества, слава Богу, ещё не коснулись. Усевшись на сырую скамейку у памятника Пушкина, она вдруг принялась шёпотом виниться:

— Простите, Александр Сергеевич... Не сердитесь. Я не нарочно. Так вышло. Поручили мне вашим стихотворением поэтический вечер открыть. Взяла томик академического издания, раскрыла. «Два чувства дивно близки нам...» Выучила. Прочла со сцены и вдруг слышу: «Ты откуда это взяла? Загляни в книгу!» Заглянула, а там... В предпоследней строке — вместо «божьем промыслом», как я выучила, — пропуск... Одни точки стоят! Но я то эти слова видела, когда учила! Может, сердцем?.. Или инструментом своим поэтическим?

.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как божьим промыслом пустыня
И как алтарь без божества.

Стала потом томик в разных местах открывать и вдруг обнаружила, что и в других стихах вижу слова, вместо которых точки стоят... В первую секунду вижу, потом уходят.

Сначала странным это показалось, почти чудом. А потом поняла: да просто Пушкин — высочайший профессионал!

И на месте этих стёртых временем слов, никакие другие — и не могут стоять! Только они, единственные, к которым весь строй стиха подводит, все предыдущие, да и последующие, намёки, намётки и созвучия. Вот и проявились...

.

А завтра опять была лит. учёба, в общем, и не учёба, а так... — желание попробовать себя на вкус чужими глазами.

Заглянул С. Куняев. Потянуло в родные места теперь уже столичное светило. Но ведь здесь, дома, всё — по-прежнему, почти по-семейному. Заспорили... Мол, сильна его последняя поэтическая книга, только любви в ней — маловато...

— Как? — удивился он, — а вот это? И это... И это!

— Нет... Любовь — это полная самоотдача, а ваш литературный герой только — берёт! Разглядывает на ладошке, оценивает и бережно складывает в поэтический «сундучок».

«А, может, и нельзя сразу двум богам служить, — мысленно вздохнула Елена... — ведь даже в минуты полной физической близости, когда и глаза, и даже душа — слепы, писательский механизм всё ещё продолжает «брать на карандаш» и внутреннее, и внешнее, да и то, что выше...»

Потом молодую, неопытную обсуждали, напрепирались всласть! Считает себя гениальной, да ещё и напор, как у бульдозера. Есть у неё строка: «Уехать бы в Лондон и в Темзу нырнуть...».

«И мне бы! — вздохнула Елена. — Хотя... Меня отсюда — никаким бульдозером! Здесь и помру, как Гумилёв, где-нибудь под сосенкой, под грохот грузовых составов...»

Счастье-то какое — дома, среди своих. И как только эту эмиграцию выносили? Там же ничегошеньки нашего, всяк — за себя, да ещё и в одиночку! А тут мы все, как рябиновые бусы: хоть убей, — красненькие, особенно за бутылкой, ведь после пары стопочек — всё друг дружке братья да товарищи, да ещё и одной иглой — на общую нитку нанизаны!

А вы — жёлтые, белые да коричневые, не спешите возмущаться. Вглядитесь в себя поглубже! Не помогло? Тогда ещё — по чуточке... Ну вот... То-то же!

У нас ведь — здесь... Что бы ни было — тишина ли мёртвая, гвалт ли несусветный — а отойдёшь в сторонку, прислушаешься:

— У-у-у... Стон ли?.. Зов ли? Так и пронзает из края в край — это она, мамка наша, Русь-матушка, губу прикусив, на иголку этого «у-у-у...» всех нас нанизывает.

Никого не пропустит. Потому что любит. Так куда ж от любви ехать-то?..

2019

Марина Улыбышева

Марина Алексеевна Улыбышева — поэт, журналист, корреспондент редакции Духовно-просветительских программ на телерадиокомпании «Ника ТВ». Лауреат литературных премий им. М. Цветаевой, им. В. Берестова, им. Л. Леонова, им. И. и П. Киреевских и в рамках Международной премии М. Волошина в номинации «Лучшая поэтическая книга 2014 г.» специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии». Награждена Патриархом Всея Руси Алексием II благодарственной грамотой, медалью Сергия Радонежского II степени и государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



СМОТРИ НА ЗВЁЗДЫ

* * *

То ли жизнь течёт, то ли мы протекаем сквозь неё.
То ли надо грести, то ли отдаться потоку —
ничего не понятно. Бытиё превращается в битиё.
Поднесёшь доверчивую ладонь, и ударит током.

Обесценилось что-то внутри. Пора принимать, что есть.
Когда нечего есть — иди и смотри на звёзды.
Есть одна лишь книга, которую следует перечесть,
когда все источники заражены и отравлен воздух.

Не пойму, не пойму, куда приклонить главу,
как свой страх запечатать в бутылку и бросить в море...
Но к Успенью, Введенью, отчаянью, Рождеству,
к Воскресению — я молюсь. И помню об уговоре.

Медленные стихи

Что делать осенью в саду?
Сгрести листву, искать слюду?
Ходить туда, сюда, потом сюда-туда?
Ломать сухую череду.
Смотреть на темень на пруду.
Туда-сюда, сюда-туда, туда-сюда...

Да, облетает старый сад.
Да, обнажается фасад.
Дом стар, как век, а век, как дым, исчез куда?
Удел — скитаться не у дел.
И небеса белы как мел.
Туда-сюда, сюда-туда, туда-сюда...

Как много глины и песка
Вон там, у дальнего леска.
Туман прозрачен, и прозрачен пар у губ.
Штакетник сыр, сыра доска.
И забирается тоска
Куда-то внутрь, куда-то в суть, куда-то вглубь.

Её укутаю платком
И убаюкаю тайком.
И никому не покажу, не расскажу,
Как облетает сад, шурша,
Как обнажается душа
И птицей тянется к иному рубежу.

Два стихотворения

Ю. У.

1

Вперёд, вперёд. И нечего больше ждать!
Жизнь движется, манит, грубая, без пасторали.
Работать, мой страус, спешить, на педали жать.
Догнать, перегнать всех тех, которые постарались.

Догнать, перегнать, крутить, гнать и вертеть.
Терпеть — это важно. Держать, и смотреть, и видеть.
Жар-птицу схватить за хвост. За другими успеть.
Любить и любить. Дышать, а не ненавидеть.

Ах, как я лечу! Откидываясь. Наперевес.
Под горку и в горку лечу и кручу педали.
И крутятся вместе со мною река и лес.
И манят-пугают близкие эти дали.

Но здесь я как будто была. Здесь погас мой свет.
Горел и погас: ни кровли ему, ни крова.
Как будто по кругу мой мчится велосипед.
И я догоняю прошлое снова, снова.

Вот-вот я настигну свой вечно прощальный взгляд.
И всё ещё только будет и состоится.
Догнать, перегнать, дышать, не смотреть назад.
А только вперёд. За птицей моей, жар-птицей.

2

Где Бог не выдаст, где свинья не съест...
Готовый и к труду и обороне,
и рад бы ты нести благу весть,
но мечется мятежный дух и стонет.

Попавший чистым ангелом в притон,
дух одурел от ужаса и мрака.
Забитый в форму, в железобетон,
он воет, как безродная собака.

Носитель духа глянет из окна,
раскурит сигаретку и потухшим
зрачком отметит: полная луна
на свет немой выуживает душу.

Задёрнет шторы и замрёт как зверь,
уйдя в себя, не слушая, не слыша,
что совесть и сосед, ключи забывший,
ботинками давно грохочут в дверь.

Правитель

Последний враг отравлен и зарыт.
Последний друг изветами источен.
И даль — чиста... И время — строить быт,
сажать сады и заниматься прочим.

А дел невпроворот — поди-ка, сдюжь,
зажги сердца отвагой трудовой!
Оркестр жарит похоронный туш.
И душно пахнет «Красною Москвою».

Теперь в эфире никаких помех.
Качает полдень веточки акаций.
Дверь распахнёшь — и разом стихнет смех.
И мир взорвётся грохотом оваций.

И ты стоишь пред вечности лицом.
И ширь, и глубь перед тобой мельчают.
...Но высь молчит и хмурится свинцом.
Безмолвствует. Молчит. Не отвечает.

Из цикла «Соседи»

* * *

Я живу в коммунистическом раю.
Умываться утром в очередь встаю.

Есть на свете много горестей и бед:
муж-пьянчуга, злой сосед, гулёна-дочь...
Но санузел коммунальный — вот предмет!
Но, увы, не поэтический — и прочь.

Рай земной! Вчера опять сломала ключ,
отпереть пытаюсь плохонькую дверь.
Дядя Коля на меня глядит, как зверь.
Тётя Клава варит суп — мрачнее туч.

У фрамуги Прохор курит «Беломор».
Дым табачный в горле комом до сих пор.

* * *

Злобный мужичонка курит папироску
и глядит угрюмо из окна
на заката рдяную полоску,
что сквозь щель оконную видна.

Никого рука не обнимает,
потому что некого обнять.
Ничего душа не принимает:
ни понять не может, ни принять.

Только видит дерево сухое,
острым позабыто топором.
Только раздражение глухое
зреет будто чирей под ребром.

Кажется отравой хлеб насущный.
Огненной водой стакан налит.

...А закат в окне, как сад цветущий,
Весь в цветочках аленьких стоит.

Сосед

Никчёмное моё жилище,
где в щелях адский холод свищет,
гдемышь напрасно сыру ищет
и кто-то плачет за стеной...

И то ль небритый, то ли пьяный,
сосед выходит из тумана
и вынимает из кармана
обычный ножичек стальной.

Он крупно режет лук на доли,
он посыпает корку солью,
он целый век не видел воли,
хоть не судим ни по одной.

Он жил как все: ходил в парилку,
держал в заначке полбутылки,
в коробку складывал обмылки,
платил за свет и за жильё.

Ну так и что же? Так и что же?
Какая мысль мне сердце гложет?
А вот. Зачем он носит ножик
в кармане френча своего?

* * *

В далёком-далёком пруду золотом
Жемчужная рыбка махнула хвостом
И скрылась под толщей янтарной воды.
А ты?

А ты не лежал в тех жасминных садах,
Не плавал в тех бархатных дальних прудах,
Не пил ни живой и ни мёртвой воды.
А ты?

А ты, осторожный мой друг-мукомол,
Всё рожь молотил да пшеницу молол.
Конечно, воздастся тебе за труды...
А ты?

А ты, мой печальный неназванный брат,
Ты счастлив, конечно. И всё же не рад.
Всё помнишь, как в детстве в пруду золотом
Жемчужная рыбка махнула хвостом
И — бульк!



Ольга Клюкина

Ольга Петровна Клюкина — прозаик и драматург. Родилась в посёлке Приволжский Саратовской области. Окончила филологический факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Публикуется с 2001 года. Автор романа «Эсфирь», серии книг «Святые в истории. Жития святых в новом формате», других произведений для взрослых и детей. На сцене калужского ТЮЗа поставлена её пьеса «Беликов. Реабилитация». Лауреат премии им. В. Д. Берестова, дипломант XI Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» 2020 года. Член Союза российских писателей. Живёт в Калуге.

КОЗЬМА ПРУТКОВ, ИЛИ БДИ!

Водевиль из провинциальной жизни XIX века

Действующие лица

Владимир Михайлович Жемчужников — питерский литератор 33-х лет.

Козьма Петрович Прутков — он же Семён Петров, мужчина неопределённого возраста.

Аделаида Ивановна Белоголовкина — московская дама без возраста.

Юлия Веселовская — девушка 22-х лет.

Лилия Веселовская — девушка 19-ти лет, младшая сестра Юлии.

Платон Сергеевич Мушкин — калужский поэт 25-ти лет.

Модест Борисович Сливерс — известный калужский врач.

Кондратий Васильевич Веточкин — козельский помещик.

Репортёр газеты «Калужская беседка».

Действие происходит в Калуге в сентябре 1863 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

Комната Платона Сергеевича Мушкина — калужского поэта и скромного банковского служащего. Диван, столик с кипой столичных журналов, подсвечник с оплавленными свечами, гитара с бантом, початая бутылка с вином, лёгкий творческий беспорядок. Утро. В окне видна улица Калуги с двухэтажными домами середины XIX века. Полулёжа на диване, Платон задумчиво играет на гитаре и поёт романс (на стихи Дмитрия Кузнецова «Провинциальный роман»).

П л а т о н .

К дальнему берегу лодка причалит,
Тронет волна камыши...
— Милая барышня, что вас печалит
В этой уездной глуши?
Что вас печалит: закатные дали,
Смутный порыв ветерка?

В комнату без стука, по-свойски входит В л а д и м и р Ж е м ч у ж н и к о в ,
слушает, как поёт П л а т о н .

П л а т о н .

— Нет, ничего. Просто холодны стали
Дни и темнее река,
Словно бы с неба вечернюю просинь
Снял этот сумрачный плёс.
Вы уезжаете, близится осень,
Падают листья с берёз...

Ж е м ч у ж н и к о в . Хороший романс. Чьи стихи?

П л а т о н . А, ты пришёл. Мои.

Ж е м ч у ж н и к о в . Пора на вокзал, Платон.

П л а т о н . Я быстро. *(Начинает торопливо одеваться для выхода в город.)*

Ж е м ч у ж н и к о в *(поёт, слегка передразнивая)*. «Милый Платоша,
что вас печалит в этой уездной глуши?» Небось, опять романс своей зага-
дочной Л. В. посвятил?

П л а т о н . Может быть. *(Помолчав.)* Да, моей невесте.

Ж е м ч у ж н и к о в . Хоть имя назови.

П л а т о н *(берёт в руки гитару и исполняет финальные строки романса)*:

Листья кружат. Но не в силах понять я
Таинство женской души.
Милая барышня, белое платье,
Лодка, река, камыши.

Ж е м ч у ж н и к о в . Сплошная загадка. Но ведь я всё равно узнаю!
Хотя бы тень улыбки заиграла на твоём бледном челе! И почему вы в про-
винции все такие серьёзные и многозначительные?

П л а т о н . А почему вы в столице все такие весёлые насмешники?

Ж е м ч у ж н и к о в . Счёт на равных. А ведь я, Платоша, тебе завидую.
Стихи, чувства... Хотел бы я тоже жить в тихой Калуге, любить милую ба-
рышню, романсы для неё сочинять. Хорошо здесь у вас: берёзы стоят в зо-
лоте, выглянул утром в окно — Ока на солнце блестит...

П л а т о н . Так в чём же дело? Милости просим.

Ж е м ч у ж н и к о в . Боюсь, быстро заскучаю без столичной суеты.
Да и на пылкую любовь талантов в себе не чувствую. А уж чтобы невеста
и жениться... Как говорит один мой хороший знакомый: всегда держись на-
чеку! Ты готов? Пойдём, в экипаже договорим.

П л а т о н . Зачем экипаж? До вокзала пять минут. Ты же любишь золо-
тую осень. *(Уходят.)*



Старая Калуга. Площадь Старый Торг

Сцена вторая

На балконе двухэтажного купеческого дома стоят Аделаида Ивановна и её калужские племянницы Лилия и Юлия. Аделаида Ивановна одета с вызывающей и безвкусной роскошью. Она демонстративно пьёт на балконе шампанское и разглядывает прохожих.

Мимо дома торопливой походкой проходит доктор Сливёрс.

Аделаида Ивановна. Какой представительный мужчина. Кто это?
Лилия. Доктор Сливёрс, тётушка.

Юлия. Модест Борисович опять на вызов спешит. Всегда в трудах.

Аделаида Ивановна (*разочарованно*). А, лекарь... Даже без экипажа. Сколько можно повторять: не называйте меня тётушкой!

Юлия. А как, бабушкой?

Аделаида Ивановна. Ещё не лучше!

Лилия. Вы же самая младшая сестра нашей бабушки.

Юлия. Мы вам троюродные племянницы.

Аделаида Ивановна. Говорите всем: кузина Адель из Москвы.

Мимо дома пробегает Газетный репортёр.

Аделаида Ивановна. А это кто такой молодой да пряткий?

Лилия. Кажется, репортёр из газеты «Калужская беседка».

Юлия. Газетчики всегда в этот час поезд из Петербурга встречают.

Аделаида Ивановна (*разочарованно*). А, газетчик. А другие мужчины в городе есть? Богатые, знатные, знаменитые. Не такие, чтобы на службу бегом бегали, а чтобы в шикарных экипажах выезжали.

Лилия. Желаете полезными знакомствами обзавестись?

Аделаида Ивановна. Хочу в вашей Калуге мужа себе найти.

Юлия. Но... ведь у вас есть муж. Павел Никифорович. Был... пятнадцать... лет назад...

Лилия (*сестре, шёпотом*). Того давно нет. Теперь другой: Сергей Фёдорович.

Аделаида Ивановна. Серж оказался деспотом и тираном. Мы с ним в разводе.

Юлия. Пойдёмте в дом. У нас не принято на балконе, как на выставке, стоять.

Лилия. А в Москве на завтрак шампанское пьют?

На улице появляются Платон с Жемчужниковым.

Аделаида Ивановна. Идите, если хотите. А эти кто такие из-за угла вышли?

Юлия. Платон Сергеевич. Жених нашей Лилечки.

Аделаида Ивановна. Который в бархатном сюртуке?

Лилия. Нет, это его приятель из Петербурга. Мы даже не представлены.

Юлия. Проездом в своё имение в Жиздринском уезде. Вчера приехал.

Аделаида Ивановна. Из Петербурга? (*Лилии.*) Чего ты столбом стоишь, мать моя? Зови скорее сюда своего жениха! Уходят!

Аделаида Ивановна машет кружевным платочком, поднимая руку Лилии и заставляя её делать то же самое.

Юлия. Как вульгарно!

Лилия. Подумает, я к нему навязываюсь.

Под балконом проходят Платон с Владимиром Жемчужниковым, оживлённо между собой разговаривая.

Жемчужников. Мы тогда с братьями всё лето в нашем родовом имении, в Павловке, жили. Ты же знаешь, Александр у нас преотличные стихи и басни пишет, Алексей — комедии для домашнего театра, ну а я по части пародий оказался мастак. Стали мы для смеха такие басни сочинять, чтобы Крылова переплюнуть, а потом и пьески пошли, и всякие стишки. Вернулись в Петербург и никак не можем от своей шутки отстать. Я тогда взял, и всё это наше остроловие в «Современник» отнёс, выдав за сочинения одного вымышленного лица...

Платон. Хочешь сказать, в столичных журналах не умеют стихов от пародий отличить?

Жемчужников. Представь себе! Слопали! И ещё попросили. (*Поднимает голову, замечает дам на балконе.*) Погоди-ка, кто это нам там с балкона руками машет?



Владимир Жемчужников

Жемчужников. Поэт из Петербурга.

Жемчужников. Прошу не путать меня с братьями: мы все не чужды литературе.

Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна. Аделаида. В Москве я для всех просто Адель. А это мои калужские кузины — Юлия и Лилия.

Жемчужников. Тогда для вас я просто Владис.

Платон (*Лилии, тихо*). Вы позвали меня... Даже небо стало светлее, словно среди осени вдруг весна наступила. Вы обещали дать ответ.

Лилия. Я помню. Неделя ещё не прошла.

Жемчужников. Мы сейчас на вокзал спешим, одну персону встречаем из Петербурга. Поэтому вынуждены откланяться. Надеюсь на продолжение знакомства. (*Порывается уйти.*)

Аделаида Ивановна (*хватает его за руку*). Что за персона? Кто таков? Как его имя? Вам ровесник, чуть постарше или совсем старик?

Жемчужников (*удивлённо*). Вовсе не старьёй. Примерно вам ровесник.

Аделаида Ивановна. Каков его вес в обществе? Доходы? Семейное положение?

Юлия. К чему такой допрос, тё... бабуш.. кузина?

Аделаида Ивановна. А что с того? Это вы тут в провинции привыкли жеманиться, ходить вокруг и около. А я люблю прямыми путями ходить. И пустых интрижек не признаю — только законный брак. Потому если мужчинами интересуюсь, так во всех подробностях.

Платон. Она...

Жемчужников. Что это ты вдруг так взволнованно задышал? Которая из трёх? Уж не тот ли экзотический цветок в шляпе с африканскими перьями?

Платон. Нет, Лилия в белом платье. Это какая-то дальняя родственница сестёр Веселовских из Москвы. Нагрянула, как снег на голову... Амелина? Агриппина? Забыл имя.

Жемчужников. Вот я и разгадал твою шараду: ЛВ — Лилия Веселовская!

Платон. Ты видел? Она меня позвала, махнула рукой.

Жемчужников. Так уж и быть, заглянем на минутку.

Платон и Владимир Жемчужников появляются на балконе.

Платон. Хочу вам представить моего друга. Владимир Михайлович

Л и л и я. Я вами шокирована!

Ж е м ч у ж н и к о в. Браво, Адель! Отвечу откровенностью на откровенность. Мы встречаем директора Пробирной палатки Горного департамента Министерства финансов в Петербурге.

П л а т о н. Погоди, ты говорил: какой-то посыльный с твоей рукописью...

Ж е м ч у ж н и к о в (*незаметно дёргает Платона за сюртук, чтобы тот замолчал*). Он и рукопись мою обещался прихватить. Мой приятель тоже стихотворец, но при этом имеет генеральский чин, директорский оклад и казённую квартиру в Петербурге из восемнадцати комнат на Казанской улице.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Восемнадцать комнат? И по каждой, поди, дети бегают, а в гостиной жена серой скалой сидит.

Ж е м ч у ж н и к о в. Ничего подобного. Наш Козьма Петрович живёт в одиночестве, не считая прислуги. В пяти комнатах у него — библиотека и кабинеты, ещё в пяти — райский зимний сад для вдохновения и сочинения возвышенных од.

А д е л а и д а И в а н о в н а. И он один по райскому саду ходит? К смерти, что ли, готовится?

Ж е м ч у ж н и к о в. Зачем же так? Козьма Петрович — мужчина в самом соку. Скажу по секрету, он имеет несколько внебрачных детей от Антонида Платоновны Проклеветантовой, сестры своего сослуживца. Но не желает быть с ней связанным узами Гименея.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Отчего же не желает, раз детей завёл?

Ж е м ч у ж н и к о в. Возвышенная натура: ищет женщину во всех отношениях идеальную. Гений подобен холму, возвышающемуся на жизненной равнине.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Умоляю вас, Владис, приведите его к нам! Сегодня же!

Ж е м ч у ж н и к о в. И умолять не надо. Вечером будем делать визиты по городу — и сразу к вам. (*Смотрит на часы.*) Идём, Платон, как бы нам к поезду не опоздать.

Ж е м ч у ж н и к о в и П л а т о н раскланиваются и уходят.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Что я вам говорила? Прямой путь самый короткий.

Ю л и я. Я чуть со стыда не сгорела.

Л и л и я. Нельзя же так... прямо в лоб бить.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Какая гармоническая личность! Тут тебе сразу и директор с генеральским чином, и казённая квартира с садами... (*Лилиш*). Когда у тебя с твоим бледным женихом свадьба?

Л и л и я. Я ещё не дала окончательный ответ. А что?

А д е л а и д а И в а н о в н а. Не тяни, душа моя. Этого директора Пробирной палатки надо будет в шаферы позвать. Мы с ним в церкви рядом будем хорошо смотреться.

Сцена третья

Гостиная в доме Веселовских убрана для приёма гостей. На столике расставлены закуски, фрукты, шампанское. Аделаида Ивановна, одетая ещё более вызывающе, сидит напротив хмурой Лилии за карточным столиком.

Лилия. Разве так уж обязательно в карты играть? Девушкам в покер неприлично.

Аделаида Ивановна. Учись, пока я здесь. Для мужчин после ужина перекинуться в картишки составляет большую приятность, а нам это ничего не стоит. Мы ведь в шутку, по-семейному... Куда это Юлия некстати ушла? Из-за неё третья пара распадается.

Лилия. К доктору Сливерсу, куда же ещё.

Аделаида Ивановна. Больна, что ли?

Лилия. Если бы. Вздумала медицине учиться. *(Бросает карты.)* Не буду! Я всё равно все ходы перепутаю и буду глупо выглядеть.

Аделаида Ивановна. Глядишь, карты и не понадобятся. Если мы после ужина сразу к танцам перейдём.

Лилия. К танцам? Но мы же не бал даём.

Аделаида Иванова. А ты зажмурься и представь, будто на балу в Москве с женихом вальсируешь и никого вокруг не замечаешь. Так какая тебе разница, где танцевать? *(Прислушивается к звону колокольчика.)* Пришли. Сделай-ка, душа моя, лицо веселее, а то от твоего вида шампанское скиснет.

В комнату входят Владимир Жемчужников, Платон и Козьма Петрович Прутков — мужчина средних лет с пышными каштановыми кудрями, в ярком жилете и с пёстрым бантом на шее.

Жемчужников. Знакомьтесь: мой приятель из Санкт-Петербурга Козьма Петрович Прутков.

Аделаида Ивановна. Адель, а это — моя кузина Лилит. *(Пруткову.)* Я так много наслышана о ваших талантах, Кузьма Петрович, и давно мечтала познакомиться. Чувствуйте себя, как дома.

Прутков, потирая руки, садится за стол, залпом выпивает бокал шампанского и начинает с большим аппетитом закусывать.

Аделаида Ивановна *(Лилии)*. Он даже интереснее, чем я представляла. Никогда бы не подумала, что под пёстрым бантом художника может скрываться генеральский чин и директорский оклад. И здоровье отменное: шампанское на голодный желудок пьёт.

Лилия. Похоже, он сегодня не обедал.

Аделаида Ивановна *(Жемчужникову)*. Какие у вашего приятеля приятные, свободные манеры. Только он... какой-то неразговорчивый.

Жемчужников. Скажу по секрету, Адель: он обиделся. Вы ведь назвали его Кузьмой Петровичем.

Аделаида Ивановна. А как надо? Ваше превосходительство?

Жемчужников. Не Кузьма — Ко-о-озьма — Петрович. Вспомните родного героя Козьму Минина, итальянского герцога Козьму Медичи, святых Козьму и Дамиана. Мой приятель слеплен из того же отборного теста.

Аделаида Ивановна. Постараюсь запомнить: Козьма... коза... козни... (*Кокетливо Пруткову.*) Прочтите нам что-нибудь из своих стихов, Ко-о-озьма Петрович.

Жемчужников (*Пруткову*). Ты что, не слышишь? Дамы желают составить твой портрет.

Козьма Прутков. Мой портрет!

Прутков вытирает рот салфеткой и с выражением читает стихотворение «Мой портрет».

Козьма Прутков.

Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого волосы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
Знай: это я!

Аделаида Ивановна. Очень смело: наг среди толпы.

Лилия (*Платону*). Он и правда всегда дрожит в нервическом припадке?

Платон. Сие аллегория.

Козьма Прутков.

Кого язвят со злостью вечно новой,
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвёт;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой —
Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!

Аделаида Ивановна. Да вы просто змей-искуситель, Ко-о-озьма Петрович!

Жемчужников. Хочу заметить, что в лице одного Козьмы Пруткова непостижимым образом сошлись дарования, рассыпанные во всех других поэтах понемножку. Пушкин, Лермонтов, Державин, Полонский, Бенедиктов — только сразу в одном флаконе! Перу Пруткова подвластны все драматические жанры: комедия, водевиль, античная трагедия, шекспировская драма. Про басни и эпиграммы я даже не говорю, это само собой разумеется. Как вам, Платон Сергеевич, новый гений?

Платон. По-столичному читает: громко, с жестами, на публику.

Лилия. У нас в Калуге так не умеют.

Аделаида Ивановна (*несколько подозрительно*). Вы так нахваливаете Ко-о-озьму Петровича, будто он отец вам родной. Никогда не слышала, чтобы в Москве поэты друг друга так превозносили.



Козьма Петрович Прутков

Жемчужников. Напротив, это я его отец родной... в некотором смысле. Недавно составил протекцию на постановку пьесы Козьмы Петровича в императорском театре. Мы с братьями, можно сказать, является опекунами Пруткова в литературе и одновременно — его наперсниками, клеветрами. Козьма Петрович, а вы что молчите?

Козьма Прутков. Если у тебя есть фонтан, заткни его, — дай отдохнуть и фонтану.

Аделаида Ивановна. Да вы... мудрец! Надеюсь посмотреть вашу пьесу... из авторской ложи.

Жемчужников. Почему же только посмотреть? Мы в Калуге собираемся своими силами поставить спектакль по пьесе Козьмы Петровича

«Блбнды» — это такие белевские кружавчики из тонкого шёлка...

Аделаида Ивановна. Не смешите. Мне ли про кружева не знать?

Жемчужников. Можете рассчитывать за главную роль княгини.

Лиля. А я?

Жемчужников. В другой раз. В пьесе всего три роли, и две из них мужские.

Аделаида Ивановна. Я согласна на княгиню... (*Пруткову, кокетливо.*) Если автор не будет против.

Козьма Прутков. Я... того. Щёлкни кобылу в нос — она махнёт хвостом.

Аделаида Ивановна. Что? Как это понимать?

Жемчужников. Козьма Петрович имел в виду, что уже завтра, не откладывая, надо начинать репетиции. Таков удел мыслителя, философа и составителя государственных проектов — выражаться исключительно афоризмами. А теперь мы вынуждены вас покинуть: Козьму Петровича ожидают на ужин к губернатору.

Жемчужников и Козьма Прутков в сопровождении Аделаиды Ивановны выходят за дверь. Платон задерживается возле Лилии.

Платон. Вы мне сегодня ни разу не улыбнулись.

Лиля. Я должна играть княгиню.

Платон. Лиля, цветочек мой, тебе не нужно участвовать в спектакле. Это же сплошной фарс, балаган, шутка...

Лиля. Для меня — не шутки. Скажите своему другу, чтобы он мне отдал роль. Он вам не откажет.

Платон. Я для тебя всё, что угодно, сделаю!

Лиля. Посмотрим. Надеюсь, это непустые слова.

Сцена четвёртая

Вечер. В комнате Платона уютно горит настольная лампа, стоит наполовину пустая бутылка из-под вина, ваза с яблоками и виноградом. Жемчужников играет на гитаре и поёт романс на стихи Козьмы Пруtkова.

Жемчужников.

Осень. Скучно. Ветер воет.
 Мелкий дождь по окнам льёт.
 Ум тоскует; сердце ноет;
 И душа чего-то ждёт.
 И в бездейственном покое
 Нечем скуку мне отвести...
 Я не знаю: что такое?
 Хоть бы книжку мне прочесть!

Жемчужников. Эх, порой так хочется написать что-нибудь сердечное, душещипательное, а выходит какой-то перевод с персидского, из ибн-Фета. Очередные куплеты для Козьмы Пруtkова.

Платон (*улыбаясь*). В калужских лесах встречаются птички-пересмешники: разным голосам умеют подражать. Ты, Владимир, как раз из такой редкой породы.

Жемчужников. Пересмешник? Лучше бы соловей. Со мной уже Бенедиктов не здороваются, словно заподозрил что-то... (*Поёт.*)

Над плакучей ивой
 Утренняя зорька.
 А в душе тоскливо,
 И во рту так горько.
 В синеве небесной
 Пятнышка не видно...
 Почему ж мне тесно?
 Отчего ж мне стыдно?
 Вот я снова дома:
 Убрано роскошно...
 А в груди истома
 И как будто тошно!
 Свадебные брашна,
 Шутка-прибаутка...
 Отчего ж мне страшно?
 Почему ж мне жутко?

Платон. Скажи, зачем всю эту кашу заварил? Ну, пошутил разок и — хватит. Теперь ещё спектакль затеял. Мы из-за него с Лилией чуть не поссорились.

Жемчужников. А я, Платоша, в человеческой природе разобраться хочу. Помнишь, блаженный Августин в пятом веке писал: «Человека хвалят — и вот все его заглазно начинают любить». Получается, за столько столетий в человеческой природе ничего не изменилось? И людям в головы любую глупость можно вбить, если определённое усердие приложить. Вот я и смотрю, когда наши господа литераторы поймут, что мы их за нос водим.

Платон. И забавлялся бы в Петербурге с господами литераторами с Петербурге. Зачем дамам морочить?

Жемчужников. А я, знаешь ли, Платоша, люблю летом в своей Павловке щук ловить. Щукам ведь непременно живца или какую-нибудь блестящую приманку подавай. Посмотрим, какие тут у вас в Калуге светские щучки водятся. Ох, Аделаида Ивановна... Где я раньше слышал это имя?

Сцена пятая

Гостиная в доме Веселовских, где идёт репетиция домашнего спектакля по пьесе Козьмы Пруtkова «Блонды». Жемчужников исполняет роль князя, в роли княгини — Лилия. В креслах вокруг сидят зрители: Аделаида Ивановна рядом с Козьмой Пруtkовым и Платон рядом с Юлией.

Жемчужников. Внимание, начинаем репетицию. Княгиня, ваш выход.

Лилия в роли княгини. Очень, очень мило!.. *(К публике.)* Прошу покорно, скоро уже двенадцать часов, а его нет и, верно, опять приедет, не исполнив моей просьбы. Хорошо! Будете раскаиваться, мой милый Serge! Впрочем, на что я жалуюсь? Это общая участь всех нас: пока мы в девицах, за нами ухаживают, нам обещают многое, а потом... *(Смотрится в зеркало.)* Неужто я уже подурнела? О нет! За мной же очень многие волочатся. И право, если мой Serge будет продолжать так вести себя, то... prenez garde... берегитесь!

Приложив палец к губам, Жемчужников в роли князя снимает перчатки, подкрадывается на цыпочках к княгине и закрывает ей глаза руками.

Лилия в роли княгини. Ах!.. Ах!..

Жемчужников в роли князя *(иронически)*. Давно ли, ваше сиятельство, вы начали пугаться моего появления?

Лилия в роли княгини *(с неудовольствием передёргивая плечами)*. Я, право, не понимаю, откуда вы берёте такие странные привычки?

Жемчужников в роли князя *(обиженный)*. Опять с упрёком! Неужели, мой ангел, ты думаешь, что я делаю это нарочно? Нельзя же мне переменить себя.

Лилия в роли княгини *(в сердцах)*. Послушай, князь, ты меня выводишь из терпения! Я вижу, тебе приятно сердить меня! И вообще: где мои кружавчики?

Жемчужников в роли князя *(в сторону)*. Что ей сказать? Ведь деньги я проиграл в клубе.

Аделаида Ивановна *(Пруtkову)*. Как точно схвачено! А вы, оказывается, великий знаток семейных отношений.

Юлия. Пожалуйста, тише, а то сестра с роли собьётся.

Жемчужников в роли князя. Она отвернулась, не слушает меня!.. Хорошо, отплачу ей тем же! *(Садится за стол и начинает ужинать.)* Какие прекрасные котлеты!

Лилия в роли княгини. Меня удивляет ваше поведение, Серж. Наговорив мне кучу дерзостей, вы, противу всяких правил, позволили себе сесть за ужин одни, не дожидаясь меня!

Жемчужников в роли князя (*продолжая есть*). Но, рассудите сами, кто кого затронул? К тому же я, право, не знаю: о каких вы говорите кружавчиках?

Лилия в роли княгини (*в негодовании*). Как! вы отрекаетесь от своего обещания? Это уже неблагородно! Это даже гадко!..

Аделаида Ивановна (*громким шёпотом, Пруткову*). Сердцевед! Гений! Эта роль написана для меня.

Юлия. Прошу вас, потише.

Жемчужников в роли князя. Вы, кажется, начинаете браниться? Ну да, я действительно обещал купить вам блонды... миленькие такие кружавчики; но не куплю теперь, ни за что не куплю!..

Лилия в роли княгини. Купите! Купите-купите! Непременно купите!..

Жемчужников в роли князя. Ну вот увидим! Так не куплю же!

Лилия в роли княгини. Нет, купите, купите!.. Или... я завтра же оставлю дом этот, и мы с вами больше не увидимся!

Аделаида Ивановна. Ах, ох... У меня прямо сердце разрывается.

Юлия. Вам плохо, тётушка? Вы побледнели.

Аделаида Ивановна. На себя посмотри, душа моя. Купила бы себе румян в гостиных рядах, а то даже конторщик замуж не возьмёт.

Юлия обиженно отворачивается от Аделаиды Ивановны.

Жемчужников в роли князя. Ваши угрозы не испугают меня. Я несколько не опечалюсь вашим отъездом. Счастливого пути, уезжайте!

Лилия в роли княгини. И непременно уеду! Боже мой, как я несчастна с этим извергом!

Аделаида Ивановна вдруг падает в обморок. Сидящий рядом Платон успевает её подхватить. Все, кроме Лилии, вскакивают со своих мест и окружают Аделаиду Ивановну.

Лилия. Что происходит?

Юлия. У тётушки обморок!

Аделаида Ивановна (*открывая глаза*). Какая я тебе тётушка? Ах... (*Снова падает в обморок.*)

Лилия. Погодите! В этой сцене я должна падать в обморок! Я!

Юлия. Платон Сергеевич, подержите ей голову. У меня в кармане напатырь есть. Принесите кто-нибудь воды! Лилия, достань из буфета водку, ей надо лоб и виски натереть...

Зрители начинают хлопотать вокруг Аделаиды Ивановны, обмахивают её веерами, брызгают водой.

Аделаида Ивановна (*открывая глаза*). Где я?

Юлия. В Калуге, среди своих родных.

Аделаида Ивановна. Это вы, мои бедные сиротки? (*Показывает на Жемчужникову.*) А ты — вылитый Серж, мой муж... мне плохо.

Ю л и я. Я позову доктора Сливверса.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Не надо доктора. Мне померещилось, что Серж здесь, он настиг меня.

Ю л и я. Это Владимир Михайлович, не волнуйтесь.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Зачем ты взял имя моего мужа? И приклеил его усы?

Ж е м ч у ж н и к о в. Это вы у автора спросите.

А д е л а и д а И в а н о в н а (*приподнимается и пристально глядит на Пруткова*). Признайтесь, Ко-о-озьма Петрович, вы знакомы с Сержем... с князем Сергеем Фёдоровичем Белоголовкиным?

К о з ь м а П р у т к о в. Уф... Хм... Слабеющую память можно сравнить с увядающей незабудкой.

Ж е м ч у ж н и к о в. Козьма Петрович говорит, что не припоминает такого.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Но тогда откуда вам известно о нашей последней ссоре? Хотя я просила мужа купить не кружев, а бисера на платье, а всё остальное — слово в слово.

Ж е м ч у ж н и к о в. Я же вам говорил? Прутков — гений, прозорливец!

А д е л а и д а И в а н о в н а. Господа, отнесите меня в спальную комнату. И вот эту подушечку с дивана захватите... Козьма Петрович, посильнее машите веером.

Л и л и я. Но мы не закончили репетицию! У меня в пятом акте главная сцена.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Только не оставляйте меня одну. И ещё коньяку для натираний...

Процессия мужчин с А д е л а и д о й И в а н о в н о й удаляется в соседнюю комнату. Л и л и я раздражённо швыряет в угол шляпу, в которой она исполняла роль княгини.

Л и л и я (*Юлии*). Ты видела? Нарочно упала в обморок, чтобы привлечь к себе внимание.

Ю л и я. Да ты что! Платон еле успел её подхватить.

Л и л и я. И назло всю дорогу мне мешала.

Ю л и я. Ты превосходно играла, Лилечка. У тебя талант.

Л и л и я. Ах, оставьте все меня! Это невыносимо! (*Убегает в слезах.*)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена шестая

Вечер в доме Веселовских. Ю л и я держит в руках большого игрушечного медведя, учится на нём делать перевязки и накладывать шины. Л и л и я раздражённо ходит по комнате, останавливается возле большого зеркала.

Л и л и я. Самое лучшее моё платье — и всё равно не то! Старомодно смотрится. Никакого шика нет.

Ю л и я. Лилечка, ты в любом платье красавица.

Л и л и я. А что толку? В городе все только и говорят про нашу тётку. Что в ней есть такого, чего во мне нет? Лицо, фигура?

Ю л и я (*улыбаясь*). Кажется, я это уже слышала в роли княгини. (*Шутливо передразнивая*.) «О, неужто я подурнела? Купите! Непременно купите!»

Л и л и я. Может, весь секрет в причёске или особенных шляпках? (*Примеряет на себя шляпу Аделаиды Ивановны*.) Ничего не скажешь, умеет наша старушка пыль в глаза пустить. Увидел бы её кто-нибудь без помады, без пудры, без корсета — со страху бы разбежались.

Ю л и я. Не злись. А не пора ли и нам, Лилечка, о твоём свадебном платье подумать?

Л и л и я. Ах, даже не знаю. Пока мы в девицах, за нами ухаживают, нам обещают многое, а потом...

Ю л и я. Опять из твоей пьесы.

Л и л и я. Может, мне лучше в актрисы пойти, чем замуж?

Ю л и я. Какие глупости. У тебя Платоша есть. Платон Сергеевич.

Л и л и я. И что в нём такого особенного? Мелкий банковский служащий, на досуге стишки пописывает. Что меня с ним ждёт? Маленькая квартирка где-нибудь на Дворянской, дети, котлетки на обед... И такое всё маленькое, как в кукольном домике. Да у него и фамилия под стать: Мушкин. А я буду госпожой Мушкиной.

Ю л и я. Почти что Пушкин.

Л и л и я. То ли дело — Жемчужникова!

Ю л и я. Я тебя не понимаю, Лиля. Платон тебя любит. Давно любит. Лучшего мужа во всём мире не найти.

Л и л и я. Он у тебя с языка не сходит: Платон Сергеевич, Платоша. Можно подумать, ты в него влюблена. Вот сама за него и выходи.

Ю л и я. Зачем ты так? Не мы выбираем, а мужчины нас.

Л и л и я. Разве это справедливо? Я бы тогда лучше выбрала Владимира Михайловича. Весёлый, учтивый, одет с иголочки, фамилия красивая. И шутит всё время: с таким мужем точно не соскучишься.

Ю л и я. Кажется, ты слишком заигралась.

Л и л и я. Нет, платья, украшения — ерунда. Тётка умеет взять с мужчинами правильный тон — вот в чём всё дело. Такой открытый, непринуждённый... Вроде бы глупой перед всеми выставляется, а получается наоборот. Помнишь, как они с Владимиром Михайловичем за одну минуту общий язык нашли? «Отвечу вам откровенностью на откровенность». «Скажу по секрету». И он её теперь на руках носит.

Ю л и я. Так ведь обморок был... Платон тебя тоже будет на руках носить.

Л и л и я. Послушай-ка, а что, если мне Козьму Петровича взять в оборот? Богатый, одинокий, восемнадцать комнат с райскими садами в Петербурге. Чем я ему не пара? И с детьми возиться не придётся — для него уже какая-то Антонида Платоновна постаралась. И право, если Платон будет продолжать так вести себя, то... prenez garde... берегитесь!

Ю л и я. Перестань, Лиля! Одно дело — глупая пьеса, оперетка, а другое — жизнь...



Старая Калуга

Л и л и я. Смотри-ка, а вон и Козьма Петрович. Лёгкок на помине! Правильно тётка говорит: прямой путь — самый короткий. (*Выбегает на балкон.*) Добрый день, драгоценный Козьма Петрович! Куда это вы так спешите? Может, заглянете к нам на чашку чая? Расскажите, что у вас в жизни хорошего?

Ю л и я. Лиля, прекрати! Такого даже тётя себе не позволяет — с балкона на весь город кричать.

К о з ь м а П р у т к о в. Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. Недосуг мне сейчас. (*Убегает.*)

Л и л и я. Ничего трудного: лёгкий, свободный тон, игривость, никакой натянутости. Надо бы мне с Козьмой Петровичем так наедине поговорить, чтобы он меня вблизи получше разглядел и сравнил с напудренной старухой. (*Берёт лист бумаги, начинает что-то писать.*) Ты ведь слышала, как он её с кобылой сравнил?

Ю л и я. Что ты пишешь? Записка? Кому? Уж не отказная ли Платону Сергеевичу?

Л и л и я. Не угадала! Козьме Петровичу назначаю свидание.

Ю л и я. Я тебе не верю! Совсем распалилась. Дай сюда записку! Немедленно, отдай!

Л и л и я начинает бегать от сестры с запиской по комнате.

Л и л и я. Не догонишь! Не догонишь!

Л и л и я выбегает на балкон, за ней Ю л и я, которая старается выхватить из руки сестры записку.

Л и л и я. А вон Жемчужников идёт. Здравствуйте, любезный Владимир Михайлович. Куда это вы так торопитесь?

Ю л и я смущённо прячется за спину сестры.

Ж е м ч у ж н и к о в. Душа моя, вы Козьму Петровича случайно не видали?

Л и л и я. Он вон туда, к городскому саду побежал.

Ж е м ч у ж н и к о в. Так я и знал: опять в «Кукушку». Мол, ему по генеральскому чину лучшие рестораны полагаются. Ну, я его найду...

Л и л и я. Как найдёте Козьму Петровича, передайте ему вот эту записочку. От одной известной особы. Сердечные тайны!

Л и л и я бросает с балкона записку, Ж е м ч у ж н и к о в её подхватывает и кладёт в карман.

Ю л и я. Что ты делаешь?

Ж е м ч у ж н и к о в. Непременно передам, милая. (*Торопливо уходит.*)

Л и л и я. Слышала, как он сразу со мной заговорил? «Душа моя», «милая». Нет, тётка не зря приехала...

Ю л и я (*возмущённо*). Лучше бы не приезжала. Пятнадцать лет про нас не вспоминала, и на тебе... А ты... ты сейчас себя вела, как девушка лёгкого поведения.

Л и л и я. Что ты сказала? Повтори!

В комнату входит А д е л а и д а И в а н о в н а, нагруженная коробками из магазинов.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Кто это тут у нас лёгкого поведения?

Л и л и я. Мы с сестрой ... новый французский роман обсуждаем.

Ю л и я (*сестре*). Врёшь — и даже не краснеешь. Что с тобой стало?

А д е л а и д а И в а н о в н а. Ах, роман... Не то вы читаете. И что у вас в Калуге за магазины. Парика нормального не найти, пришлось из цыганских волос брать.

Л и л и я. Адель, вы опять без меня по магазинам ездили? Обещали же...

Ю л и я. Парик-то вам зачем понадобился?

А д е л а и д а И в а н о в н а. Ах, мои отсталые провинциалочки. Сразу видно, что вы читали модной пьесы Ко-о-озьмы Петровича «Черепослов, сиречь френолог», а вот я ознакомилась. Все умные люди теперь на голове друг у друга шишки ощупывают, и по ним характер человека узнают.

Ю л и я. Френология — лженаука, это давно доказано. Сплошное шарлатанство и надувательство.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Не умничай, душа моя. Девицам в твоём возрасте это уже не к лицу.

Л и л и я. А парики тут при чём?

А д е л а и д а И в а н о в н а. Под парик можно любых шишек из воска налепить. (*Надевает парик и ощупывает свою голову.*) Вот сюда — шишку любви, тут — шишка ума, тут — музыкальных талантов. Козьма Петрович их в следующий раз ощупает и убедится, что ничем не хуже вашей Смирновой-Россет.

Ю л и я. Та, что Гоголя в загородном доме принимала?

Аделаида Ивановна. Не смей называть при мне этого имени. Куда ни пойдёшь — только и разговоров об этой вашей бывшей губернаторше. И Гоголь, видите ли, к ней приезжал, и Белицкий её знал...

Юлия. Белинский.

Аделаида Ивановна. Впору самим в Калуге литературный салон завести, чтобы этих имён не слышать. Тем более у нас Ко-о-озьма Прутков есть.

Лилия. Я согласна! Назовём наш салон «Лилия» и будем приглашенные билеты белыми лилиями украшать. Юлия красиво цветы рисует.

Аделаида Ивановна. В честь тебя, что ли? А в тебе, Лилит, есть столичная перчинка. Возьму тебя с собой в Москву.

Сцена седьмая

Городской сад в Калуге. Очертания Троицкого собора, набережная с видом на Оку.

Козьма Прутков, пошатываясь, выходит из ресторана «Кукушка», садится на скамейку.

Козьма Прутков. Уф, в спёртом воздухе при всём старании не отдышишься. *(Разглядывает записку.)* «От известной вам особы».

Из дверей ресторана звучит музыка — Жемчужников в сопровождении нестройного хора мужчин и оркестра исполняет песню на стихи Козьмы Пруткова.



Калужский городской сад. За фонтаном здание ресторана «Кукушка». Ресторан «Кукушка» появился в 1862 году, он представлял собой деревянное, крытое железом здание, в котором был большой зал с колоннами, маленькая комната для провизии, буфет. Стекланные рамы отделяли зал от террасы, окружавшей здание с трёх сторон. Из ресторана «Кукушка» было два выхода: со стороны северного фасада в сквер, а со стороны западного — к эстраде («ракушке»)

Хор из ресторана:

Шея девы — наслажденье;
 Шея — снег, змея, нарцисс;
 Шея — ввысь порой стремленье;
 Шея — склон порою вниз.
 Шея — лебедь, шея — пава,
 Шея — нежный стебелёк.

Козьма Прутков. Может, сбежать от всех, пока не поздно? А вдруг да выгорит? С хорошими деньгами в Москве и со старухой, чем не житьё? Пока она разберётся, что к чему... А то ведь побьют или за решётку упекут. Им-то, сочинителям, с рук сойдёт, а мне скажут: на чужие ноги лосины не натягивай.

Хор из ресторана:

Шея — радость, гордость, слава;
 Шея — мрамора кусок!..
 Кто тебя, драгая шея,
 Мощной дланью обоймёт?
 Кто тебя, дыханьем грея,
 Поцелуем пропечёт?

Голоса из ресторана: Браво, Прутков! Лихо сказано: поцелуем пропечёт!

Козьма Прутков (*в задумчивости, сам с собой, слегка заплетающимся голосом*). Хорошо всё-таки умным человеком быть, уж куда лучше, чем дурак-дураком. Все тебя любят, уважают, превозносят. Только вот мудрость, подобно черепаховому супу, не каждому доступна.

К скамейке, где сидит Прутков, подходит Лилия в парике и в шляпке с тёмной вуалью, подсаживается рядом.

Лилия. Я знала, что вы откликнитесь и придёте. Вы — само благородство: оставили ради меня ужин в кругу друзей.

Козьма Прутков. Адель? Эх, ладно: чем скорее проедешь, тем скорее приедешь. (*Придвигается ближе.*)

Лилия (*откидывая с лица вуаль*). Что вы делаете? Это я! Второпях я забыла подписать записку. Козьма Петрович, вы для меня как духовный отец. Я пришла с вами посоветоваться... открыться... Речь идёт о моём будущем и любви к одному человеку. Я — калужская сирота, и меня против моей воли хотят отдать замуж за человека, которого я не люблю.

Козьма Прутков. Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удаётся, но всякой желается попасть в дамки.

Лилия. Вы правы... В Петербурге немало красивых, молодых девушек, но вы их отринули, так как ищите существо идеальное, высшее... Только в провинции, где ещё не испорчены нравы, вы сможете найти такую девушку. Нужно лишь как следует приглядеться, посмотреть по сторонам.

Козьма Петрович оглядывается и замечает сидящего в кустах
 Жемчужникова.

Козьма Прутков. Ой! Вон там... под кустом. Зри в корень!

Жемчужников прикладывает палец к губам, чтобы он молчал
и снова прячется в кустах.

Козьма Прутков. Примерещилось.

Лилия. Хватит кружить вокруг да около. Тётка права. Выслушайте меня, Козьма Петрович. Я полюбила вас с первого взгляда, как только увидела ваш пышный бант... Лучше меня вы всё равно никого не найдёте. Можете осторожно пощупать, какая у меня большая шишка любви, вот — шишка хозяйственности, а тут — увядающей красоты...

Козьма Прутков. Чувствительный человек подобен сосульке: пригрей его — он и растает.

Прутков начинает тянуть Лилию к себе.

Лилия. Что вы себе позволяете? Шишки у меня на голове, а не здесь! Отпустите! Какое бесстыдство!

Козьма Прутков.

Кто тебя, драгая шея,
Мощной дланью обоймёт?
Кто тебя, дыханьем грея,
Поцелуем пропечёт?

Лилия. Да вы пьяны! Спасите меня! На помощь!

Из кустов выскакивает Жемчужников.

Жемчужников. Козьма Петрович, вот вы где! Я вас повсюду ищу. Вас там все заждались.

Козьма Прутков. Эх... Однако не каждая щекотка доставляет удовольствие. ... *(Уходит в «Кукушку».)*

Жемчужников *(Лилии)*. Лилия, вы? Что случилось? Вы звали на помощь?

Лилия. Я дожидалась Платона Сергеевича, а тут вдруг Козьма Петрович... накинулся на меня, как лев.

Жемчужников. Свидания при луне? Княгиня, вы разбудили в груди моей змею, давным-давно уснувшую! Я стражду, я мучусь, я требую объяснения!

Лилия. Вы всё умеете обратить в шутку — за это я вас обожаю.

Жемчужников. Хотите, я позову Платона? Он сидит в «Кукушке» с видом страдальца: не ест, не пьёт...

Лилия. Не говорите ему, что я здесь. Я пришла по делу... насчёт моего литературного салона. И рада, что встретила вас.

Жемчужников. Что я слышу? Княгиня, вы меня интригуете.

Лилия. Пойдёмте, я всё объясню... *(Вместе уходят.)*

Сцена восьмая

Из ресторана «Кукушка» выходит П л а т о н.

П л а т о н (себе под нос). Куда все разом подевались? Тоже мне, столичные манеры. Исчез, даже не попрощавшись...

В ночном парке появляется Ю л и я. Она испуганно смотрит по сторонам, шарахается от теней, прислушиваясь к шорохам и звукам ресторанной музыки. Неожиданно Ю л и я сталкивается с тёмной фигурой на аллее.

Ю л и я. Ах! Кто вы?

П л а т о н. Тихо! Вы мне чуть руку не сломали.

Ю л и я. Вы, Платон Сергеевич? Какое счастье! Не думала вас здесь встретить.

П л а т о н. Я уж тем более не ожидал в такой час. Что вы тут делаете одна?

Ю л и я. Ищу Лилию.

П л а т о н. Сестру? Ночью? В городском саду?

Ю л и я. Да нет... сестра спит... я хотела сказать, что ищу одно место. Здесь где-то есть фонтан в виде лилии... или цветочная клумба.

П л а т о н. Не припоминаю. Ну и ну! Юлия, у вас любовное свидание у фонтана?

Ю л и я. Может быть.

П л а т о н. Я вас сто лет знаю. Никогда бы не подумал, что вы способны на такие романтические авантюры.

Ю л и я. Не преувеличивайте. Мне всего двадцать два.



Старая Калуга. Смотровая площадка с видом на Оку в городском саду

П л а т о н. Конечно, вы ещё молодая. И такая миленькая при свете луны. Просто я привык видеть в вас старшую сестру: такую правильную, рассудительную.

Ю л и я. Так и есть. После смерти родителей я отвечаю за счастье Лили.

П л а т о н. Давно хотел спросить: вы всегда носите с собой нашатырь? Помните, тогда, на репетиции?

Ю л и я. Всегда, он и сейчас у меня с собой. Вам нужно?

П л а т о н. Нет-нет... Я тогда удивился: как быстро вы его нашли.

Ю л и я. Вокруг очень много чувствительных барышень, чуть что — сразу в обморок. Я и йод на всякий случай с собой ношу. Для детей.

П л а т о н. Для каких детей?

Ю л и я. Иногда я в парк хожу смотреть, как дети играют. Бывает, так сильно расшались, что могут и ушибиться ненароком. А тут я с аптекой в сумочке...

П л а т о н. Ах, да, Лилия мне говорила. В последнее время вы на ней перевязки практикуете. Странное занятие для барышни.

Ю л и я. Почему же странное? Лилечка скоро выйдет замуж, вы с ней будете своей семьёй жить. А я одна останусь. Хоть кому-то буду полезна.

П л а т о н. Не приbedняйтесь. Судя по всему, вы делаете большие успехи в личной жизни. Ещё неизвестно, кто из нас скорее пойдёт под венец.

Ю л и я (*испуганно*). Что? Сестра вам отказала?

П л а т о н. Нет, но в последнее время стала холодной, неприступной. Я до сих пор не получил от неё ответ.

Ю л и я. Лилия молода и впечатлительна. Все эти пьесы, роли, новые люди немного вскружили её голову.

П л а т о н. Я во всём неудачник.

Ю л и я. Не говорите так! Вы лучше всех. Просто вы тихий, застенчивый, не любите себя выпячивать. Они все скоро уедут, а мы останемся. Всё будет хорошо, как прежде. (*Платон берёт Юлию за руку.*)

П л а т о н. Спасибо, Юлия. Вы... удивительная девушка, такая чуткая... ни на кого не похожи. Хотел бы я знать, кто тот счастливчик, кого вы в ночном парке дожидаетесь.

Ю л и я (*одёргивая руку*). Доктор Сливерс!

П л а т о н. Что?

Ю л и я. Доктор Сливерс идёт. Здравствуйте, Модест Борисович!

Торопливой походкой появляется доктор С л и в е р с.

Д о к т о р С л и в е р с. Эх, молодёжь. Вам бы только при луне миловаться, а меня снова из постели выдернули. Опять в ресторане драка. Вчера козельский помещик Кондратий Веточкин буянил, сегодня с каким-то приездом ссора. Я бы запретил в «Кукушке» ножи с вилками подавать.

По аллее в сторону «Кукушки» пробегает Газетный Репортёр.

Г а з е т н ы й Р е п о р т ё р. В «Кукушке» драка! Подробности в завтрашнем номере газеты!

Ю л и я. Я готова вам ассистировать, Модест Борисович.

Доктор Сливёрс. Ни в коем случае! Молодым и красивым девушкам в «Кукушку» вход заказан. (*Платону.*) Вы бы проводили Юлию Андреевну до дома. Такое сокровище надо беречь, как синицы око.

Платон. Как зеницу ока.

Доктор Сливёрс. Вам, поэтам, виднее. (*Уходит.*)

Юлия. Я не спешу домой. Тихо, хорошо... Слышно, как Ока плещется. Наверное, лодка внизу проплыла.

Платон.

— Нет, ничего. Просто холодны стали
Дни и темнее река,
Словно бы с неба вечернюю просинь
Снял этот сумрачный плёс.
Вы уезжаете, близится осень,
Падают листья с берёз.

Юлия (*продолжает*):

Листья кружат. Но не в силах понять я
Таинство женской души.
Милая барышня, белое платье,
Лодка, река, камыши.

Платон. Вы мои стихи наизусть знаете?

Юлия. Почти все.

Платон. И не находите их наивными, смешными?

Юлия. Что вы? Они мне прямо в душу вами вливаются. Не понимаю, за что все так Козьму Петровича превозносят? По мне так одно пустозвонство.

Платон. Вы такая... Ничего пошлого, наносного.

Юлия. Сентябрь — а по ночам как летом тепло. Проводите меня до дома, Платон Сергеевич.

Платон. А как же ваш таинственный ухажёр?

Юлия. В следующий раз пусть не опаздывает. (*Уходят.*)

Сцена девятая

Городской сад, только в дневное время.

На эстраде перед «Кукушкой» стоит Козьма Прутков и читает перед публикой стихотворение «Честолюбие». На скамейках перед «ракушкой» сидят Жемчужников, Аделаида Ивановна и Лилия.

Платон Сергеевич с несчастным видом сидит под деревом отдельно от всех, в глубине парка.

Козьма Прутков.

Дайте силу мне Самсона;
Дайте мне Сократов ум;
Дайте лёгкие Клеона,
Оглашавшие форум;
Цицерона красноречье,
Ювеналовскую злость,
И Эзопово увечье,
И магическую трость!



Старая Калуга. Главная аллея городского сада

П л а т о н (*схватившись за голову и морщась как от зубной боли*). Какая графомания! Невыносимо. Пытка! Хуже, чем на скамье подсудимых.

К о з ь м а П р у т к о в.

Дайте череп мне Сенеки;
Дайте мне Вергильев стих, —
Затряслись бы человеки
От глаголов уст моих!
Я бы, с мужеством Ликурга,
Озираясь кругом,
Стогны все Санкт-Петербурга
Потрясал своим стихом!
Для значения инова
Я исхитил бы из тьмы
Имя славное Пруткова,
Имя громкое Козьмы.

Возле эстрады слышны аплодисменты и крики «Браво!».

К П л а т о н у подходит Ж е м ч у ж н и к о в, присаживается рядом с ним на скамейку.

Ж е м ч у ж н и к о в. Надеюсь, Платон, ты никому не выдал нашей тайны? Потерпи. Скоро я его сам убью.

П л а т о н. Ты про кого? Про того типа с бакенбардами?

Ж е м ч у ж н и к о в. Да нет, про Пруткова. Я уже и некролог для «Современника» написал. Отнесу, как только в Петербург вернусь. Якобы от лица его племянника Калистрата Шерстобитова. (*Достаёт из кармана листок, читает вслух.*) «Ужасное горе постигло семейство, друзей и ближних Кузьмы

Петровича Пруткова, но ещё ужаснее это горе для нашей отечественной литературы... Да, его не стало! Его уже нет, моего миленького дяди! Уже не существует более этого доброго родственника, этого великого мыслителя и даровитейшего из поэтов; этого полезного государственного деятеля». Как тебе?

П л а т о н. Про меня так не напишут. Тем более в «Современнике».

Ж е м ч у ж н и к о в. Да ты, Платон, что-то совсем упал духом.

П л а т о н. Я всё-таки не понимаю, Владимир, зачем ты затеял весь этот балаган? Ведь наша калужская публика на полном серьёзе думает, что слышит хорошие стихи. Вон как горячо аплодируют! Как же, модный поэт из столицы, все хвалят, значит, и мы не должны отставать. На самом деле, ты никому ничего не доказываешь, а только портишь, развращаешь вкусы. Лично я больше не собираюсь в этом участвовать.

Ж е м ч у ж н и к о в. И не надо. Просто не мешай. Потерпи последний вечер. Ты прав: многие люди подобны колбасам: чем их начиняют, то и носят в себе. Тьфу ты, опять Прутков вылез... Завтра мы с ним уезжаем. Зачем, говоришь? Мы хотели, чтобы все наши доморощенные гении и псевдочуёные на себя, как в зеркале, полюбовались: увидели своё самодовольство, самоуверенность, глупость. Ведь у иных что ни слово — истина в последней инстанции, что ни фраза — афоризм для потомков. Конечно, никто не обнимет необъятное, но благодаря Пруткову хоть кто-нибудь, да прозреет.

П л а т о н. У тебя в голове высшие идеи, а у меня на сердце кошки скребут. Вечером Лилия даст ответ.

Ж е м ч у ж н и к о в. А ты уверен, что она тебя любит?

П л а т о н. Почему ты спрашиваешь? Она тебе что-то говорила на мой счёт?

Ж е м ч у ж н и к о в. Да нет же, нет... Не надо так глазами сверкать. Я ведь, Платоша, от всей души тебе счастья желаю. Потому и спрашиваю: сам-то ты в своих чувствах до конца уверен?

П л а т о н *(помолчал)*. Они с сестрой рано осиротели. Когда мне было семь лет, я обещал, что женюсь на Лилии. И сдержу своё слово.

Ж е м ч у ж н и к о в. Ну ты, братец, даёшь! Я в детстве однажды пуговицу проглотил. Так что же, прикажешь мне теперь до конца жизни пуговицами питаться? Твоя серьёзность бывает невыносима. Как говорит Козьма Прутков, люби ближнего своего, но не давайся ему в обман.

На аллею величавой походкой выходит К о з ь м а П р у т к о в. С двух сторон к нему подбегают А д е л а и д а И в а н о в н а и Л и л и я.

А д е л а и д а И в а н о в н а. К-о-озьма Петрович, вы где-то забыли вашу магическую трость. Можете опереться на меня.

Л и л и я. Как бы вы не упали, тётушка. Лучше на меня, я помоложе.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Нашла, чем козырять. Не во всякой игре тузы выигрывают! *(Тянет Пруткова к себе.)*

Л и л и я. А что вы мне вчера, Козьма Петрович, в альбом написали? «Влюблённый в одну особу страстно — терпит другую токмо по расчёту. *(Изо всех сил тянет Пруткова к себе.)*

Козьма Прутков. Ох... не всё стриги, что растёт. (*Замечает Жемчужникова, который машет ему рукой.*) Извиняюсь, меня зовут.

Платон замечает Лилию и вскакивает со скамейки.

Платон. Лилия!

Лилия. Ох, опять... Я же сказала: вечером. Ну да ладно.

Лилия присаживается на скамейку рядом с Платоном.

Лилия. Почему вы тут один сидите? Вам место в первом ряду занимали.

Платон. Мне и отсюда слишком хорошо было слышно.

Лилия. Прекрасные, звучные строки!

Платон. Про Эзопово увечье? А вы не находите, что это пародия?

Лилия. В каком смысле?

Платон. Пародия на пустозвонство, выпренность, непроходимую глупость...

Лилия (*помолчав*). Вы ему просто завидуете.

Платон. Завидую? Кому?

Лилия. Козьме Петровичу, кому же ещё? Его имя повсюду гремит, а ваши стихи ни в одном столичном журнале не печатают.

Платон. Прежде вам нравились мои стихи.

Лилия. Пока других не слышала. Таких, как у Пруткова.

Платон. Опять Прутков! Да его вообще в природе не существует. Это мыльный пузырь, фантом, плод чужой фантазии!

Лилия. Ай-ай-ай, как некрасиво. Не знала, что вы такой. Вам бы лучше у него поучиться и подружиться заодно, чтобы он вам в Петербурге протекцию сделал. .

Платон. Поучиться? Чему? Набору банальностей из коллекции Жемчужниковых? (*Пародирует голос Козьмы Пруткова.*) «Трясая Пахомыч на запятках, пук незабудок вёз с собой; Мозоли натерев на пятках, лечил их дома камфарой». И вам это нравится?

Лилия (*помолчав*). А что? Я люблю ромашки и незабудки.

Платон. И камфару тоже?

Лилия. Про лекарства у Юлии спросите.

Платон. Да уж с ней точно есть о чём поговорить.

Лилия. Мне Козьма Петрович тоже стихи посвятил и в альбом написал. Называются «В альбом красивой чужестранке». (*Декламирует с большим чувством.*)

Вокруг тебя очарованье.

Ты бесподобна. Ты мила.

Ты силой чудной обаянья

К себе поэта привлекла.

Но он любить тебя не может:

Ты родилась в чужом краю,

И он охулки не положит,

Любя тебя, на честь свою.

П л а т о н. «Охулки не положит»... И вы сияете от счастья?

Л и л и я. Хотите показать, что публика, которая сейчас рукоплескала, — глупая, а вы один такой умный?

П л а т о н. Я вас не узнаю, Лиля! Где ваш вкус, ум, душевная тонкость? Ну, Владимир... Иногда я его решительно не понимаю. Зачем он это делает? Мне назло?

Л и л и я. Вы сами переменялись, Платон Сергеевич. Я тоже не узнаю вас. Козьма Петрович мудро сказал: «Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна».

П л а т о н. Как, вы уже его и цитируете?! И за мудреца держите?

Л и л и я. У вас, Платон Сергеевич, болезненный вид. Поэтому я вас прощаю. Вечером жду к нам. И непременно с букетом белых лилий. (*Уходит.*)

Сцена десятая

В гостиной Веселовских на окнах висят новые занавески с лилиями, в вазах стоят букеты белых лилий. Ю л и я продолжает хлопотать, расставляя на столе закуски. Среди гостей в комнате находятся К о з ь м а П р у т к о в, А д е л а и д а И в а н о в н а, Ж е м ч у ж н и к о в, Г а з е т н ы й Р е п о р т ё р и ещё кто-нибудь из приглашённых на праздник. Входит П л а т о н с букетом ромашек. Л и л и я в белом платье в виде балахона встречает его на правах хозяйки.

П л а т о н (*протягивает букет Лилии*). Это вам.

Л и л и я. Почему ромашки? Я просила принести лилии.

П л а т о н. Вы же любите ромашки и незабудки.

Л и л и я. Вечно вы всё напутаете.

П л а т о н. Ромашки в это время года труднее достать.

Л и л и я. Господа, мы начинаем! Сегодня вы собрались не на обычный ужин, а на открытие в Калуге литературного салона «Белая лилия». Козьма Петрович, вам первое слово. Прошу!

К о з ь м а П р у т к о в.

Я вечно буду петь и песней наслаждаться,

Я вечно буду пить чарующий нектар.

Раздайся ж прочь, толпа!.. довольно насмеяться!

Тебе ль познать Пруткова дар??

Ж е м ч у ж н и к о в. Хочу добавить, что благодаря моим связям в этом доме будет выступать не только Козьма Прутков, а такие известные литераторы, как Аполлон Капелькин, Яков Хам, Иван Чернокнижников, Кондрат Лилиешвагер!

П л а т о н (*Юлии*). Отличная компания, если учесть, что никого из них в природе не существует. Призраки. Фантомы!

Ю л и я смотрит на него с беспокойством.

Ю л и я. Платон Сергеевич, вы нездоровы?

П л а т о н (*смотрит на неё пристально*). Наоборот, с вашей помощью, начинаю излечиваться.

А д е л а и д а И в а н о в н а. Козьма Петрович, ещё!

Л и л и я. Что-нибудь из последнего.

К о з ь м а П р у т к о в (*громко, с выражением*).

Раз архитектор с птичницей спознался.

И что ж? — в их детище смешались две натуры:

Сын архитектора, он строить покушался;

Потомок птичницы, он строил только — куры.

Ю л и я (*Платону, тихо*). Какая чепуха!

П л а т о н (*с интересом*). Вы тоже так считаете?

Ж е м ч у ж н и к о в. А теперь — отрывок из знаменитой костюмированной оперетты Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог». Я исполню роль гусара Касимова... (*Сбрасывает с себя плащ и оказывается в костюме гусара.*)

А д е л а и д а И в а н о в н а. Я всегда говорила: если хочешь быть красивым, поступи в гусары.

Ж е м ч у ж н и к о в. А хозяйка салона выступит в роли моего слуги.

Л и л и я (*тихо*). Никогда вам не прощу. Я должна быть в гусарском костюме. Берегитесь!

Л и л и я сбрасывает с себя белый балахон и оказывается в мужском костюме слуги с большим деревянным молотком в руке.

Ю л и я. Лиля, зачем?

Г а з е т н ы й Р е п о р т ё р. Весьма пикантно.

Л и л и я в р о л и с л у г и (*бьёт Жемчужникова деревянным молоком по голове*). Вот... шишка славы.

Ж е м ч у ж н и к о в в р о л и К а с и м о в а.

...Величавый

волдырь на маковку взлетел...

Да! нелегка ты, шишка славы!..

Недаром мало славных дел.

(*Тихо.*) Сударыня, не слишком ли вы стараетесь?

Л и л и я в р о л и с л у г и (*ударяет*). Сюда вот память надо вбить.

(*Тихо.*) Запомните: нельзя стоять у меня на пути.

Ж е м ч у ж н и к о в в р о л и К а с и м о в а.

Ну, точно... память!.. Нету спора!..

Тебя вовек мне не забыть!

Ю л и я. Да от таких ударов сотрясение мозга может случиться!

Л и л и я в р о л и с л у г и (*ударяет*). Тут... сила духа. (*Тихо.*) Так и знайте: Прутков мне обещал в Петербурге в свой театр протекцию устроить.

Ж е м ч у ж н и к о в в р о л и К а с и м о в а.

Тише, больно...

Как сильно захватило дух!..

Ну, Лиля, милая, довольно!

Ей-ей, не выдержу, мой друг.

Л и л и я. В пьесе другое имя, вы напрасно смеётесь надо мной. (*Ударяет.*) Чувствительность!

Жемчужников в роли Касимова.

Туда ж, в подмогу!
Страдальцы, понимаю вас!..
Я тронут так, что, ну ей-богу,
Расплачусь, как дитя, сейчас.

Юлия. Лиля, разве ты не видишь? Ему же больно!

Лиля в роли слуги (*бьёт с особой силой*). Теперь — любовь!

Платон. А вы, Лидия Андреевна, вошли во вкус.

Жемчужников в роли Касимова.

У-ах!.. умру я!..
От маковки... до самых пят...
Я... ощущаю... страсть такую,
Что ночь переживу навряд.
Теперь я счастлив... Марш к Лилетте!
Она любить меня должна...
Лишь укажу на шишки эти,
И мигом Лиля влюблена.

Юлия (*вскакивает, кричит*). Немедленно прекратите! Я требую! Это плохая пьеса.

Козьма Прутков. Пробка шампанского, с шумом взлетевшая и столь же мгновенно ниспадающая, — вот изрядная картина любви.

Лиля. Ты мне доиграть не даёшь.

Юлия. Разве ты не видишь? Ему же больно по-настоящему! Даже у Платона... у него слёзы на глазах.

Платон. Вы и меня жалеете? Только вы одна в целом мире.

В комнату входит доктор Сливверс.

Юлия. Модест Борисович? Вы?

Платон. Как, вы уже и доктора вызвать успели?

Юлия. Я не вызывала.

Доктор Сливверс. Извините, господа, я не развлекаться. (*К Аделаиде Ивановне.*) Я к вам. По срочному делу.

Аделаида Ивановна. Мы незнакомы. Вы меня с кем-то путаете.

Доктор Сливверс. Вовсе нет. Я здесь по поручению Сергея Фёдоровича Белоголовкина. Он приятель одного моего московского друга, с которым мы состоим в регулярной переписке...

Аделаида Ивановна. Серж, ты всё-таки меня настиг!

Доктор Сливверс. Давайте обойдёмся без сцен, я спешу к больному. Мой друг попросил передать, чтобы вы немедленно возвращались в Москву, к мужу. В противном случае пропавшие деньги Сергей Фёдорович будет считать кражей и обратится в полицию.

Газетный Репортёр. А вот это уже интересней!

Аделаида Ивановна. Помилуйте! Какие деньги?

Доктор Сливверс. Те, что вы взяли из нижнего ящика письменного стола Сергея Фёдоровича.

Аделаида Ивановна. Ах, эти! Сущие пустяки, на блонды и булавки. Какие могут быть счёты между мужем и женой?

Лилия. Вы же говорили, что разведены.

Аделаида Ивановна. Развод, разрыв — какая разница? Ну да, я просила у Сержа развод, он мне отказал. Что мне ещё оставалось делать, как не бежать из Москвы? И если бы нашёлся человек, способный в трудную минуту меня поддержать... Что мне делать? Козьма Петрович, не молчите.

Козьма Прутков. Ревнивый муж подобен турку.

Доктор Сливверс. Тут уж вам, голубушка, самой решать. Желаете — разводитесь и сидите в тюрьме, не хотите — возвращайтесь к мужу. Он готов вас простить, Аделаида Ивановна. Это всё, о чём меня просили уведомить. Не буду мешать вашему веселью, господа. (*Уходит.*)

Аделаида Ивановна. Ну и что вы все на меня так смотрите? Ну да, мой бывший или пока ещё настоящий муж — картёжник, игрок, а я его талисман удачи.

Юлия. Тётушка, вы украли деньги?

Жемчужников. Погодите, вспомнил! А не в вашу ли честь Гоголь в своей комедии «Игроки» меченую колоду карт Аделаидой Ивановной назвал?

Аделаида Ивановна. Опять вы ко мне со своим Гоголем! Слышать не могу. Язва, а не человек. Мне до сих пор из-за него в Москве прохода не дают.

Жемчужников (*хохочет*). Угадал! Ай да Николай Васильевич! Нет, определённо: выйду в отставку и приеду жить в Калугу. Здесь я тоже непременно сочиню что-нибудь великое. Пусть не второй том «Мёртвых душ», и даже не первый...

Аделаида Ивановна. Напрасно смеётесь. Решено! Возвращаюсь в Москву.

Лилия. А мы едем в Петербург. Не мямлите, Козьма Петрович, говорите.

Неожиданно в гостиную врывается разъярённый Кондратий Веточкин, озирается по сторонам.

Кондратий Веточкин. Где он тут прячется?

Лилия. Прошу любить и жаловать: козельский помещик Кондратий Васильевич Веточкин. Я же говорила, что в мой салон вся губерния явится.

Кондратий Веточкин (*к Лилии в мужском костюме*). А тебя никто не спрашивает, немытое рыло.

Лилия. Какой хам!

Юлия. Покиньте наш дом.

Кондратий Веточкин отыскивает глазами Пруткову, подбегает к нему и начинает трясти за грудки.

Кондратий Веточкин. Вот он! Разбойник! Вор!

Юлия. Прекратите! Надо вызвать полицию.

Аделаида Ивановна. Не надо полицию! В доме есть мужчины?
Жемчужников и Платон общими усилиями оттаскивают Кондратия
от Козьмы Пруткова.

Жемчужников. Попрошу объясниться.

Кондратий Веточкин. Сами, что ли, не видите? Он у меня лицо украл! Мне все говорят, в Калуге какой-то хмырь появился — в точности как я, одно лицо. И физия, и жилетка, и походка. Поначалу я не верил — в драку лез. А теперь и сам вижу. Даже бант, как у меня, в крапинку нацепил...

Лилия. Действительно, похож. И бант, и кудри...

Кондратий Веточкин (*срывает с головы Пруткова парик*). Кудри фальшивые! И всё остальное фальшивое. Даже нос!

Козьма Прутков. Отпустите мой нос. Чужой нос другим соблазн!

Кондратий Веточкин. Он даже мою фамилию наполовину скрал. Я — Веточкин, он — Прутков. Жулик! Вор! Ты мне за всё ответишь!

Козьма Прутков. Это не я! (*Жемчужникову.*) Я говорил, что новые сапоги всегда жмут.

Кондратий Веточкин. Что? Так ты ещё и сапоги мои скрал?

Жемчужников. Не брал никто твоих сапог. Погодите, я сейчас всё объясню. На самом деле нет никакого Козьмы Пруткова.

Лилия. Как — нет? А это кто?

Жемчужников. Семён Петров, дворецкий моего брата. Фамилию мы у его камердинера позаимствовали.

Козьма Прутков. Он только за использование имени пятьдесят рублей получил, а я за всё сразу!

Кондратий Веточкин. А жилетку мою зачем себе присвоили?

Жемчужников. Каюсь. Но ведь должна у придуманного Пруткова внешность быть. Вот я у вас, Кондратий Васильевич, немного и позаимствовал. Не учёл, что вы частенько в Калугу и в «Кукушку» навдываетесь. Помните, мы с вами столкнулись в буфете на придорожной станции...

Лилия. Как — дворецкий? А восемнадцать комнат и генеральский чин? Выходит, он... никто? Полное ничтожество?

Жемчужников. Я бы так не сказал. Способный человек. Память отменная, а речь... Я за ним сам только успевал записывать...

Газетный Репортёр. Скандал! Грандиозный скандал! В городе появился призрак. Под личиной поэта скрывался самозванец! Разоблачение! В Калуге появился лже-Козьма! (*Убегает.*)

Кондратий Веточкин. Я ничего не понял. А если он моё лицо в преступных целях использовал? Пусть с ним в участке разбираются.

Козьма Прутков. Бди! (*Выпрыгивает с балкона на улицу.*)

Жемчужников. Момент свидания и разлуки суть для многих самые великие моменты в жизни.

Юлия. Со второго этажа выпрыгнул. И хоть бы что... Вскочил и побежал.

Лилия. Так он и правда ненастоящий?

Кондратий Веточкин. Стой! Куда? Держите вора! Всё равно догоню!

Кондратий выскакивает на балкон, но не решается прыгнуть вниз и выбегает за дверь.

Жемчужников. Семён быстро бежит, я его хорошо знаю...

Платон (*смеётся*). Нет, ну надо же! Как Подколёсин в «Женитьбе» в окно выскочил, и нос... прямо за нос...

За окном слышен голос Кондратия Веточкина: «Не видали, куда побежал? Туды? Смотрите-ка, бант на дороге с себя сбросил! Не троньте, он мой!»

Аделаида Ивановна. В Москву, скорее в Москву! Прощайте, мои бедные сиротки.

Лилия. Вы же обещали меня с собой в Москву взять, тётушка.

Аделаида Ивановна. У меня память девичья, а у тебя и вовсе старушечья. Опять ты со своей «тётушкой». С такой памятью тебя в актрисы не возьмут. (*Уходит.*)

Платон (*Лилии*). А вы, оказывается, в Москву собрались, Лилия Андреевна?

Лилия. Хоть на край света! Лишь бы отсюда подальше. Что мне теперь в газетах напишут? На весь город скандал.

Жемчужников. С вашей внешностью, характером и талантами вы, Лилия Андреевна, далеко пробьётесь. У меня до сих пор голова чешется... Я поговорю с кем надо, чтобы вас взяли в театр, а то окружающим несдобровать.

Юлия. Зачем театр? Платон Сергеевич, что же вы-то молчите? Скажите что-нибудь!

Платон (*Юлии*). Юлия, выходите за меня замуж.

Юлия. Не надо так шутить.

Платон. Я не шучу. Вы одна можете составить моё счастье... родная душа... Я словно прозрел.

Жемчужников. Значит, и тебе, Платоша, мой Прутков пригодился.

Юлия. Платон, я... конечно... Нет-нет, так нельзя. Я хочу, чтобы Лиля была счастлива...

Лилия. Тоже мне счастье: замуровать себя в семейном склепе. Да я только во вкус жизни вошла.

Платон (*Юлии*). Я понимаю: для вас это неожиданность. Но я готов ждать хоть целую вечность...

Юлия (*тихо*). Да.

Газетный Репортёр (*заглядывая в комнату*). Погодите, я не понял, что писать-то? Этот Козьма Прутков — он кто? Поэт, гений, привидение, слуга, проходимец? Или его вообще нет и никогда не было?

Все (*хором*). Да!!!

Газетный Репортёр. Ой, смотрите, кто это там за окном летит?

Козьма Прутков, как некий неопознанный летающий объект, летит по небу и поёт.

Г о л о с К о з ь м ы П р у т к о в а.

Хотел бы я тюльпаном быть,
Парить орлом по поднебесью,
Из тучи ливнем воду лить
Иль волком выть по перелесью.

Хотел бы я звездой теплиться,
Взирать с небес на дольний мир,
В потёмках по небу скатиться,
Блестать, как яхонт иль сапфир.

П л а т о н (*Жемчужникову*). Его уже никому не догнать!

З а н а в е с



Дмитрий Кузнецов

Дмитрий Валерьевич Кузнецов — поэт, журналист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал тележурналистом, пресс-секретарём, в настоящее время — главный редактор журнала «Калужское наследие». Автор стихотворных книг «Русская рулетка», «Белый марш», «Империя». Лауреат литературной премии им. генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля (Врангелевская премия). Живёт в Калуге.

ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК

О, никогда не порвётся кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с неё нам уйти некуда.

Владислав Ходасевич

Ранние годы

Где сквозь снег проступали сибирские травы,
Где кедровник шумел о былых временах,
Я учился читать по стихам из «Полтавы»,
Мне Руслан и Людмила являлись во снах.

Эти ранние годы, как соты из воска,
Всё вбирали в себя — от картинок до фраз:
На альбомной гравюре я помню подростка
С чёрным блеском арапских
мечтательных глаз.

Он товарищем был мне по детским
проказам
В суматохе печальных и радостных дней,
И я верил его стихотворным рассказам
Так, как в Бога поверил намного позднее.

Это он научил меня лёгкому слогу,
Это он рассказал о добре и о зле,
Дал мне чувство любви и отправил в дорогу.
И остался... как воздух, как свет на Земле.

Новый дон Гуан

Пока фантазия за нос водит
Поверивших в волшебство,
Ко мне не Каменный гость приходит,
А то, что сильнее его.

Вот, возникая из дальней дали,
Как судеб веретено,
Клинок тяжёлой испанской стали
Нацелен в моё окно.

Вот, прорываясь сквозь сон глубокий,
Вновь голос владеет мной,
Такой знакомый, такой далёкий,
Дарованный ей одной.

Я вижу всполохи и зарницы,
И — конченный фантазёр —
Я вижу бархатные ресницы
Вокруг голубых озёр.

Всё ближе и ближе... И вот уж рядом!
И вот уж светло, как днём!

Она пронзает улыбкой, взглядом,
И холодом, и огнём.

Она прошла по векам и странам.
Ты ждал её?! Так — гляди!
И падай раненым Дон Гуаном
С тяжёлым клинком в груди...

Пиковая дама

Риска пьянящий вкус,
Мистика, ужас, драма.
Тройка, семёрка, туз,
Тройка, семёрка, дама.

Город сковало льдом,
Полночь, кругом ни звука.
Герман крадётся в дом,
В сердце — тоска и мука.

Вырвать из тьмы секрет,—
Только одно осталось,
Чтобы под звон монет
Бросить любовь и жалость.

Но непосильный груз
В бездну влечёт упрямо.
Тройка, семёрка, туз,
Тройка, семёрка... дама.

Капитанская дочка

Паруса над ладьёю хароновой
И без ветра взлетают, шурша...
Но молитвами Маши Мироновой
Спасены твои честь и душа.

Никуда уж, казалось, не деться и
Не укрыться от лютого зла.
В изувеченной штурмом фортеции
Коченели убитых тела.

Кровью бунт наливался, и точкою
Застывала судьба на мели.
Овладеть капитанскою дочкою
Твой соперник пытался вдали.

А потом — хоть лежи и у трона вой,
Кто услышит обиженный рёв?!
Но молитвами Маши Мироновой
Жив навеки Петруша Гринёв.

Дубровский

Крики, выстрелы, гулкая дробь подков...
Налетев, ставит точку в конце
Молодой предводитель разбойников
С чёрной маской на светлом лице.

Груз обиды душе нелегко нести,
Но любовью сжигается тьма.
Со страниц романтической повести
Улыбается русский Дюма.

И Дубровский проходит по временам
Вспышкой света, рискованной игрой,—
Как потом не хватало героя нам
Вот такого, как этот герой!

Сколько мудрых идей было роздано,
Не осталась из них ни одна;
Сколько «лишних людей» было создано
От Базарова до Самгина!

И пока против Неба войну вела
Злая нечисть столетья подряд,
Благородных разбойников не было
Среди мстителей и дьяволят.

И поныне в широкой известности
Могут быть и убийца, и вор,
Но героем в российской словесности
Остаётся один... до сих пор.

Барышня-крестьянка

В тишине лесной полянки,
Бога ради, не кричи!
Губы барышни-крестьянки,
Как олады, горячи,

А в глазах веселье пляшет
Яркой вспышкой на пути.
И нигде не встретить краше,
И смелее не найти.

Льётся алый сок малины,
Вьётся локон цвета ржи...
У простушки Акулины —
Сердце Лизы-госпожи.

Где эпохою иною
Бредит русский соловей,
Вновь она передо мною
Возникает из ветвей.

То зардеется, как роза,
То закроется в слезах...
Это — пушкинская проза
Оживает на глазах.

Это в сердце ноет ранка,
Тает времени узор,
Это барышня-крестьянка
Посылает нежный взор.

Метель

Осеннею листвою в белёсой паутине,
Засохшей веткою у старого пруда,
Онегинской строфой, ожившей
на картине,
Усадьбой ветхою дворянского гнёзда

Нас манит прошлое. И — некуда укрыться.
Тут всё размерено — и краска, и строка.
...Степь запорошена, испуганный возница
Глядит потерянно, слезая с облучка.

Онегин и Пушкин

Уже столетия они
В седой заоблачной тени
Неторопливую беседу
Ведут, а звёздная река
Бесшумно льёт через века,
Туман стихов, подобно пледу,
Их души кутает порой, —
Поэта слушает герой,
Как сын отца перед дорогой,
Как брата брат,
Как друга друг,
И дым времён, касаясь рук,
Сквозит невидимую тогой.

Онегинская вариация

В потоке дней,
В житейской стыни,
Нам красота готовит крах.
Ах, ножки, ножки, где вы ныне,
В каких полях, в каких горах?
В поездке вы или в полёте,
Лежите вы или идёте?
Из шёлка или изо льна
К вам льётся мягкая волна
По тонким линиям изгиба
И, ниспадая с высоты,
Скрывает плавные черты
Завесой ласковою, либо
Покорно отдаётся вдруг
Движению влекущих рук?

Подобно лучшему поэту,
Я вас уже не воспою,
Но музу лёгкую свою
Направлю к радости и свету.
Пускай поэзии клинок
Опять блеснёт у милых ног,
Упруго лезвие сгибающая.
Пусть рифма падает любая
Во славу формы и тепла,
В честь юной резвости и жара.

Ах, ножки... пламенем пожара
Вы рвёте души и тела,
Пока вас в огненном потоке
Ласкают пушкинские строки.

Элегия

Когда дыхание весны
Перетекало в звон капли,
Я ехал к вам: живые сны
Меня тревожили и пели
О вас, волшебница, о вас...
В туманном вальсе мгла кружилась,
И переливом женских глаз
Сиянье лунное ложилось.
Вот так, по-пушкински любя —
Мгновенно, ярко, быстротечно, —
Я потерял навек себя,
Но образ ваш обрёл навечно!

Дуэль

Уж новой болью сердце сжато,
А всё же чудится вдаль
Шальное марево заката
И томный голос Натали.

Сейчас бы вычеркнуть былое
Полётом быстрого пера,
Рассыпать в пламени золою...
Но дело — к выстрелу. Пора!

Пора! Как тени в круге Данта
Мелькнули средь морозной мглы
Надменный профиль секунданта
И воронёные стволы.

Да только дьявольскую негу
Забуть и в смерти не дано,
Когда по тающему снегу
Ползёт кровавое пятно.

На Парнасе

Поэзия перетекает в дым,
В звенящий нерв, в пронзающий металл.
Был Пушкин первым, Лермонтов вторым,
А Гумилёв к барьеру третьим встал.
И тайна их духовного родства
На пике запредельной высоты, —
Там слышатся любимые слова,
Там видятся знакомые черты.

Опять меж звёзд дорога далека,
Острее иглы бессмертия лучи,
И офицер Тенгинского полка
Стоит один в космической ночи.
А где-то у вселенских берегов,
Где тихо Вечность льёт через края,
Певец «Онегина» и автор «Жемчугов»
Беседуют, как старые друзья.

Дорога к Пушкину

Если апогей духовной жажды
Дольний мир расплавит, как свечу,
Мы вернёмся к Пушкину однажды,
К вечному кристальному ключу, —
Чтобы всё угрюмое, больное,
Спящее без музыки и книг,
Как поля, засохшие от зноя,
Напоил гармонии родник.

Это будет: рано или поздно
Разлетятся брызгами года,
Слово ослепительно и грозно
Просияет в небе... И тогда,
Может быть, на самой грани смерти
По дороге светлой и прямой
Мы вернёмся к Пушкину, поверьте,
Нет, не мне, — поэзии самой.



Юрий Убогий

Юрий Васильевич Убогий родился 19 сентября 1940 года в Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более двадцати лет работал врачом-психиатром. Автор многих книг и публикаций в журналах. Лауреат премий «Отчий дом» имени Леонида Леонова, «Большая литературная премия России» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

ЖЕЛЕЗО И ОБЛАКА

Повесть

Пятигорск, здание фарминститута серое, с окнами громадными. И я перед ним стою, войти почему-то медлю. Поступать сюда приехал из такого своего далекого-далекого, крохотного Тима. Учиться всерьёз в институте не собираюсь, а хочу писателем стать в свободное от учёбы время. Думаю, что пяти-то лет вполне для этого хватит.

Фарминститутом соблазнил меня брат погибшего на войне отца, дядя Ваня. Даже к нам в Тим уговаривать приезжал, пообещав в своём доме комнату отдельную. Сказал, что и лампу настольную мне уже купил для учёбы. Всё так и оказалось: и комната, окном в сад, и стол письменный, с чёрной, важной такой, лампой.

Вестибюль института был полон одними нарядными девицами, и я ощутил мгновенный ожог стыда. Понимал, конечно, что это заведение девичье в основном, но не до такой же степени! Присмотревшись, заметил всё-таки одного парня, второго, третьего... И рядом почти паренёк оказался — большеголовый и горбатый. Как я буду тут, в этом курятнике!? Глядишь, и сам курицей станешь, не заметив, как...

Мне предстояли не экзамены, а собеседование, как медалисту, и оно оказалось не то чтобы простым, а примитивным, как если бы попросили назвать химическую формулу воды или кислоты серной. И всё, и ты студент, с чем тебя и поздравляют... Меня это, скорее, оскорбило, чем обрадовало. Видно, и самому институту такая же цена, как и собеседованию, так, примерно, подумалось. Но ведь не всерьёз же я, в конце концов, учиться здесь на провизора собираюсь! Меня комната с письменным столом и настольной лампой ждёт в доме дяди Вани! И от девиц как-нибудь отгрожусь, не съедят, авось...

В институте мне пришлось плохо. При моей установке учиться не всерьёз, всё выглядело ненужным, далёким, чужим — и лекции по какой-нибудь ботанике, и практические занятия с пробирками, колбами и жидкостями разноцветными...

Девиз я сторонился, а несколько парней на целом курсе казались какими-то отталкивающе женоподобными. Лишь с горбатым пареньком получалось иногда поговорить — умным вполне паренёк оказался...

Дома было не лучше. Дядя Ваня, одинокий вдовец, живший в просторном доме, похоже, намечтал себе какого-то идеального племянника, с которым будет жить он душа в душу, а получил угрюмого парня, от которого слова не добьёшься. Да и сам по характеру оказался очень тяжёл, с явными признаками домашнего деспота. Не удержавшись, я однажды сказал ему об этом, после чего мы не разговаривали несколько дней.

Главная же заманка, отдельная комната, тоже меня не радовала. Сколько я ни садился за стол при свете настольной лампы перед чистым листом бумаги — ничего из этого не получалось. Или ни слова, или какой-то полубред, писавшийся от одного лишь отчаяния.

В самые тяжёлые минуты я выходил во двор, стоял подолгу, глядя на близкий, рукой подать, Машук и представлял себе то домик, в котором жил Лермонтов, то место дуэли его и смерти. Думал даже о крови, им пролитой, частицы которой, хотя бы в виде атомов, должны были в земле сохраниться. Порой мерещилось даже, что я помощи какой-то оттуда, с той стороны, жду...

* * *

Хожу взад вперёд по мосту через речку Подкумок в ранних сумерках и решаю, как мне жить-быть дальше. Чувство человека, попавшего в западню испытываю. Меня всё тут, в Пятигорске, мучает, и терпеть это всё тяжелей.

Сваренные из труб перила моста теплы, шершавы и царапают кожу ладони на швах сварки. Подкумок шумит уныло, мутная вода его загнанно мечется среди серых камней. Берега замусорены, горы вокруг черны, тяжелы, и я чувствую, что даже здесь, на самой, казалось бы, воле, я тоже словно в западне. А ведь как нравилось всё сразу по приезде: пять гор вокруг, город чудесный, Кавказ, Лермонтов... Теперь же во мне словно свет переключили и всё видится мрачным, отталкивающим, угрожающим даже...

Хожу я, хожу и вдруг понимаю, что решение есть, что оно несколько уже дней живёт во мне, только я на него опасливо глаза закрываю. Надо всего-навсего бросить этот фарминститут дурацкий и уехать. Осознав это, я словно вдох глубокий и освобождающий делаю. Куда уехать? Сначала домой, конечно, а потом в Сибирь. Пожить там и поработать, кем придётся. Жизнь не а с т о я щ у ю посмотреть, испытать до следующего лета, а там посмотрим. И в этом ещё один вдох живительный и бодрящий. В Сибирь, в Сибирь!

В те годы Сибирь из пугала, каким была когда-то, превратилась в землю обетованную. Кто только туда ни ехал — молодёжь по комсомольским путёвкам и без них, искатели «длинного рубля», да и просто люди с неустроенной

или вдруг развалившейся жизнью. И так сильно этот зов «в Сибирь!» звучал, что застревал в душах людских надолго. Помню, в конце семидесятых уже годов зашёл ко мне друг, зрелый, семейный человек с просьбой о деньгах взаймы. Хмельноватый, и в час уже поздний. Оказалось, в Сибирь всё ту же решил вдруг ехать, сильно поругавшись с женой. Да и вправду, куда ж ещё? Не в Москву же, как сёстры из «Трёх сестёр» чеховских, хотели?

Много написано о ненужности, вредности даже, сожалений о чём бы то ни было, начиная с есенинского: «Не жалею, не зову, не плачу...». И почти всегда это обманка, утверждение через отрицание поразительное. Конечно, и жалеет поэт, и зовёт, и плачет, иначе бы об этом и не заговорил.

Да и как о хорошем, утерянном не жалеть, тогда всё обесценится. Ведь в конце концов мы саму жизнь неизбежно теряем, и если ничего в ней не жалеть, то и её, всю целиком, не жаль будет. Какой же тогда беспросветно ужасной она быть должна?..

А вот о Пятигорске и фарминституте я действительно никогда не пожалел, потому и не вспоминал годы многие. Не моё всё там было, чужое, ненужное.

Моё, не моё: вот одна из главных, судьбу часто определяющих, оценок людей, профессий, работы, места, где жить...

Чувство зыбкое, на интуиции замешанное, но прислушиваться к нему и доверять стоит. Больше, может быть, чем доводам рассудка.

* * *

В институте я проучился недели три и уехал домой. Резкий поступок, первый такой в жизни. Говорят: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Хорошо звучит, только приложимо это, скорее, к первой половине жизни. А во второй всё, пожалуй, наоборот: «Лучше не сделать и пожалеть, чем сделать и пожалеть». Не сделаешь — и останешься при прежних, как-то всё-таки уравновешенных, терпимых обстоятельствах, а сделаешь что-то крутое, меняющее жизнь, вполне можешь под откос загреметь. Так опыт житейский говорит, консервативная его мудрость...

Ну а революция? Это ведь тоже резчайший поступок, но не отдельного человека, а целого общества, народа. Хороша ли она оказалась для нас или дурна? Много лет нам твердили, что не просто хороша — прекрасна! И только в последние десятилетия стало проясняться — кошмарна она была, и лучше бы её вообще не было. Реформы коренные могли её заменить, да не вышло, не сложилось. Не повезло.

Пушкин ещё писал об ужасе русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». И добавлял, что лучшие, прочнейшие изменения в обществе достигаются просвещением и постепенным улучшением нравов.

Получается, что я сравниваю житейский, человеческий поступок с революцией, явлением громадным? Что ж, всё связано в этом мире, потому и сравнивать можно практически всё. Стрекозу с вертолётom и улыбку ребёнка с проглянувшим вдруг солнцем...

Чего перед смертью вдруг очень жалко станет, не угадать. Пушкин с книгами, как с друзьями, нежно простился, так и сказав: «Прощайте, друзья».

Толстой больше всего земного музыку жалел. Герой же рассказа Леонида Андреева «Жили-были», умирающий в больнице дьякон, горько плакал о яблоне «белый налив»...

А мне сейчас сосны неожиданно вспомнились на высоком берегу нашей Калужки. Три стоящие рядом сотни полторы лет. Одна прямая, как стрела, корабельная, высоченная, верхушкой небо достаёт. Вторая, покосившаяся, прогнутая так круто, что, кажется, не стоит она, а летит куда-то под ветром. И третья, самая могучая, разделяющаяся на три равных почти ствола, смотрящихся друг в друга. Лучше всего видеть сосны снизу, от речки, с их телесного цвета стволами и тёмно-зелёной хвоей, сквозь которую проступают местами небесная, особенно яркая в окружении зелени, иконописная словно бы, божественная лазурь...

* * *

В Курске я оказался ранним вечером, и до дома, до Тима моего, было уже не добраться. Зная, что люди ночуют в гостиницах, в неё и поехал. Она оказалась недавно построенной и поразила, подавила меня своей тяжёлой огромностью. Заходить в неё было страшновато, и не верилось, что меня туда пустят на ночлег. Неподальёку под навесом люди ели что-то, стоя за высокими столиками. Я туда и пошёл — подкрепиться для храбрости.

Продавали какао и булочки с белыми напшёнками сверху. Это оказалось так вкусно, что я подошёл к стойке ещё раз и ещё. За соседним столиком перекусывали три девицы — студентки, судя по их разговору. Разговор был литературный, но и деловой одновременно. Филфак пединститута, догадался я.

Слушать было интересно. И вдруг большая, неожиданная и какая-то освобождающе-светлая мысль осенила меня. Что, если туда, к ним, на филфак поступить в следующем году? И литературу будешь изучать, что писателю необходимо, конечно, и своё собственное писать по ходу учёбы. Ясно представилось — ровно через год я буду стоять на этом месте, такое же какао пить и с приятелем однокурсником говорить о литературе. И так это показалось доступно, явственно и хорошо! Вот же оно, моё, и ничто другое. Пока, во всяком случае...

Я даже чуть испугался простоты и ясности внезапно открывшейся мне дороги. Именно этого испугался, чувствуя тут какой-то подвох, обманку. Ведь настоящий путь в писатели трудным должен быть и тернистым, а не таким вот, вроде дорожки асфальтовой. Да и учиться на учителя было стыдно, никто из уважаемых мной ребят в пединститут не поступал. Да ещё на филфак! Девчоночье считалось дело. И жалкое какое-то, слишком уж понятное и известное, в зубах за много школьных лет навязшее. Экая невидаль: уроки русского и литературы давать таким же разгильдяям, какими были мы сами...

Девицы ушли, и я посмотрел им вслед с таким чувством, словно они что-то моё, кровное, уносили с собой...

В вестибюле гостиницы оказалось безлюдно. Я постоял, озираясь: столики, кресла, диваны у стен. Стены были ярко-зелёными и зеркально

блестящими. Малахит это был, сообразил я через много лет, оказавшись на Урале.

Красногубая тётка за стойкой на мой вопрос о ночлеге ответила коротко:

— Только люкс.

— Давайте, — пробормотал я как-то машинально и тут же подумал с тревогой, что это, конечно, страшно дорого.

Дорого и было, но денег хватило-таки, и на билет до Тима осталось.

Много потом бывало гостиниц в жизни, но этот первый номер в гостинице «Курск» так и остался самым большим и роскошным из всех, пожалуй. Я его даже и рассмотреть толком не смог из-за величины и роскоши. Отталкивала она меня как-то. Мерещилось даже, что может войти кто-нибудь в мундире и спросить: «А ты здесь зачем?»

Не знал я тогда, что главное место ночлега для людей в моём положении — вокзал. И сколько же их было потом, вокзальных ночей, и где только не пристраивался-притыкался поспать! На лавках, на подоконниках, на полу, на каких-то ларях, обитых жёстью... Спокойнее всего было спать под лавкой, а ноги сидящих на ней прикрытием и защитой служили. А каким чудом были сами лавки, одинаковые на всех почти вокзалах! Широкие, несокрушимые, светло-желтые с вырезанными на спинках буквами: «М. П. С.» Вспоминаю их, словно дальних, но очень добрых родственников, которые всегда переночевать пустят. А поменяли их в новые времена на какие-то тапки пластмассовые. Даже спинки не делают иногда, то ли из экономии, то ли для воспитания пассажиров, чтобы не нагтели и не разваливались слишком вольно...

Новые времена принесли и новое чудо — коврики из пенопласта. Раскатал, разложил коврик и ложись, как на постель. Он даже греет удивительным каким-то образом. И не жёсткий совсем, хоть и тонкий. В любом месте практически можно на таком коврике спать, хоть на тротуаре, но у нас это запрещено. А есть страны, в которых такое разрешается, только надо снять обувь и аккуратно поставить её рядом, чтобы было окружающим понятно: не больной человек и не хмельной, а просто устал очень. Вот и прилёг там, где оказался. Я, когда прочитал про такое, был и восхищён, и даже растроган...

* * *

В Сибирь я не поехал, матушку пожалел. Да и впрямь — сынок невесть почему институт вдруг бросил, а теперь в Сибирь страшную собирается. Многовато для неё получалось. Остаться же дома, чего она и хотела, я не мог никак. Позорным для нас это было в те времена, «западло», как теперь говорят. Сошлись на Воронеже, где жила её давняя и близкая подруга — Ефросинья Степановна Бурцева — остановиться на первый случай будет где. Генка, друг, в мединститут не поступивший, согласился вдруг составить мне компанию, и это сильно облегчало дело. На том и порешили — в Воронеж, на завод. Послабее, чем «в Сибирь!», звучало, но и неплохо совсем. Можно и там жизнь узнавать, не в одной же Сибири она есть. А о том, что она есть и в посёлке нашем, как-то и в голову не пришло...

* * *

Холодный, серый день осени, и мы с Генкой, другом моим старым, детсадовских ещё времён, на жухлой траве железнодорожной насыпи сидим у вокзала станции Щигры. В Воронеж на завод какой-нибудь устраиваться на работу едем.

Еда из домашних свёртков, мясо и яйца вкрутую. Холодно, но в дощатом, пустом почти здании вокзала я не хотел есть: неловко, стыдно почти. На долгие годы останется эта неловкость, пока не пойму, что никому вокруг до тебя, в сущности, дела нет.

По насыпи за нашей спиной товарняк длиннейший проходит, накрывает, надавливая грохотом своим могучим, сложным, словно говорит нам что-то неразборчивое, но важное. Впрочем, догадаться можно. О жизни говорит, впереди лежащей, такой огромной, влекущей и тревожной чуть.

Я сжимаю в комок бумагу от свёртков, поджигаю её, и мы смотрим на недолгий совсем, едва заметный огонь, какой-то прощальный.

В Воронеж приехали вечером, и искать Гололобовых, знакомых матушки, которые обещали нам помочь с устройством, было поздно. Значит, будем ночевать на вокзале. Это бодрит, маленьким таким, первым кажется приключением.

Бродим по привокзальной площади, на переходной через пути железнодорожные мост поднимаемся и тут, в потоке людском, в ярком фонарном свете с тимчанином Володькой Ковалёвым сталкиваемся. Он проскакивает мимо, а мы стоим остолбенело, веря и не веря глазам. Только что приехали в город громадный и сразу своего встретили. Не может же быть такого! Не может, а есть... И мы веселеем, особенно как-то, пьяно, словно подарок неожиданный получили.

Володька этот нас и не знал, скорей всего, совсем взрослый, важный, красивый такой был мужик. Инженер, приезжавший в отпуск и часто игравший в парке в волейбол. Мастерски совершенно. Вобьёт «кол» и скажет своё, обычное: «Вот в таком разрезе!»

А лет через пять-шесть сидел я с другом в ресторане «Воронеж», и к нам за столик Володька этот и присел. Я его со встречи на мосту не видел и долго сомневался: он, не он? Спросил, в конце концов, а потом и про мост вспомнил и оказалось, что да, жил он в ту пору как раз за мостом. И так хорошо мы разговорились, землячки, несмотря на разницу большую в возрасте. Помню, в размягченности подпития я спросил, чего он больше всего хотел бы в жизни. Думал он долго, а ответил неожиданно просто: «Лабораторию свою иметь».

* * *

К подруге матушки Ефросинье Степановне мы ехали на трамвае номер 10, «Вокзал — ВМЗ», бесконечно долго, часа полтора. Всё в нём казалось прекрасно — и грубое его болтание, и жёсткий, в ноги ударяющий стук колёс, и сиденья из деревянных реек, и рукоятки железные на брезентовых ремнях вдоль прохода, за которые держалось по несколько сразу человек. Прекрасно было и за окном — дома, дома огромные и вдруг, странно, хибарки хилые, пустыри даже, потом корпуса заводские, серые и красные, суровые и вновь

дома... Вот запах какой-то резкий, химический, завод синтетического каучука, как потом оказалось. Вот громадное, тяжкое, чёрное облако дыма: «Шинный завод». И это всё тоже было интересно, значительно, да и прекрасно, в сущности — и вонь, и дым... Всё, что я видел, я принимал сразу же, любить начинал почти, наперёд как-то, словно угадывая, что жить здесь придётся годы долгие, за которые всё это сумеешь и по-настоящему полюбить...

Наша остановка была «Песчаная», и это тоже было так мило и просто, по-домашнему совсем. Кругом песок и оказался. И это было странно после вечной нашей чёрной курской, тимской земли. А вот и улица наша, Костромская (может, тут и Курская есть?). А вот и дом, двухэтажный, жёлтый, с выступающими странно как-то окнами (эркерами, как я узнал потом), и чистенькая деревянная лестница, и дверь коричневая с цифрой 20. Все мелкие частности казались странно значительными, словно некую особенную глубину, суть за собой имели...

* * *

Дорога на завод, какая же она бывала разная! То утром, в первую смену, пешком, да в погоду хорошую: по коротенькой улице нашей окраины, потом вдоль железнодорожного полотна с лесополосой молоденькой по обе стороны, потом через поле по торной, широкой тропе. А завод вдалеке, на отшибе, всё чернеет, приближается. Вот куст придорожный, весь сплошь, как серой, шевелящейся сеткой, покрытый воробьями, чирикающими так звучно, сложно, что чириканье это таким шаром звуковым, огромным представляется. Вот один-другой воробей от шара этого оторвался и тут же весь шар взлетел, рассыпаясь в полёте в серые комочки-брызги. И такой прелестно-беззаботной кажется птичья жизнь и такой тяжкой предстоящая рабочая смена...

Или на трамвае к заводу езда, в стужу зимнюю, да поздним вечером, в третью рабочую смену. Приткнёшься в уголке на деревянной, реечной скамейке, прогреешься, потом задремлешь. Вагон обычно пуст в эту пору, скрипит, ноет, визжит даже всем замороженным своим существом. И страстно хочется так ехать и ехать бесконечно, чтобы не было впереди ни заводской проходной, ни цеха, залитого жёлтым, тяжёлым, бессонным светом, ни шума его, ни запаха, ни восьми часов на ногах перед станком. Долго потом, после заводской своей работы, жалел вещь поизносившуюся, негодную почти выбрасывать. Думал — а вдруг она в третью именно смену была кем-то сделана? Сильно повышалась её, по этому предполагаемому поводу, цена. Редкой тяжести такая сменная работа: неделя с утра, неделя с раннего вечера, неделя в ночь. И опять, и заново. Такое было чувство, будто на куски тебя тянут-разрывают душой и телом, и привыкнуть, приспособиться к этому, ну никак нельзя.

Какая смена хуже, вторая или третья, я твёрдо и сказать бы не мог. Казалось бы, третья, ночь рабочая целая, не шутка. Но была в ней одна особенность, которая как-то её даже и украшала. Лёгкий хмель после конца работы, хмель усталости и бессонной ночи. Приятный в общем-то, но в самой глубине своей болезненный, надрывный. И заснуть, домой наконец-то вернувшись, я долго не мог из-за этого именно возбуждения хмельного. Дико как-то

было — спать бы и спать, но в голове мыслей горячая, безостановочная толчея. Приходилось брать том Ленина с работой «Империализм и эмпириокритицизм» и читать. Из клубной заводской библиотеки его принёс, решив, что пора узнать о жизни самое главное и глубокое. Читал и читал, ничего почти не понимая и от этого непонимания особенное уважение к книге испытывавая. И самый конец её почему-то на всю жизнь запомнил: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна». Что ж, фраза внушительная, а может, и верная. А вот что значит «эмпириокритицизм», так и не узнал толком, хоть и была потом эта работа Ленина в институтской программе.

* * *

Вышел под вечер побродить после смены, дошёл до железнодорожного пути неподалёку. Морозно было, безветренно, и всё окружающее казалось впечатанным плотно в мороз и тишину. И вдруг гул далёкий, подземный какой-то стал различаться и нарастать. Состав грузовой прошёл мимо, вблизи совсем, и я, впервые в жизни, заметил, как пружинят рельсы под колёсами. Прогибаются и привстают, дыхание чем-то напоминая. Впервые заметил и полюбил наблюдать это навсегда. И железную дорогу навсегда полюбил с её рельсами блестящими, шпалами, щебнем, откосами с разнотравьем, с запахом особенным, именно железнодорожным.

А в парке тимском, на спине лёжа, заметил впервые, что облако, на которое бездумно смотрел, уменьшается, тает. И другие облака, оказалось, тоже. Это удивило тем, что раньше не замечал, а теперь вдруг заметил. Вскоре же, специально теперь наблюдая, увидел вдруг, что облака растут, разбухают на глазах. Первое, выходит, к погоде, а второе — к ненастью. А ещё впервые разглядел тени от снежинок на снегу от света фонаря, за несколько дней до свадьбы-женитьбы. И на мгновение радость ощутил от своей заповздалой наблюдательности, словно знак был в этом какой-то благоприятный.

Подобных открытий в жизни бесконечно много, в них, может, некая суть её радостная и есть.

Вот обнаружил на днях, что птицы при сильном ветре летят только против него, иначе снесёт, превратит в комок взъерошенных перьев. Да и в жизни самой что-то есть похожее — по течению если всегда плыть, то, значит, терять себя понемногу. А то и помногу даже...

В этот же вечер в баню с Генкой пошли, впервые в Воронеже. Народу было тьма, за шайкой в очереди стоять приходилось, но меня это не тяготило, даже приятным казалось. И, тоже впервые, подумал, что при всём своём стремлении всегдашнем как-то обособиться всё-таки я человек и мирской тоже. Люблю многолюдье, толчею, чувство растворенности в толпе, в народе. Так оно навсегда и осталось, колеблясь то в ту, то в другую сторону.

* * *

А на работу нас устраивал сын Ефросиньи Степановны Виктор, сам заводской инженер и прекрасный, добрейший человек. Вот с ним мы и ходили с завода на завод, искали, чтоб и работа была, и общежитие. Работа была

езде, а общежития всё не было. Лишь на «Вторчермете» предложили хибарку на заводском дворе, забитом горами металлического лома. «Вот тут вдвоём и жить будете», — сказал заводской мужичок. Мне это очень понравилось: и хибарка на двоих, и работа грузчиком. Особенно, конечно, на двоих хибарка. Можно же будет после работы писать, сочинять свои сочинения без всяких помех. Помню, даже вид хибарки ужасный показался мне очень привлекательным. Вот именно в такой живя, настоящим писателем и станешь. Даже и потом, в институте уже, что-то подобное мерещилось: комната нищенская, и я за столом работаю, пишу по ночам. А в постели тем временем спит подружка или даже жена. Поработал — и к ней, а потом опять за стол. В конце же тоннеля этого мрачного — книги написанные, слава...

Генка поселиться в хибарке отказался наотрез, да и Виктор отрицательно головой покачивал. Зная непреклонность Генки в некоторых вещах, пришлось и мне мечтания свои отодвинуть. Нельзя тут было одному оставаться, страшно как-то...

И оказались мы в конце концов на заводе у Виктора: Генка учеником слесаря, а я токаря. Учёба два месяца всего.

Завод выпускал горно-обоганительное оборудование. Как оно выглядело и работало, я так и не увидел ни разу, да и не интересовался. Лишь много лет спустя неким странным, мистическим образом вдруг почувствовал это. Купил в городе Сумы детскую коляску для сына, повёз её по улице и ужаснулся тому, как она скрипит, визжит, гремит, почти грохочет. Вернуть бы её тут же, но как-то неловко было. Дома уже, осматривая её и пытаясь хоть как-то наладить, разглядел, что сделана она в Воронеже, на том самом, моём заводе. Пристёгивали тогда к основной заводской продукции всякий, как говорили, ширпотреб. Ну и пристегнули к горно-обогательному оборудованию детскую коляску. И получила она от этого оборудования суть его некую грохочущую. А я словно привет от завода получил вместе с этой сутью.

* * *

Нашли и жильё: пустая комнатёнка, три примерно метра на два, со щёбёнкой вместо пола, стены лишь оштукатуренные, серые. Хозяин уверил, что кровати и столик будут на днях. Согласились, не раздумывая, нормально, чего там! Кровати потом оказались ржавые, как со свалки (да оттуда они и были, конечно), столик — ящики, друг на друга поставленные. Две табуретки самодельные, коричневой краской свежей покрашенные. Вместо сеток на кроватях доски, на них какое-то хозяйское тряпье, на первое время, пока матрацев не купим. А мы их так и не купили, как-то даже и в голову не пришло.

Дом был сделан из шлака с применением опалубки. Называлось это — литой. Прожили мы в нём до самого в институт поступления и никаких трудностей не испытывали. Зимой вполне тепло было, и остальное представлялось вполне удобным. Закрыл дверь, и никто тебе не мешает, чего же ещё надо. Мысль поискать чего-нибудь попрстойнее даже и не возникла ни разу, ни у меня, ни у Генки.

Дом на самом краю города стоял, метров через двести железная дорога, а за ней поле с заводом вдалеке. Мне это показалось очень удобно и мило:

с одной стороны, близко была трамвайная остановка, как города начало, а с другой — воля вольная. И этот примерно расклад так навсегда и остался: жизнь не просто на окраине, а именно на самой разделяющей город и природу черте. Чудесное место для жизни, на мой вкус. Всё тебе доступно — и городское, и природное, в какую хочешь сторону с порога поворачивай. Теперь вот, на старости лет, себя спрашиваю, а хотел бы в самом центре городском, в самом лучшем месте, жить? И отвечаю твёрдо — нет!

* * *

Хозяев первого в жизни жилья съёмного надо помянуть. Сергей Сергеевич Косяков, невысокий, рыжеватый, чуть конопатый. Такой пастушок. Да он недавно в город из деревни и перебрался, и дом сам построил. Энергия для этого немалая нужна, она и была в его взгляде: цепком, прицельном, остром. Работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе и каждый день возвращался домой под хорошим хмельком. Спирт на работе доступный был, детали они какие-то им промывали. Жена причитала время от времени: уходи с этой работы, сопьёшься! Он отмалчивался, и было понятно, что не просто от такой поилки дармовой оторваться.

Хозяйка была грузная, рыхлая, с белым, добрым и унылым лицом. Возилась, что называется, по дому. Во многих тогдашних рабочих семьях женщины-жены не работали, если даже имели для этого полную возможность. Так и говорилось, как о чем-то повседневно-обыденном: я на заводе, баба дома. Было, однако, у хозяйки и развлечение вне дома, редкие поездки в центр, на городской рынок. Важно так говорила — еду на «Щепной»!

* * *

Работа была трудная, сменность её прежде всего. И завод был под стать — корпуса грязные, тяжкие, плотно набитые станками. Из железа он состоял, обрабатывал железо и выпускал нечто железное. Ну что тут было полюбить? А ведь полюбил же и узнал об этом по-настоящему через десятки лет, когда изредка стал бывать на заводах.

Войдёшь в цех или в столовую заводскую, и что-то дрогнет в душе сладкой какой-то болью.

Что было любить? А всё, что вокруг, вот и завод этот железный. Молодость даже плохое самое в хорошее переделывает. Мечтами радужными обволакивает. Снами золотыми.

«И теми снами золотыми прогоны жизни платим мы». Баратынский. Почти видишь, как идёт человек по жизни и достаёт из кармана эти мечты-сны золотые и ими тяготы и муки жизни покрывает-оплачивает. И пустеет карман понемногу, и к годам тридцати чуть ли не пуст. Но до самого дна всё-таки не должен опустеть, что-то обязательно остаётся. Та надежда невесть даже на что, которая, как известно, умирает последней.

И ещё, конечно, сам факт в о с п о м и н а н и я некую художественность вспоминаемому придаёт. Даже люди, искусства по натуре лишённые, оживляются, что-то вспоминая. Особенно это заметно, когда вспоминается

что-то тяжёлое, трудное. Тут и видна эта переделка-перекраска. Одно железо на заводе было? Что ж, и это хорошо, железо тоже предмет по-своему поэтический...

* * *

Станок мой токарный был: ДИП-200. Расшифровывалось: догнать и перегнать. Капиталистов, в этом смысле. Впрочем, не уверен, что так это официально было, может, народная придумка всего-навсего.

От работы помнится переключение режимов и, самое главное, чудесное прямо-таки: первый, черновой проход резца по заготовке. Вот она, заготовка-болванка: чёрная, с синеватым отливом, шершавая, тяжёленькая такая и этим особенно почему-то значительная, приятная даже. Сильно облегчит её обработка, в несколько, может, раз. Врубил обороты (до 1200 в минуту) и повёл к заготовке резец. Она чуть даже туманной кажется от скорости вращения, и миг прикосновения к ней резца довольно долго казался мне чем-то совершенно особенным и опасным. Сталь на сталь идёт как в атаку, не шутка! Вот встретились они, заготовка с резцом, стружка пошла-взвилась, и полоска первая, начальная обточенной стали обозначилась. Такая безупречно чистая, гладкая, яростно сверкающая. Шире, шире она, вот уже и до конца заготовки, до зажимов патрона почти доходит, и надо переключаться и начинать второй заход. А потом по чертежу деталь вытачивать, порой и просверливать насквозь... А вот уже и деталь готовая в руках и чувство, что ты не на станке, а своими буквально руками её, такую красивую, серьёзную, важную сделал.

Микрометр был хорош, кронциркуль, набор резцов, брусков стальных с небольшими, впаянными в их торец пластинками победита. Это сталь такая была особенно крепкая, потому другие виды сталей и резала.

Перед всеми станками, под ногами станочников, были деревянные решётки, и я удивлялся — зачем они? А недавно совсем услышал на рынке, как пожилая продавщица, обувь продающая, пожаловалась кому-то: асфальт ноги высасывает. И вспомнил то, полувековой уже давности, удивление своё и подумал, что заводские решётки, возможно, для того и лежали: чтоб ноги не высасывало...

* * *

Токарному делу меня учил Николай Садчиков, здоровенный мужик лет тридцати пяти, с твёрдым, крупно-морщинистым, угрюмым лицом. Встретил неприветливо, как мороку лишнюю. Сказал: стой, смотри, сам соображай, а попрошу что подать-сделать — сделай. Я и стоял у него за плечом день за днём, редкие совсем объяснения кое-какие слушал, сам спрашивал что-нибудь изредка. Потом это надоедать стало, да и дико казалось всё стоять и стоять рядом с ним столбом. Стал отходить, в окно посматривать, присаживаться на ящик с инструментами. Он косился на меня хмуро и, будто дождавшись всего этого, сказал однажды: «Давай, сам прогони. Понимаешь как?» Дело было нехитрое, я и «прогнал», а потом, понемногу, стал делать

операции всё более сложные, и они получались вполне нормально. А там и деталь первую, простенькую, самостоятельно сделал и гордость почувствовал. Понемногу и в азарт работы стал входить, стараясь делать всё побыстрее, почётче, поточнее. «Заныры» эти в работу были приятны по тому самозабвению, которым сопровождалась. Партию мелких, простых деталей я скоро уже мог делать не хуже Николая, а сложные, крупные делал до того момента, когда надо было их до окончательных размеров доводить. Тут Николай и отстранял меня тихонько. Понемногу мы как бы местами менялись — я работал, получив задание, а он по цеху гулял, с приятелями разговаривал, а то и вообще уходил куда-то. Можно сказать, смену себе вырастил. А я чувствовал себя через какой-то месяц уже токарем-станочником, работягой настоящим, пролетарием. Приятно было вступить не куда-нибудь, а в ряды класса-гегемона. Это было не в фарминституте учиться, где «восемь девок, один я».

Хороший был мужик Николай Садчиков, и отношения наши понемногу теплели. Он уже кое-что из жизни своей мне начал понемногу в подходящую минуту рассказывать. Помню рассказ про драку их, моряков (отслужил пять лет на Тихом океане), с пехотой. Страшная была какая-то драка. И моряки, конечно же, одолели. А он (и не только он) ремень с бляхой, свинцом изнутри залитой, к такому случаю имел, вот и воспользовался кстати. Представил я такой ремень, такую бляху, да силу его, Николая, да замах: мурашки по спине пошли...

Жил он в одной из двухэтажек кирпичных рядом с заводом в отдельной квартире и гордился этим: редкость по тем временам. Вышли как-то после смены из душа, он и пробормотал предвкушающе: «Скажу жене, ложись под чистый...». Чуть ли не завидной в тот момент мне жизнь его показалась: работой спокойно на станке-станочке, зарабатывать прилично, живи рядом, жену с двумя детьми имей... Только вот писание моё, едва начавшееся, в такую судьбу никак не помещалось.

Потом не раз в жизни какая-нибудь работа представлялась мне вполне приемлемой, и всегда она была простая: стадо пасти, баранку на большой, «дальнобойной» машине крутить, землю копать-пахать. А вот работа в конторах, учреждениях, хоть я и знал про неё мало что, виделась совершенно ужасной, вроде тюрьмы.

Незадолго до конца моего у Николая обучения он доверил мне работу вполне серьёзную: ленточную резьбу нарезать. И сам стоял рядом, приглядывая. Тут-то я и сделал грубую ошибку от напряжения и ответственности. И деталь запорол, и, что хуже всего, сбил центровку патрона. Работы по исправлению было часа на три. Он оценил всё это мгновенно и очень тихо сказал: «Отойди, а то ушибу...». Я не то что отошёл, отбежал, а потом смотрел со стороны до конца смены на работающего Николая. И ни слова больше о моём промахе им сказано не было.

* * *

Голоден я был постоянно. Даже после еды самой обильной голод оставался, но утолить до конца его было невозможно, в глотке уже еда стояла.

Особенно тяжело было вечерами, а держать постоянно дома еду, хлеб хотя бы мы как-то и не умели. Часто бывало, что, голодный, я пытался побыстрее заснуть, мечтая о заводской столовой завтра утром. Думал, два вторых закажу и два салата в придачу. Генка же очень странно завтракал: одним киселем с хлебом. Брал до десяти стаканов киселя, ярко-алого такого, очень густого, выстраивал их перед собой в ряд и нырял в них надолго.

Столовая была метрах в трехстах от проходной, и в обеденный перерыв устраивались ежедневные гонки. У турникета собиралась компания быстрых молодых пареньков-мужичков, ожидала гудка и «рвала» к столовой, очередь занимать. А к занявшему очередь подходило потом несколько приятелей по цеху. И никто при этом не протестовал, в обычае такое было. Вот и получалось, если кто-то из «своих» добежал быстро, то многим этим быстрый обед обеспечил и время свободное потом: побазлать (поболтать), в шашки-шахматы сыграть, подремать даже.

В первый раз, попав в команду «бегунов», я прибежал в числе первых, а потом стал, постоянно почти, гонки эти выигрывать. Приятно было и пробежаться с ветерком, и цеховым своим знакомцам удружить.

А еда была лучше быть не может, да и не было потом, пожалуй, за целую жизнь. Всё же остальное: духота, запах густейший, чадный, затоптанный кафель под ногами, всё это не только не тяготило, но приятным казалось, как некая обязательная добавка к еде. Соус такой.

Была столовая и рядом с нашим домом, полуподвал такой мрачнейший. Но и туда было приятно заходить и стоять в очереди и удивляться высокому, тощему, серолицему повару, раздающему блюда: столько шамовки кругом, а он тощий. Да, ещё ведь посылки с едой из Тима, несомненно, были, но их как-то я не помню. Вот из студенчества они помнятся так, словно последнюю получил вчера...

Молодой тот голод воспринимался шире, объёмнее голода телесного, желудочного, душу захватывая, сливаясь с ней. Она, душа, видать, и голодала по жизни иной...

* * *

Генка, мой друг с детского ещё сада, и потом сорок целых лет, был человек удивительный. Никогда я не слышал от него осуждения или отрицательной оценки кого-нибудь. Предел, на котором он останавливался, были слова: да ну его! И всё, и точка. Вот истинно христианская черта, хотя он, конечно, в Бога не верил.

Работал он только в первую смену, и поэтому мы «совпадали» на одну неделю из трёх. Учился ремеслу в другом цеху на слесаря и про учителя своего отзывался одобрительно, дедом его называл. Раз только пожаловался на то, что тот рукавицы у него отнял со словами: «в штанах не е..., в рукавицах не работа».

А делал он всё одно и то же, как ни спросишь: станину шабрил, до максимально возможной плоскостной ровности её доводил, снимая лишнее с металла чем-то вроде особой стамески — шабром. Это у нас даже привилось

на какое-то время. Говорили о каком-нибудь надоевшем, однообразном занятии: кончай шабрить!

Как же тяжело было уходить на работу в ночь, одеваться, поглядывая на лежащего в кровати Генку. А он глаза при этом отводил, неловко, наверное, было от того, что остаётся дома, в кайфе. Но, как ни мучила меня трехсменка, мысль перейти на другую, односменную, работу, мне и в голову не приходила. Уверен был почему-то: куда поставили, там и стой. От общей атмосферы тогдашней такая уверенность исходила. Атмосферы не свободы выбора, а долга. Да и в слесаря никак не хотелось, что-то в этой профессии чудилось очень уж обычное, бытовое. То ли дело станок-станочек...

* * *

Наступил и экзамен на разряд, в кабинете начальника цеха, закутке таком застеклённом. И комиссия была — начальник цеха, мастер, нормировщик и ещё кто-то, мне неведомый. Экзаменующихся двое — я и Сашка, так, кажется: паренёк сельского вида, рыже-конопатый. Ну и учителя: мой, Николай, а Сашкин — Карасёв. «Карась», конечно, по прозвищу. Этого Карасёва я с самого начала работы приметил, не типичный он был какой-то работяга. Важно-задумчивый, говорящий мало, но особенно веско, точно, с взглядом умным и очень спокойным. Как профессор, думалось, хотя откуда я мог знать, какие они, профессора...

Начальник цеха был серолицый, замученного, болезненного вида человек, время от времени нервно дёргавший одним плечом. Работа, что ли, так его замучила, думал я. А через несколько лет узнал, что заводские люди делятся на две категории, две породы. Одни «болеют» за производство, а другие нет. Так прямо и определялось дословно: вот этот «болеет», а вот этот нет. Вполне понятное психологическое подразделение, не одного завода, разумеется, касающееся и существующее, конечно, и теперь. Одни, к примеру, «болеют» за Россию, а другие нет...

Получили мы с Сашкой по третьему разряду, хотя Николай предлагал дать мне четвёртый. Решили, что нехорошо нас разделять и пусть уж будет обоим третий. Николай мне такое рассказал, решали-то, естественно, без нас. Это меня приятно кольнуло и забылось тут же.

Да, о мастере два слова. Молодой и очень приятный был мужик, морячок, как и Николай, в недавнем прошлом. Так и ходил по цеху в матросском бушлате, что очень ему шло и мне нравилось. Глаза его хорошо помню — карие и горячие. Вот он тоже за производство болел, похоже. Года через четыре оказались мы за соседними столиками в ресторане. И разговаривал он с приятелем именно только о производстве. И в вечернем институте учился. Меня, скорей всего, не узнал.

* * *

Самостоятельная, наконец-то, работа оказалась поначалу тяжела. Просто отстоять у станка восемь часов безотрывно было нелегко, а надо ведь ещё и внимательным безотрывно быть, и действовать точно и быстро. Да и над

чертежами думать, прикидывать ход дела, решать. Облегчение я в конце концов нашёл, и оно было, на первый взгляд, парадоксальным. Надо как можно лучше, точнее, быстрее работать — вот тогда будет и легче. Тогда азарт появляется, интерес, игра какая-то с самим собой и обстоятельствами работы. И вот при такой, на пределе возможностей, работе усталость замечается гораздо меньше, а иногда и совсем исчезает. Одно остаётся, горячее, напористое: давай, давай, давай! По этому поводу и школьная учёба вспомнилась и правило, которое я осознал классу к пятому: хорошо учиться гораздо легче, чем плохо. А отлично — совсем легко.

Небольшим огорчением-недоумением было то, что заработок оказался мало зависим от того, сколько ты сделал. Какая-то там у нормировщиков, учётчиков, мастеров была своя система, по которой некий средний, тебе примерно положенный заработок начислялся: по разряду, по возрасту, авторитету, по отношениям с начальством. Самым главным было «хорошо закрыть наряды» за месяц. Вот вокруг этого и хлопотали. И Николай в такие дни бывал то угрюмым, то весёлым. Я как-то во всё это не мог вникнуть, да мне ничего и не «светило». Бери, что дают, вот и всё. А давали, чтобы как раз на жизнь хватало, и оставалось чуть-чуть...

Знание того, что напряжённо, азартно работать легче, чем спустя рукава, так на всю жизнь и осталось и помогало в самых разных ситуациях. Тоска вялой работы была хуже всего, вот её и надо было перебивать. Если же работа случалась коллективная, то я и тут напряжёнку-азарт старался включить, но поддержку нечасто получал. Недоумение и раздражение гораздо чаще.

Получку давали (странное выражение, но говорили именно так) в заводоуправлении. В длинном, мрачном, тёмно-зелёной краской покрашенном коридоре, с окошком кассы в конце. Очередь бывала длиннейшая, мрачно-важно-озабоченная. Тут уж не подходили, как в столовой, не втискивались друзья-приятели. Слишком для этого дело было серьёзное.

* * *

В октябрьские праздники на демонстрацию мы не пошли, лишь побродили по улицам ближайшим. На удивление, много было похожего с тем, что бывало в Тиму. Те же мужики хмельные, то с жёнами, то в одиночку, те же компании небольшие с гармошкой в центре, с песнями и плясками. И песни-пляски те же, и одежда примерно такая же. Потому, конечно, что народ тут был недавно в город приехавший и не потерявший ещё своих районных и сельских привычек.

Пришли к Гололобовым (по предварительному приглашению) и просидели рядом на диване часа два: ждали Виктора с демонстрации. Жуткое было томление голодное, и Ефросинья Степановна, хозяйка, мать Виктора, сочувствуя, собиралась уже нам еду и подать. Но тут Виктор заявился: весёлый, руки потирающий от предвкушения праздничного застолья. Он прозяб как-то очень хорошо, вкусно и доволен был делом сделанным, потому что отбыть демонстрацию делом и считалось.

Тут-то мы с Генкой первый раз в жизни выпили водки. И ничего особенного я так и не почувствовал, обильнейшая еда, видать, хмель заглушила. Вспомнилась вообще первая выпивка (вермут в Тиму, в десятом классе), вот тогда подействовало удивительно. Выпил, зажевал чем-то пустяковым, и так вдруг стало необыкновенно хорошо. Это испугало даже: получалось, что для прекрасного самочувствия всего-навсего выпить надо. Получалось, пей тогда и пей. Вот в этой простоте как раз нечто страшноватое и было, и оправдалось потом вполне.

А в демонстрациях много раз пришлось поневоле поучаствовать и почти всегда бывало очень даже неплохо. Среди своих потолкаться на воле, поротозейничать, подурачиться, выпить в меру в конце концов. Один раз, в Калуге уже, колонна наша проходила мимо ресторана «Ока», настезь призывно открытого. Многие и забегали, не раздеваясь, чтобы хлопнуть «соточку» у длинных, составленных столов. Аркадские такие были времена. Одно было неприятно: нести транспаранты или портреты, которые всучивали почти силой, и стыд, который неизменно ощущался перед трибуной с начальниками. Крик-приветствие диктора бодрое до фальши, и ответ раздробленно-жалкий. А начальники всё такие же из года в год: в чёрных шляпах и чёрных плащах или, в особенный холод, в каракуле на плечах и головах. И правой рукой они помахивали проходящему народу как-то всегда одинаково, будто «нет, нет, не подходи!» имели в виду.

* * *

Странно, что женщин заводских почти не помню, да их, наверное, было мало среди всего этого железа. В нашем цеху вспоминаются две: кладовщица, имени которой не знал, и фрезеровщица Нинка. Кладовщица, выдававшая по просьбе редкий инструмент, была тургеневского какого-то вида: бледная, большеглазая, спокойно-печальная и задумчивая. Миленькая, молоденькая. Думалось, на неё глядя, что в кладовке, среди полок с железками, ей совсем не место. Ей бы с книжкой на лавочке в парке сидеть, вишни есть, читая. А Нинка была здоровенная, грудастая, задастая деваха с деревенским, налитым, румяным лицом. Работе её спокойной я порой завидовал. На здоровенном фрезерном станке поставил деталь, наладил, запустил станок, он и обтёсывает её потихоньку, хоть полчаса, хоть час, хоть два. Не то что мой, токарный, перед которым приходилось неотрывно дёргаться, как клоуну. Николай сказал однажды, усмехаясь: «Что ж ты к Нинке не подъедешь, изводится же девка». Посмотрел я на неё с этой стороны и почувствовал: нет, не место здесь для таких дел. Всё это куда-то вдаль, на будущее, откладывалось. Да и Ирина, в Харькове, в мединституте учившаяся, как-то такому мешала. И Нинка была не мила тяжёлой, грубой своей натурой...

* * *

В воскресенье изредка ездили в центр города, в кино. Сама езда была чудесной, особенно если удавалось сесть, да ещё к окну. Целое часовое путешествие получалось.

Трамвай скрипел, громыхал, постукивал мерно колёсами, качался и дёргался, а за окном тянулась наша окраина, завод синтетического каучука, со сливом горячей, парящей на холоде воды, в которой барахтались люди даже и зимой, целебной её считая. Да и пованивала она вроде бы целебно, сероводородом. Вспоминался рассказ друга нашего Виктора, что директор завода — чистокровный цыган Сербулов и что время от времени приезжает к нему погостить целый цыганский табор. Это как-то даже и вообразить себе не удавалось, зная таборы эти ещё по Тиму. И там-то они не к месту были, а тут город, завод! Потом была река, мост через неё могучий и сразу за мостом ТЭЦ с четырьмя громадными трубами, из которых дымились всегда только три. Центр города напелзл понемногу увеличением домов. Вот двухэтажки пошли, небольшие и странные, с пузатыми, нелепыми колоннами перед входом. Потом такие я и в Калуге встретил: типовый, видно, был проект. Как бы дворцы такие для простых, рабочих людей. «Дворцовость» колонны и должны были этим домам придавать. А вот и парк, «Жимом» в народе именуемый. ЖИМ — значит, парк живых и мёртвых, потому что на месте снесённого кладбища был разбит. Это тогда широко было принято, власть как-то стеснялась кладбищ (да и вообще, пожалуй, смерти) и была к ним безжалостна. И танцплощадка была в этом парке с хулиганской, бандитской славой. Совсем уже в центре строительный институт показывался, в котором учился наш парень из параллельного класса Лёнька Берлизев. Этот факт как-то согревал для меня огромное здание института, свойским почти делал. Мы даже подумывали, не найти ли Лёньку и однажды, сами студентами уже будучи, нашли.

Главный кинотеатр города был «Спартак» — новый, большой, с колоннами, любили их тогда. Очередь там всегдашняя, в которой тоже приятно было постоять-потолкаться. Приходили обычно пораньше, чтобы получасовой примерно концерт в фойе послушать, в буфет сходить, мороженого, пирожного поесть. Певец в ту пору был Анатолий Иголкин, бойкий такой, голосистый, чернявый молодец. Пел особенно лихо тогдашний шлягер «Мишку». Публика и повтора добивалась, крича: «Мишку, ещё Мишку!». Приятная была песенка: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня». Ну и так далее. Критиковали, конечно, эту песенку по радио и в газетах за так называемую безыдейность. Как и славные «Ландыши». «Ландыши, ландыши, светлого мая привет...» Чем-то они были похожи по тексту и по мелодии, и теперь изредка поются.

В первое же посещение кинотеатра я съел два с половиной пирожных (не смог доесть) и наелся надолго. Хороший метод отучить себя от какой-нибудь еды. Разве что с хлебом и картошкой не получится.

Фильмов, которые мы смотрели, совершенно не помню. Ни одного. Уж очень идейное всё, наверное, было, не в пример песенкам.

* * *

Виктор Гололобов, наш воронежский покровитель и даже старший друг, был большим любителем театра. По его приглашению-настоянию мы и пошли с ним аж на балет, приехавший откуда-то на гастроли. И билеты оказались

в первый ряд (Виктор покупал). Я подозревал, что дело это скучное, но оказалось всё ещё хуже. Видеть танцы с близкого расстояния было неприятно до злой какой-то тоски. Эти трико, натянутые и просвечивающие на коленях и задах танцовщиков, этот пот, блестящий на лицах и летевший брызгами с волос, эта даже пыль от прыжков тяжёлых с плохо вымытого пола. Бессмысленным всё казалось, дурацким и никому не нужным. Какой был балет, не помню, помню лишь удивление аплодисментами, раздававшимися время от времени. Виктор аплодировал рьяно, и я тоже начинал уже похлопывать, чтобы его не обидеть. И сам себя от этого стыдился. И думал, как бы оправдываясь, что подальше надо было сидеть, издали всё видеть, чтобы принять условность балетную. Да и вообще в жизни нечто похожее бывает, хоть с событиями, хоть с людьми: не смотри в упор, отойди подальше. По пословице: за деревьями леса не видно.

Принять условность балета и оперы — важнейшее дело. Не сумел — не смотри, не слушай. Гоголевский «Нос», скажем: ну какой тут может быть балет? А ведь Некрошюс поставил, и прекрасно получилось. Вот теперь оперу по «Мёртвым душам» кто-то ставит. Непредставимы арии Чичикова или Плюшкина — и всё-таки возможны. Талант всё может или почти всё...

Затащил нас Виктор и на каток, который очень любил. И тут оказалось не лучше, чем в театре. Он катался на беговых коньках, «ножах», по-тогдашнему, а мы взяли напрокат хоккейного типа коньки, «дутьши», хорошо знакомые по Тиму. Скучно было. Виктор гонял по кругу, согнувшись по-спортивному, а мы, впервые в ботинках, толком и на ногах-то не держались. И голенистопы начинали болеть быстро, и приходилось выходить в снег обочины, чтобы они отдохнули. А я ещё и девушку с ног сбил, испугался, попытался встать помочь, но она вскочила сама, посмотрела презрительно и убежала. Так каток потом и не привился, а были они тогда в большой моде. Даже аллеи скверов центральных под катки заливали. Всё на катках было хорошо: девушки румяные, музыка, раздевалка, буфет с кофе молочным и булочками. Всё, кроме самого катанья унылого. Впрочем, может, я к ботинкам так и не привык. В Тиму-то коньки к валенкам привязывались, и вот на них мы чудеса геройства проделывали, с гор по дорогам заледенелым гоняли...

А вот песенки были очень милы, особенно одна, совершенно «катковая». «“Догони, догони”, — ты лукаво кричишь мне в ответ», — такие были в ней слова, задорно так поющиеся. А к концу песни грусть элегическая, ко всей как бы жизни относящаяся: «Много дальних и трудных дорог я прошёл за любовью твоей...» И странное у меня раздражение при этих словах: «Ну и не ходил бы, нечего было к человеку приставать!»

Последний раз в жизни был на катке, уже институт заканчивая. Встретил школьник с коньками под мышками, вспомнил Есенина: «По ночам, прижавшись к изголовью, вижу я, как сильного врага, что чужая юность брызжет новью на мои поляны и луга». И усмехнулся над собой иронически, и правду для себя в этих словах разглядел. А через много лет у Твардовского встретил: «И едва ль не впервые ощутил я в душе, что не мы молодые, а другие уже...» Да и каждого эта мысль-чувство, наверное, посещает, раньше ли, позже ли...

* * *

Увидели с Генкой афишу: «Вольф Мессинг. Психологические опыты». Само имя поразило, было в нём что-то особенное, таинственно-чудесное. И решили пойти.

Мессинг и по виду оказался в полном соответствии со своим именем: встретишь на улице и удивишься, и оглянешься потом. Лицо равномерно красноватое, с крупными, рублеными морщинами, седые волосы курчавые, дыбом стоящие над огромным лбом, выражение лица завораживающе непроницаемое. И руки красноватые, как и лицо, длиннопалые, и костюм какой-то необычный, и бабочка под подбородком, впервые мной увиденная. Сразу подумалось, что особенной совсем породы человек, волшебник.

Опыты были в основном по нахождению спрятанных предметов и угадыванию желаний. Мессинг, держа за руку кого-нибудь из зрителей, ходил рыскал по рядам с повадкой вынюхивающей добычу собаки. И находил, и угадывал всё, что надо было. И не ошибся ни разу.

Потом вопросы к нему были в виде записочек. И один я даже запомнил по смеху дружному в зале: «Как вы дошли до жизни такой?»

Когда всё закончилось, главным было то, что видел вот такого человека, Вольфа Мессинга, живьём, а сами опыты казались просто любопытны, не более. Уверенность из-за воспитания сугубо материалистического была, что всё это имеет своё нехитрое объяснение, как всякий фокус.

Видел живьём... Вот и сэра Пола Маккартни тысячи людей пришли увидеть на концерте на Красной площади «живьём»... Ну и что они увидели из задних и даже средних рядов — фигурку маленькую? Зато на огромном экране рядом с эстрадой Маккартни был, вот он, со всеми деталями малейшими. Так зачем было сюда, на площадь, тащиться? А всё за тем же — увидеть, хоть и издали, живьём. И, главное, иметь возможность рассказать об этом.

* * *

Генка не поступил в Курский мединститут (не добрал баллов), я свой бросил, и хотели мы в Воронежский медицинский поступать в следующем году. Вот Виктор и предложил нам походить в 10-й класс вечерней школы при шинном заводе, чтобы хоть всё, что знали, не перезабыть. Это было резонно, и так мы и сделали.

Школа была — несколько комнат в заводууправлении, где толклись вполне уже взрослые люди, а некоторые даже и пожилыми казались.

Через несколько дней стало нам ясно, что никакого прока от учёбы не будет. Уж очень на примитивном уровне она шла, до смешного. И учителя, очевидно, и не старались его поднять, потому что не в знаниях тут было дело, а в аттестате об окончании средней школы. Вот школу эту мы и оставили. И Виктор странно этим огорчился, будто мы чем-то его лично подвели, доверия не оправдали.

Вспомнив про шинный завод, вспомнил и про жуткий, тяжёлый, иссиня-чёрный дым, который время от времени поднимался над заводом огромными клубами часами целыми. То его на город несло, то в поле. И говорилось при

этом спокойно, без всякого возмущения: «Брак на шинном жгут». Слова «экология» в обиходе не существовало, а про природу мы знали, что её надо покорять, а вот что беречь надо — пожалуй, и нет.

Хорошо помню, как откровенно спали на уроках ученики вечерней школы, но только мужики. Наляжет такой ученик на столик грудью, уместит голову на скрещённые руки и проспит целый урок, пока на перемене не проснётся от шума. Нам спать не пришлось, не доучились просто-напросто до этой стадии...

Шинный завод пользовался тогда в Воронеже дурной славой. Говорили, что платят там хорошо, но работа вредная. Насмотрелся я потом на разные вредные работы, и чувство при этом было мучительное: злой такой, в ненависть на кого-то и на что-то переходящий протест. Одно дело — тяжёлая работа, и совсем другое работа вредная. Тут ведь люди здоровьем, жизнью то есть, за деньги, за заработок платят. Страшное ведь дело такая плата. Тут-то и вспомнишь слова «Интернационала», тоже силы страшной: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!».

* * *

Хорошо было выйти из цеха ночью, вольным воздухом подышать, отлить в сторонке, на звёзды посмотреть мелкие, ослабленные заводской, электрической подсветкой. Морозец поздней осени бодро так прохватывал. И неожиданно казалось приятным, удовлетворение некое дающим то, что вот все, почти все, спят, а я работаю, словно выигрыш какой-то перед другими имею. И писание потом ночное, у меня в общем-то редкое, похожее чувство рождало.

Необъяснимо, что вдруг, невесть почему, вспоминаешь именно вот это. Или другое что-нибудь. Выходы эти ночные из цеха ярко и неожиданно вдруг вспомнились, а уборную в цеху совершенно не помню, хотя не могло же её не быть? Коробка какая-нибудь бетонная, серая, вонючая, могильная — которую память, если и записала, но выдать не хочет...

У цеха были штабеля целые заготовок — болванки, пруты многогранные, и пахли не только металлом, но, казалось, той работой, которая вскоре будет над ними проделана. И запах для меня был приятный, как и потом, всю жизнь, вообще запах и вид металла. А когда в девяностые годы пришлось повидать бывшие машинные дворы бывших колхозов и совхозов, то чудилось, что это не просто трактора и комбайны, до скелетов раскуроченные, не груды металлолома, а кладбища работы громадной, ночей бессонных заводских...

* * *

Получается что-то вроде дневника воспоминаний. Даже назвать всё, что пишется, можно именно так: «Дневник воспоминаний». Записывай по возможности ежедневно то, что вдруг вспомнилось именно в этот день: хоть вчера это было, хоть шестьдесят пять лет назад. Но чуть-чуть надо и некий стержень временной и событийный выдерживать. Вот теперь о заводе пишу и стараюсь воспоминаний об этом придерживаться, при всех возможных отклонениях. «Дневник воспоминаний»: хорошо и просто. И по смыслу хорошо. Ведь,

в сущности, этот дневник в потоке произвольном сознания у каждого, идёт сам собой постоянно. Каждый человек каждый день непременно что-нибудь да вспомнит: близкое ли, далёкое ли. Иногда по толчку внешнему, а иногда произвольно, невесть почему. И идут две жизни параллельные: одна реально-сиюминутная, а другая призрачная, воспоминательная. И с возрастом, в старости особенно, первая делается всё призрачней, а вторая всё реальней...

* * *

Вот на левой руке, на кончиках пальцев, среднем и безымянном, две отметины. Одну лет в десять получил, когда мы с дядькой моим, Николаем Панюковым, тележку из аптечного подвала вывозили-вытаскивали. Он спереди тащил, а я сзади подталкивал. Для забавы какой-то её доставали, кататься, скорей всего. Николай был лет на десять всего меня старше, и я долго-долго его за брата старшего считал, а не за дядьку. Дружили с ним и даже, по-моему, любили друг друга. И позабавить меня он всегда был готов, в игре какой-нибудь поучаствовать.

Тащим тележку натужно, и она вдруг из рук его вырвалась — и колесом палец мой к притолоке дверной притиснула! И расплющила его...

Потом больница была, находившаяся рядом, хирург Ищенко, лечение бинтование, и возвращение домой с очень толсто забинтованной рукой. После испуга и боли хорошо помню странную гордость тем, что рука у меня так толсто, плотно, красиво даже, забинтована, словно я не пацан простой, а солдат раненый. Тут и матушка подыграла: попричитала надо мной, а на Николая покричала возмущённо и укоризненно. Он же виноватым выглядел, и видеть это было как-то нехорошо, непривычно. Я за него и вступился: не нарочно же он...

А на пальце рядом, на среднем, выемка у самого ногтя, на заводе уже полученная. Затачивал отрезной резец, он соскользнул, и палец в точильный камень ткнулся. Помню удивление, с которым на миг увидел в отдёрнутом пальце белое пятно, и страх от догадки, что это кость белеется, до кости проточил. И кровь не сразу появилась и пошла сначала скудно.

Зажав палец другой рукой, побрёл в медпункт. Заглянул и увидел двух разговаривающих тёток в белых халатах, одна из которых рукой махнула: подожди!

Жду, болит сильно, а тётки, слышно через неприкрытую дверь, болтают о чем-то житейском. Это возмутило, вошёл, на раздражённый взгляд одной из тёток натолкнулся. «Ну, чего у тебя?» — спросила. Приподнял перед собой зажатый палец с кровью, капающей уже. Стала перевязывать, разговор прежний продолжая. Перевязала и бросила: «Всё, иди!» А я всё сидел, представляя работу у станка с такой замотанной рукой и с болью, которая странно усиливалась. Рукоятки станка крутить, заготовки ставить, снимать, измерять всё микрометром... «Работать не смогу», — сказал. «Кем работаешь?» — «Токарем». Выписала какую-то синюю бумажку (первый больничный в жизни), сунула угрюмо: «На!»

Хорошо помню, что меня всё это оскорбило не то, чтобы невнимательным (не надо мне его, внимания), а именно хамским каким-то отношением.

Уж никак тимской жизнью я не избалован был, а всё равно достало. Неужели, подумал, попросту, по-человечески обойтись нельзя было? Ничего же не требуется, кроме человеческого голоса и выражения лица. Хамство беспричинное, не замечаемое даже, впервые это отметились тогда...

* * *

Занятий спортом много было в Тиму, и, уезжая в Пятигорск, я предполагал сразу к ним там и приступить. В первый же день по приезде на стадион пошёл и был, в общем-то, доволен: небольшой, какой-то уютный, с дорожкой гравею, с трибуной невысокой с одной стороны и лавками синими, с другой. Можно было тут и тренироваться, и даже чемпионом каким-нибудь стать. Ну хотя бы Пятигорска для начала. Тут же и стенд с газетами был, и статья в «Советском спорте» о новом мировом рекорде в прыжках в высоту, установленным нашим прыгуном Степановым. Это меня даже подбодрило: могут же люди!

В Воронеже я тоже стал ближайший стадион искать и нашел-таки с трудом: пустырь, футбольное поле и беговая земляная дорожка вокруг, едва отмеченная. А рядом, впритык почти, огородные лоскутки с картошкой, кое-где ещё и не выкопанной.

Денёк был серый, холодный, стадион выглядел хуже тимского, и стало мне не просто тоскливо, но и обидно, будто меня обманули. Пришлось утешаться тем, что это так, пока. Пока в институт не поступлю, а уж там другое что-нибудь, получше, будет.

Потренироваться, побегать пришлось на этом стадиончике совсем немного: ненастье осеннее мешало, развозившее грязь на беговой дорожке и, главное, трёхсменка. Организм не принимал такой чехарды: то утром надо бегать, то в середине дня, а то вечером.

Сходил я и в Дом культуры заводской, чтобы в спортзал, там бывший, как-то приткнуться. Был он закрыт, без всяких на двери объявлений о его работе. Пришлось до директора добираться. Тот посмотрел с раздражением и буркнул: «Пока закрыто». А на вопрос, когда ж откроется, повторил, уже со злостью: «Закрыто пока!»

Всем этим я сильно огорчился, потому что привык чувствовать спорт как некую существенную поддержку, опору в жизни. Да и тело его просило, требовало прямо-таки. И дух товарищества спортивного очень хотелось вновь ощутить...

* * *

Зима выдалась морозная, многоснежная, метельная, ядрёная, крутая. Ходили в ватниках, называя их по-тимскому фуфайками, да другой зимней одежды никогда и не нашивали. Одевали мы их прямо на рабочие комбинезоны, хотя можно было и переодеваться в цеху, что большинство работяг и делало. Вообще, устроить свой быт хоть как-то поудобнее и в голову не приходило. Да неудобства или не замечались, или представлялись неизбежными, необходимыми почти.

Ощущение глухой глубины зимы хорошо помню. Идёшь через заснеженное, огромное поле, и не верится, что ты в городе большом живешь-работаешь. Лишь завод, вдали темнеющий, об этом напоминает. Холодно было в такой одежонке ходить, да и работать тоже, пока за работой не согреешься. На трамвае на завод я ездил только в третью смену. И так он скрипел-визжал по-морозному, по-зимнему, на ходу.

А вот дома была банная какая-то жара-духота. Там мы и отогревались вполне, на кроватях валяясь. Странно, что будучи заядлым книголюбом, никаких книг, кроме «Материализма и эмпириокритицизма», не помню. А, может, их и не было. Может, я решил, что, пока все мудрости этой великой, в чём уверен был, книги не постигну, больше ничего и не читать. Ну и постигал, и рад бывал, если вдруг оказывалась понятной целая страница или две.

Понимаю теперь, что и желание моё стать писателем, неизвестно откуда возникшее, тоже с требованием, усилением души понять нечто самое главное в жизни и мире было как-то связано. Писатели же в этом являлись тогда основными авторитетами, великие писатели...

Вообще, то, что я испытывал в ту пору, духовной жаждой, требующей утоления, вполне можно назвать. И у людей с художественной закваской она именно через работу творческую утоляется, являющуюся, в сущности, молитвой, путём к вере и Богу, если даже человек атеистом себя считает, как я тогда.

* * *

В том, что в институт поступлю, я был уверен. Пройти, как медалисту, не экзамен даже, а собеседование по одной-единственной химии, представлялось мне делом простым: уж как-нибудь, знания перед этим освежив, справлюсь. Со второй моей, главной задачей — становиться и стать писателем — было посложнее. Какие-то наброски, строчки-странички, остались дома, а здесь, в Воронеже, я ничего и не писал. Слишком много нового было вокруг, оно ошеломляло, подавляло возможность выбора. Что же из всего этого писать-записывать? Или такое и вовсе ни к чему, а надо что-то совсем-совсем своё, из души лишь его доставая, писать? Вот именно эта развилка заторможенность и вызывала, казалось...

Ничего не пиша, я чувствовал себя словно бы уже и пишушим. Как-то внутри, без ручки и бумаги. Пристальность упорная взгляда на окружающее это ощущение, пожалуй, и вызывала. Поразглядывал, разглядел что-то интересное в людях, в предметах, в природе — и, казалось, уже об этом как бы и написал.

Шёл как-то мимо общежития мединститута и услышал музыку, и увидел за окнами людей танцующих. И таким мне это представилось раем, пока недоступным: танцы, девушки в лёгких платьях, возможность обнять в танце, какую хочешь. Ведь бывало же такое в школе, а я отвык, забыл, словно этого уже и не существовало на свете...

Постоял в темноте у окон, посмотрел, послушал, и такую вдруг ощутил уверенность, что скоро, вот-вот, и я буду там, за окнами, и всё всем докажу. Кому и что? А всё и всем.

* * *

Случались в жизни события, которых, казалось бы, ну никак не должно быть. Вот и это из таких. Воронеж, глубина зимы вьюжной, погруженность в заводскую работу, оторванность от дома резкая, до ощущения, да есть ли он на свете, этот дом? Вечер, валяемся с Генкой в своей каморке на кроватях. Стук в дверь, и на пороге Галка Ишкова. Как мы внешне прореагировали, не вспомню теперь, а вот чувство, когда она появилась, вполне помнится: не может быть! И желание отмахнуться, отвернуться, как от обманки дурацкой, привидения какого-то.

Было нас трое в классе, лучших учеников, одного примерно уровня. Да и в школе, может быть, потому что мы с Галкой только медали и получили. И называли нас учителя как-то привычно подряд: Ишкова, Овцынов, Убогих. Именно в таком порядке. Как хоккейная тройка какая-нибудь. Были мы и неравнодушны к этой Галке, однокласснице нашей вечной, с начала самого школьной учёбы. Я слегка, а Генка, пожалуй, и посильнее. И так это неравнодушные некоторое и тянулось из года в год.

Была она невысокая, крепкая, смуглая, черноволосая, кареглазая. Привлекательная, в общем, живая, общительная. Но что-то мешало мне увлечься ею по-настоящему, что даже самого удивляло. Какая-то несовместимость тайная, глубинная, неосознаваемая почти. Впрочем, как потом оказалось лет через двадцать, она этой несовместимости совсем и не испытывала, а даже наоборот.

Встретились мы как-то с дружкой школьным Витькой Кукиным в Тиму, он и рассказал. Был в Ленинграде, да и нашёл там эту самую Галку по старой памяти. Работала она преподавателем в Академии медицинской вместе с мужем. Вот Витька и сообщил новость, меня поразившую и как-то согревшую даже. Она, сказал, тебя любила и до сих пор любит, только о тебе почти и говорили.

Витька был человек склада практического, без всяких залетов идеально — романтических даже и в юности. Сидели мы, совершенно трезвые, на дворовой лавочке, в обстановке уныло-бытовой, мусорно-пыльной, и я, при всём изумлении и недоумении, вдруг в это вполне поверил. Есть, значит, в мире и такая любовь и должно её быть много. Первая это любовь, которая, как известно, не забывается, и у каждого была когда-то...

Оказалось, что Галка, поступившая в Курский мединститут, приехала на лыжные соревнования в Воронеж и нас нашла, узнав адрес в Тиму, у родителей.

Генка сбегал в магазин, вернувшись с бутылкой ликёра, колбасой и консервами. Ликёр Галка лишь пригубила (завтра гонка!), и это как-то особенно мне понравилось: спорт, режим, дело серьёзное. И вообще, вся она была как бы в ореоле иной, высшей какой-то, жизни: институт, общага, анатомичка, лекции, зачёты да ещё вот и спорт настоящий в придачу. На «зону» приехала, из нескольких городов студенты съехались сюда, в Воронеж. На нас она смотрела со смесью удивления, жалости и сочувствия. Понимала, конечно, что завод дело не сахарное, но такой каморки со щебнем вместо пола, видать, не ожидала никак. Камера тюремная, а мы вроде как заключённые в ней.

Ушла она довольно скоро, и до трамвая я провожал её один, без неожиданно сильно захмелевшего Генки. Вернувшись, застал его лёгшим головой на руки, на ящичный наш стол. Рядом тетрадка лежала, и невольно фраза, в ней написанная, в глаза бросилась: «Боже, как она хороша!». Прямо-таки по глазам она меня полоснула. И стыдно стало от невольно подсмотренной тайны. И горечь горькую я почувствовал от мгновенного понимания боли чужой, безнадёжной любви...

* * *

Так вот мы и жили — песчинки в глубине города, казавшегося громадным. И было нам, в общем-то, хорошо. Хорошо тем, что главным было не настоящее, а будущее, конечно же, прекрасное, которое наступит уже скоро, вот-вот. Если бы поместить внуков моих в том же примерно возрасте в ту жизнь, они бы ужаснулись, пожалуй, восприняв её как каторгу. Для нас же она была совершенно естественной. Всё нормально, всё путём, как тогда говорили...

Всё хорошо: и остановка трамвая наша «Песчаная», что-то приятное, родное напоминающая, и названия улиц в нашем районе: Костромская, Курская, Смоленская, и запах от завода синтетического каучука, сладковатый и чуть от того как бы цветочный, и заводские гудки по утрам, такие разные, с совершенно особенным, родственным уже, гудком нашего завода...

* * *

Вышел из дома на работу во вторую смену, закрыл за собой калитку — и дальше полный в памяти провал. Очнулся уже в больнице, и того, что было между калиткой и больницей, так и не смог вспомнить никогда. Называется это по-научному амнезией и является симптомом сильного сотрясения мозга. Довольно серьёзное дело, вообще говоря...

Следующим после закрываемой калитки воспоминанием было склонённое надо мной женское лицо под белой медицинской шапочкой и вопрос:

— Как зовут?

— Юра...

— Ну, слава Богу! А то всё Лев Толстой, да Лев Толстой. Совсем, решила, мозги тебе отшибло...

Да, думаю я теперь, глубоко же во мне идея «писательства» сидела, если такое городил. Реализовывать пришлось, не денешься никуда...

Выяснилось в конце концов что нашли меня у подъездной к заводу железнодорожной ветки, лежащим на спине с открытыми глазами в состоянии бессознательном. Ну и отвезли на «скорой» в ближайшую больницу, где я и представился Львом Толстым. Остальное угадывается легко: шёл, очень уж задумчивый, да маневрового паровозика, толкавшего перед собой на медленном ходу вагоны, и не заметил. Вот они меня и сбили очень удачно, в сторону от рельсов отбросили. Удар пришёлся в затылок, и вот тут шапка-ушанка помогла, удар смягчила. Сплошное везение получилось, а вот почему паровоз не остановился, Бог весть. Машинист, скорей всего, не заметил: тоже задумчивым был...

О лежании в больнице и лечении помню очень мало. Разве что настойчивые просьбы отпустить, выписать меня поскорее. Женщина-врач, меня лечившая, сначала и слышать об этом не хотела, повторяя снова и снова, что травма была очень серьёзная и я просто этого не понимаю. А я чувствовал себя совсем даже неплохо. Ну, слабость была, ну, поташнивало — пустяки! И ведь уломал я её в конце концов. Вот глаза её, жалостливые при выписке хорошо запомнились. Но если жалела, так зачем было и выписывать, думаю я теперь. На больничном, сказала, долго пробудешь. И лечение на дому серьёзное предстоит. Подумала, наверное, что дома мне будет хорошо, удобно, не знала ведь про каморку нашу божовскую.

В ней, кстати, я тоже быстро заскучал и на работу выписать попросился. Докторица оказалась уже другая, незнакомая, и тут же это и сделала...

А я и впрямь чувствовал себя почти нормально и до сих пор так и не понимаю, как могло такое быть. Тяжёлая очень травма обошлась совсем легко, и ничем потом в жизни себя не проявила. Я и с трамплина, в институте учась, на лыжах прыгал, и слаломом лыжным занимался. А уж эти дела требуют очень крепкой головы. Чудо, да и только! Под старость лет даже об ангелезащителе стал подумывать: он, может, всё и устроил?

Матушке, разумеется, быстро сообщили телеграммой о случившемся, со словами: «Попал под поезд», как она потом рассказывала. Что она пережила до встречи со мной в больнице, и представить страшно. Саму встречу совсем не помню, потому, может, что уж очень тяжела она была. Вот память её и выбросила...

Тут же и дядя Ваня явился из Пятигорска, и они с матушкой пожили несколько дней у добрейших наших Бурцевых. Дядя Ваня запомнился тем, что руку поцеловал Ефросинье Степановне, хозяйке дома, при встрече и при прощании. И потом, в письме уже благодарственном, написал: «Целую руку». Вот её потом и дразнили муж с сыном, говоря про него: «Твой поцелуйщик».

А жизнь наша заводская и иная всякая пошла по-прежнему, словно этого случая железнодорожно-больничного и не бывало. Хорошо умеет юность такое-подобное забывать!

Да, ещё помню, как Генка носил мне в больницу пряники и конфеты в большом количестве, потому, может быть, что в детстве никогда мы этого вволю не едали. Собирали при случае мелочь для покупки ста или двухсот грамм того или иного. На троих...

* * *

Неожиданно как-то явилась весна и словно вытащила нас за шиворот на свет Божий из зимней полудрёмы. И забота тут же новая и приятная возникла — готовиться к поездке домой на майские праздники. Слово «дом» вспыхнуло вдруг в душе, как большой, многоцветный, многогранный шар, а на гранях чего только не было. Главное: Ирина там была, первая моя любовь, с катанья на лодке в Москве, в зоопарке, вдруг возникшая. Два года последних школьных она длилась, а цела ли теперь, я и сам не мог сказать толком. Очень уж пятигорские и воронежские дела душу перетряхнули.

Поездка и встреча с Ириной приближались понемногу, я вспоминал и думал о ней всё чаще, словно ощупывал в душе что-то важное и радовался неуверенно, что, кажется, всё цело. Ну так это у меня, а у неё как?

Ирина поступила в харьковский мединститут, и я бы вполне мог и адрес её узнать и письмо написать. Мог, да не мог! Оскорбительное что-то было в том, что она в институте чинно-благородно учится, а я тут то перед станком кручусь, как клоун, то в грязной каморке на кровати проржавевшей валяюсь. Что ж, посмотрим, что встреча наша покажет, ставка очная...

Первая на чужой стороне весна выдалась совершенно чудесной, и я почти всё свободное время в одиноких прогулках по городу проводил. Опьянение такое было весеннее, не то идёшь, не то плывёшь в воздухе густом, между блеском ручьёв и луж на земле, и белыми, редкими, тугими облаками на синем небе. А в голове хмельная кутерьма из мечтаний и воспоминаний, вперемежку. И Ирина в этой кутерьме мелькала иногда: то крупно, в упор, хоть заговаривай с ней, то в стороне, силуэтом призрачным.

В прогулках, постоянных и многочасовых, я и практическую цель имел: подарки купить матушке и Ирине, и самому принарядиться к празднику и свиданию с Ириной. В том, что она домой, в Тим наш, придет, был уверен совершенно, сам удивляясь своей уверенности.

Иногда заходил в попутные магазины и хорошо помню «галантерею», в которой первую покупку сделал — ридикюль из тиснёной кожи.

В магазине было безлюдно, сумрачно, таинственно даже, и от множества вещей на витринах мерещилось что-то музейное.

До ридикюля я добирался долго и угадал его сразу: вот он, мне нужный! В руках повертел, замком пощёлкал, нутро к носу поднёс: пахло терпко и как-то, мелькнуло, женственно. Правильный матушке подарок, словно подсказал мне кто-то со стороны.

Ридикюль этот уцелел и недавно под руку мне попался: такой плохонький, жалкий и милый именно этим. Старел, видно, сначала с матушкой, а потом уже и рядом со мной...

В крохотном магазинчике «Головные уборы», где все стены были завешены этими самыми «уборами», долго выбирал кепку-восьмиклинку подходящего цвета и взял наконец какую-то горчичную. В зеркале себе в ней понравился: и бодренько, и лихо. Потом была «Одежда» и просторная, модная вискозная рубашка, синяя в белую полоску. Ярко так представилось, как буду идти рядом с Ириной в солнечный майский день, а рубашка будет пугаться за спиной под ветерком...

«Спорттовары» поразили обилием не просто знакомых, а родных прямо-таки вещей: лыжи, палки лыжные, коньки отдельно, коньки с ботинками, гири, гантели... Вот именно, что глаза разбегались: так бы и бродил, глазел без конца, всё к себе прикидывая. А нужен был рюкзак, непременно с ним, а не с чемоданом хотелось в Тиму появиться — как страннику из дальних краёв.

Рюкзак нашёлся: совершенно чудесный, небольшой, тёмно-зелёный, из толстого, приятно грубого на ощупь, брезента. А карманы и карманчики,

а застёжки блестящие, а языки застёжек жёлтые! Самым же лучшим был запах: путешествий, дорог, приключений... Да ещё заграничный был рюкзак, польский, первая для меня такая вещь. Он и показал потом себя прекрасно, десятки походов выдержал, с грузом тяжеленным, ни в чём слабинки не дав. Когда же поизносился, состарился, я его всё-таки оставил, как ветерана заслуженного и юности свидетеля. Так и висит, есть не просит...

Купил и Ирине подарок: «Дон-Кихота» в суперобложке. И рисунок на книге заранее сделал, по дурашливому какому-то вдохновению: два человечка, держащиеся за руки, от них линия косо вверх, а на самом верху крестики могильного такого вида. И подписал: «Дорога жизни». В том смысле, конечно, что мы эту дорогу вдвоём с Ириной дружно и пройдем. Сейчас, вспомнив, и то неловкость ощутил. Какой осёл! Это художество ведь и матушка Ирины наверняка увидела, и сёстры. Что они подумали, легко можно представить. Хотя... Хотя сейчас вот только мелькнуло: художество-то моё сбылось почти! К восьмидесяти мы с Ириной, держась за руки, уже подходим. И до крестов рукой подать...

* * *

А вот наконец и цель долгожданная: Тим, площадь в центре, музыка оглушительная, толпа людская, празднично-пёстрая, кипящая движением, говором, смехом. Позднее утро, как праздничный подарок: и солнце сияет, и небо сияет, и зелень на земле первая, нежнейшая, сияет тоже...

— Юрка, стой! — Бьёт кто-то сзади по плечу.

Оборачиваюсь, одноклассник, первый меня на подходе к толпе заметивший. Ни фамилии, ни имени уже и не вспомню, а вот прозвище помнится всю жизнь: «Кысюка». Самое странное прозвище, которое вообще слышать пришлось. И не поймёшь, какое оно: то ли обидное, то ли ласковое даже.

Долго жмём руки, друг друга оглядывая, и я чувствую с удовлетворением, какая у меня кисть стала сильная, твёрдая. Станочек помог.

— Ну и морда у тебя, — говорит, наконец, Кысюка. — Хоть щенят бей!

Грубовато, конечно, сказано, но мне понравилось. Польщён даже был, впрок, значит, пошла заводская жизнь и работа...

А вот мелькнуло в толпе что-то неясное, но совсем особенное, и заставило вздрогнуть. Рука, платья кусок... Ирина. А вот и вся почти показалась, и я сделал к ней несколько шагов, и замер невольно. Потом понял: со стороны на неё захотелось посмотреть после долгой такой разлуки. Ну и посмотрел, и увидел вдруг то, о чём догадывался давно и смутно, но вполне не осознавал. Красавицей она была, вот что! И не только для меня, влюблённого, но вот именно что для всех. Все это и видели, конечно. Это и восхитило, но и встревожило тут же. Как жила она там, в своём Харькове, в своём институте, красавица моя? Да и моя ли теперь?

Я зашагал к ней решительно, протолкался уже вплотную, и по тому, как вспыхнуло её, вдруг повёрнутое и приподнятое ко мне лицо, почувствовал с мгновенным облегчением: моя!

— Привет!

— Привет!

Стоим и молчим, в глаза друг другу смотрим. Ну, рукой её за плечо чуть тронул, сам того не заметив почти. И всё. Стоим и молчим. И говорить не надо, лучше смотреть. Тут свой разговор, он и точней, он и глубже. И легче, сам собой идёт, без нашего как бы и участия. И далеко уже зашёл, а прошла, может, минута всего.

— Привет, привет!

А это сестра Ирины Галя, с мужем и маленькой дочкой, подошла. Тут уж и разговор общий пошел-поехал, разрастаясь и оживляясь всё больше. И от этого мне, да и Ирине, кажется, и свободнее, и легче. Но и скучней. Нам бы вновь вдвоём постоять, помолчать, посмотреть друг на друга...

Кончается тем, что нам дают девочку Наташу, чтобы мы её к бабушке, матери Гали и Ирины, отвели. Смысл такого похода меня не интересует совершенно. Мне лишь бы с Ириной быть. И девчужка не помеха, славная такая, живая. Да и сбудем же мы её в конце концов с рук...

Идти далеко, через добрую половину Тима, потом по крутой горе, по тропе широкой вниз, к речке и мосту, а потом ещё и по сельской улице. Я несю Наташу то на одном плече, то на другом, то на «закорках», и это ей, похоже, нравится. Ей года три, она лёгонькая и говорит почти без умолку. Приятно нам с ней: и между собой можно поговорить накоротке, на ходу, кусочками, что делает разговор особенно непринуждённым, и с Наташей словом перекинуться.

Хорошо идти: и солнце, и тепло, и ветерок новую мою рубашку за спиной пузырьём надувает, как помечталось при её покупке.

Я устаю Наташу нести, пробежаться её пускаю, и она делает это вполне умело, ноги так и мельтешат...

Тим кончился, проходим стадион футбольный с одними только воротами, а дальше даль дальняя километров на пять, до Липового леса. И сельская улица отсюда, как на ладони, и дом Ирины, совсем для меня особенный, с высоким крыльцом, с навесом над ним, с голубым, ярким на солнце, коридором. Сколько раз за два года я вот так вот его видел вдруг, чуть волнуясь даже. Пусть не Ирина, но ведь дом-то её!

Медленно спускаемся к речке и мосту, отдыхаем, стоим у перил, глядя на воду. И я думаю, чувствую вдруг, держа руку на пушистой, тёплой голове Наташи, что она ведь родная племянница Ирины. И ещё думаю вслед, что и у нас с ней может быть когда-нибудь ребёнок. А почему нет? Пусть парень будет, но девица тоже годится...

А когда совсем уж дом Ирины близок, я чувствую, что эта прогулка с Наташей как-то сильно и странно сблизила нас, породнила как бы...

* * *

Вечером сидели вдвоём высоко над речкой, на земляном уступе, удобном, как диван. Речка тускло поблёскивала и поплескивала в сумерках, за ней ивняк приречной шёл, а дальше и Ирины дом угадывался. За спиной было кладбище. Хорошее, безлюдное местечко, «наше», обжитое уже за два года.

Я и рисунок свой дурацкий на книге, Ирине подаренной, сделал, кладбище это вдруг вспомнив, скорей всего...

Говорили мало, так, кое-что из её харьковской и моей воронежской жизни. Обнимались, в основном, как и быть должно. Удивительное в своём постоянстве тяготение друг к другу у нас оказалось, продержавшееся почти без заминок и сбоев, всю долгую-долгую жизнь. Даже ссоры крупные его не гасили по-настоящему. Теперь нечто подобное называют «химией», и мне это не по нраву. Грубо и примитивно. Чудо это по сугубой избранности, прочности и долголетию. Бог дал...

Я был настойчив, а Ирина придерживала меня как-то очень мягко, но непреклонно. И я смирялся с некоторым даже удовлетворением и пониманием, что это правильно, как и следует быть. А понимание было в том, что надо её, Ирину мою, беречь. Для кого? А для самого себя...

Много лет спустя прочитал у Твардовского: «Смерть грохочет в перепонках, и далёк, далёк, далёк вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берёг». Вот и тут, уверен, тот же самый смысл: для себя и берёг. А она должна была беречь себя для него, так выходило... Выходило, выходило, да и ушло, кажется, из жизни совсем и навсегда. Или вдруг ещё живет-держится у кого-то?

Поздняя луна начинает проступать сквозь хмарь туманную, и я провожаю Ирину до дома. У крыльца стоим, греясь общим теплом, пока она не начинает отстраняться мягко. Я отпускаю её наконец, и разрыв так ощутим, слышен почти...

Луна прояснилась, и можно уже бежать по улице короткой, по дощатому мосту, а потом по извилистой, широкой тропе вверх, чувствуя, как ощутимо теплеет и подсыхает воздух...

Второй, прощальный уже, вечер прошёл примерно так же, как и первый. Только вот мысль о том, что он прощальный, промелькивала порой, и от этого нехорошо щемило сердце. И догадка являлась смутная, что всё у нас с Ириной не к концу идёт, а, может быть, только начинается по-настоящему. И непонятно было, почему так, ведь и по городам разным жить мы разъехались, и встречаться будем редко теперь. Было в этой догадке что-то от чувства судьбы, выбора какого-то высшего, который не изменить...

* * *

Перед самым моим отъездом матушка сказала, что хорошо бы мне работу свою заводскую бросить, вернуться домой, чтобы тут и готовиться спокойно и без помех к поступлению в институт. Я был прямо-таки поражён простотой и резонностью этой мысли, и тем, что она мне самому почему-то никогда не приходила в голову. Да и вообще, зачем нужен мне был и завод, и сам Воронеж? Работал бы себе тем же токарем в мастерских при МТС. Ну, тут всё-таки был резон: стыдно, позорно как-то казалось остаться дома. Каким-то обсевком в поле себя бы чувствовал. А вот теперь нет, теперь я, чтобы к экзаменам вступительным готовиться, могу и дома остаться, на два всего-то месяца. В поступлении же не сомневался, даже мысли о неудаче не допускал. Генка же, когда я ему, приехав, план свой рассказал, отказался решительно,

и никакие доводы мои на него не подействовали. Он даже обсуждать такое не хотел: нет, и всё!

Смысл и причина такого отказа мне так до конца и не прояснились. Ведь на прежнюю работу всегда можно было вернуться, если уж на то пошло. И в ту же каморку, к Сергею Сергеевичу Косякову, вселиться. Одно только мне представлялось вероятным: не хотел он под мою дудку плясать. Сюда за мной приехал — и отсюда, выходит, точно так же уедет? Не очень весомой была такая причина, но чем-то и уважительной. Самостоятельность свою человек защищал...

Съездили мы с Генкой и в институт, посмотреть толком, внутри походить, если пустят. И узнали там новость, весьма для нас неприятную. Вышло постановление, что абитуриенты, имеющие двухлетний стаж работы, будут приниматься в институт в первую очередь, опережая всех остальных. Это обещало существенное увеличение конкурса, и так немало в прошлом году. И ещё, уже только для меня: медалисты будут теперь поступать на общих основаниях. Тут-то я и почесал в затылке. Разница выходила большая: четыре экзамена вместо собеседования всего-навсего. Утешился, впрочем, довольно быстро: четыре, так четыре. Даже азарт, спортивному сродни, появился. Выше планка, а я и её возьму!

* * *

Надо было с завода увольняться. Сначала заявление подать, а потом две недели по закону ещё отработать. Отрабатывал я их в настроении весёлом, лёгком. А в последний день вдруг почувствовал, что расставаться с заводом навсегда мне вдруг стало жаль. И всё неприятное, тяжёлое, что было для меня за время работы, неожиданно повернулось иной, обратной как бы, стороной. Тяжело, но ведь и интересно, свежо, ново...

Прошёлся, праздно уже, по территории заводской с этим сожалением, пусть и лёгким, но несомненным. В свой цех зашёл, и чем-то уже близким, родственным на меня пахло. С людьми знакомыми попрощался. И тут, конечно, Николай, учитель и наставник мой по делу токарному, резче всех запомнился. Тиснул руку до боли и сказал особенно как-то напористо и твёрдо: «Давай, не робей, жми до горы!»

Вообще же говоря, наша жизнь заводская, когда её вспоминаешь, чем-то похожа была на то, как в тимской нашей ребячьей гурьбе большие пацаны маленьких плавать учили. Выбирали удобное место на берегу речки, чтобы в случае нужды помочь можно было, ловили какого-нибудь подходящего мальчика, плавать уже понемногу пытавшегося, хватали за руки-ноги, раскачивали широко — и в воду, на глубину, бросали. А потом смотрели, как он, с лицом совершенно безумным от страха, барахтался, понемногу на мелкое место выбираясь. И ведь помогало! Через день-другой, глядишь, уже плывёт малец самостоятельно, «по-собачьи» руками загребая. И рожица у него такая счастливая...

А когда дома с Генкой попрощался, уезжая в Тим, то такое сочувствие острое к нему испытал! И чувство вины шевельнулось. Приехали вместе,

а теперь остаётся он один. Умом я вины своей не находил, а душа своё говорила: виноват... И эта вина так на мне и осталась. И Генки давно нет на свете — а вина всё жива...

Потом, через много лет, когда приходилось бывать на заводах, всё заводское, хоть и сильно уже отличавшееся от того, давнего, юношеского, всё равно отзывалось в душе горько-сладкой такой болью. И в цехах, с людьми их, запахами и звуками, и в столовых заводских особенно. Иные по виду они были, и еда была иной, но в глубине, в основе своей, всё той же. Из зимы, такой давней, из столовой нашей, такой затрапезной, и такой любимой. И бег к ней азартный, наперегонки в обеденный перерыв, вспоминался, как бывший позавчера...

Постоял через много-много лет и около дома-домика, в котором жили с Генкой. Ни в улице, ни в домике, совершенно ничего не изменилось. Даже калитка, казалось, была та самая, которую я закрыл за собой перед встречей с маневровым паровозом. Может, и в комнатухе нашей, вместо пола дощатого, по-прежнему щёбёнка? Это мелькнуло в шутку, а чуть и всерьёз... Очень хотелось зайти, но не зашёл. Мёртвых с кладбища не носят, есть такая поговорка.

* * *

Два месяца в Тиму, которые были у меня для подготовки к вступительным в институт экзаменам, удались чудесно. Я быстро вошёл в тот, хорошо уже освоенный раньше, метод полного погружения в учёбу с головой и со всеми потрохами. И зажил совершенно особенной, напряженно-интересной, жизнью. Это было похоже на освоение, хоть уже и не нового, но не до конца, не до самого дна, изученного, пространства.

Готовился по билетам, и в каждый новый билет входил, как в комнату знакомую, чтобы теперь рассмотреть, изучить, освоить её до мелочей. Так, что если бы она вдруг оказалась тёмной, то можно было бы свободно ходить по ней на ощупь, по запаху и даже как-то по вкусу.

Оказалось, к счастью, что помню я из школьной экзаменационной программы очень многое, едва ли не всё. Интересно было, прочитав вопрос из билета, посидеть тихо и спокойно, терпеливо ожидая, как в памяти, из тёмной её глубины, начинает всплывать ответ, медленно, разрозненными и затуманенными сначала кусками, которые становились всё ясней, всё определённой, тянулись как-то друг к другу, формируя без моего вроде бы даже и участия, ответ. Сначала он был рыхлым, размытым по краям, но понемногу обозначался всё определённое.

А вот уже и отвечать на вопрос можно было и я, то про себя, то вслух, проговаривал ответ снова и снова, добываясь возможной ясности и полноты. Случались, и нередко, провалы и пустоты, которые приходилось заполнять, обращаясь к учебнику или к своим же записям, сделанным год назад.

Вот так я и работал с каждым вопросом до тех пор, пока ответ не выстраивался в памяти ясно, полно и даже, казалось, стройно. Иногда задавал сам себе дополнительные вопросы, с эдакой хитрецей, подковыркой и отвечал уверенно и на них. Вполне отработанным ответ воспринимался, когда

я знал, чувствовал его полноту. Вопрос как-то сближался, сливался с ответом, и это общее пространство просматривалось насквозь. Вдоль и поперёк, как говорится...

Занимался я за столом, покрытым белой с узорами скатертью, а иногда, в жаркие особенно дни, забирался и под стол, там казалось прохладнее. И детство, раннее конечно, хоть на миг вспоминалось и даже чувствовалось: такое безмерно далёкое...

Однажды лежу под столом на животе, учебник читаю и вдруг, подняв глаза, вижу прямо перед собой, впритык почти, загорелые женские ноги. Ага, Галя Заремба зашла, квартирантка, жившая у нас в доме, пока я в Воронеже пребывал. Недолго думая, я и цапнул её за лодыжки. Раздался визг нечеловеческой какой-то силы и дикости...

А Галя чудесная была девица, на два года раньше меня школу кончила и работала кем-то в нашей районной больнице. Мы с ней и подружались, вполне как-то бесполо, как брат с сестрой. Была она высокой, смуглой, худой, угловатой. Стоит как-то перед зеркалом в дверце шифоньера и внимательно себя рассматривает. Наконец говорит горестно, хлопнув себя ладонями по бёдрам:

— Эх, на окорочка бы добавить!

Я хохотал до упаду, то есть буквально по полу катался. И вот до сих эти её «окорочка» помню. Где-то она теперь, Галя Заремба? И с «окорочками» как у неё дела?

Учебная работа моя продолжалась часа четыре, после чего я бежал на пруд. В этом году его заполнили водой, починив наконец плотину, когда трава по берегам речки, на лугу огромная стояла, в полный свой рост и силу. Вода была чистейшая, и казалось странно, диковато как-то нырять и плыть потом среди высокой, густой травы. Джунгли заморские мерещились из фильма «Гарзан»...

Долгое такое плавание чудесно освежало не только тело, но и душу. Казалось, что ты путешествие далёкое нежданно-негаданно совершил.

Потом я обедал с матушкой, совершенно счастливой оттого, что все пятагорско-воронежские ужасы кончились и я наконец вот он, рукой подать...

После большой еды спал часок, потом ещё немного учёбой занимался, а там шло уже время вечернее, прогулка в парк, к танцплощадке, где можно было посидеть на лавочке, на людей посмотреть, музыку послушать. Зайти же на самую танцплощадку, да ещё и потанцевать, мне и в голову не приходило. Уж очень чуждым это было той жизни аскетически-рабочей, которой в эту пору жил. Да и людей я по возможности сторонился, мешали они настроенности моей целевой. И расспросы их были порой несносны: что, да как, да почему? Например: под поезд попал, а цел, вроде бы... Как же это?

Если погода была прохладной, я и в кино захаживал порой, и всегда хотелось посмотреть что-нибудь занимательно-приключенческое, из детства, «Графа Монте-Кристо», например...

Так вот и шли дни за днями, однообразные, один в один. И мне было приятно это чёткое чередование напряжения работы и расслабленности

отдыха потом. Казалось даже, что жить так можно долго-долго, чуть ли не всегда. Да это, в сущности, и получилось в самой своей основе. И хорошо, и правильно, и как же иначе?

Перед отъездом в Воронеж я уверенно чувствовал, что в пределах экзаменационных билетов знаю всё: именно так, как ни странно. И что я набит этими знаниями до отказа, по горло. Мелькало даже, что, если очень сильное и резкое движение сделать, то знания мои так из меня и посыплутся, как из мешка. Или, уже с ухмылкой, с насмешкой над собой: если пинок под зад хороший получить...

* * *

На автостанции мне неожиданно повезло. Вместо долгой езды с посадкой в поезд в Щиграх подвернулся перегонный, пустой автобус, шедший прямо до Воронежа. И езда эта пятичасовая примерно запомнилась мне на всю жизнь. Вдохновением литературного свойства, которое вдруг накатило на меня в автобусе и продержалось, то усиливаясь, то ослабляясь, весь долгий путь. Всё, что я видел из окна или во время редких и коротких остановок, мне представлялось достойным описания. Всё-всё можно было и хотелось описать, и сейчас вот, не откладывая. Всё подряд, так именно. Всех людей, все предметы ближние и дальние. Какая-то глубина особенная, влекущая во всём чудилась, и хотелось её достать, показать, вывернуть какой-то особенно влекущей, лицевой что ли стороной. В райцентре Горшечное, где мы постояли с полчаса, это чувство-желание стало особенно острым. Как голод, который надо утолить. Я и называл потом про себя это: Горшечное вдохновение. А само Горшечное — скучнейшее и тоскливейшее на редкость было место. Но это нисколько не мешало желанию описать и его, со всей тоской и скукой. И описание скуки и тоски должно было мощным и ярким обязательно получиться — так с уверенностью думалось и чувствовалось тогда.

Почему такое именно в этот день, в обстановке явно не подходящей, со мной стряслось-случилось? Может, потому, что уже привычного напряжения работы вдруг не стало, и освобождённая душа моя тут же на иное, более для меня важное, переключила свою энергию — на литературу?..

Дней за десять до начала экзаменов начались консультации для абитуриентов по всем предметам, которые придётся сдавать. Проку от них для меня было немного, на все задаваемые преподавателям института вопросы я вполне мог ответить сразу, без всякой подготовки. Это подтвердило мою уверенность в том, что я знаю действительно всё. А вот другое было несколько тревожным: говорили, что конкурс для поступающих без производственного стажа около сорока человек на место. Это было многовато, через целую толпу проталкиваться придётся...

* * *

Первым экзаменом было сочинение, и тут главная задача моя была: не сделать ошибки в тексте. Запятая какая-нибудь жалкая, не поставленная или лишняя, могла всё дело испортить. Поэтому надо было писать

фразами простыми, короткими, а если в написании слова вдруг сомнение возникало, то заменять его другим, близким по смыслу. А в том, что тему сочинения я, как говорили тогда, «раскрою» — сомнений у меня не было.

Эта моя, школьная ещё, установка, сработала и теперь, в экзаменационном листе, полученном на другой день, стояла пятёрка. «Отл.» — так размашисто, крупно, красиво было написано, что я залюбовался прямо-таки. А через несколько дней с волшебной какой-то простотой и лёгкостью я заработал ещё две подобных записи, по физике и химии. Оставался английский, и вот тут-то у меня уверенности твёрдой не было. Не давался он мне в школе, как остальные предметы. Странную какую-то я к нему испытывал неприязнь. И к устной речи, и к грамматике, и к работам письменным. Тошно всегда было за него браться и его учить. К окончанию школы только догадался, что это я неприязнь к учительнице английского, глухую и непонятную, на её предмет переносил.

Мария Филипповна Каменская... Невысокая, полная, большеголовая, с лицом тяжёлым и крупным, и редкостно длинной верхней губой. Ну, ещё глаза холодные, «земноводные» какие-то. Молодая, прямо из института её к нам прислали. Не красавица, конечно, но ведь не из-за этого же неприязнь к ней было испытывать? И преподавала она очень даже неплохо. Неприязнь вскоре стала взаимной, как это бывает почти всегда. Откуда такое? Тайна, как и тайна приязни и любви...

Словом, волновался я перед экзаменом по английскому непривычно сильно. Уж очень обидным казалось в самом конце всё дело испортить.

С билетом мне повезло: первый в нём вопрос был — модальные глаголы. Уж их-то я как раз и знал, голубчиков, как облупленных. Ну и на остальные можно было ответить вполне прилично. Теперь надо было преподавателя, к которому идти, повнимательнее выбрать. А вон к той, молодой и красивой.

Красивой она оказалась и вблизи, а вот молодой не очень. Под тридцать, похоже. Когда встретились взглядами, в её глазах мелькнуло что-то особенное, словно она меня узнала вдруг...

Начал я бодро говорить про модальные глаголы, но она прервала меня через несколько минут, сказав: «Достаточно...». И оказалось, что это относится не к одним глаголам, но к моему ответу на билет вообще. Потом она черкнула что-то в экзаменационном листке и протянула его мне со словами: «Сегодня же вы будете зачислены в институт...»

И улыбнулась, как бы этим меня отпуская. И вновь то же выражение, как при встрече взглядами, промелькнуло в её улыбке. А в листке «Отл.» стояло, конечно, четвёртое и последнее...

Когда же началась учёба, она оказалась преподавателем английского в нашей группе. Елена Дмитриевна. Дочь известной актрисы областного драмтеатра, так говорили.

Учёба по английскому была элементарной до тоски и называлась у студентов «сдавать тысячи». То есть надо было перевести с английского кусок художественного или медицинского текста и потом прочитать его, переводя каждое предложение. А «тысячи» обозначали объём текста в пересчёте на слова.

И вот тут-то и пошла для меня мука-мученическая. Засчитывала мне Елена Дмитриевна эти треклятые «тысячи» лишь со второго или третьего захода, а у остальных в группе всё проходило в основном с первого. И я ничего понять не мог, знал английский не хуже других, так откуда же такое? Невзлюбила она меня, что ли, как я когда-то школьную англичанку? Но и на это не было похоже. Даже наоборот. Приветливо и улыбчиво со мной она держалась.

До сих пор помню содержание отрывка из романа Теккерея «Ярмарка тщеславия», на котором я не выдержал и сорвался. Война, эвакуация мирного населения из города, семейство буржуазное, которое коляску для отъезда ждёт, не дождётся...

В третий раз Елена моя (я её уже так про себя называл иронически) сказала с лёгкой улыбкой:

— Незачет. Ещё придёте.

И я сказал, прокричал даже, что страница книжная с текстом от моих трудов уже истёрлась, просвечивает почти...

Она посмотрела на меня долгим, странным каким-то взглядом, поставила «зачёт» и отпустила меня, молча кивнув. И последующие «тысячи» засчитывала с первого раза, почти меня и не слушая.

Разгадку странной этой истории я нашел-таки, «вычислил» к концу второго курса из рассказов приятелей. К молоденьким паренькам Елена эта была равнодушна и заводила с ними «отношения», как теперь говорят. А со мной, выходит, не сложилось по моей же вине. Я даже некоторое сожаление испытал, сообразив всё это. Но тут же и отогнал его. Нет, не надо нам такого.

* * *

После экзаменов появились списки принятых и толкотня напряженно-драматическая около них возникла. Оказалось, что и Генка был принят со своими девятнадцатью баллами, и я решил про себя, что он меня «обставил», учитывая заводскую работу до самых экзаменов.

А вскоре состоялось собрание всех принятых на первый курс лечебного факультета, в самой большой аудитории, устроенной на два этажа, амфитеатром. Совершенно восхитительным это мне представилось, из старины, древности даже, из Греции самой.

О собрании помню только чтение списка принятых и сказанное после этого, что по 20 экзаменационных баллов набрали двое: Алла Копытина и Юрий Убогий. Тут шумок прошёл по аудитории: реакция на мою фамилию, конечно. А я и радость — уже, казалось, отыгранную — вновь ощутил, и гордость, и странную добавку грусти. Дело сделано, а впереди шесть лет учёбы, и вся остальная жизнь в придачу...

2020 г.



Виктор Чернявский

Виктор Анатольевич Чернявский родился в Луганской области, в Калуге живёт с 1988 года. По образованию химик-технолог. Стихи пишет недавно. Автор книг «Радуга в октябре» и «Стихи капитанше».

ПО ВЕТРУ И ПО ЗВЁЗДАМ

* * *

Позвал знакомый голос — когда-то он мне пел...
О важном, о высоком февраль в окно шумел.
Понёс по клеткам памяти в далёкий городок —
На улицах метелица, холодный, снежный год.
Над крышами играет невидимый оркестр,
Входная дверь открыта в обшарпанный подъезд,
В котором я всегда шагаю через две ступени —
Ровесники, мы выгладим под стать лихому времени.
Я поднимаюсь... медленно, почти на самый верх.
На стенах нацарапано — «Здесь был двадцатый век»
Electrik Light Orchestra звучит как НЛО...
Как долго тебя не было! — мело, мело, мело...

* * *

Моя тяга к Средней полосе
Такая же, как у всех, —
К небу, облаками засеянному,
Всегда разному — сизому
В сентябре паутинном,
Ярко-синему весеннему,
К спящему в тумане осиннику
С силуэтами нежных блондинок —
Осиянных, бледных, ранимых,
К свежим запахам первых ландышей

На ухоженных скромных кладбищах,
Замерших у шоссе...
Моя слабость к Средней полосе
Лечится в диспансерах
Набором стандартных клише,
Вышита на мёрзлой канве
Крестами дежурных аптек —
Звёзды, луна, снег...
Моя сага о Средней полосе
Повторяет профиль Рамзеса
На Невском размытом ребусе —

Круто взмывая вверх
 По хребтам пешеходных зебр,
 Распростёрто ныряя ниц —
 Тяготением к сердцу Земли,
 Зигзагами рваных zet,
 Белой разметкой вниз...

* * *

Мне приснился серебряный век,
 В нём волнуется Финский залив.
 Там душа моя искалеченная
 Серебрится,
 Небо белено краской цинковой,
 Ниспадает влага каскадами,
 Ухмыляется каменный сфинкс
 Загадочно
 И зовёт меня снова и снова
 В город мёртвых, где кости под сваями,
 Их колышет вода свинцовая,
 Ледяная.

* * *

Жизнь меняется со скоростью клипа,
 Остаются яркие переводные картинки.
 Как-то папа принёс гэдээровские,
 С холёными лицами Марлен Дитрих —
 Пошловатые, они были редкостью.
 Я собрался обклеить ими холодильник,
 Но вернулась с работы мама и предложила:
 «Давай лучше переведём их в альбом!»
 Развернув упруго звенящий лист
 (такую бумагу папа звал ватманской),
 Забыв про картинки, я взял беличью кисть
 И рисовал акварельными красками
 Меня впечатлившего Македонского
 Из учебника истории Древнего мира
 Там, где на нём расписная кираса
 С змееволосой Медузой Горгоной,
 А сам он вылитый Сашка Кавитов
 Из моего же пятого класса,
 Хулиганистый шустрый двоечник,
 Которого все звали просто Кахи —
 Тот самый момент, когда Александр — Кахи

Целит копьём в персидского Дария
 С лицом перепуганного Корнея Чуковского
 Беспомощного в золотой колеснице,
 Несмотря на сто тысяч огромного войска.
 Рисунок, конечно, не сохранился
 (ему бы исполнилось полвека),
 Но в памяти осталась частица
 Драчливого Сашки, которого нет,
 Которого сорок лет как убили,
 Когда возвращался домой, на дембель —
 Переводная цветная картинка
 Из альбома прошедшего времени.

* * *

Дельфины звались афалины.
 Когда все обо мне забыли,
 Дельфины приняли за своего,
 Приплыв одноимённым стилем
 С призывным свистом на арго —
 Ловки, изящны, белогруды,
 Выпрыгивая на волнах-батутах
 Излюбленным морским коньком,
 Которого так обожают дети,
 Вечносулуым Горбунком,
 Сбежавшим за просторы Серенгети —
 Там все дельфины были белофинны,
 С прищуром острым, не дыша,
 Смертельно из-за сосен жалили
 Обёрнутыми белым карабинами —
 Мои всё были белобочки,
 Выпрыгивая в стиле баттерфляй,
 А я порхал над ними редкой бабочкой
 Неведомого вида Calvin Klein.

* * *

Поэзия в чистом виде —
 Природная красота
 Розовых контуров рта,
 Дошедшая от родителей,
 Зрелая и спасительная,
 Многими не замечаемая,
 Кольцевыми трамвайными линиями

Стальных раскалённых нитей
Вплетённая в жаркий май
Натянутыми лонжами,
Жаль, никогда не лопнувшими,
Даже на полном галопе
Жизни, послушной лошадью
В свою великую пропасть
Летающую, ржущую, — Adieu,
Я не принимаю июнь,
Добавляющий новые лета
Тяжелеющим веточкам-ветлам
В уголках прекрасного рта!..

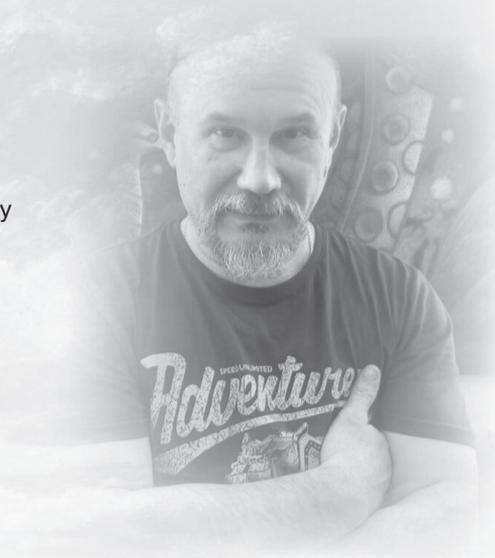
* * *

В уютном ближнем пригороде
Цинкованные изгороди,
За ними строятся дворцы
До новых революций —
А на глухой окраине
Шум города смолкает,
Ночами свищут соловьи,
Поют в застывшей тишине
О нескончаемой любви
Полям, лесам, луне...

В коротких снах им снится
Алжирская граница,
Арабы с автоматами
В батистовых бушлатах,
Туристы с диких пляжей,
Прощаясь, долго машут —
Пора лететь на север
Над жёлтыми барханами,
Над Римом и Миланом
На запах ржи и клевера
По ветру и по звёздам,
Врождённой интуиции,
По шлейфам самолётов
На русскую границу —
Где встретят погранцы
В шинелях с «калашами»,
Где зёрнышки пшеницы
В контрольных полосах,
Где соловьи робкие,
По виду авиньонские,
Худые, угловатые
Под восходящим солнцем,
С кубическими формами,
Со сгорбленными спинами,
Раскрашенные ярко,
Из обожжённой глины.

Вячеслав Некрасов

Вячеслав Михайлович Некрасов родился в 1957 году в городе Омске. Закончил ВГИК (художественный факультет). Работы находятся в музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. С начала 90-х жил в Петербурге, здесь и начал писать стихи. Автор поэтического сборника «Фарфоровая дорожка» и нескольких книг прозы. Член Союза художников и Союза российских писателей. С 2016 года живёт в Калуге.



ИЗ СБОРНИКА «СЕМЕЧКИ СИНИЧКАМ»

(Часть первая «Петербург»)

ДЕРЕВО. ВОРОНА. ГАРМОНИСТ

Однышко я вижу редко. Только на закате тоненькую тускло-золотую полоску в окне у соседки напротив. Окно это очень близко. Мне кажется, метров четыре-пять. Пыльное. Толстые стёкла.

Каменный двор. Потрескавшийся. Серый. Слева в закутке есть дерево. Из своего окна я его не вижу. Небольшое. Неизвестной породы. И на этом дереве живёт одна ворона с твёрдым клювом и характером.

Если ночью поднимется ветер и дерево зашумит листьями, то ворона на нём начинает каркать... и вот тогда где-то в глубине тёмного, огромного дома (уже расселённого, где горит-то всего несколько окон) возникают звуки... кто-то начинает играть на гармошке...

Играет порывисто, очень энергично и очень неумело, с редкими (дикими) выкриками. Играет... пока не стихнет ветер и не успокоится всё. И дерево, и ворона...

Тогда я слышу (неявно, далеко), как он снимает гармошку с плеча, ставит её (иногда восклицает что-то невнятное) и... наступает тишина. Чёрный дом молчит...

АЛЛИГАТОР И «ДУРАКИ»

Поднимаюсь на последний этаж, в мансарду, в мастерскую к другу, Александру Загоскину. Мы вместе учились во ВГИКе. У него я сейчас живу и работаю. Тусклый свет будто светит издалека, через тысячу стёкол

и тысячу лет. Исцарапанные, ободранные стены. Широкие (когда-то роскошные) лестницы. Запах, естественно, пыли и мочи. И ещё котов.

Вдруг на площадку вверху выбегает ротвейлер, чёрный, огромный... остановился и смотрит на меня красными глазами... Секунды кажутся бесконечными... Наконец появился хозяин:

— Иван, спокойно! Спокойно... (Это он собаке.)

Мы расходимся. Поднимаюсь... Мой друг стоит на площадке и разговаривает со своими соседками по лестничной клетке. Одна из них — невысокая, приятная девушка (бывшая наркоманка), вторая — с испытанным, глубоко печальным лицом (врач-нарколог).

Дверь приоткрыта в их квартиру. Дверь приоткрыта и в комнату. Тяжёлые занавески, красный абажур. Тёмный коридор.

Саша спрашивает:

— Ну и что вы будете теперь делать? А кто у вас тут, вообще, главный? Кто всё решает?

— Да тут иногда приходит Аллигатор, длинный такой наркоман. Он ходит вот с таким здоровенным гвоздём, остро заточенным. Вот скоро должен подойти. Ну ладно... пока.

Уходят, а мы заходим к себе, запираем высокие двери на толстенный старинный кованый крючок. Снова тусклый свет... узкий, длинный коридор, обшарпанные обои. Недорогой антиквариат...

Стеклянные сосуды с водой... внутри стеклянные бусины, красные, синие, белые... Рядом старинные (чужие) фотографии. Тарковский с Паранджановым тут почитаемы. И Рустам Хамдамов, конечно.

На кожаном диване лежит похмельный Миша Коновальчук. Сценарист, режиссёр, морской пехотинец. Вальяжный. Великодушный. Чёрные кудри с проседью, борода. Невысокий. Смеётся коротко и хрипло, как старый пират. Нравится женщинам.

Саша, напротив, — худой, подвижный. Бродит, машинально переставляя что-то на столе, ворчит:

— Вот, понимаешь, пришёл, возись тут с ним. Весь коньяк выпил. И ведь трезвым не придёт никогда!.. А ещё тут родственники ко мне приехали. Сейчас звонили — идут ко мне пешком. Идут!.. Ко мне через весь город дураки идут! Ночь! А они идут!.. Идут и идут!

— Правда, дураки? — открыл один глаз Миша.

— Ещё какие!

— Да ладно, старик! Может, они вина принесут!

— Да вина-то принесут. Хотя... они же дураки.

Я удаляюсь к своему холсту. Сажусь и смотрю на него... Здесь изображены другие люди и другой мир. Другой город... Женщина с молочной кожей, ладная, хорошо сложенная, светлая... Я немного грущу по ней.

Мой друг садится к своему холсту и начинает что-то делать. Скоблит палитру. Коновальчук лежит на диване, смотрит чёрным глазом в бесконечную черноту города...

Мы ждём «дураков». Соседки ждут Аллигатора.

СВЕЧНОЙ. «ОБЩЕСТВО ИДИОТОВ»

Из первых лет...

— Зайди на Свечной. Ну, там, где панки, рокеры всякие, наркоманы, беспризорники, знаешь? Найди там Григория такого. Он у них, вроде, главный. Квартира, кажется, шесть. Или семь. Второй этаж, по-моему. В общем, где-то рядом с «Обществом идиотов». Там огромная вывеска, найдёшь. Так вот, он тебе покажет всё и откроет квартиру, какая тебе понравится, понимаешь? Будет тебе шикарная мастерская! Хватит надо-олго!

— А кто он такой, собственно, этот Григорий?

— Да не знаю. Может, у него просто «фомка» есть...

Мы идём с Григорием к высокому жёлто-серому дому с тёмными провалами арок. Мягкие контуры. Серая мгла. Света нигде нет...

— Вот сюда и налево.

Заходим в дом с чёрного хода. Света нет, ничего не видно. Наступаешь порой на что-то мягкое... Неприятно, надо сказать... Третий этаж.

Григорий аккуратно и быстро взломал дверь фомкой. Я светил фонариком. Это чёрная дверь. Парадная лестница с другой стороны.

— Ну что же... вполне приличная квартирка! О, свет ещё есть! Это хорошо. Лепнина на потолке знатная!.. Окна на Марата. Эркер!.. Чаи будете распивать! Повезло вам!.. Так... по-моему, восемь комнат... Да, восемь комнат.

— Да... Красота... А сколько дом-то ещё простоит в таком состоянии?

— О-о-о... Это никому неизвестно!.. Да долго простоит... долго. Перманентный ремонт! Государство обо всём позаботится! Живите и работайте спокойно! Всех посылайте подальше! Я — художник, дескать! Творец!.. Ну, если что, обращайтесь. Найдём другую.

Эркер, кстати, — это выступ в стене с окнами на три стороны. У нас в нём было три окна, выходящие на Марата. Такой «фонарик».

День второй и дальнейшая жизнь.

Утро. Мы с приятелем стоим и смотрим, как человек устанавливает нам новый замок. Работает. Специалист! А мы стоим рядом и переживаем очень новые и очень странные ощущения.

Дверь напротив распаивается, выходит полноватая женщина непонятного возраста в одежде непонятного цвета. Остро запахло котами и недорогим советским одеколоном.

— Жить тут собираетесь? Вы — художники или кто? А я — местный дворник. А муж у меня — капитан дальнего плавания, скоро должен вернуться, веришь-нет? — и она широко и доверчиво улыбнулась...

— Значит, скоро должен приплыть?

— Он что тебе, крокодил что ли?

Мы её прозвали — «Веришь-нет». И началась другая жизнь... Я пригласил двух приятелей, восемь комнат на одного многовато. Да и спокойней (девянностые на дворе), а главное — веселей.

ПИНОЧЕТ

Приятель выходит из туалета, садится на раскладное кресло, закуривает и говорит:

— А вы, кстати, знаете, что Пиночет-то был не такой уж плохой? Он, между прочим, провёл ряд очень полезных реформ...

Тут все замахали на него руками, засмеялись:

— Да ладно, мы все эту бумажку в туалете читали!

Я нарочно захожу в туалет, смотрю — пусто, абсолютно ничего нет... лишь только на полу лежит квадратный кусочек газеты размером где-то три на три сантиметра. Наклоняюсь, читаю... «Аугусто Пиночет в своё время провёл ряд полезных политических и экономических реформ...»

ЛЮДИ В СЕРЫХ ШИНЕЛЯХ

Давно это было. Преддипломная практика. Петербург. Я приехал, было ещё тепло, и... задержался... похолодало.

Я всегда и везде задерживался. Может быть, поэтому и случилось всё то, что случилось... И вот сегодня я задержался и не позвонил вовремя куда надо...

Похолодало. Две девчонки дали мне шинель. Я сидел в этой шинели и рисовал... каналы... дома... старые, обшарпанные стены... трамваи...

Вечер. Иду вдоль канала. Закат металлический, тёмно-серые люди, тёмно-серые здания... моя тёмно-серая шинель. Жёлтое солнце.

Вижу, меня обгоняет ещё один человек в такой же шинели... потом ещё один в точно такой же шинели... странно... и ещё...

Да что это такое! Один, вообще, с винтовкой... А вот матрос с пулемётом «Максим»... Он обмотан пулемётными лентами... Где это я?..

Оборачиваюсь... их толпа... Огромная... Они все бегут на меня и дальше — к магазину. Винному, естественно. Я тоже почему-то побежал...

Это была массовка с Ленфильма.

КАЗАЧИЙ ПЕРЕУЛОК

Ещё один дом. Высокий. Почти полностью расселённый. Снимаю бывшую коммуналку на последнем этаже. У последней жилочки. Напротив самозаселились какие-то улыбчивые люди.

На их двери возникла табличка «Просьба не беспокоить, идут постоянные медитации». Ходили эти люди вприпрыжку и боком. Вечерами бегали по крыше. Я их прозвал «брахманутры».

Ниже на два этажа «активно жили» убеждённые, принципиальные алкоголики. Первый раз таких встретил. Ни тени смущения с утра! Ни капельки. Это поразительно!

Однажды я видел, как к ним, оглядываясь по сторонам, быстро поднялся мужчина. Он был выше обыкновенного человека, и голова его была больше обыкновенной в два раза. Вспомнился Франкштейн... Я понял, что это надо сразу забыть...

Ниже была какая-то серьёзная контора со второй дверью-решёткой. Возле неё порой появлялись крепкие парни в длинных, мягких, чёрных пальто с идеальной причёской. Руки в карманах.

Во дворе стоял брошенный запорожец, в нём поселились двое маленьких беспризорников. Жили, нюхали клей или бензин. Я как-то пытался с одним из них поговорить, но бесполезно. Бесполезно.

БОМЖ-БРУЕВИЧИ*

Я выхожу из арки в Казачий переулочек. Слева футбольное поле. За ним на фоне огромной, по-военному обшарпанной жёлтой стены стоит большой психически человек, о чём-то думает, беспомощно смотря на мир.

Стена за ним оклеена листовками: «Джуна», «Кашпировский», «Чумак», «Мария Деви Христос», «Белое братство», «Золотой Розенкрейцер»...

Навстречу мне посередине переулочка идёт белый бультерьер. Без хозяина, без ошейника, без намордника...

Хозяева его обычно садились выпивать в соседнем садике, напротив Витебского (Царскосельского) вокзала, а бультерьера вешали на дерево, и он висел над ними, уцепившись зубами за сук. Долго висел...

Что случилось? Может, о нём забыли? Вообще, этот садик был заполнен группами выпивающих людей. Биография, видно, у всех была нелёгкая... Мы гуляли там с двумя моими маленькими собачками...

Как-то я заглянул почему-то, раздвинув ветви, в куст (огромный, аккуратно постриженный, стоящий на ровном, большом газоне) и увидел, что он изнутри был просто заполнен людьми...

— Мама, смотри! Там бомжи! — прозвучал тоненький голосок какой-то девочки.

Женщина из куста обернула к нам лицо:

— Не бомжи, а бомж-бруевичи!

НОГА

В этом же садике я познакомился с одним невысоким, крепким, большоголовым человеком. Он рисовал «на Катьке» портреты — ногой, говорил:

— Моя нога всю семью кормит.

У меня при этих словах возникала в голове какая-то сюрреалистическая картина. Семья сидит за столом, а Нога их кормит.

* В. Д. Бонч-Бруевич — российский революционер, большевик, ближайший помощник и фактический секретарь В. И. Ленина.

ГУМАНИСТ

Я отпустил небольшую бородку и — сбылась мечта — купил небольшие круглые очки в золотой оправе. Выхожу в сумерках выгулять собак. На мне тёмный плащ. Поворачиваю в арку и слышу сзади:

— Эй ты! Иди сюда!

Я иду, мало ли кто кого зовёт, и снова слышу:

— Ну ты, собаковод, иди сюда!

Вот тут я уже обернулся... вижу один пьяный (немолодой уже, уголовник по виду) сидит на чугунной оgrade, два других (крепких, помоложе) что-то страстно обсуждают между собой, этим не до меня.

Подхожу. Тот, что постарше поднял голову и вдруг радостно удивился мне, моим золотым очкам:

— А вы... случайно... не гуманист?..

Я говорю:

— Нет, я не гуманист... уж простите.

И ушёл в садик напротив Витебского вокзала облагораживать тамошнюю обстановку. Положительно воздействовать своим внешним обликом на бомжей.

КТО-НИБУДЬ

Поздний вечер. Идём с приятелем по Загородному проспекту, где у него мастерская. Разговариваем... нас обгоняет мужчина среднего роста, коренастый, лет сорока. Он вырвался буквально на шаг вперёд...

Вдруг из зарослей какого-то двора выскакивают двое совсем молодых парней (по виду даже школьников), раздаётся удар и мужчина падает на мостовую... На черепе у него зияет рана.

Мы ринулись в эти кусты... помню свет фонарей и тени, тени... никого мы не нашли... Вернулись на Загородный — мужчина лежал не шевелясь, из раны медленно вытекала на асфальт тёмная и очень густая жидкость... Вокруг уже собрались люди...

Мы не стали дожидаться скорой, пошли — не было времени. У меня в памяти всплыла заметка, читанная где-то... что сейчас появились какие-то китайские кастеты в виде шаров, которыми, как утверждалось, можно пробить голову даже быку.

Может быть, ребята решили его испробовать... на ком-нибудь...

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ

Тогда в девяностые, в Питере на улицах я порой с удивлением встречал людей больше обыкновенного роста. И головы у них были больше, чем у окружающих, и руки...

Не то чтобы они были культуристы, нет. Просто они были очень большие (как другая порода людей) и вели себя, как очень спокойные хозяева жизни. «Распальцовка», впрочем, у них присутствовала.

Как они все скопились в городе, непонятно. Как птицы... Куда потом исчезли?.. Погибли? Стали большими руководителями? Разлетелись по кабинетам страны, по дворцам съездов?..

БАТЮШКА

А на Серафимовском кладбище Петербурга в это время стоит чудесный, тёплый сентябрь. Вековые берёзы, липы, дубы. Огромные тополя. Серафимовский храм.

Пятна бабьелетнего света сквозь листву заполняют всё... всё... всё... Отец Василий Ермаков. Лет семидесяти. Небольшая фигура, ладная. Русское простое лицо. В светлом, персиковом подряснике он бродит у храма. Останавливается, беседует с людьми. Пятна света проникают всюду... всюду... всюду... Уходить не хочется!..

ДЕВУШКА ИЗ РУССКОГО ХОРА

Песня — душа народа.

А. Н. Островский

Петербург. Кафе. Разговорился с одной милой девушкой.

— А вы где работаете?

— У меня самая плохая работа... Я пою в русском хоре.

Да-а-а... Что же получается? Самая плохая работа... Получается, народ не любит свою собственную душу. А как же тогда жить?..

Я тут говорю о именно русском хоре, не о советском. И я не представляю, чтобы, например, испанка сказала: «Я занимаюсь такой чушью, ерундой — танцую фламенко».

А смуглый её друг добавил бы: «И у меня тоже, знаете, ужасная профессия — я играю на гитаре народные испанские мелодии. Это просто кошмар какой-то!»

ИЗ ЖИЗНИ НОТАРИУСОВ

Трёхэтажный дом в глухом дворе. До революции здесь была конюшня — жили лошади, а потом тут жили советские люди. Теперь у меня в этом доме на втором этаже мастерская. На втором этаже, я думаю, лошади не жили, на третьем тем более.

Недавно в квартиру напротив въехали нотариусы. Теперь целый день на лестнице и лестничной клетке толпились люди. Он упирался в мою дверь спинами, водили по ней локтями, возмущались, постоянно пересчитывали друг друга...

Наступал пыльный, липкий вечер. Всё успокаивалось.

Люди исчезали... и нотариусы начинали пить. Пили они жутко. Громко. Долго. Некультурно. Никому не давали спать... А на следующий день всё начиналось сначала...

И вот наступил момент «икс». Надоели невозможно! Из их магнитофона неслась невообразимая и тупая пошлятина, и время было позднее очень.

Я встал и прочитал молитву «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его» и по окончании перекрестил их дверь. Каково было наше удивление, когда с последним словом молитвы музыка оборвалась. И больше не звучала. Оказалось, именно в этот момент у них сломался магнитофон.

Несколько дней была прозрачная тишина... и Шопен... и Шуберт... и Брамс... А сквозь хрустальную музыку доносилось со двора: «Зина!.. Зина!»... что-то в этом роде... А может: «Клава! Клава!»... или: «Танька!.. Танька!». Не помню.

РИСУЙ ХУЖЕ

Иногда встречая в городе то там, то сям детские книжки-раскраски, я поражался жутким и убогим рисункам. Думал — кто же это делает в конце концов?..

И вот приятель попросил помочь — он не успевал сдать в срок рисунки для книжки-раскраски. Я подумал — прекрасно, можно сделать наконец что-то хорошее!

И вот, сидим в его мастерской, пьём чай, работаем... Ночь за окном... Сказка немецкая, про трёх братьев, не помню названия... Рисую, увлёкся...

У меня получается (и даже очень) что-то вроде гравюр Гюстава Доре. Только рисунок, конечно, линейный... И вдруг я слышу:

— Рисуй хуже! Иначе не примут!

Друг смотрит из-за моего плеча...

— Как это — рисуй хуже? Почему?

— Не знаю почему, но такой уж петербургский стиль. Говорю тебе — рисуй хуже, иначе не примут.

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Одно время часто стало звучать словосочетание «культурная столица». Вспоминаются передачи по радио, где собеседники говорили между собой примерно в таком духе:

— Конечно же, сразу чувствуется, что вы обладаете особенно утончённой, истинно петербургской культурой! Это, мне думается, такая особая высокоинтеллектуальная аура, которая присуща именно нашему городу!

— Да, мы с вами являемся представителями этой, я бы сказал, культурной элиты... которая просто самим фактом своего существования обогащает культурный воздух нашей, не всегда и не везде достаточно образованной

страны. Это такой запредельно высочайший уровень, который является образцом что ли.

В этом всё безошибочно угадывается особая... строгая, неповторимая и высочайшая культура нашего высококультурного и необыкновенно высокоинтеллектуального города... Культурной столицы России...

Тут я переключаю приёмник на другую волну...

ПЕСНЯ

С тарорезимный пригородный автобус. Еду, прижавшись лбом к стеклу... Смотрю снизу вверх. Нравится это состояние. Деревья плывут надо мной. Огромные... Тёмные... Бесконечные...

По радио привычная дребедень... привычно невыносимая пошлость и вдруг... слова человеческие... Что они там, с ума сошли что ли?..

— Корабли плывут в Константино-ополь, поезда уходят на Москву...

Есенин... Поёт кто-то сильный и независимый.

— Далек я, далеко заброшен.

Даже ближе кажется луна...

Вот так плыть, смотреть снизу вверх на разворачивающиеся над тобой бесконечные... огромные, чёрные деревья... плыть, подняв лицо к тающему небу... и слушать Есенина... Невероятно!.. Невозможно!

ДИРКУШКА

Петербург. Колокольня храма. Мастерская реставраторов. Сидим, пьём чай. Стол овальный, завален всякой всячиной. Есть небольшой остров крепкой мужской закуски и девичьи островки — пирожных и сладостей, от которых... ну, не будем.

А сюда прибился каким-то образом гастарбайтер из Западного Берлина. Дирк. Невысокий, очень худой, горбоносый, рыжий. Истинный ариец, вероятно. Характер нордический, наверное.

Вспоминаю день рождения одной девочки-реставратора. Дирк решил выучить и прочитать для неё стихотворение на русском языке. Мы разучили с ним одно. И вот Дирк встаёт и начинает:

— Над окошком миесяц, под окошком виетэр, облиетевший тополь серебрист и свиетэл... дальный плач талиянки — голос одинокий... и такой... родимый... и такой далиёкий...

У немолодой уже женщины, хранителя икон, увлажняется глаз, она улыбается и шепчет:

— Диркушка...

ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ АКАДЕМИКА ПАВЛОВА

Когда-то я отреставрировал большую храмовую икону Божьей Матери «Тихвинская». Тип Одигитрия (Путеводительница). Приехали заказчики — священник и дьякон небольшого пригородного храма. Этот их посёлок основал когда-то сам академик Павлов.

Он создал там райский уголок для небольшого (около двадцати) числа российских учёных. Двухэтажные, в немецком стиле, белые особнячки... Бесконечные яблоневые сады, аллеи... обезьяны в клетках... уборщицы... тайные агенты...

И вот, едем с женой к ним в таком милом, советском ещё автобусе. Пассажиры неторопливо, интимно переговариваются об урожае... и вдруг я слышу:

— А у меня вчера собака забежала в парник, так она все огурцы поела!

Я думаю: а у меня собака только мясо из каши выбирает, и то брезгливо... Да, свежий воздух-то что творит!.. И это совсем рядом с городом! Рукой подать!

А когда мы вышли из автобуса, увидели круглое озеро и малюсеньких, трогательных утят... А главное, воздух!.. Мы не были на природе уже не помню сколько!

В конце старой пихтовой аллеи был виден небольшой храм. Метров за десять уже чувствовался необыкновенно приятный запах ладана...

Огородные цветы в вазах стояли при входе... Старушки в нарядных кофточках приветливо улыбались... Священник вышел и благословил нас.

Я понял, что останусь жить здесь...

A black and white portrait of Inna Teplova, a woman with dark hair, smiling and looking to the right. She is wearing a light-colored top and small earrings. The background is a soft-focus outdoor scene with trees.

Инна Теплова

Инна Теплова (Инна Вячеславовна Красовская) родилась в Костроме. Сейчас живёт в Калуге, занимается поэтическим творчеством, является вокалисткой и автором текстов песен группы Aylosterа. Её стихи публиковались в литературных альманахах «Натали», «Зерно», «Облака», а также в печатных сборниках крупных поэтических соцсетей. Автор сборников стихотворений «Неслучайно» и «Звучу». Член Союза российских писателей.

ЧЕЛОВЕК ПОДЧИНЯЕТ СЛОВО

Звучу

Послушай меня. Я пустой человек.
Не спеши возражать. Постарайся услышать.
Голос мой — это звон оцинкованной крыши
Под атакой дождя. Он из тех фонотек,
Где хранятся шумы пустотелых предметов,
Когда в них попадает имеющий вес

Посторонний предмет. Голос мой — это где-то
Заплутавшее эхо, словарный регресс.
Я пустой человек и звучу только если
В меня, словно в гулкий объёмный сосуд,
Льются чистые звуки и новые песни.
Послушай меня ещё пару минут...

Вот бы друга

Вот бы друга такого, чтоб звонить поздней ночью,
А он рад тебе, правда, рад.
Чтобы ночью ему говорить среди прочего,
Чем спокойствие дня твоего опорочено,
Почему ты сегодня весьма озабочена
И зачем за окном снегопад.

Говорить, что стихи получаются постными,
Что тебе неуютно под белыми звёздами,
Что все люди вокруг стали многоголосыми,

Что боишься прогулок под птичьими гнёздами,
Что, похоже, вы стали противными взрослыми,
И квартира твоя — это ад.

Вот бы друга такого, чтоб внимательно слушал,
А дослушав, сказал: «Будь добра.
Ты же знаешь, и я основательно трушу,
Но давай мне сюда свою хрупкую душу,
Я её сберегу до утра».

Это всё

Облака убегают так быстро, как только умеют.
Ты бы тоже бежал, знай о том, о чём шепчут аллеи.
Ты бы тоже пустился в бега, расскажи тебе ветер
Это всё и немного ещё, и немного ещё.

Нам пока изучать километры темнеющих улиц,
Мамам — пить корвалол и молиться, чтоб только вернулись,
И просить об одном, чтобы их непутёвые дети
Оставались детьми хоть немного ещё...

Ты идёшь, и шуршат под ногами уставшие листья.
Ты пока не устал, ты пока не искал пыльных истин.
Ты идёшь, и тебя обгоняет спешащее время,
Направляя
куда-то
ещё.

Держусь

Утро не задалось. Я пугаюсь всего непонятного,
Режу хлеб неуклюже тупой стороной ножа,
Сыплю сахар без меры и, запинаясь, невнятно
Бормочу то, что мужу хотела давно рассказать.
Почему-то не то говорю, совершенно не то, что подумала...
Я беру и роняю, беру и роняю ключи.
На работе коллега привычно блеснул чувством юмора.
Непривычно сквозь зубы цежу: «Идиот, замолчи».
По дороге домой, вскрикнув, перепугала прохожего,
Когда шарфик от ветра вспорхнул и завис у лица.
В общем, делала всё, что совсем на меня не похоже,
То, за что ежедневно привыкла людей порицать,
Но стараюсь держаться. Задумчиво слякоть осеннюю
Вытираю о коврик чужой, подпирая плечом
Дверь, надеюсь, мою и шепчу, что моё обострение
Ни при чём, ни при чём, ни при чём,
Ни при чём, ни при чём...

Взрослое

Весело подвёрнуты джинсы —
Шорты мама не разрешила.
Нагло развеивается чёлка.
Зрение пока ещё чёткое.

Все друзья бессовестно живы,
Вот и ты стоишь под окошком.
И глаза такие большие,
В них резвятся искорки солнца.

Я уже бегу, я готова
Врать, что не скучала нисколько,
И смотреть на искорки солнца,
И любить их больше, чем маму.

Я уже готова на то, что
Не должна пока быть готова,
Но ты покупаешь мне шарик
И лепечешь что-то про дружбу.

Хорошо, что всё же не в шортах.
Всё равно ты не оценил бы.
И тускнеют искорки солнца.
Как же это трудно — быть взрослой.

Уходит

Мы с тобой провожаем время,
оно медленно, но уходит.
Это в нашей с тобой природе —
проводить вечера не с теми.

Это в нашей с тобой манере —
говорить невпопад и громко.
Я когда-то была девчонкой,
ты когда-то в меня поверил.

Не оставим, но перестанем
имена свои помнить. Эка
невидаль: человеку
забывать себя временами.

Мы с тобой провожаем время,
вот почти уже проводили.
Мы друг друга вознаградили —
мы друг другу осточертели.

Наглею

Вот бы вовсе ты не сотворял этот дивный мир,
Не выдумывал, не воплощал бы вот это всё.
Ты представь, вот Каин Авеля не убил.
Ты подумай, кто не был создан — уже спасён.

Безусловно, наглею слишком, но посуди...
Не затеял бы, было б некому здесь наглеть.
Это мы уже сочинили «Когда один,
Мол, не воин в пустынном поле», но воин ведь.

Вот гляди, сижую, и тыкаю, и грублю,
А могла б идти и сеять благую весть.
Но желанье носить и сеять равно нулю,
И таких, как я, сегодня не перечеть.

Если нас не родить назад, то давай потоп.
В прошлый раз, говорят, был толк, да ещё какой.
Смой, пожалуйста, всех нас, смой начисто, набело, чтоб
Стихло всё, всё умолкло, остыло, потом, ной не ной,

Не осталось уже ни единого голоса,
Не осталось уже ни единого шёпота.
Чтобы только большое ничто и твои глаза.
Чтобы только большое ничто и твои глаза.
Чтобы только большое ничто...
Отвечай, ты за?

Ожидание

В немоте даже дом не дом.
В безмолвии город — не город.
Весна происходит с трудом.
Без труда — только снег за ворот.
Но уже наступают слова,
рвутся в бой, обгоняя друг друга.
Неуступчивые существа
бойко заполняют округу.
И становится городом дом,
вырастая вокруг человека
(он внезапно так мал, ведом
и растерян). Такая опека
человеку нужна позарез.
Он смущён, он напуган изрядно.

Он привык обходиться без
всяких слов, но белеет тетрадный
разворот, обещая помочь,
обещая защиту, и скоро
наступает весенняя ночь.
Человек подчиняет слово.

Страшно, но знакомо

Ни верой, ни надеждой, ни любовью,
Похоже, не спастись от ноября.
Смурное человечье поголовье
Бесцельно бродит, тихо матерясь
Себе под нос. А мне привычной дома.
Я скисла, забродила, заждалась.
И это очень страшно, но знакомо.
Вороньи крики «Дар-р-ром р-р-родилась!»
Из-за окна доносятся, сквозь стёкла.
И стёкла дребезжат, а я дрожу
И чувствую, неотвратимо блёкнут
Намерения выкрутиться. Жуть
Берёт за горло, заползает в душу,
Свет гаснет и снаружи, и внутри,
Но ты меня, пожалуйста, не слушай.
И не смотри, будь добр, не смотри.

Маргарита Бендрышева

Маргарита Витальевна Бендрышева родилась в 1972 году в Калуге. Поэт, прозаик и бард, автор сказок и пьес для детского музыкального театра. Член Союза писателей России. Руководитель независимого литературного клуба «Галерея», издатель альманаха «Галерея».



ДОМ, В КОТОРОМ ПРОПАДАЮТ ВЕЩИ

В этом доме жили мы все, но в разное время и разным составом: впятером, вчетвером, родители вдвоём, мы на пару с мамой, с мужем, с дочкой, я в компании с нашими шерстяными усатыми душонками, каждый поодиночке...

Я различаю два вида одиночества. Первый — одиночество в общем понимании — мне пока неведом, но будущее никому ничего не обещает. Уж очень узок мой ближний круг, так опасно узок, что того и гляди, превратится в пояс на моей же талии... Второй вид одиночества — для взыскательных, когда люди-то рядом есть, но все — иного рода мыслей. Извернёшься — научишься конформизму, не сумеешь — будешь довольствоваться книгами да фильмами... Поэтому я, как человек взыскательный и никоим образом от превратностей жизни не защищённый, не упускаю случая порепетировать одиночество — чтобы не удалось ему застать меня врасплох.

Пока мне отрадно. Однако эксперимент не чист — я давно искала повода сбежать на несколько отпускных дней в деревню за одиночеством, но ведь одиночество — это всегда произвол, насилие обстоятельств над личностью. Стало быть, речь должно вести об уединении. Да, уединение не вызывает отторжения, как всё, что выбрано добровольно и разумно, а не навязано судьбой.

Впрочем, уединение моё не идеально: например, сейчас, вместо того чтобы ловить мышей, ночное ложе со мной разделяет Мороша. Она улеглась поперёк одеяла в тот момент, когда я согнула в коленях ноги: теперь они затекли, но я не могу их выпрямить. Домашняя кошка — это ребёнок, который никогда не вырастет и не заговорит, но всё равно любимый, безусловно и бескорыстно. А раз любишь, то боишься потревожить. Всем кошатникам известен сюжет: пророк Магомет отрезает полу халата, чтобы не побеспокоить спящую на нём кошку, японка с той же целью укорачивает подол кимоно... Исток сюжета давным-давно утерян, он распространяется самопроизвольно по временам и странам, видоизменяясь, но не теряя сути: да это же настоящий мем, родившийся задолго до того, как Ричард Докинз ввёл

в обиход это понятие! Я не Магомет, не средневековая японка, но и мне ничего не остаётся, кроме как лежать, ожидая, пока Мороша сама не переменит позу, и слушать, как спит дом.

Наш дом тихий.

Сколько же мне встречалось описаний жилищ, которые пугали обитателей необъяснимыми шорохами, стуками, потрескиваниями и вздохами! Авторы сих текстов, как правило, подводили читателя к утверждению, что у дома есть аура, душа, память, характер — своя биография. Но в нынешнем году я настроена реалистично. Можно было бы написать, что наш дом — не живой, потому что не жилой, а лишь летний, гостевой, что мы не наполняем его собой, что он обижен и поэтому замкнут, но я оставляю выдумки до следующего раза — мне хочется побыть простой и честной и отлить монетку моего повествования из чистого металла бытия.

У нас ничего загадочного нет, кошка спит безмятежно, а я могу рассказать про звуки, раздающиеся в ночи, — и все они извне. Со стороны южного окна доносится маленький шорох — это воробьи, они часто выбирают ночлег под волнами шифера на пристройке, там безопасно. На севере время от времени что-то протяжно скрипит — человек, не знающий, в чём дело, представил бы, предположим, длинный и тонкий палец, возникающий из темноты и с силой проводящий по стеклу. Но мне больше нравится не развлекать воображение чудовищами, а понимать, что это можжевельник, покачиваясь на ветру, трётся о край поликарбонатного навеса над входом. Это статное, мощное и высокое дерево напоминает скорее кипарис; мы и сами не могли предположить, что оно способно вырасти таким, когда много лет назад забирали его из леса, из группы кривых и низкорослых можжевельников — как приёмьша из интерната... Самый непонятный для постороннего звук — неравномерная дробь по крыше: то одиночные удары, то россыпь. Пытающийся разойтись дождь? Как бы не так! Это сбитые с толка насекомые летят на светлые кровельные листы и врезаются в них с размаху. Пир для летучих мышей!

Наконец кошке становится жарко, и она перебирается на пол охладить мохнатое брюхо, позволяя мне вытянуться и устроиться поудобнее. Завтра настанет новый день, и я буду бездельничать.

Человек я, конечно, не свободный, но, сколь глубоко в себя ни заглядываю, не нахожу в своей натуре предрасположенности к труду и вполне разделяю мнение древних греков о праздности как идеале. «В величавом соединяется деятельность души и праздность жизни»... Но ещё больше привлекает меня латинское понятие «otium» — праздность высшего порядка, посвящаемая искусству или созерцанию, а вовсе не возне с общественным обустройством или политикой, как предполагали греки. Римляне продвинулись дальше. Нам, русским, тоже не чужда бездеятельность — иначе откуда у нас возник бы такой любимчик сказок, как Иван-дурак? Правда, не своими усилиями, а чудесными случайностями, но впоследствии Иван превращается в умника, красавца, женится на царской дочке, а там и до управления государством недалеко, да ещё с волшебными помощниками надо будет вести себя дипломатично... Та ещё суета!

Нет... Мой герой — Обломов.

Но я одна, поэтому, чтобы поиграть сегодня в Обломова, мне придётся сначала немного побыть Штольцем. Я разворачиваю в саду шезлонг, ставлю рядом столик, завариваю чай, наполняю вазочку конфетами, хлебом и сушками, приношу книгу, телефон и фотоаппарат — а вдруг меня посетит занятый гость, какой-нибудь уж, дятел или ёжик? Через четверть часа всё улаживается, необходимое — под рукой, никуда бежать не придётся, и можно созерцать.

Небо беззвучно, сад немотствует.

Скоро осень, и птицы замолкли, но это совсем не та настороженность, которая вынуждает затаиваться при звуке шагов приближающегося врага. Птичьи заботы постоянно сопровождаются предупреждающими криками: «Не подходи! Это моё гнездо! Это моя ветка! Это моя добыча! Это моя баба! Не подходи!», а нам они слышатся песнями. Теперь же дела сделаны, и отвоёвывать друг у друга нечего. Даже горлицы, выводящие птенцов несколько раз за лето, завершили свой чадолюбивый сезон. Начался переход к осени, и тишина будет длиться, пока не заговорят ветры — вот уж кого не переубедить и не переспорить!

Я пытаюсь сфотографировать маленькую птичку, сидящую на ветке старой яблони над моей головой. Кажется, это зеленушка, их тут много, но в пестроте листьев сложно разобрать, и я бы хотела посмотреть на неё через увеличивающий объектив. Но мой фотоаппарат стар и утомлён всеми путешествиями, что разделил с нами: всеми зноями, горячими песками, дождями, снегами, волнами, перепадами температур; зрение его стало расплывчатым. Что ж, шедевра без хорошего инструмента не создашь... Постановляю, что прилетала зеленушка.

Попить чаю, прочитать главку, вздремнуть, порассматривать облака, попить чаю... Незамысловатая карусель отдыха медленно катает меня день напролёт, мне не надоедает. Интересно, сколько бы я так смогла? Возникло бы пресыщение, побуждающее взбодриться, или же, напротив, вялость и леность утянули бы меня в свои сонные перины? Может ли нега стать испытанием? Можно ли в неге погрязнуть? Вопрос остаётся невыясненным до иных времён, ибо если я и пойду на испытание бездельем, то явно не сейчас. Мягко притормаживая, во двор въезжает машина, из открытых окон доносится попсовая музыка «Дорожного радио» — то, что называют противным, но верным словом «музло». Вы спросите, чем это не угодила мне целая радиостанция со всеми её диджеями? Что ж, я ведь предупреждала, что я — особа взыскательная... В общем, проект «Обломов» желает всем доброго дня и спокойной ночи, а мне пора выбираться из шезлонга. Мои пожаловали.

— Где ножницы? Куда делись все ножницы?

Да никуда они не могли деться, я только недавно видела их в глиняном «кубке» — давнишнем детском изделии сына моей подруги, подаренном мне то ли от избытка щедрости, то ли потому, что выкинуть было жаль. Мне тоже было жаль, вот я и приспособила этот изысканный сосуд для сбора

всякой мелочи, дабы просто так на веранде не валялась. Я же не только Обломов, я и Плюшкин. У меня в принципе ничего не пропадает.

— У вас вечно всё пропадает!

— А может быть, у вас?

Искать пропавшее в нашем деревенском доме бесполезно. Слишком много закоулков, слишком много старых вещей, слишком много мебели свезено сюда в отставку, слишком много деятелей со своими несогласованными мнениями, где и что хранить, как и когда пользоваться, и кто за что отвечает. Убрал с глаз долой — рискуешь потерять. Пожалуй, любое хозяйство — это хаос, пытающийся держать себя в руках, но у нашего с самодисциплиной весьма нехорошо. Ножницы опять же исчезли... А ведь их здесь уже пять пар! Те, что на кухне, лежат себе, целёхонькие, а пропали в очередной раз те, что на улице, — каждому удобнее схватить, что поближе, а не идти в дом.

Для чего же понадобились ножницы? С верёвками повозиться — подвязать огуречные плети, слабые, как руки анорексичной подиумной модели, унизированные браслетами с тяжёлыми подвесками. Всякий раз по приезде в деревню мы открываем парник и обязательно видим новые плети с завязями, упавшие на землю или бестолково цепляющиеся за соседние. Значит, нужно распутывать и подвязывать. Верёвки — тоже персонажи загадочных историй — то их никто не может найти, то обнаруживается целый моток, а то вдруг кто-нибудь отыщет пакет с клубками полосок, нарезанных когда-то бабушкой из тряпья. Заглянешь в такой клад, и даже весело станет от пестроты, тут тебе ленточки и в горошек, и в цветочек, и полосатые, и разноцветные шнурки, и обрывки шпагата из незапамятных времён, и резинки, и бретельки, и синтетические шнуры разной толщины — что за скопидомница была бабушка! Так до сих пор её заготовки и служат. Много, наверное, в нашем доме скрыто ещё подобных сюрпризов: найдёшь, удивишься, о бабушке подумашь...

Каждый предмет может иметь в своём роде и приятные, и отталкивающие образцы. Самыми отвратительными верёвками, что мне довелось увидеть — даже сейчас в памяти хранится эта сцена из детства! — были полуразложившиеся, распухшие, осклизлые и белёсые, похожие на свившихся в ком гигантских червей, поднятые со дна соседского колодца, когда доставали оттуда упущенные вёдра. Я помню, что от омерзения воображение моё разыгралось, и мне казалось, что они шевелятся... Но взрослых удивили не верёвки, а количество вёдер: за какое же время столько их умудрились упустить? А вот это меня как раз не удивило — к колодцу ходило полдеревни.

Громкий был колодец, звонкий, издали было слышно, как кто-то пришёл за водой. Сначала с глухим стуком откидывали с колодца массивную крышку, обитую железом, затем снимали с крюка ведро и закидывали его в сырую темень, грохоча цепью. Закидывать следовало умело, чтобы ведро сразу потонуло и набрало воды, а не плавало на боку — попробуй расшевелить его на такой глубине! Потом, медленно вращая рукоятку поворота, подтягивали полное ведро к себе, наблюдая, как качается оно на длинной цепи, и старались умерить ход, чтобы не ударялось ведро о зеленоватые стенки колодца, не расплёскивалась зазя вода. Выплёскивалась же она и падала

с хлётским гулким эхом, и лишь разбивался от этой воды и плясал мелкой рябью белый небесный квадратик в чёрной глыби...

Теперь у всех скважины, а деревенские колодцы незаметно поумирали. Обветшали колодезные домики, обрушились внутрь срубов, вокруг встал бурьян. Как-то у Кена Кизи в его «Порою нестерпимо хочется» вычитала я описание «печных труб дьявола» — протяжённых узких шахт в орегонских дюнах на месте стволов древних деревьев, сгнивших под слоем вековых песков. Не дай бог оступиться и рухнуть туда человеку! Но наши колодезные провалы на заброшенных деревенских улицах — те же трубы ада, и хотя уже давно местные по воду к соседской усадьбе не ходят и напрочь избылась в травяных зарослях тропа, мы каждый год баррикадируем место старого колодца опилёнными ветками и хворостом — на всякий случай. Пускай никого не занесёт сюда нелёгкая.

Камень-ножницы-бумага, ножницы-верёвки...

Циолковский, применяя закон сохранения энергии к своей космической философии, утверждал, что Вселенная неизменна: «солнца и планеты хотя и разрушаются, но возникают на место их новые», и сосчитан каждый её атом. Крепкая философия не пострадает, если низвести её от большого к малому: вот и получается, что в нашей домашней вселенной тоже где пропажи, там и находки. Через несколько дней оказалось, что искомые ножницы, как кощеева смерть лежали себе полёживали внутри череды скрывающих друг друга хранилищ: в сарае, на полке, в картонной коробке, в сумке, в пакетике с бабушкиными бечёвочками — можно было бы и догадаться! И отнюдь не я туда их с прошлого раза положила. Знаю, кто, но, так уж и быть, промолчу.

Ножницы — ладно, этого добра много. Есть у нас в хозяйстве маленький предмет в единичном экземпляре, который регулярно теряется и чудесным образом обретается вновь с ликованием и чувством счастливого освобождения из пут предательских обстоятельств — ибо замены ему нет. Это — вилочка. Ею мы пользуемся для тонкой работы, когда надо прополоть что-либо очень деликатное — молодую морковку, недавно проросший лук или чеснок — то есть те посадки, среди которых обычная рыхлилка не пройдёт. Вилочка исключительна! В меру увесистая, острозубая, с ржавой ручкой, не плоской, а округлой, удобно лежащейся в ладонь. Почему бы производителям огородного инвентаря не взять на заметку такую вещь? Пока никто не додумался, и лучшее, что можно найти на магазинных полках — миниатюрный рыхлитель о трёх зубцах наподобие когтистой лапки. Но он подразумевает движение в горизонтальной плоскости, а нам, чтобы не задеть ничего тесно растущее, надо — по вертикали, вдоль корней.

Предположим, пора обрабатывать лук. Конец мая, самое время прополки. Севок взошёл дружно, над почвой торчат три строчки крепких светло-зелёных клювиков, только-только выбравшихся наружу и нацеленных: что бы ухватить? Лук любит рыхление, но при этом важно его не зацепить. Максимум, что можно сотворить самой маленькой рыхлилкой — взъерошить землю в междурядьях и нагрести её на луковицы, но этого как раз не требуется.

Вот и сидишь на корточках или наклоняешься над грядкой, не щадя поясницы, и частыми движениями вонзаешь вилочку вокруг каждой луковой головки, заодно изничтожая сорняки. Ну, повредишь сгоряча порой пару-тройку луковок, не без того... Зато грядка за тобой остаётся тёмная, свежая, пушистая — загляденье! В любой момент что-то может отвлечь от однообразного труда, тогда вилочка втыкается в какой-то приметной точке, а в памяти непременно фиксируется этот факт, чтобы можно было без промедлений вернуться к прерванному занятию. Возвращаешься — вилочки нет. Архипросто!

Взять другую из буфета — немислимо. Во-первых, это будет не та вилочка, привычная. Во-вторых, жалко, всё-таки вилками работают в тарелке, а не на грядке. Наша же вилочка словно сама завелась в сарае, в старом бельевом баке, где издавна держим мы мелкий огородный скарб. Кто первый так её использовал? Семейная история, как и история всеобщая, щедра на пробелы...

Вот вам и предназначение. Бывает, копаясь в огороде, невольно задумаешься, что есть судьба, и есть ли она, и так уж ли довлеет она над нами? Я полагаю, что судьба есть — в виде начальных установок, отсекающих какую-то часть возможностей, наподобие того, как из синего и жёлтого цветов получаются разные оттенки зелёного, но никогда — красный. Родиться мужчиной или женщиной, в одном из диких племён Амазонки или в центре Европы, в семье профессора или грузчика, больным или здоровым, с талантом или без... Это, бесспорно, задаёт определённое направление. Ну а дальше, извините, вы уж самостоятельно, и нечего взваливать абсолютно всё на судьбу.

— Кто видел, куда делась моя вилочка?

Вздыхаешь, встаёшь и идёшь помогать в розысках.

Теряется не только инструмент.

Предметы домашнего быта тоже то и дело норовят исчезнуть.

Свежая потеря нынешнего лета — кошачий лоток. В каждой семье существует свой диалект, у нас отец обогатил его понятиями: кошка — это насекомое, комары — птицы, пчёлы — звери, а морская свинка Плюша — ангел. Не так давно насекомому кошке купили новый лоток — увеличенных размеров и с высокими бортиками. Формально к Мороше у нас претензий не было: четырьмя лапами она становилась в свой наполнитель, но при этом не умещался и свешивался за пределы лотка кошачий зад со всеми вытекающими (буквально!) последствиями. Пришлось обзавестись горшком попросторнее, а прежний определить на место службы в деревню. Похоже, во время некой уборки его и сунули куда-то в сарай или положили на поленницу.

Нет, «поленница» говорить нельзя. Нет у нас аккуратной, плотно составленной поленницы, радующей глаз желтоватой мозаикой древесных срезов. Зато есть длинный навес, под который стаскивали дровяные запасы все, кто им занимался, начиная с деда. Именно с той поры хранятся в глубине неподъёмные комлевые кряжи и брёвна, я подозреваю, туда нам не добраться никогда. Мы же пополнили хозяйство чурбаками и кругляшами вперемешку с досками и поленьями, набили ветхие растрёпанные корзины бумажным

мусором, щепой и корой. Муж ещё видит какую-то систему в этом нагромождении, а я нет. Недаром несколько лет назад здесь поселилась ласка, да и сейчас какие-то мелкие боязливые зверьки порой выдают себя шорохом — неприятель вряд ли умудрится проникнуть в надёжное укрытие меж многолетних завалов дров.

На дровах у нас, кстати, лежит огромный трутовик и ждёт своего часа.

Я заприметила его ещё весной, когда прогуливалась по оттаявшей деревенской улице, открывая очередной сезон и любопытствуя, у кого какие новшества. Возле дома местной старожилки спилили дряхлые тополи; ствол одного облепили трутовики, будто свечу — давние наплывы воска. Насколько же был стар тополь, успевший вырастить таких паразитов! Самый большой трутовик размером превосходил таз. Я сразу представила, какую сооруду из него чудесную медузу, прикрепив к какому-нибудь столбу и подвесив щупальца из нитей деревянных бусин. Вот гости будут удивляться!

Если уж у меня загорелось, терпеть я не могу.

— Пошли, — сказала я мужу, — мне надо принести одну вещь. Только быстро, а то пропадёт. Тут недалеко.

Муж заподозрил неладное, и интуиция его не подвела. Но я же не представляла, что трутовики такие тяжёлые! Эх, надо было прикатить с собой тачку...

Муж тащил это серое страшилище шажочков по десять-пятнадцать, потом ронял на юную травку и отдыхал.

— Давай теперь я!

Не всякий взгляд нужно пояснять словами, понятно и так.

Молодые москвичи, купившие дом по соседству, увидели наши манёвры.

— Для чего это вам?

— Для дизайна территории! — ответила я гордо.

— А-а-а... А мы думали в еду как-нибудь...

Найду ли я возможность заняться своей медузой? Муж меня успокаивает:

— Ей ещё высохнуть надо! Не раньше, чем через год.

Если бы через год...

В песенке Вероники Долиной есть строчка «Когда б мы жили без затей...», а потом следует описание, что случилось бы, если б не мешали затеи. А нам именно для затей не хватает времени. Всё у нас серьёзно, не жалея сил, во имя достатка, во славу прибýtка...

— Мам, что здесь в следующий раз посеять: бархатцы или щавель?

— Конечно, щавель, мне лишь бы практично было!

А недавно мы переживали утрату совка.

Вещь ценная, неповторимая.

Он самодельный, согнутый из жести, поэтому пользоваться им можно и для выгребания золы из печей и мангала — что ему будет! Никакие горячие угли нипочём.

Старшая печь у нас та, что в зимней части дома, — кирпичная. Она досталась нам от прежних хозяев, и как давно, кем была сложена, и много ли

напекла пирогов, мы не знаем. Но мы её любим — разве можно не любить печь? — затираем трещины, белим и обихаживаем. Спину ей мы укрываем попоной из старого стёганого одеяла, по бокам под потолком протянули шнуры со шторками, чтобы завесить уютное надпечное пространство, а перед устьем на стальной проволоке красуется ситцевая аппликация: котёнок и чугунок. В урожайные годы, оставаясь осенью на ночёвки, мы нарезаем полные противни яблочных долек и ставим их на загнетку истопленной печи. Под утро дом наполняется ароматом сушёных яблок, и запах этот нравится мне больше аромата цветущего сада. Цветущий сад — только пожелание, намерение, мечта, возможно несбыточная, но никому не упрекнуть в нарушении обещания осень, вручающую дары.

Деревенская печь — союз глины и огня — напоминает самого человека, несоединимое сочетание плоти и духа. Но есть у нас печка младшая, иного рода, совмещающая стихии огня и металла. Это — передовой отряд, именно она первой кидается в бой с холодом и сыростью и сметает недруга за четверть часа, пока собирается с силами печь большая, хотя меньшая и выдыхается первой.

Железную печку изготовили по проекту моего товарища в одном из цехов турбинного завода и вывезли заводской же машиной скрытно через проходную — так состоялась единственная в моей жизни детективная история. Помню кузов грузовика, где помимо буржуйки незаконно покидали заводские корпуса трубы, лестница, какие-то железные короба и плиты. Хмурые мужики-заводчане выгрузили нас по нужному адресу и покатали дальше, оставив меня возле печки, словно ялик на якоре линкора — ни сдвинуть её, ни уйти от неё я не могла. Потом приехали мужики мои, домашние, подхватили, установили... А товарищ тот жив-здоров по сию пору, поёт песни и читает стихи, но имя этого небезызвестного многим достойного человека я не зову. Тайну хранить надо свято, иначе разрушится детектив.

Третий очаг в нашем хозяйстве — мангал. Продолговатый, на длинных ножках, да ещё с подставкой, которая крепится к торцу, будто голова к туловищу; силуэтом и величиной он смахивает на телёнка или козлика. Стальное копытце — почти как у Бажова! Так и мнится, что вот-вот взбрыкнёт наш мангал, сорвётся с места и убежит от нас, мелко перебирая тонкими ногами, рассыпая красные искры и дымя.

В сумерках дымы различимы лучше всего.

Не отходя от дома, мы узнаём, у кого сегодня топится печь, у кого — баня, кто готовит шашлык, а кто сдуру жжёт резину или подобную гадость, пачкая горизонт чёрным. Со стороны соседнего села тянется над полем и достигает нас зыбкий луч едкого и сладковатого дыма, передаёт нам привет и сообщает: там начали жечь ботву. Кто-нибудь далёкий тоже видит сигнал и от нашего мангала, и от соседских костров — деревни возвещают о своих событиях молчаливыми речами дымов. Однако если хочется подробностей, за ними придётся отправиться самому. Дыму не хватит словаря, чтобы поведать миру, что сегодня мы запекаем рыбу в фольге. Не понадобится никакая итальянская или испанская кулинария, настолько вкусным получается обыкновенный

минтай, если набить его эстрагоном, густо обложить луком и всей зеленью, какая только растёт у вас на огороде, завернуть в фольгу и подержать над углями минут двадцать. А когда имеется вдобавок белое сухое вино...

За время ужина угли не успевают погаснуть, и мы воскрешаем пламя.

Истинное блаженство — сидеть вечером возле огня. Я мысленно разбираю свои чувства, пытаюсь объяснить самой себе, почему же они составляются в блаженство? Приятно быть хозяином на собственной земле, приятно отдыхать после неустомительного дня в твёрдом убеждении, что у твоих близких всё в порядке. Приятен сам вечер, сквозь тёплую темень которого уже проступили мелкие звёзды Млечного Пути, а летучие мыши, как мягкие фломастеры, проводят поверх них стремительные штрихи. Но главное, тот самый клей, что соединяет эти приятности в единое целое, мне никак не удаётся определить... Ощущение самого бытия? И сложно, и просто, и высоко, и обыденно...

Что касается обыденного, то совок нашёлся в гараже. Завтра, когда зола в мангале остынет, я соберу её и посыплю перцы и капусту — назло гусеницам, чтоб неповадно было.

Из не найденного до сих пор более всего сокрушаюсь я по кухонной прихватке.

Жил да был у нас на кухне испытанный, заслуженный, засаленный и крайне необходимый комплект для заваривания чая: колпак на чайник в виде курицы-наседки и круглая подставка, она же прихватка. Сатиновый, в мелкий ромбик, с красной окантовкой, стёганый на вате — из разряда тех вещей, которые ни у кого рука не поднимется выкинуть, настолько неполноценным стал бы без них обиход. Но тем, без чего нельзя обойтись, и пользуются нещадно! Чай заваривается несколько раз на дню: со смородиновым листом, с мятой, со зверобоем, вперемешку зелёный и чёрный, ибо какой ещё повод легче всего изобрести, чтобы оторваться от насущных трудов?

Чай заваривают все, кому не лень. Этим летом и еду готовят все, кому не лень, кому охота, без очерёдности, без договорённости.

— Пойду-ка я макароны поставлю.

— Позови, когда будет готово!

Я нажарю котлет, другой сварит суп, третий настрижёт салат...

Кашеварные хлопоты надоедают всем. Надоедливы и утомительны любые бытовые заботы, когда их не с кем разделить, и ответственность за них бессрочно несёт кто-то один. Негласно мы опустили взаимные требования и претензии друг к другу, и теперь каждый делает то, к чему вдруг призовет его повседневность. Возникает неразбериха, но вменить себе в обязанность борьбу с разбухающим во все стороны тестом быта желающих уже нет.

В беспорядочности и произволе прихватка и потерялась. Чистота не у тех, кто убирает, а у тех, кто не мусорит. Если каждую вещь тут же возвращать на место, ничего не пропадёт. Но некоторые почему-то бросают предмет там, где только что исчезла в нём надобность: пошёл пить чай на балкон, там же

кружку и оставил. А после: «Кто взял мою любимую кружку?» Кто брал мою ложку? Кто ел из моей чашки? Ах ты, Медведь, не переводи стрелки на Машу...

Интересно, где же моя любимая прихватка? Как же мы всё-таки привыкаем к вещам...

А что есть привычка? Род инерции? Боязнь перемен? Лениность? Я думаю, попытка обустроиться и закрепиться в вечно ускользающей, изменчивой, переливчатой жизни. Каждый плетёт паутинную сеть из привычек, растягивая её меж обстоятельств и правил, в надежде поймать если уж не счастье, то удовлетворённость. Иным везёт. Но лишь очень-очень немногие ухитряются сберечь свои привычки неповреждёнными до конца. Сколько раз мы их восстанавливаем, сколькими обзаводимся вновь... Так позвольте мне хотя бы уж в малом, на уровне кружек-ложек-прихваток как можно дольше сохранять незыблемым мой обыденный мир!

Пропадают вещи не только мелкие, но и крупные.

— У вас тут один хлям! — оценили наше имущество гастарбайтеры-строители, когда мы возводили пристройку к дому.

С прошлого года затерялся в залежах этого «хляма» большой брезентовый полог, и поиски пока безуспешны. А полог по-настоящему уникален. Отец придумал его для защиты входной веранды зимой, когда мы живём в городе и редко приезжаем, чтобы расчистить двор от снега.

Нет ничего печальнее оставленного на зиму жилья! Всё спрятано или зачехлено, отключён уличный фонарь, а окна забыли, как славно они умеют разукрашивать ночь домашним светом. И всюду — снег. Он хозяйничает, заводит в наше отсутствие свои порядки, развлекается: нахлобучивает на печные трубы шапки, качается на ветвях старых яблонь, гнёт цинковые карнизы и водоотводы, ваяет на месте кустарников абстрактные скульптуры, катается с крыши и заваливает двери сугробами. Путанные цепочки птичьих следов выглядят так же фантастично, как отпечатки колёс на лунном грунте и только подчёркивают необитаемость снежных земель. Но у нас есть средство приструнить снег, мы знаем, что он не выносит. Это — тропинки.

Широкие фанерные и пластиковые лопаты припасены заранее. Кажется, что полная снега лопата будет неподъёмна, но это обманчивое впечатление; как приятно поддевать высокий снежный пласт и чувствовать себя атлетом, за раз отбрасывая в сторону такой объём! Вскоре схема наших привычных, отработанных с годами маршрутов по усадьбе явственно прорисовывается на белой целине: вот подход к воротам, вот к подвалу, а вот — и к дому.

Входная веранда — наше излюбленное место, здесь мы проводим больше всего времени. Крыша у неё из прозрачных поликарбонатных листов, две стены набраны из балконных рам, пол выложен плиткой, над столом — разноцветные светильники и всякие местные трофеи: засушенные цветы, замысловатые камни, пёстрые перья птиц. На веранде у нас полка с книгами, скамья, кресла, светло настолько, что можно читать вплоть до самой ночи. Но зимой даже днём на веранде сумрачно — вход от самого верха наглухо закрыт

пологом. Отец всё продумал так, чтобы нашему пологу нипочём были любые ветра, чтобы ни выюги, ни метели не проникали за его пределы. По краям полог прошит люверсами и крепится на крючках, ввинченных в столбы веранды, низ мы подворачиваем и прижимаем изнутри веранды к кафельному полу чурбаками. Какая метель способна прорваться через этот барьер?

Итак, дорожка к дому проторена, полог до середины снят с крючков и откинут: до чего же странно ступить на чистую сухую плитку, увидеть лёгкую обувь у порога, на полке — раскрытый недочитанный журнал, а на столе — кисти и карандаши, забытые с того самого дня, когда мы рисовали натюрморт с пижмой! Занесло бы снегом — отсекло бы и память, а так получилось, будто лето на что-то обиделось, поджало губы и отвернулось, но ненадолго, понарошку, и вскоре всё опять станет хорошо. Только чуть-чуть подождать...

Где же наш полог?

Он очень нам нужен! Как мы оставим дом без него, покинем беззащитным перед зимой? Ведь нас самих не будет рядом, чтобы вместе обороняться от снежного ветра!

Брезентовый полог большой и тяжёлый, чтобы его сложить, нужны двое, — не может такой непростой предмет пропасть так запросто! Мы заглянули во все шкафы и кладовки, где хранятся хоть сколь-нибудь похожие вещи: ковровые дорожки и половики, мешки, плёнки для теплиц... Бесполезно. Потеряли.

Случается, что-то теряешь, случается, жизнь утешает тебя и восполняет утрату, а то и преподносит сюрпризы, случается, ты сам что-нибудь отдаёшь с радостью и не думаешь о замене — идёт непрерывный взаимообмен с миром. Самые счастливые из нас не боятся тратить больше, чем получают — в восторге перед жизнью они кажутся себе неисчерпаемыми. Но человек — не вечная Вселенная Циолковского, человек — вселенная временная. Не то беда для человека, если ему нечего больше получить, а то беда, если нечего отдать, кроме себя самого. Время выбирает нас как золото из кварцевой жилы, и если золото закончилось, то что же остаётся? Прощаться... Но напоследок хотелось бы выяснить, что же это всевластное, неуловимое и неумолимое Время делает со всем своим накопленным золотым запасом?



Эльвира Частикова

Эльвира Николаевна Частикова родилась на Калужской земле, в бывшей усадьбе Павлицев Бор. Окончила библиотечный факультет МГИК, заведует читальным залом в центральной библиотеке Обнинска. Её стихи и проза публикуются в российской и международной периодике. Она — автор 20 книг, из которых 16 — поэтических, первый лауреат литературной премии им. М. Цветаевой (1998), член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ.

БУДУ — НЕ ЗАБУДУ

* * *

Извините, если вы живые,
Вспомните о том, кто — не живой!
Не про боль и раны ножевые,
С коими ушёл он стать травой.
Вспомните, каким он был азартным,
Щедрым, обожающим свой дом;
Как не перекладывал на завтра
Ни дела, ни деньги... Но ведом
Вредными привычками бывал он...
Про ушедших правду не таят.
Вредности и в нас, в любом, — навалом,
Правда же у каждого своя.
Пусть и будет, в ней искрят кристаллы,
До нутра способные прожечь.
Вспомните! А я не забывала
Ни поступков, ни неровных плеч —
Ничего. Мы шли одной дорогой.
Буду — не забуду, сколь жива,
Человека, посланного Богом.
И к траве потянется трава.

Из последних дней

С. Ч.

Перед вечной тьмой он жаждет света;
Спать готовясь, зажигает бра,
Чтоб его волной не смыла Лета
Втихаря. От тьмы не жди добра!

Даже днём, когда в лучах окошко,
Жмёт на выключатель, что есть сил.
— Пусть солярий этот — понарошку, —
Шепчет, — но никто чтоб не гасил!

— Ну, конечно, — говорю я рядом, —
Только бы светлело на душе!
И не отпускаю долго взглядом,
Панику скрывая пред «уже».

Добавляю все четыре люстры,
Свечи и на лоджии фонарь...
Мимо тени пробегают шустро,
Да на колокольне бьёт звонарь.

Прощание

Рыжая осень и рыжая земля.
Могила — последний скит.
Мы рыжие комья бросаем, пыля,
Им пухом быть предстоит.

Я слёзы глотаю, и вслед, навсегда
Внушаю (дико знобит),
Что первый поцелуй помнишь и тогда,
Когда последний забыт.

На 13 октября 2020

Сергею

Он помнит один о моей детской свежести,
Покорности, лёгкости, яркости, нежности,
Решимости, искренности, безмятежности,
Ранимости, верности и безнадёжности.

Поскольку ему я досталась открытая,
Как будто к дичку волей Божьей привитая,
Шестнадцатилетняя, не перебитая
Шальными любовями или обидами.

Меня он и позднюю помнит, дистанцию
Бегущую с ним до надрыва:

— Расстаться бы!

С горчинкой, осадком, броском в никуда...
Чтоб нынче забыть обо мне навсегда!

Тайна тайн

В немножко мёртвого поверить сложно,
Как и в возможности наладить связь
С новопреставленным. Звучит безбожно,
Хотя на всё Твоя, Господня, власть.

Прости мне грешнице, ведь я собою
Всё Божье вымерить стремлюсь, учтя,
Что я — подобие Твоё (по крою
И воплощению), Твоё дитя.

Жаль, не узреть Тебя, но поисково
Я по подобию по своему

Уже леплю себе чуть-чуть земного,
Почти домашнего, кого пойму...

А то без этого не разобраться
С новопреставленным, его душой
За гранью плотского, чертой вибраций...
Дабы из вечности сигнал дошёл!

Последнее слово

Владиславу Трефилову

1

Вечный гуляка, филолог, пацан,
Бражник, соритель словами, деньгами;
Римлянин древний, Антоний, — с лица;
С внутренним светом, с окошечком в раме.

Тем и держался, почти не держась
Ни за кого, хоть звонил и аукал,
Помня, о чём говорили вчера-сь
(Месяц назад или год): — ну-ка, ну-ка...

Да, повторялся, любил повторять —
Верности ради, чтоб истину взвесить.
Строил воздушные замки, но вспять
Жил на своём потайном интересе.

Не находил на движенье вперёд
Ценностей, равных оставленным, что ли?
Наобещать мог! Да наоборот
Всё выходило — до видимой боли.

Что он носил в горьком сердце: клубок
Прежних дорог и остывших объятий?
Всё фантазировал... Мальчик, игрок,
Мне позвонивший в финале некстати.

Слово, что может светить, как звезда,
С губ моих камнем сорвалось сурово,
Чтоб не звонил мне... Последнее слово.
Он не нарушит его никогда.

2

О моих стихах сказавший ёмко,
Глубоко, с размахом и огнём...

Я не повторяю это громко,
Мне неловко, вспомнившей о нём.

Наизусть читавший — что за диво?! —
Исповедь мою... И я берусь
Не забыть лица его, мотива
Строчек, направляющих на грусть.

Таруса в начале октября

Воздух яблочного вкуса —
Благородный сорт.
Золотой октябрь. Таруса.
Синий горизонт.

За Окой и тонкой дрожью
Вод, листвы, земли

Вдруг Поленово возможно
Разглядеть вдали.

Затаившие дыханье —
Белла, Константин.
И Марина тут стихами
Пестует свой сплин.

Наполняет время чувством,
Попирая смерть,
Чтобы горьковато-вкусным
Ягодам дозреть.

Чтобы речке с облаками
Длиться, не спеша...
Яблок жаркими боками
Греется душа.

Андрей Ребенок

Андрей Николаевич Ребенок родился в 1960 году в Туле. Окончил Крапивинский лесной техникум, по направлению попал на работу в Спас-Деменский сельский лесхоз Калужской области. Работал лесничим, главным лесничим, директором лесхоза. Литературой увлёкся в юности, первая проба пера — в восьмидесятые годы. Автор книг прозы «Цветы для любимой», «Солнечный круг», «Бабушка, у которой был танк». Постоянный автор литературного альманаха «Пробуждение». Живёт в Спас-Деменске.



ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМОВКА

О том, что заканчивалась спокойная, размеренная жизнь, которую он вёл последние два с лишним месяца, и начинаются проблемы, Иван Сергеевич понял, когда до его маленького зимовья осталось буквально десять минут ходу. Сердце заколотилось, чувствуя неприятности. Откуда-то слева, из-под низко нависших под тяжестью снега еловых ветвей, вывернулся свежий след росамахи, который по укатанной лыжне, немного припорошенной вчерашним снегом, уходил в сторону избушки.

Шельма, помесь деревенской дворняги с лайкой, иногда наступавшая сади на пятки лыж, наткнувшись на след, взвизгнула и с лаем кинулась к зимовью. Она уже скрылась за поворотом, оглашая тайгу лаем, а Иван Сергеевич ещё несколько секунд оторопело смотрел на след, не веря своим глазам. Сказались два спокойных месяца охоты, когда всё шло, как надо. И вот теперь это всё поставлено на кон, словно в карточной партии с шулером. Сделан ход, и этот ход не его. Тех самых секунд и не хватило ему — корил себя впоследствии.

Кинулся вслед за собакой к зимовью, на ходу выкидывал из патронника «тулки» дробовые, загоня картечь. Сердце буквально выпрыгивало из груди, от волнения патроны не хотели попадать в стволы. Пройти несколько километров быстрым шагом на широких лыжах в его шестьдесят не составляло особого труда, тем более по утоптанной лыжне.

Волновало другое: в избушке и лабазе всё его богатство — несколько десятков шкурок соболя и другого зверья. От этих шкурок зависело многое... Это был пропуск в мир весёлого, здорового детства для его внука.

Молодые долго мыкались с ним по врачам и больницам, прошли все семь кругов ада, был установлен диагноз, и ребёнка поставили в очередь на операцию. Но слова врачей: «Всё будет хорошо, успех гарантирован на девяносто процентов, у вас четыре месяца, собирайте деньги», — казались

издѣвкой, а вернее, смертным приговором. Для их семьи названная сумма оказалась непомерно большой. Весь вечер тихо плакала в углу дивана дочь.

На семейном совете на следующий день искали варианты. Вариантов не было. Даже с учётом помощи со стороны близких родственников просматривалась только треть необходимой суммы, да и то теоретически. У Ивана Сергеевича была только пенсия. Прошлую зиму он уже не охотился, дети не разрешили, хватит уже, года не те, а все свои накопления потратил, помогая молодым с ремонтом квартиры, которую тоже помог им купить, обнулив свою сберкнижку. К концу семейного совета, увидев, как наливаются слезами глаза дочери, твёрдо встал и сказал, как отрезал: «Закупай черняшку, делай сухари, ты знаешь как, я в тайгу... Три месяца у меня есть». Дочь молча кивнула, в её глазах мелькнула искра надежды. А теперь вот всё висело на волоске.

Избушка встретила проломленным окном. Маленькое — чтобы не пролез ненароком медведь в отсутствие хозяина, оно издалека зияло пустой глазницей. Из окна вдруг вывалился белый клубок. По визгу из двух дерущихся зверей угадывалась Шельма. Клубок покатился вниз к речке. Сергеич отдуpletил в воздух. Двойной резкий выстрел разорвал морозную тишину, отозвавшись двойным эхом в распадке ниже по течению реки. Клубок сразу распался. Вдоль речки на махах уходила росомаха. Шельма так и осталась лежать на снегу. Напоследок росомаха сумела подцепить заставшую её врасплох собаку. Стрелять было далеко, и она спокойно скрылась за деревьями. Сергеич бежал к собаке, проклиная себя за те секунды, что стоял столбом, рассматривая след. Полсотни метров — и эта тварь бы не ушла.

Шельма тихо повизгивала, лёжа на боку. Вся белая, в муке, как и росомаха, мокрыми глазами то смотрела на хозяина, то отводила взгляд, словно извинялась, что не смогла защитить их жилище, что теперь ему не помощница — от последнего ребра и до паха кожа висела клочьями. По мелкому зернистому снегу под собакой расплывалось кровавое пятно. Поднимая Шельму, Сергеич заметил, что правая передняя лапа почти перекушена ниже сустава. Пока нёс её к избе, она всё крутила головой, стараясь заглянуть ему в глаза. Им не нужны были слова, они понимали друг друга. В лесу она так бы не подставилась, её работа указать хозяину, где соболь, что не попал в капкан на путике, предостеречь от хищного зверя. Винить собаку было не в чем, она билась за свою и его дальнейшую судьбу.

По пути к избе с Шельмой на руках первым делом подошёл к лабазу. Сразу стало спокойней на сердце. Лабаз устоял перед яростным натиском росомахи. Были бы живы дед с отцом, отвесил бы им сейчас низкий поклон. Даже не нашлось тех слов, какими выразил бы им свою благодарность. В молодости, быстрый и резкий, он часто спешил, мог, не выполнив одну работу, заняться другой, многое считал вообще ненужным — зачем лишние движения и труды, если без них можно прожить. Они же строго осекали его, заставляли всё доделать как надо. В тайге нет лишней работы, когда-нибудь сыграет свою роль любая мелочь, которую ты сделал либо не сделал. Тайга ошибок не прощает. То, что ранее считал анахронизмом и предрассудками, впоследствии много раз выручало его в самых неожиданных случаях.

Более пятнадцати лет назад весь август возились с отцом с этим лабазом. Стояла тёплая, сухая погода, но вместо купания и загорания на песочке у речки таскали брёвна. Срубик получился крохотный, всего два на два метра, но крепкий, как маленькая крепость. Затем, разобрав его, собирали, но уже высоко над землёй — на четырёх вкопанных семиметровых столбах. Каждое бревно затаскивали верёвками, намучились вдоволь. Вспомнилось, как подшучивал над отцом, предлагая притащить в тайгу моток колючей проволоки и обмотать столбы. И вот через полтора десятка лет, с истерзанной Шельмой на руках, болью в сердце за судьбу внука, проступившими на глазах слезами поклонился старому лабазу. Вернее, деду с батюкой в его образе.

Лабаз впрямь был как крошечная крепость. Чувствуя, что там что-то есть, штурмовала его росомаха с остервенеем. Снег вокруг столбов лабаза был утоптан её прыжками и падениями. На всех столбах следы её когтей. Особенно досталось нижнему бревну сруба. Понятно, что, пытаясь за него зацепиться в прыжке, росомаха срывалась в снег, оставляя глубокие борозды на немного подгнившей древесине.

Приставная лестница всегда хранилась отдельно. Хотя Иван Сергеевич частенько её забывал убирать, точнее, ленился. Сегодня бог отвёл — лестницы не было.

В избушке был полный разгром. Росомаха выплеснула всю ярость за свою неудачу с лабазом. В доме было чем поживиться. Зимовье было совсем крохотным, но уютным: высокие нары с лесенкой, железная печка из бочки и стол у окна. Вдоль всех стен, до самого потолка, стеллажи из жердей для припасов и снаряжения. С этим у Сергеича всегда был порядок, он всегда знал, где что лежит на забитых до отказа самым необходимым полках. Теперь всё было перевернуто вверх дном, содержимое полок, словно пропущенное через огромную мясорубку, валялось на земляном полу, четыре недосохшие шкурки соболя и одна норки, добытые за последние два дня охоты, были разорваны на мелкие части. Всюду соболина шерсть, в воздухе ещё плавали мельчайшие шерстинки из мягкого подбрюшья соболя. Две шкуры рыси, растянутые на жердях, тоже были разорваны. Бумажный мешок с остатками запаса сухарей, что сушила дочь, изорван в клочья. Вдобавок ко всему, всё было в пшеничной муке из разбитых трёхлитровых банок.

Первый ступор прошёл. Урон был тяжёлым, но не критичным. Поняв, что наступил тот момент, когда всё зависело только от него, Иван Сергеевич остаток дня работал на автомате. Положив Шельму на нары, первым делом растопил печь, затянул окно куском толстой плёнки от мешка. Затем занялся собакой. Нитью, пропитанной водкой, сшил края рваной раны. Шельма тяжело дышала, но позволяла делать всё. Присыпал швы и открытые места без кожи стрептоцидом, размяв пару таблеток. На переднюю лапу наложил лёгкую шину из двух выструганных щепок. Заметив, что Шельма после всех процедур приняласьлизывать рану и с этим поделаться ничего нельзя, воспользовался моментом — растолок пару таблеток антибиотика и присыпал раны.

Много времени отнял разбор свалки на земляном полу и сортировка того, что ещё можно использовать. Остатки шкурок сжёг в печи, выкинуть было

нельзя, чтобы не привлекать росомаху. Особенно долго возился с сухарями, отрясая и обдувая каждый. В лабазе ещё было немного сухарей, но если кончатся, то пригодятся и эти. Уже в сумерках чистил снег под лабазом. Его метровый слой, как трамплин, давал росомахе явные преимущества, если надумает вернуться. Этот зверь и после сотен неудачных попыток сделает ещё столько же, пока не добьётся своего.

Присел отдохнуть далеко за полночь. Есть не хотелось, только крепкий, очень сладкий чай, больше ничего не лезло в рот. Дурные мысли, наоборот, лезли в голову. Иван Сергеевич долго сидел у керосиновой лампы, подкладывая дрова в печку, смотрел на огонь, мысленно просчитывал варианты своих дальнейших действий. В углу нар беспокойно спала Шельма. Во сне дёргала лапами, иногда слегка подвизгивала, переживая прошедший день вновь. Несколько раз за ночь ему слышался шум за стенами, он выскакивал из зимовья с ружьём со взведёнными курками, освещал лабаз фонариком. Всё было спокойно, возвращался назад к огню. Сон сморил только под утро. До вертолётного оставалось ещё десять дней, до последнего срока внесения денег на операцию — ровно две недели.

Новый день встретил морозом за тридцать, ярким солнцем и выпавшим под самое утро небольшим снегом. Из-за мутной плёнки, закрывавшей окно вместо стекла, и досок, прибитых поверх неё изнутри, в зимовье стоял полумрак. Иван Сергеевич толкнул наружу дверь и чуть не ослеп. Миллионами фотовспышек отражавшееся от каждого снежного кристалла солнце не давало смотреть широко открытыми глазами. Немного привыкнув, улыбнулся. Всё было, как раньше, его встречала старая знакомая — перед зимовьем, перелетая то на снег, то на ветки небольшого куста, стараясь привлечь к себе внимание, крутилась крошечная красногрудая зарянка. Ничего не требуя взамен, вот уже более двух месяцев зарянка держалась возле человеческого жилья. Было загадкой, как эта птичка, в два раза меньше воробья, вообще выживает здесь в такие морозы, чем питается. Нарядная и общительная, она сразу подняла настроение, хотелось верить, что всё обойдётся, всё будет, как раньше.

Росомаха наверняка совершает куда-то свой многокилометровый переход, а вчерашняя яростная атака Шельмы не даст ей здесь задержаться. Безмолвная морозная тишина, яркое солнце, весёлая, нарядная зарянка — всё успокаивало и убаюкивало. Да тут ещё и Шельма выпрыгнула на снег из зимовья на трёх лапах. Жизнь явно налаживалась, и очень уж хотелось Ивану Сергеевичу, чтобы всё так и было.

Но, зная, насколько эта тишина может быть обманчива, и веря только тому, что сделает своими руками, проверять капканы на путиках сегодня не пошёл. Главное — сохранить то, что уже добыто и хранилось в лабазе. Целый день готовился к возможному визиту незваной гостьи. Работал, как вол, с каждой минутой ненавидя эту тварь всё сильнее и сильнее. В первую очередь занялся лабазом — ещё дальше откинул снег вокруг, топором отполировал столбы, зачистил все неровности, затем натёр их лыжной мазью. Так же поступил с нижним бревном лабаза, за которое пыталась зацепиться росомаха.

В процессе работы пришла другая мысль, более простая. Воплощая её в жизнь, таскал воду от речки из незамерзающего родника и обливал столбы и нижние брёвна лабаза. Успокоился только, когда всё заблестело на солнце довольно толстым слоем льда. Затем укрепил окно снаружи, попросту забив его плахами, используя огромные гвозди. Лучше посидеть когда-то днём при керосинке, чем прийти вечером с охоты к разгрому, как вчера. Укрепляя дверь, нашёл применение толстой стальной шпильке с резьбой и большими гайками с обеих сторон. Коловоротом просверлил толстую дверь и притолоку. Теперь, уходя, можно было закрутить гайкой дверь намертво. Понимал, что это лишнее, но остановиться уже не мог: вчерашний погром всё стоял перед глазами. Уже поздно вечером, при керосинке, пересмотрел все картечные патроны, разрядил, добавил пороху, пересыпая картечь мукой для резкости боя. Вместо пыжа залил картечь сверху парафином, капая с горячей свечи.

День прошёл спокойно, в трудах. Вокруг всё было тихо, тайга стояла безмолвная, лишь изредка слышался треск разрываемого морозом дерева. Вчерашний визит росوماхи казался далёким кошмарным сном, и только отсутствие шкурок, сохнувших в самом зимовье, возвращало в реальность.

Новое утро, как и вчера, встретило крепчающим морозом, слепящим солнцем и звенящей тишиной. Яркой красной бусинкой у зимовья крутилась зарянка, чужих следов вокруг зимовья не просматривалось. Всё дышало спокойствием.

До вертолёта ещё девять дней. Можно дважды проверить каждый из четырёх путиков — проложенных маршрутов с капканами, эллипсным веером расходившихся от зимовья. На проверку одного уходил световой день. Путь начинался у зимовья и в конце снова возвращался к избушке, полностью снимать капканы решил при второй проверке каждого.

Уже собравшись на охоту и закручивая гайкой дверь, слышал повизгивания Шельмы, которую первый раз оставил дома.

«Погибнуть собаке, случись что со мной, — подумал он невесело, — впрочем, снаружи погибнет ещё быстрее». Отгоняя такие мысли, встал на лыжи и двинулся путиком, капканы на котором не проверял четыре дня. Морозная тишина давила на уши, казалось, всё живое вымерло под слепящим солнцем и крепким морозом. От тишины гудела голова, и чем сильнее вслушивался, тем более звенящим становился гул в голове. Очень хотелось если не увидеть, что там впереди, то хотя бы услышать. В самом начале путь просматривался не более чем на полсотню метров, а до первого капкана было всех пятьсот.

Напряжение снял дятел. Звонкая дробь с вершины сухой ели неожиданно разорвала затянувшуюся тишину. Дятел перелетел на соседнее сухое дерево. Был слышен каждый взмах крыльев. Вслед за шорохом падающей шапки снега, сбитой дятлом с ели, звонкий стук огласил тайгу. Всё сразу стало на свои места. Перестав вслушиваться, Сергеич прибавил ходу.

Опасения сбылись за сотню метров до первого капкана — на лыжне опять увидел знакомый след. Капкан был захлопнут, приманки как не бывало, след уходил дальше по лыжне. Ко второму капкану Иван Сергеевич буквально

летел, как паровоз, тяжело дыша, окутанный морозным паром, края шапки и воротника покрылись инеем.

В капкан попался соболь, и россомаха сожрала его на месте, оставив охотнику вытоптанную площадку с каплями крови и хвост соболя, словно на смешку. В ярости Иван Сергеевич двинулся дальше по лыжне, ни первый, ни второй капкан не стал вновь настораживать — бесполезно.

Пробежав полсотни метров, понял, что делает что-то не то. Быстро сообразив, развернулся и скорым ходом двинулся назад. Может, где-то россомаха ещё не успела побывать. На втором путике капканы оказались нетронутыми. Попавшегося соболя просто кинул в рюкзак, не снимая шкурки, бросил, не настораживая, капкан и побежал дальше.

Решение оказалось верным — путик принёс трёх соболей. Уже что-то. А два капкана сработали вхолостую, упустив зверьков. Отдышался только у последнего капкана, он был насторожён, приманка не тронута. Проклиная свалившуюся на его голову россомаху, двинулся к зимовью.

Шельма, заслышав издали скрип лыж, уже лаяла за дверью. Открыв старые запоры, дёрнул ручку, но дверь даже не шелохнулась — в горячке дня забыл напрочь про своё изобретение. Пока возился с гайкой, Шельма с другой стороны от нетерпения царапала здоровой лапой дверные доски.

Большой любитель футбола, сегодняшней день Иван Сергеевич расценил как ничью. Путик достался россомахе, путик ему, но общий счёт с учётом погрома в зимовье был за ней.

Ночью вновь не спалось. За стеной избушки мерещились шорохи. Нескольким раз выскакивал с ружьём и фонарём на улицу. У лабазы было тихо. Полная луна висела над макушками ёлок, поляна с лабазом просматривалась и без фонаря.

На следующий день всё вновь повторилось: Иван Сергеевич отправился проверять следующий маршрут, но буквально в сотне метров от зимовья за первыми деревьями наткнулся на след россомахи, шедший перед ним по лыжне. Всё, здесь ловить больше было нечего, успеть бы опередить зверя на последнем путике.

Как и вчера, идя быстрым ходом, у капканов долго не задерживался. Вскользь оглядывал и бежал дальше. Два капкана сработали вхолостую, в один попала любопытная сойка. Ранее он обрадовался бы этой поимке — отличная приманка для соболя: подвесил птицу над замаскированным капканом, раструсил вокруг немного перьев и пуха — ни один соболь не проскочит мимо. Сегодня было не до неё. Но через пару сотен метров решил вернуться и забрать птицу. Капкан прихватил её за любопытную голову, вероятно, она рванулась взлететь и повисла в капкане на тоненьком тросике. Мороз уже сковал птицу. Бережно укладывая невольно пострадавшее существо в отдельный карман рюкзака, Иван Сергеевич твёрдо решил поиграть завтра с россомахой в кошки мышки. Сойке отводилась главная роль.

Путик принёс двух соболей. Это был самый короткий из четырёх маршрутов. Иван Сергеевич пришёл к зимовью ещё засветло. Сойку в избушку не занёс, не поленившись, притащил лестницу и спрятал её в лабаз, уложив

на еловую ветку — от неё не должно нести жильём, такой же веткой накрыл. Завтра она понадобится. Сбегал к речке. Там у самого берега стояла толстая разлапистая ель. Под сенью её бесчисленных ветвей даже в сильный ливень было сухо. Здесь хранились подальше от жилья, чтоб не переняли запахи, крупные капканы, наннзанные на жерди. Вот уже второй год им не находилось применения, но они были отлажены и настроены. Сбегал больше для самоуспокоения, ведь мимо них постоянно ходил за водой к роднику. Да и так знал, что тут всегда порядок.

Шельма от нетерпения заходилась лаем, давно чувствуя появление хозяина, напоминала о себе.

Уже лёжа на нарах, Иван Сергеевич оценивал прошедший день. Удалось восполнить количество шкурок соболя. А вот шкур двух рысей уже не вернёшь. Добыл их совершенно случайно, с интервалом четыре дня, буквально на одном и том же месте. Обе молодые, скорей всего, одного помёта. Заслышав новое в голосе Шельмы, стал осторожно подходить. Соболя она указывала звонким радостным лаем, зовя хозяина. Здесь же тихонько, осторожно подтягивала впереди по лыжне. Чувствуя приближение хозяина, только крутила головой, показывая ему направление. Справа от лыжни, буквально в тридцати метрах, на толстом дубовом суку сидела молодая рысь и, наклонив вперёд голову, рассматривала глупую собаку. Через четыре дня всё повторилось на том же самом месте. Теперь от этих двух рысей остались только воспоминания.

Сегодняшняя ничья его больше не устраивала. Росомаха всегда опережала его, первый ход всегда был её. Теперь уже не казались охотничьими байками рассказы о том, что, поселившись в угодьях, эта тварь буквально проваливала охотничий сезон. Охотники возвращались из тайги не с прибылью, а с долгами за взятое в долг снаряжение, за доставку и вывоз на вертолётах. Особо им никто не верил, считая просто неудачниками и неумёхами. «Завтра поиграем, — решил Иван Сергеевич, пару раз выскочив на улицу проверить лабаз, — завтра поиграем!» Забылся тревожным сном под самое утро.

Несмотря на плохой сон азарт задуманного противостояния с росомахой сделал Иван Сергеевича утром свежим и деятельным. Первым делом кинулся к настенному календарю, где каждое утро прилежно зачёркивал прошедший день. Сразу зачеркнул четыре. Дни пролетели, как один, и было не до этого. Календарь чудом уцелел после визита росомахи.

Два дня, обведённые авторучкой кружочками, неумолимо приближались. До вертолёта оставалось шесть, до дня оплаты операции ровно десять дней. Ночью в полудрёме он в уме прикидывал свои доходы. Вроде всё складывалось. За вычетом десяти соболей среднего качества за левый рейс вертолёта, тридцатью такими же шкурами он закрывал контракт с заготконторой по фиксированной цене. Отдельно лежали особо ценные — с серебристо-седым отливом. За них перекупщик давал двойную цену. Впереди ещё несколько дней для охоты, лишний пяток-десяток соболей не помешал бы. Кроме оплаты операции, ещё на что-то надо было жить. Да и с этой тварью не мешало бы поквитаться.

Навьюченный мешками с капканами, он двинулся маршрутом, начисто опустошённым ранее росомахой, надеялся в этот раз опередить её. Надежда не сбылась. Эта тварь методично обошла всё капканы, вытащив приманку. Пришлось вновь их настораживать. Первый сюрприз устроил росомaxe после четвёртого капкана, там, где лыжня пересекала поваленное дерево и его приходилось переступить, высоко задирая лыжи. Росомаха же здесь перемалывала одним прыжком. В месте её вероятного приземления осторожно выгреб изпод лыжни снег, ножом снизу истончил снежную корку и подсунул сразу два капкана. Мешок заметно полегчал, капканы были достаточно тяжёлые, ведь брал только пятый номер.

Второй сюрприз устроил через два километра от первого, там, где лыжня протискивалась между двух толстых ёлок и завалы не давали возможности его обойти. На установку уходил целый час, спешке здесь не место.

Ещё примерно через два километра, уже собираясь устроить главный сюрприз, услышал за спиной отдалённый крик. Кажется, сойка. Замер, вслушиваясь. Казалось, слышит собственное сердцебиение в этом морозном безмолвии. Может, ослышался. Но через несколько минут крик птицы повторился. Теперь сомнений уже не было — за ним по лыжне идёт росомаха, и пернатый почтальон сообщил об этом всей округе. После нескольких обильных, сытых дней росомаха довольствовалась приманкой из капканов на соболя.

Решение созрело мгновенно: довольный такой неожиданной и быстрой развязкой, Иван Сергеевич сделал небольшой круг назад и вышел с подветренной стороны к собственной лыжне в пределах надёжного выстрела, там, где пугик пересекал маленькую поляну и эта тварь, идущая следом, была бы как на ладони. Прижавшись левым боком к стволу толстой ели, держал под прицелом лыжню, слышал стук собственного сердца. От долгого ожидания мушка на стволах начинала то двоиться, то сливаться. Да и мороз начинал ощущаться без движения.

Высоко над головой пассажирский «боинг» серебристой точкой прочертил инверсионным следом голубое безоблачное небо, холёные стюардессы разносили элитные спиртные напитки. «В отдельно взятое мгновение каждый живёт своей жизнью, — почему-то подумал Иван Сергеевич, — кто в салоне первого класса потягивает текилу, либо хеннесси, кто на земле под ним хочет выжить в почти что первобытной охоте».

Резкий крик сойки над головой вывел Ивана Сергеевича из философских рассуждений. От неожиданности он даже вздрогнул. Зло сплюнул, теперь таиться было нечего. Лесной почтальон в виде сойки, усевшейся на самую макушку ели, объявил всей округе последние новости. О том, что это были новости о нём, он даже не сомневался. Погрозив сойке кулаком и пообещав следующий раз всадить ей под хвост заряд дроби, двинулся дальше по путику. «Вот птица! Сначала предупредила, а потом и сдала! Ох, пойдёшь ты на приманку». Сойка, словно обидевшись на его слова, ещё долго перелетала следом, оглашая лес криками.

Главный сюрприз сделал через километр от места ожидания росомахи. Под соболинй капкан, под снег, установил ещё два капкана пятого номера

с тяжёлыми потасками из толстых жердей. Вчерашнюю сойку сунул в маленький соболиный капкан. Всё должно быть естественно. Натрусил всюду перьев, вроде птица билась. Зверь должен видеть безопасный капкан с исходившим от него запахом железа. А под ним были ещё два, да такие зубастые. Больших капканов больше не было. Довольный вернулся в зимовье, по пути настраивая и выкладывая приманку в последние капканы на соболя. Оставалось только ждать.

Утром в нетерпении, налегке, с одним ружьём и пустым рюкзаком, кинулся проверять деяния рук своих. Росомаха не пропустила ни одного капкана, вытащив приманку. Подходя к поваленному дереву, издали всматривался, затаив дыхание, но ничего не произошло. Росомаха, подойдя к нему, не перемахнула, как обычно, а почуяв капканы, сделала небольшой круг, вновь вышла на лыжню и пошла дальше. «Суцая тварь. Вот свалилась на мою голову!» — негодовал Иван Сергеевич, подходя ко второй паре капканов на лыжне. Росомаха, почуяв их под снегом за пару метров, ушла вправо и, пробившись под завалами, вновь вышла на лыжню и закосолапила дальше как ни в чём не бывало. Маленьких соболиных капканов она несколько не боялась, а запросто доставала висевшую над ними приманку.

Поняв тщетность своих усилий, без всякого настроения, решив завтра сворачиваться, он поплёлся дальше по лыжне. До зимовья оставалось полчаса ходу.

Взбитый снег и тонкие ёлочки с ободранной на метр от земли корой заметил издали. Справа в распадке кричали сойки. Есть! Уловка с птицей сработала! На месте установки капканов снег был взбит до земли — по кругу, на длину тросиков. Несколько ёлочек в руку толщиной были в бешенстве изгрызены росомахой.

Подойдя ближе, понял: тварь попала сразу в оба капкана, но один был разбит и валялся с лопнувшей пружиной и вырванной из основания дугой. Потаск от него зацепился меж трёх тонких ёлок. Получив упор, росомаха сумела вырвать лапу, разбив капкан, но второй, вцепившись бульдожьей хваткой, тащил за ней на гибком тросу толстую жердь. В распадке кричали сойки, след волочения жерди вёл туда. Попадись другой зверь, он бы просто выждал, когда обессилит от таскания тяжёлого груза, соединённого с капканом тросом, но это не тот случай. Эта тварь не устанет. Поняв, что росомаха хочет уйти из большого леса в мелколесье распадка, где потаску есть за что зацепится, кинулся наперерез.

В цяляк даже широкие лыжи мало помогали — мелкий, сухой, как песок, снег заглывал их, обволакивая сверху. Мороз за тридцать, а лоб от быстрого хода покрылся испариной, бельё на спине вмиг взмокло от пота. Играя на опережение, двинулся крутым, безлесным склоном, сбегаящим в распадок. Здесь постоянный ветер вдоль русла речки уплотнил снег. Лыжи сами понесли вниз по склону. Так с ходу и влетел в завал вывернутых с корнем старых елей. Их скрытые под снегом стволы оцетинились на поверхности частоколом сухих острых сучьев. Два из них уткнулись под рёбра, перехватив дыханье, а третий уколол в голень, под самое колено. В горячке погони

он не обратил на это внимания. На ходу восстанавливая дыхание, ощупывал бока. Рёбра вроде целы. По тупой боли в груди представлял, какие там завтра вылезут синячищи.

Тварь оказалась не просто тварью, а сущим дьяволом. Буквально через пару сотен метров в распадке, обходя ложбину, заросшую плотным ивняком, наткнулся на свежий след росомахи. Понятно, что она не спеша уходила, подволакивая правую заднюю лапу — на снегу осталась характерная черта. Шла с кровью — то тут, то там алые бусинки тянулись следом. Иногда и левая передняя лапа оставляла слегка розовое пятно.

Темнело, и было не до сантиментов. Иван Сергеевич, не останавливаясь и не сбавляя темпа, двинулся в пяту следа, чтоб напрямую выйти на укатанный путик. Боковым зрением, придерживаясь следа, искал место, где тварь вырвалась из капкана. Скоро наткнулся. Остановился. «Ай да росомаха! Вот тварь! Ай да молодец! Ну, тварина!» — невольно восхищался Иван Сергеевич, осматривая место схватки зверя с железом капкана. Победил зверь.

Ещё наткнувшись на след уходящий росомахи, поймал себя на том, что облегчённо вздохнул. Совсем почему-то не хотелось увидеть это творение то ли Бога, то ли дьявола, всегда готовое к борьбе, в виде бесформенного куска мяса с шерстью после его выстрела. Стрелять пришлось бы однозначно, застань он её в капканах. Почему-то стало легче на душе. «Ну, тварь! Ну, дьявол, — порадовался он уму и жажде свободы зверя, — сметает всё на своём пути».

По следам было видно, что росомаха метнулась в самую гущу тонких ёлок. Жердь потаска застряла меж двух стволов и, получив упор, зверь выплеснул всю свою силу и ярость. В промёрзшей земле по кругу огромными, как у медведя, когтями она нарыла здоровые ямы и борозды, цепляясь за промёрзшую землю, и вырвалась здесь из капкана, который уже и не был похож на свирепого бульдога с мощными челюстями, а куском ненужного теперь металла валялся тут же, на вытянутом на всю длину тросе. Пружина лопнула, а одна дуга была вывернута из основания.

Сумерки сгущались. Пора домой. Иван Сергеевич сделал шаг и понял, что идти не может. На ещё светлом небосводе с проступающими пока тусклыми звёздами закрутился хоровод макушек ели. Не сразу дошло, что это не видение, а всего лишь у него кружится голова, да и тело стало чужим, вялым, словно ватным. На правой ноге меховой чулок был полон крови. Ему показалось, что кровь даже хлюпает при движении пальцев. Сквозь разорванную суком штанину щипал мороз.

Всё было просто и обыденно — подставился, как зелёный новичок, как сопливый пацан, устроил гонки с росомахой. Не оценил сразу серьёзность раны, не принял мер, а теперь вот от потери крови шла кругом голова. Сердце заходило от осознания собственного положения. Далеко-далеко его ждали дорогие ему люди, так же, как он, считали каждый день до встречи. Дочь, вероятно, каждый вечер говорила внуку, давая ему на ночь обезболивающее: «Вот вернётся дед, и всё будет хорошо. Всё будет по-другому». А дед в наступающей ночи стоял в двух километрах от зимовья, в трёхстах от них, привалившись спиной к толстому дереву, не в силах сделать ни шага.

«Попал... попал... в собственный капкан!» — с закрытыми глазами мысленно оценивал своё положение...

В зимовье, почуяв недоброе, под дверью завывла Шельма.

Еловый сук в тайге страшнее зверя. Напорешься — помощи ждать неоткуда. Тайга вокруг, местами сплошные завалы да вывернутые с корнем деревья. Многие годы как-то обходилось, на обустроенных путиках ещё с осени по примеру отца с дедом прилежно обрубил все потенциально опасные сучья. А тут увлёкся погоней, и вот результат.

Прислонившись спиной к дереву, в полудрёме вспоминал былое, трудно сказать, сколько так простоял. Очнулся, когда вспомнилось, как внук тайком от матери, уловив момент, выплёвывал обезболивающие таблетки. Случайно заметив это, сказать не решился, только тайком смахивал слезу. Ночь ждала бессонная — никто не спал у его кровати. Может, и сейчас все не спят. Считая дни, ждут его.

Медленно затухающее сердце сквозь марево дремоты встрепенулось, получив лошадиную дозу адреналина в виде воспоминаний. Нет, он не сдастся... Никогда не сдастся... Он вырвется отсюда. Вырвется из собственного капкана, так умело самим поставленного... Росомаха — зверь. Нет! Это он зверь! И его ждёт его дитя с малым на руках! И он всё сметёт на своём пути! Дикий звериный крик огласил тайгу. Скорее, не крик, а боевой клич. Умом понимал, что теперь дорога каждая калория и лишние затраты энергии ни к чему, но этот крик ему был нужен. Нужен как старт, как выстрел стартового пистолета. Этим он не отдавал, а втягивал в себя окружающую энергию. Мозг работал, как вычислительная машина. Сам начал двигаться, как робот, опережая приходящую мысль. Рюкзак. Шнур. Нож. Жгут выше колена. Кусок сахара — в рот, два оставшихся — в карман куртки — чтоб вновь не тратить сил на снятие рюкзака. Куски сваялись, в какой-то крошке, но это была глюкоза.

Рюкзак на плечи. Нож в ножны, «тулку» через спину. Его ждали, и он вырвется отсюда. В темноте жалобно звякнул под лыжей разбитый росомхой капкан. «Это не капкан!» — холодно усмехнулся сам себе.

Его капкан был намного прочней и ловистей. Он был вокруг — в виде глубокого снега, наступавшей ночи, сильного мороза, неопределённости положения; он был в нём самом — в виде немеющей ноги, головокружения от потери крови, боли в подреберье, не дающей дышать полной грудью.

На самую трудную часть пути до укатанной лыжни путика ушло почти два часа, хотя гнался за росомхой не более десяти минут. Буквально выволокся на лыжню, опираясь вместо костыля на свою «тулку». Тащить её на спине уже на полпути стало невозможно — ремень давил на ноющую грудину, затрудняя дыхание. Темнота буквально растворила след росомахи, и скоро пришлось пользоваться фонариком. Свет фонарика дошёл до лыжни и стал тёмно-жёлтым, грозя полностью умереть в любую секунду. Дальше можно было и без него: укатанная за зиму, с предусмотрительно обрубленными нависшими ветвями деревьев и кустов лыжня немного просматривалась. Сойдя с лыж, рухнул на лыжню, перекатившись на спину, решил

немного отлежаться на пустом рюкзаке. Сунул в рот последний кусок сахара — чтоб ненароком не задремать в последнем сне.

Миллиарды звёзд из низко нависшей галактики, казалось, холодно смотрели на его потуги. Он меньше, чем молекула, в этом мире. Таял кусок сахара во рту. Отмерзала перетянутая жгутом нога, мех вымок, сваялся и не спасал от мороза. Время от времени звёздное небо начинало двигаться по кругу, уводя в мир грёз.

Через весь небосвод серебристой звёздочкой, то тускло мерцая, то ярко вспыхивая под лунным светом, спешил по своим шпионским делам спутник. Иван Сергеевич провожал его взглядом, решив встать, как только он исчезнет на горизонте. И встал... Нет, он не молекула. У него своя галактика! Он — центр притяжения близких ему людей.

Вместо обычных тридцати минут хода от этого места до зимовья дорога отняла более двух часов. Нога стала совсем чужой, не слушались пальцы. Несколько раз он порывался на время снять жгут, чтобы дать крови свободно разбежаться по венам ноги, согрев её, но боязнь потерять сознание от потери крови останавливала его.

Издали слышав хозяина, радостным лаем заходила в зимовье Шельма. Ввалился в избушку. Что-либо делать не было никаких сил, только смог снять рюкзак, раскрутить жгут, да так и повалился в одежде на нары, натянув на себя рваное ватное одеяло.

Утром очнулся от сильнейшего озноба. За ночь избушка вымерзла, на полу в жестяном ведре замёрзла вода. Не топлёная со вчерашнего утра печь покрылась инеем. На нарах с боку, стараясь согреть хозяина, спала Шельма.

Тайга не отпускала. Иван Сергеевич попытался подняться. В глазах всё завертелось, валила с ног слабость. Стараясь не делать никаких резких движений, взялся за дела. Первым делом печь. Привык закладывать дрова перед уходом, и теперь оставалось только поднести спичку. Вновь вспомнил добрым словом отца с дедом, от кого перенял привычку. Когда жестяная печка сделалась малиново-красной, наполняя зимовье сладостным теплом, занялся ногой. Пальцы всё-таки отморозил, из раны от сука сочилась сукровица. Вся нога ниже колена припухла и колола миллионами маленьких иголок. Сжав зубы, старался выдавить из раны всё лишнее. Иглой, смоченной в водке, выковыривал из неё мелкий мусор от сука и ворсинки одежды.

Пригодились и сухари, что не выкинул после визита росомахи. Подняться в лабаз сегодня он бы не смог. К вечеру поднялась температура. Всю ночь Шельма не сомкнула глаз, следя за метавшимся в бреду хозяином. Утром, в положенное время, разбудила его, вылизывая лицо. Успокоилась только, когда он слез с нар, умылся ледяной водой и принялся за печку.

К вечеру следующего дня ещё сильнее распухла и посинела нога. Почернели пальцы. От раны стал исходить неприятный запах. Он знал, что это означает.

Дни пролетели то в бреду, то в проблесках сознания. Каждое утро его неизменно стаскивала с нар Шельма. Да и днём, если хозяин надолго проваливался в мир грёз, выждав, она приводила его в чувство, вылизывая лицо.

В последний день перед вертолётom, приходя в себя, он несколько раз наказывал собаке:

— Завтра, Шельма, завтра...

Они понимали друг друга.

Вновь всё повторилось: температура под сорок, ночной бред и язык Шельмы, приводящий в чувство утром.

С собой не брал ничего, всё оставлял здесь, даже ружьё, только лёгкие сани и мешки со шкурами. Брал собственный лабаз штурмом, похлеще росомахи. Семь потов сошло, пока подтащил лестницу. Много раз садился отдохнуть, восстанавливая дыхание. Шельма и та, прыгая на трёх лапах, зубами старалась ухватить перекладину лестницы, помогая хозяину. По лестнице поднимался, в основном подтягиваясь на руках и упираясь здоровой ногой. Правая почти не слушалась. Зная, что повторить это вряд ли получится, распахивал шкуры по холщовым мешкам и скидывал их вниз Шельме.

Вышел за несколько часов до оговорённого времени прилёта. До места, где мог приземлиться вертолёт, всего километр, но его ещё нужно было пройти. Бурлаком впрягшись в сани, повиснув на двух лыжных палках, делал шаг, затем, перенеся центр тяжести, подтягивал вторую лыжу. Ногy разнесло так, что не лезла ни одна обувь, пришлось её просто обмотать куском шерстяного одеяла, перетянув бечёвкой, и привязать к лыже. Пот заливал лицо, капая с носа и ресниц, насквозь вымочил одежду и, казалось, плескался даже в меховом чулке. Сердце выпрыгивало из груди. Не хватало дыхания, но метр за метром он сокращал расстояние до намеченной точки. Взглядом намечал на пути кустик или приметный стебелёк, торчащий из-под снега, доходил до него и устраивал маленькую передышку, повиснув на палках. Чем ближе заветная поляна, тем ближе намечал вехи, сократив расстояние буквально до двух десятков метров. Сзади на трёх лапах ковыляла Шельма.

Вертолётчики не подвели. Оказавшись на краю нужной опушки и переводя дыхание, повиснув на палках, услышал отдалённый гул. Чёрная точка на горизонте быстро росла, превращаясь в ярко-голубой вертолёт нефтяников.

Воткнув в снег лыжные палки, поднял руки со сжатыми кулаками. Последние силы вложил в яростный, победный звериный крик... Он — зверь! Он — вьюга! Он сделал это!

Очнулся уже на носилках на полу вертолёта. Распаковал нужный мешок и небрежно кинул на откидное сиденье обещанную связку соболей. Видя его состояние, вертолётчики молча подали спутниковый телефон. Набрал нужный номер. Его укрыли с головой брезентом, чтоб отсечь гул двигателя. Телефон взяла дочь.

— Я в вертушке. Всё нормально. Заказывай билеты, — прохрипел он в трубку и вновь потерял сознание.



Игорь Красовский

Игорь Андреевич Красовский родился в Калуге в 1984 году. Окончил Калужский областной колледж культуры и Литературный институт им. А. М. Горького. Заведующий литературной частью Калужского театра кукол. Публиковался в альманахах и сборниках «Зерно», «Изящная словесность», «Траектория творчества», «Истоки», «Синие мосты», «Сорок сороков». Автор нескольких книг пьес и стихотворных сборников. Участник 8-го и 10-го Форумов молодых писателей в Липках. С 2010 года организует ежегодный литературно-музыкальный марафон «ПОСЛУШАЙТЕ!». Член Союза российских писателей.

ДОМ

Путешествую

Выбрался за новенькими видами
на неделю. Носом поводить
за границей. Еду не завидовать,
любопытства ради. Не один,
при жене. На пару обо всё
жарче спорится (о сервисе и пр.).
—Обрати внимание на дом.
—Дом как дом. Навскидку, сто квартир.
Тоже люди, суетятся так же. Что ещё?
Непонятными словами говорят,
в остальном я разницы большой
не заметил.
Дни и дни подряд
обсуждаем пройденные площади,
путаясь в названиях чудных.
Подустал немного. О хорошем —
помню сны, точнее, один из них,
где я, в очередь длиннющую
размноженный,
отвечаю хором, невпопад
на вопрос работника таможи:
—Цель приезда?
—Возвращение назад.

Детское деревенское

Такая глушь, и тишь такая — половицы
по скрипу различаю,
по шагам —
скрипящих.
Одомашненные птицы
кудахчут полусонно где-то там —
неясно где.
Прислушиваться ску(ш)но,
пора исследовать окрестные места,
пора бежать к развалинам конюшни,
искать подковы древние.
На старт!
Внимание!
Стучит латунный носик
о донце рукомыльника,
идёт
отсчёт обратный:
десять, девять, восемь...
Нет времени заканчивать отсчёт.
—Поехали! — кричу я из трескучей
телеги, но она не едет без коня.
Вернусь сюда, когда её подключат,
чтобы по кочкам покатать меня.

Возможно, вечером.
 До вечера с запасом
 дел неотложных: пробовать с куста
 пачкучую малину, нос расквасить,
 взяв приступом поленницу, устать...
 К обеду бабушка похлёбки наварила —
 ем шумно, обжигаясь — тороплюсь
 набраться сил (мне пригодятся силы).
 Беру потёртый дедовский картуз,
 иду вразвалочку осматривать просторы:
 «Дворов в деревне мало, стариков
 в деревне много», —
 сам с собою разговоры
 веду совсем как взрослый.
 Далеко
 ушёл от дома.
 Всё вокруг стрекочет
 в траве густой и сочной.
 Я, жуя
 былинку, размышляю, и короче
 день делается.
 Скоро комарья
 нашествие начнётся.
 Погоняют
 хозяйева своих упитанных коров
 на дойку и ночлег.
 За ними вслед сырая
 тумана простыня ползёт.
 Я не готов
 ко сну готовиться,
 но здесь ложатся рано.
 За шторкой дедушка размеренно храпит,
 а я с фонариком карманным по чулану
 брожу среди кадушек и корыт.

Карамель леденцовая

Касательно внезапной ностальгии.
 По центру города (и по периферии
 его же) долго наворачивал круги,
 чтобы собрать или раздать долги —
 формальный повод не важней маршрута.
 Остановившись где-то на минуту
 шнурки поправить около котельной,

в траве заметил фантик карамельный
 от барбариски (памятку с кислинкой
 из прошлого), и поплыла картинка:
 деревья вытянулись вверх; без перехода
 (мгновенно!) поменялось время года;
 я съёжился, ужаслся до размера
 себя — детсадовца в пальтишке
 светло-сером,
 хрустящего некрепким льдом на луже
 и леденцом ротфронттовским, про ужин
 забывшего за этим нужным делом.
 Кусок, из жизни выпавший, пробелом
 быть перестал. Я ощутил всё то же,
 что ощущал тогда и перепробжил.

Игра

Под выгоревшим конусом гриба
 В песочнице ударная бригада
 Чумазых разновозрастных ребят
 Ладонями трамбует автостраду.
 Я с детских лет не трамбовал таких —
 По ней легко на тоненькой верёвке
 Потянется колонна грузовых
 Автомобильчиков к далёкой остановке,
 Где выкопан огромный котлован
 Стараниями маленьких совочков,
 А к вечеру по плану будет сдан
 В эксплуатацию микрорайон Песочный.
 Откроется конфетный магазин,
 Через дорогу — зоопарк и школа.
 Осталось только довообразить
 Большую жизнь счастливым новосёлам.



Галина Ушакова

Галина Ивановна Ушакова родилась в Новосибирске. Окончила физический факультет МГУ. Многие годы работала научным сотрудником, потом журналистом, библиотекарем. Стихи, проза, произведения для детей публиковались в местной прессе и общероссийских альманахах. Автор нескольких книг. Член Союза российских писателей. Живёт в Обнинске.

ТАЙНА ЖИЗНИ

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

А. С. Пушкин

Немного времени проходит у человека с осознания своего «я» до мучительной мысли, что же такое жизнь и почему она должна обязательно заканчиваться смертью.

Мне было лет десять, когда я столкнулась со смертью вплотную: сестра моей матери, в чьей семье мы с мамой нашли приют после гибели на войне отца, красивая, добрая тётя Катя в мучениях умерла от болезни, страшной и для сегодняшних дней.

Жили мы тогда в Западной Украине, в маленьком городке Станиславе. Вначале, когда тётя Катя заболела и уехала на операцию в Киев, мы, дети (её сын Алик, дочь Эмма и я, их двоюродная сестра), никаких страхов за неё не испытывали. Вернулась она такой же красивой и внешне здоровой, как и до отъезда.

Помню, идя со школы, я увидела тётю Катю на противоположной стороне улицы, высокую, белолицую, в модном пальто. Смеясь, она что-то рассказывала своей знакомой. Я тогда подумала: «Какая же она больная, наверное, врачи ошиблись и зря сделали операцию!» А буквально через пару недель тётя Кати не стало...

Помню ритуал проводов, съжившегося, небритого дядю Ваню. Когда говорят, что человек почернел от горя, то это отнюдь не метафора. Именно таким запомнился мне дядя в те горестные дни. Смерть жены надломил его. Его, прошедшего Гражданскую войну, Халгин-Гол, войну Финскую, дошедшего до Берлина в Отечественную, видевшего столько смертей и горя, что сердце его должно было бы стать если не каменным, то бронированным, что ли.

Меня же терзал ужас. И перед тем страданием, что испытывали мои брат и сестра, потеряв мать, и перед увиденной впервые реальностью смерти.

Неясное чувство вины за то, что моя мама жива и со мной, а их матери нет и уже никогда не будет, дополняли этот ужас.

Отец мой погиб на второй год войны, но я не ощущала никакого горя от сознания его утраты. Более того, я была заполнена до краёв любовью к нему. Он виделся мне тайно живущим в моём семейном окружении. Плача от детской обиды, я обращалась к нему за утешением и получала его. Порой мне казалось, что я люблю погибшего отца больше, чем живую, заботящуюся обо мне маму.

Это чувство к отцу жило во мне долго и ушло с первой девичьей любовью...

Так вот, об ужасе перед смертью. Он вылился в страх перед лежащей в гробу тётей Катей. Меня буквально заталкивали в комнату проститься с тётей, я плакала, брыкалась, отворачивалась, мать тихо стыдила меня. Но прикоснуться губами к щеке умершей я так и не смогла. Я стояла истуканом, во мне всё тряслось. Казалось, что смерть — это неумолимая зараза, что, как только мои губы приблизятся к тётикатиной щеке, смерть перескочит на меня, и я тотчас умру. Или не умру, но случится что-то другое, такое же страшное, как смерть.

Ужас смерти так преследовал меня, что после похорон я под любыми предложениями старалась не заходить в бывшую тётину комнату.

В послевоенные годы похороны были зрелищем. Кладбище располагалось недалеко от центра города. Хоронили там ещё «За Польши», то есть с тех времён, когда Западная Украина была частью Польши. Обилие мрамора, великолепные скульптурные памятники надгробий, множество семейных склепов с эпитафиями на польском языке, украшенных резьбой, каменными венками, фигурами ангелов делали кладбище похожим на музей. Мы, дети, частенько бродили среди захоронений, читая с любопытством надписи и дёргая, не без страха, чугунные кольца на дверях склепов.

Похоронная процессия медленно шла по центральной улице Советской под надрывающие душу звуки шопеновского марша, исполняемого духовым оркестром так громко, что медные звуки траурных тарелок были слышны далеко окрест. И народ стекался посмотреть похороны, пошептаться, кого хоронят и отчего получилась смерть.

Гроб, обитый красным, обычно ставился на грузовик с открытым задним бортом, ставился на постамент так, чтобы лицо покойного было видно с тротуаров. Провожающих было много. Если хоронили военного, впереди процессии несли ордена на красных подушечках. Если умершей была молодая девушка, то посмертное платье было белым, а на голову надевался веночек.

По мере приближения к кладбищу процессия обрастала народом. Хмурые мужчины, плачущие женщины, крестящиеся старухи, сверкающие любопытством и страхом глаза ребятни.

Похороны были торжеством смерти над жизнью.

Похороны были воспоминанием каждого о своих, похороненных недавно. О своих, не вернувшихся с войны. О своих, больных и ждущих смерти.

Похороны были детским страхом. Вечерами, сгуртовавшись в каком-нибудь дворе, местная детвора шёпотом рассказывала страшные истории про мертвецов, кладбища, привидения. Кто из нас и доныне не помнит сладкого ужаса этих историй!

Сейчас хоронят быстро и без всякой музыки. Рационально. И остроту потери близкого человека город с тобой уже не разделит. Детей на кладбище не берут, чтобы не ранить тонкую детскую психику.

Пока ещё русские кладбища Москвы, малых городов, сёл, деревень — своего рода мемориалы. Имена простых людей перемешены с именами людей известных, знаменитых. Могилки ограждены. Холмики пестрят бумажными цветами. Шелестят берёзы, поблёскивают серебром осины, тянутся в голубую высь ели. Тишина... Странно, но на кладбище страх смерти отступает. На кладбище усиливается ощущение Родины. Твоя к ней принадлежность. Твоё с ней единство. Близость. Родство. Любовь.

А ведь это просто земля, в которой, собственно, ничего, кроме людских косточек, и нет. Души-то все на небесах. И всё же, всё же, всё же...

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Прозорливый гений Пушкина ясно определил в этих строках то, что является характерным для русской души.

— Какие же они, эти загадочные русские? — задаются вопросом многие современные цивилизации. И обращают свой взор не только к России, но и к русской литературе...

Я гляжу на сморщенные серые семена циннии. Я присыпаю их рассыпчатой землёй и думаю про себя: «Уж больно суховаты, не взойдут».

Но через две недели среди сорнячных меток примечаю ровный ряд зелёных точек, а ещё через две это уже растение с двумя листочками, а ещё через... Яркие, изящные, махровые соцветия на высоких ножках, краса моего цветника. Откуда эдакое богатство? Откуда жизнь? Как получилась она из этого неживого сора?

Тайна жизни! Сколько бы ни объясняли про клетки и гены, про двойные спирали ДНК, сколько ни выращивали бы в пробирке зародышей живых организмов и даже человека, всё равно остаётся тайной, как из мёртвого, из всех этих белков и прочей химии организовалась и возникла жизнь! Где тот миг, та граница, отделяющая материю живую от неживой? Когда в эту пульсирующую клетку вселяется душа? И уносится ли она после смерти туда, к Господу Богу нашему, или становится вместе с телом частицами земного космоса и космоса вселенского?

Думанье об этом завораживает, вносит смятенье, способное свести с ума. Но и остановить его невозможно. Каждый раз, когда вносишь семя в землю,

испытываешь восторг ожидания. И когда видишь круглый огромный живот беременной женщины, кошку, почти волочащую брюхо по земле перед родами, птичье яйцо в круглой корзиночке гнёзда. И так далее, и так далее...

С рождения вокруг тебя разнообразие живого. Смерть на этом фоне почти незаметна. И потому твоя собственная жизнь кажется бесконечной. Особенно в детстве.

Но вот к тебе, ребёнку, приходит осознание того, что и ты умрёшь. Как твоя любимая тётя Катя, лежащая страшно и безмолвно под кружевными накидками в гробу. Или как соседка, бабка Дуся, вчера ещё кое-как передвигавшаяся по дому и кивнувшая тебе, когда ты зашла в гости к её внучке.

Когда я узнала о смерти бабы Дуси, увидела через окно своей комнаты снующих к соседям и от них людей в чёрных одеждах, услышала смрадный душный запах смерти (как? каким образом? мы жили в разных половинах дома!), жуткий ужас охватил меня. Я забралась в постель, дрожа, укрылась до подбородка одеялом и так лежала до прихода с работы мамы.

Мама спрашивала, что стряслось, прикладывала ладонь к моему лбу, мерила температуру. Красный столбик остановился на отметке «тридцать шесть и шесть», но тем не менее меня била непрекращающаяся дрожь. Я ощущала, что моё тело распухает, как опара, заполняет комнату, я кричала от страха, задыхалась, то сбрасывая одеяло, то кутаясь в него с головой.

Это жуткое состояние продолжалось всю ночь. К утру я уснула, но и во сне ужас не оставлял меня. Мне снилось, что я просыпаюсь, спускаю ноги на пол, но никак не могу открыть глаза, руками разлепляю веки, они снова смыкаются, что-то густо чёрное наваливается на меня и не даёт вздохнуть.

С этого дня меня начало отвращать всё, что связано со смертью. Чёрный цвет одежд, запах ёлки, вид бумажных цветов, траурная музыка, всякое упоминание о смерти в книгах. Это отвращение сопровождал постоянный страх перед болезнями. Поцарапав палец, я ждала, что вот-вот начнётся заражение крови и меня не смогут спасти. Кашляя, я воображала, что больна туберкулёзом и смиренно ждала конца. И при всём этом ничего не говорила маме — не могла! — ходила в школу, учила уроки, гуляла, в общем, жила, как все дети.

Когда он закончился, мой детский страх перед смертью, не помню. Но всё-таки ушёл. Иногда, в какие-то моменты, он возвращался. Но вот что удивительно. В тот миг, когда моей жизни действительно угрожала эта старуха с косой, страх исчезал абсолютно.

В университете на первом курсе я попала в компанию байдарочников. Походы по речушкам Подмосковья увлекли меня до самозабвения. Ходили мы ранней весной, как только заканчивался ледоход. Время выбиралось по простой причине: в мае начиналась сессия, экзамены, а на лето вся компания рассыпалась.

Студенчество тогда было бедным, жили на крошечную стипендию и родительскую, тоже невеликую, подмогу. Посему походная экипировка была

самой что ни есть убогой. Спальник, туристические ботинки, спортивные костюмы и утеплённые куртки — недоступная роскошь, а вот кеды или лыжные ботинки, общежитские байковые одеяла, свитера, часто самовязанные, отлично подходили для похода.

Прекрасно помню, что на ночёвках в лесу всегда было холодно, хотя парни и отдавали всё самое тёплое девчонкам. К утру, как говорится, зуб на зуб не попадал. Некоторые ребята устраивались спать прямо на кострище, застывая потухшие уголья брезентовыми куртками.

Но все неудобства, даже плохо просушенная обувь, никого не ввергали в уныние. Удовольствием было плыть по речным угодьям, удовольствием было волочь байдарки посуху, обходя мелководье, заклеивать на берегу порезы на бортах и днищах, перекусывать холодными консервами и снова плыть, пока время не обозначит сумерки.

О, эти походные ночные костры, обдающие жаром, завораживающие огнём и потрескиванием сгорающих дров! Этот крепкий чай из котелка! Эта варёная вермишель, часто ускользавшая на землю, когда сливали воду. Подбранная общими усилиями, успевшая засориться сосновыми иголками и мелким сухим листом, заправленная тушёнкой — о, как она была вкусна! После ужина бралась в руки гитара (в компании всегда находился кто-нибудь, умевший взять три нужных аккорда) и начинались песни. Тогда они казались мне лучшими песнями в мире. Душа отзывалась на каждую ноту, на каждое слово, в песнях этих отражался чудесный, романтический мир любви, дружбы, приключений, и он был прекрасен.

Со временем я узнала имена бардов. Узнала, что многие безымянные песни пришли из уголовного фольклора или были известными, но позабытыми (советская власть и тут прошлась своей руководящей рукой) городскими романсами.

В ту весну наша компания решила не просто сплавиться на байдарках, но пройти по реке, где имелись пороги (с порогами в Московской области было негусто). Наметили маршрут, обсудили со всех сторон опасность предприятия и решили, что оно нам по зубам.

То, что такой поход — легкомыслие и легкомыслие опасное — никому в голову не пришло.

Река была полноводна (апрель!), греблось отлично, настроение было самое что ни есть наилучшее. Предвкушение опасного приключения действовало как веселящий газ.

Когда приблизились к той точке реки, за которой по карте значились пороги, причалили к берегу, чтобы осмотреть байдарки и решить, в каком порядке идти на штурм.

День был пасмурный, но ни дождя, ни особого ветра. Пройдём!

Моим товарищем и ведущим был парень из Московского авиационного, прибившийся к нашей компании почти случайно и взятый в поход постольку, поскольку у нас была байдарка, но не было для неё пары. Кто-то из наших рекомендовал его как надёжного товарища.

Помню вздыбленные волны реки, сумасшедшую круговерть байдарки, с которой мы оба едва справлялись. Пройден первый невысокий порог. Небольшое затишье — и снова хлест волн в борт. Байдарка кренится то в одну, то в другую сторону, мой напарник что-то орёт, я изо всей силы вонзаю весло в воду, оно тяжело, как чугун, и кажется, что вот-вот треснет пополам.

Как я очутилась в воде, не помню. Но я в воде, в резиновых сапогах, в тяжёлых прорезиненных брюках и куртке, и мой глаз успеваешь ухватить, как уносит вода моего товарища, ухватившегося за борт перевернувшейся байдарки.

В этот же момент я поняла, что тону, что какой-то миг — и меня не станет. И я, умеющая только кое-как плавать по-собачьи, забарабанила изо всех сил по воде.

Тяжёлая одежда тащила вниз... Откуда-то взявшаяся тишина заложила уши. И меня охватило полное равнодушие. Помню серое небо сверху и мысль: как же переживёт мою гибель мама. И всё. И никакого ни страха, ни отчаянья перед небытием.

Не знаю, каким чудом, но меня отнесло от центральной бушующей магистральной реки вбок, где вода уже не крутилась, как в воронке. Я, слушаясь спасительного течения, работала руками и ногами, помогая ему спасти меня. Доплыла до берега, но ни встать в воде — глубоко! — ни вылезть на берег — берег высок и порос до самой воды ивняком — не могу. И сил держаться на воде нет. Понимаю, что должна за что-то ухватиться, иначе снесёт на середину, где гибель верная.

Наверное, Бог всё-таки есть. Каким-то макаром я зацепилась одной рукой за притопленную ветку ивняка. Потом подтянула другую руку. И повисла. Ноги и тело по грудь в воде, остальное — на ветке. Полное бессилие. Отрешённость. Пустота.

Не помню, сколько я так висела, стуча зубами от холода, пока не услышала голоса и не подала свой. Это мои товарищи обходили берег в поисках меня.

Перевернулась не только наша байдарка, но и та, что шла впереди нас. Команда, держась за своё судёнышко, довольно быстро прибилась к берегу. Последняя пара, увидев случившееся, причалила, понимая, что товарищам нужна помощь. Пороги одолели только две первые байдарки с самыми опытными экипажами.

Всё это узналось не сразу. Мой напарник добрался до берега один, и мои товарищи испугались. Они подумали, что я утонула. На всякий случай решили осмотреть берег напротив места нашего крушения. И очень вовремя заметили меня.

Кстати, местные жители, подошедшие на огонь нашего костра, рассказали, что из предыдущей группы, штурмовавшей пороги до нас, двое утонуло, и что такие трагедии на этих порогах всякий год.

Четвёрка, которой удалось пройти эти жуткие каменистые утёсы, не испытала всей полноты своей победы. Отчаянную борьбу с водной стихией всё время перебивала мысль: целы ли те, кто идёт сзади.

У всех нас, и у тех, кто перевернулся, и у тех, чей переход через пороги оказался успешным, осталось после похода чувство вины друг перед другом...

Мой байдарочный напарник больше в общезжитии не появлялся.

Компания наша ходила в походы вплоть до окончания университета. Потом жизнь развела нас в разные стороны. И — навсегда...

После этого случая несколько лет и на море, и на реке я купалась только на мелководье. Стоило ощутить отсутствие близкого дна, как меня охватывал дикий, животный страх. Мне казалось, что глубина щупальцами спрута тянет к себе, лишая всякой воли к жизни. А тогда, на порогах, ничего подобного я не испытывала...

Говорят, кому быть повешенным, тот не утонет. Говорят, Бог спас. Говорят, судьба.

Судьба... Когда страницы читаемой книги, нахлынувшие раздумья или разговоры с друзьями коснутся вдруг темы судьбы, рока, предназначенья, мне вспоминается лермонтовский Вулич. И почему именно рассказом «Фаталист» заканчивается эпопея Печорина? Не хотел ли Лермонтов сказать, что быть «лишним» человеком в России — судьба?

Русский человек уважает смерть. Она для него «смертушка». Почти как «матушка».

Испокон века русский готовил себе узелок со «смертной одежкой» на день кончины. Воин перед битвой одевал под кольчугу чистую рубаху. Причащался. На русском кладбище, каким бы старым и захудалым оно ни было, всегда чувствуется домашний дух. Особенно он силён на простых сельских погостах. И тут снова вспоминается Пушкин:

...Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мёртвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор...

Когда я гостила у брата в Германии, мы съездили на кладбище, где похоронен отец его жены. Красивое высокое место, стриженная зелёная поляна, аккуратные, один к одному, мраморные надгробья с именами усопших. Небольшие цветущие кусты, вазоны для цветов. И никаких эпитафий, никаких оградок, столиков со скамейками для поминальной трапезы. Не шумят своими кронами деревья, не скачут птицы, склёвывая у надгробий поминальные печенье и конфеты. Чистота, порядок, деловитость. Нет, на таком кладбище не посидишь в задумчивости у могилы близкого человека, не подумаешь о бренности земной жизни, медленно бродя между могил и вглядываясь в керамические или начертанные резцом на камне надгробий портреты.

Для многих в мире мы — «эти загадочные русские», «эта загадочная русская душа...». Не поражают воображение ни немецкая душа (сумрачный

германский гений!), ни французская (amour! amour!), ни открытая нараспашку певческая итальянская, ни чопорная английская. У каждого народа своя особенка, но чтоб загадочность...

Да и какой поэт, кроме нашего Пушкина, мог написать такое:

...Но не хочу, о, други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Жить — чтобы страдать! Не упиваться любовью, благополучием, житейской устроенностью, всеми теми благами, которые может предоставить жизнь здоровому обеспеченному человеку. Не-ет! Русскому надо мыслить. Русскому надо страдать. Вот она, русская душа!

— Бедные русские, — скажет европеец. И немало русаков вздохнёт ему вслед, объясняя склонность к страданию (а оттуда и сверхтерпение нации) якобы въевшейся в кровь русского рабской сущности. А как же! Татарское иго, цари-кровопийцы и сменивший их вождь всех народов.

Не туда смотрите, милые! Страдание — это всегда и сострадание, и к Богу, и к человеку; и муки мысли, пытающейся разгадать тайну жизни; и горесть из-за собственного несовершенства; и борьба со страстями, и ещё многое, многое, чем полна душа русского человека и что так страстно воплощено в русской же литературе.

У Пушкина то и дело натыкаешься на стихи, связанные с тайной жизни или смерти. Стихотворение, две первые строчки которого послужили мне здесь эпиграфом, хочется привести целиком, ибо с ними связана небезынтересная история, описанная В. Кононовым в статье «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...» (Наш современник. 2010. № 6).

Дар напрасный, дар случайный.
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль за чем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью.
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Это стихотворение, как пишет В. Кононов, обеспокоило почитательницу поэта Елизавету Михайловну Хитрово, увидевшей в нём некое расстройство души Пушкина, опасную для него тоску. Дама воспользовалась своими связями и показала стихи Московскому митрополиту Филарету. Священнослужитель свой ответ отписал, ловко переделав пушкинские строки так, как если бы их сочинил глубоко верующий человек:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана:
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена...

Далее цитировать не буду, всё и так ясно. Место Бога указано. Но сколько ни читай Пушкина, а всё на первом месте будут Муза, призвание поэта, любовь. Что касается Бога, то есть и Бог, но как сила, способная вдохнуть поэтический дар, которым распоряжается всё же сам человек. Со всеми своими слабостями, пороками и добродетелями, сомнениями и прочими качествами, свойственными человеческой натуре.

У кого в молодости не бывали приступы тоски? Кого не посещали неотвязные мысли о своей ненужности на празднике жизни? Кто не подумывал о самоубийстве?

На мой взгляд, такое отчаяние поражает тех, кто задумывается о смысле жизни. Не лишён был таких настроений в молодые годы и Пушкин. Отсюда и меланхолическая третья строфа. Впрочем, возможно, я ошибаюсь... Жизнь каждого есть тайна, даже для самого себя.

В начале шестидесятых годов училась я в Московском университете. Университет жил интенсивной духовной жизнью. В аудитории 01 показывали самые современные напумевшие советские и зарубежные ленты. На сцене Дома культуры выступали именитые музыканты. На встречу со студентами приезжали крупные учёные, мыслители, первые космонавты. По рукам ходили напечатанные на тонкой, почти папиросной бумаге самиздатовские журналы со стихами и рассказами тех, чьи имена ещё были запретны для открытой печати. В общежитиях пили, пели, играли в карты и ночами напролёт говорили на такие темы, высказывали такие мнения, за которые и тогда можно было схлопотать нешуточную кару. Бардовские песни — и какие: Галич, Высоцкий, Окуджава! — неслись со всех сторон...

И каждый год из окон высотного здания на Ленинских горах выбрасывались на дворовый асфальт студенты. Сейчас подобное именуется суицидом, тогда говорили проще — самоубийство.

Май, теплынь, узкие окна в блоках распахнуты. Мы с подружкой слышим женский крик, хлопок, подбегаем к подоконнику, смотрим во двор. Внизу, на земле — странно распостёртое человеческое тело. Как будто распяли птицу. И — тишина. Только во всех окнах головы, головы, головы...

— Моя жизнь висела на волоске, — говорит человек, избегнув смертельной опасности.

Нет! Жизнь наша всегда висит на волоске, каждый день может стать последним и никто не знает, когда закончится его земное бытие. Бог ли завёл наши с вами часы, природа ли? Тайна...Тайна? Религия однозначно отвечает на этот вопрос. Но...

Темой вышней предопределённости конца бытийного существования человека начинается роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Аннушка уже разлила масло...» Уже... Эта же тема звучит и в диалоге Га Ноцри и Понтия Пилата.

«— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!

— Не думаешь ли ты, что ты её подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, то ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок может лишь тот, кто подвесил...»

Рассказывая о прокураторе Иудеи и странствующем философе, писатель следует известным ему апокрифам.

Но кто обрывает жизнь Мастера и Маргариты, даруя им вечный покой? Воланд! Князь тьмы исполняет божественную волю или проявляет личное милосердие?

Так что же хотел сказать нам Булгаков?

Узнает ли когда-нибудь человек тайну своей жизни и смерти?

А, узнав, останется ли человеком?

Остановимся здесь. Отойдём от бездны. Поставим точку.



Наталья Никулина

Наталья Ивановна Никулина родилась в Ашхабаде (Туркмения), в детстве жила в Батуми, в юности — в Сумгаите. Училась в Баку. Более тридцати лет живёт в Обнинске. Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Новая Юность», «Футурум АРТ», «Крещатик», «День и Ночь», «Арион», «Журнал ПОэтов», «Плавучий мост» и других журналах и сборниках. Постоянная участница фестивалей верлибра. Автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей XXI века. Редактор Всероссийского литературного журнала «Лифт» (Калужская область).

ВДОГОНКУ ЗАХОДЯЩЕМУ СОЛНЦУ

(Проза поэта)

* * *

—Мне снятся странные сны,— сказала она ему.—
Сначала всё происходит по-настоящему,
но вскоре я начинаю понимать, что
вижу во сне свой рассказ о чём-то непонятном никому из нас,
участником чего я тоже являюсь.
Позже я вдруг понимаю, что
из живых людей в нём — только я,
которая по мере осознания происходящего, превращается в куклу.
А потом выясняется, что я смотрю фильм о себе
как сторонний наблюдатель, где я тоже кукла,
вырезанная из дерева.
—Но ты меня не слушаешь, дорогой...
—Слушаю, ты забыла сказать, что
в конце фильма события начинают бежать
в обратную сторону и правая сторона
меняется с левой.
—Вспомнила! Так и было!
Я попыталась зайти не в тот подъезд...
Вернее, я попыталась зайти в тот,
который в прошлом был настоящим,
а тот, который был мне нужен в переходном состоянии,
я не успела найти, потому что проснулась в прошлом.
Интересно,— подумала она, осторожно взглянув на него,—
а деревянной я стану в будущем или в прошлом?..
или это обязательное условие Вечности?

* * *

—Мы сегодня будем ужинать? — спросил он у неё.
— Думаю, сейчас лучше этого не делать, — произнесла она странным тоном.
Он насторожился. Еда доставляла ему большое удовольствие,
но частенько после этого он не мог найти себе места в этом мире.
— Жаль, что только женщинам и святым, — угрюмо подумал он, —
дана способность извлекать из своего поля молекулы и создавать из них еду
и всё остальное, вплоть до детей.
— Оказывается, после шести вечера, — добавила она, —
молекулы еды распадаются без нужного спектра света практически мгновенно,
и вместе с ними распадается и тот, кто их принимает.
— Придётся ставить ещё одно солнце, — подумал он и на всякий случай
отложил очередной бутерброд с колбасой в сторону.
И этого нового мальчишку, — вдогонку заходящему солнцу подумал он ещё раз, —
тоже не мешало бы как следует прогреть.

* * *

— Я живу в трёх мирах и
пяти измерениях, — объясняла она новенькому.
А он живёт в пяти мирах и семи измерениях, —
показывала она незнакомцу их необычные возможности, удивлённо глядя на то,
как он мгновенно поглощает новую информацию.
— А можно жить в четырёх мирах и
четырёх измерениях? — неожиданно перебил её новенький.
— Не знаю, ответила она, — и добавила:
знаю только, что так ты сразу же
превратишься в крест или путь,
и это тебя уничтожит.
Сразу или со временем —
неважно
для тех, кто по нему пойдёт.

* * *

— Знаешь, я нашла доказательство
того, что все мы из будущего, — сказала она.
— Ты серьёзно?
— Настолько, насколько ты мне это позволишь...
— Ну и...
— Если бы мы не были из будущего,
мы бы никогда ничего нового не придумали.
И вовсе не потому, что всё новое —
это хорошо забытое старое,
а потому что всё придуманное и созданное нами —
продукт высшей цивилизации...
Мы потихоньку возвращаемся в своё прошлое.
— Ты же сказала: будущее.
— В прошлое, которое стало будущим.
Ненадолго, чтобы мы успели, как следует его запомнить.

Александр Константинович Киселёв — по образованию и профессии учитель русского языка и литературы. Работал в средней и высшей школе. Кандидат педагогических наук. Автор школьных учебников литературы и познавательных, научно-популярных, художественных книг для взрослых и детей. Финалист литературных конкурсов «Заветная мечта», «Новая детская книга», «Книгуру» (пятикратно), конкурса имени В. Крапивина. Живёт в Калуге.

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ

- **А**ндрюх! Тебе бультерьер нужен?
— Какой ещё буль? Чего буль? — сказал Андрюша Ли.
— Ты что? Собака суперская! — сказал Дима Соловьёв голосом Деда Мороза на вручении подарков.
Но Андрюша не обрадовался, а только пожал плечами:
— Зачем мне собака?
И правда, зачем Андрюше собака? Все знали, что он интересуется только монстрами. Смотрит кино про монстров, играет в игры с монстрами, и у него даже есть костюм монстра.
Но Дима не сдавался.
— Ты что? Бультерьера не видел? Это такой собачий монстр — закачаешься!
Тут Андрюша оживился:
— Правда, монстр?
— Ещё какой! Гля! — Дима достал телефон и показал фотки бультерьеров.
И Андрюша сразу понял, что бультерьер — это настоящий монстр. Собака была похожа на помесь крокодила, свиньи и табуретки.
— И глаза красные! — восхищённо прошептал Андрюша.
Дима сказал:
— Ага. Как у Терминатора. Лазерный прицел, ты что.
— Ваще!
— Ну! Берёшь?
— Беру! Когда?
— После уроков!
— Честно?
— Ну!

— А где он?

Дима оглянулся и секретным голосом сказал:

— Тихо. Он здесь.

И показал глазами на свой рюкзак.

— А ничего? Вдруг это самое? — забеспокоился Андрюша.

— Нормально, — ответил Дима. — Я ему туда морковку с колбасой положил. И жвачку. Поест и поспит. Только никому!

Прозвенел звонок, и в рифму начался урок.

Урок был интересный. Татьяна Викторовна показывала презентацию про сельское хозяйство и рассказывала, откуда что берётся.

— А это корова, — говорила Татьяна Викторовна, — в день она даёт двенадцать пакетов молока.

Корова с презентации удивлённо посмотрела на Татьяну Викторовну. Во-первых, она никогда не давала молоко в пакетах. Во-вторых, она вообще была быком.

Рюкзак Димы Соловьёва сначала вёл себя хорошо, тихо. Но потом зашевелился...

— В сельском хозяйстве нашей родины, — рассказывала Татьяна Викторовна, — важное место занимает квашеная капуста. Она растёт... Это что такое? Кто пищит?

Пищал рюкзак. Но никто, кроме Димы, об этом не знал. И находчивый Дима поднял руку.

— Извините, Татьяна Викторовна, это у меня в животе пищит. Я свистульку вчера проглотил нечаянно.

— Немедленно к врачу! — в ужасе закричала Татьяна Викторовна.

Но Дима её успокоил:

— Она леденцовая. Она растает скоро. Я уже сто раз глотал.

Татьяна Викторовна успокоилась и продолжила рассказ.

— Она растёт очень быстро. Уже через год она начинает давать шерсть и молоко...

— Квашеная капуста? — переспросила любознательная Нина Зотова.

— Какая капуста? Я говорю о чернубурой козе. А когда у неё появляются жеребята... Это что такое? Это что за запах?

И снова Дима поднял руку:

— Татьяна Викторовна, извините, я давно выйти хотел, руку поднимал, а вы не видели... Вот я и...

— Немедленно выходи! Нина, Настя, откройте окна! Дима, ты зачем с собой рюкзак потащил? Оставь!

Дима поставил рюкзак обратно и поплёлся из класса. Он вышел за дверь и стал считать до ста, чтобы потом сразу вернуться назад. Но ста секунд хватило, чтобы произошло то, чего он боялся.

— Так, не отвлекаемся! — продолжала урок Татьяна Викторовна. — Каждый детёныш этого животного сначала становится головастиком, а потом встаёт на крыло... Это что такое? А-а-а! — выразительным голосом закричала Татьяна Викторовна.

Будущий монстр выбрался из рюкзака и тут же испугался света, детей и крика Татьяны Викторовны. Он взвизгнул и бросился вон из класса по следам Димы Соловьёва.

— Куда? — закричал Андрюша Ли и кинулся за своей собственностью. Татьяна Викторовна — за ним. За Татьяной Викторовной — весь 3 «В». Ведь жизнь без погони — это не жизнь.

Удивительное существо, похожее на свинью, крокодила и бешеную табуретку, выбило дверь, пролетело мимо Димы и помчалось по длинному переходу между начальной и средней школой. Оно мчалось строго на север. Так же строго на север за ним бежали Дима, Андрюша, Татьяна Викторовна и толпа третьеклассников. Бедное животное от страха несло быстрее своего визга.

А тем временем строго на юг по тому же переходу, то есть навстречу беглецу, шли двое солидных мужчин в костюмах с галстуками. Это были директор школы и губернатор. Директор с гордостью показывал ему свою прекрасную школу.

Услышав топот, Директор и Губернатор переглянулись. Губернатор удивился, а Директор покраснел.

Потом они увидели, что на них несётся странное существо, совершенно не похожее ни на школьника, ни на учителя. Губернатор удивился ещё сильнее, а Директор побледнел.

Затем показалась толпа школьников, во главе которой бежали Дима, Андрюша и Татьяна Викторовна. Губернатор удивился окончательно, а Директор схватился за сердце. Хорошо, что за своё, а не Губернатора.

И тут монстр остановился. Впереди были люди. И позади были люди. Монстр затосковал и налил лужу.

И тогда Губернатор поступил как настоящий губернатор! Он принял правильное решение в самый важный момент. Он сказал:

— Ну что, испугался, дурачок? Иди ко мне!

И монстр подошёл к Губернатору, виляя хвостиком. Губернатор взял его на руки, погладил и спросил Директора:

— Что здесь происходит?

Но директор от волнения засунул в рот галстук и не мог ответить. Подбежал весь 3 «В» с Татьяной Викторовной. Тогда Губернатор спросил их:

— Может, вы мне расскажете, что у вас произошло? И откуда взялось вот это?

— Это мой щенок монстра! — крикнул Андрей Ли.

— Щенок монстра?

— Ну этого... буль... бультерьера!

— Бультерьера? А откуда он у тебя?

Андрей ответил честно:

— Из рюкзака. То есть рюкзак не мой, а Димона. Димки то есть, Соловьёва. Он мне его подарил. То есть не рюкзак, а щенка.

— Так, — сказал Губернатор. — А кто здесь Димон?

— Я... — признался Соловьёв.

— Ага. Тогда отвечай честно: откуда ты его притащил?

— Из деревни... Дядя Женя его съесть хотел...

Весь З «В» ахнул.

— Потому что он на подводной лодке служил, — объяснил Дима.

Никто не понял этого объяснения. Чуть какая-то. Зачем подводнику есть щенка?

Но Губернатор не удивился. Он сказал:

— И ты, Дима, его пожалел?

— Ага...

— И незаметно увёз с собой в рюкзаке?

— Да, — вздохнул Дима. — Только мне не разрешат его дома держать. И я решил его Андрюхе отдать...

— Ясно, — сказал Губернатор и повернулся к Татьяне Викторовне. — А вы что скажете?

— Я вела урок, — неуверенно начала Татьяна Викторовна. — Рассказывала детям о сельском хозяйстве. Я всё по программе делала!.. И тут выскочил вот этот, и...

Тут Директор пришёл в себя и выплюнул галстук.

— Да, — сказал он. — Наши учителя осваивают новые методы обучения! Она вела урок и решила использовать это животное как наглядное пособие! Интерактивное, так сказать. На его примере она рассказала о разведении бультерьеров в средней полосе России...

— О разведении бультерьеров? — переспросил Губернатор. — Понятно. В общем, так. Давайте это наглядное пособие я возьму с собой. Обещаю, что его отвезут в хорошее место, и никто его не съест. Хорошо?

— Ура! — закричал З «В».

— А с дядей Женей мы договоримся. Идёт?

— Идёт! — ответил Дима.

— Идёт, — пробурчал Андрюша. Ему, конечно, было обидно, но с Губернатором не поспоришь.

А Директору Губернатор сказал:

— Я, конечно, не специалист и в ваших методах обучения мало чего понимаю. Но даже я знаю, что у собак копыт не бывает. И никогда не спутаю щенка с поросёнком.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НАСТЯ

Настя Сушкина была замечательным человеком. Вообще, в З «В» было много замечательных людей. Например, Караваев, который за весь год получил только одну пятёрку. По пению. Не за то, что пел, а наоборот — за то, что не пел. Или тихая отличница Зина, у которой за весь год была одна четвёрка, и тоже по пению. Как раз за то, что Зина пела. Но шёпотом. Или Андрюша Ли, который пришёл на праздник Нового года в самодельном костюме монстра, и в школе прошла незапланированная

эвакуация первых классов. Или особенный ребёнок Сенечка, который весь состоял из замечательных особенностей.

А вот Настя Сушкина любила приврать. Но делала это не как все люди, а замечательно. Если кто-то приходил в школу с новым телефоном, то Настя тут же заявляла:

— А у меня таких пять штук!

— Покажи! — просили одноклассники.

Настя говорила, что завтра принесёт, а завтра оказывалось, что она никак из пяти один выбрать не может, потому что жёлтый к её глазам не идёт, а красный с кроссовками не сочетается, а розовый мама постирала. После-завтра она ещё что-нибудь придумывала.

Если кто-нибудь говорил, что на каникулах с родителями в Париже был, сразу слышался Настин голос:

— А я там пять раз была!

Её спрашивали:

— И на Эйфелеву башню поднималась?

— Конечно! На все пять, — отвечала Настя. — С них вся Белоруссия видна! Я даже кирпич от этой башни на память привезла. Пять штук.

Почему-то она всё умножала на пять. Когда Диме Соловьёву подарили щенка, Настя фыркнула и сказала соседке по парте, любознательной Нине Зотовой:

— Подумаешь! У нас пять собак.

— А почему я, когда у тебя была, ни одной не видела? — удивилась Нина.

Настя ответила не задумываясь:

— С ними брат гулял.

— А когда я в другой раз была, тоже гулял? — спросила Нина.

— Ага.

Нина задумалась. Она думала целый урок, а на перемене сказала:

— Насть, а я хотела про брата...

— Какого брата?

— Ну, с собаками который... Я его тоже никогда не видела. И мама твоя никогда про него не говорила...

Настя тяжело вздохнула:

— Она забыла. Она всё время всё забывает. У неё такая болезнь, она даже таблетки пьёт. Вот такие огромные! По пять штук. Пять раз в день.

— Жалко твою маму, — сказала Нина. — А по виду она здоровой кажется.

Настя ответила:

— Я ж говорю, что она всё забывает. Даже забывает, что больная. И по этому здоровой кажется.

Следующим уроком была физкультура. Учитель Павел Васильевич в конце урока построил класс и сделал объявление:

— У меня для вас сюрприз!

Настя тут же шепнула:

— А у меня пять!

Павел Васильевич продолжал:

— В пятницу форму можете не брать. Урока не будет. И меня не будет.

— Вы умрёте? — спросил особенный ребёнок Сенечка.

Павел Васильевич почесал затылок и сказал:

— Ну... Не так глобально. Но это тайна.

З «В» обожал чужие тайны и сразу загалдел:

— Пал Василич, какая? Ну Пал Василич!

— Ладно! — сказал Павел Васильевич. — В общем, я женюсь.

Класс затих. Дети не знали, радоваться или огорчаться. Они вообще не знали, зачем жениться. Тем более Павлу Васильевичу. З «В» его любил. Он был совсем молодой и весёлый. А теперь что с ним будет?

И тогда прозвучал твёрдый голос Насти:

— Подумаешь! Ну и пусть! И я женюсь! Пять раз!

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

— И так, — сказала Татьяна Викторовна, — на прошлом уроке я задавала подготовить выразительное чтение стихотворения нашего Главного Поэта. Правильно?

— Правильно! — радостно ответил З «В» класс.

Все любили и хотели выразительно читать.

— А можно я?

— Я можно?

— Я первый руку поднял!

— А я по алфавиту!

— А я ещё ни разу не читал!.. С той четверти!

Но Татьяна Викторовна подняла руку и сказала:

— Фу! Сидеть! Команды «голос» не было!

Все замолчали.

И Татьяна Викторовна сказала:

— Правильно. Выразительное чтение.

И добавила страшное слово:

— На-и-зуть.

И 25 человек из 27 опустили головы. Прошлый урок чтения был в пятницу в самом низу расписания. Все радовались, как дураки, что неделя закончилась. И все прослушали последнее слово в домашнем задании. И это слово, оказывается, было «наизуть». 25 человек из 27 перестали дышать.

— Но прежде чем мы перейдём к выразительному чтению, — продолжала Татьяна Викторовна, — давайте вспомним другие стихи нашего Главного Поэта. О чём он писал?

25 человек вспомнили, что они не дышали уже 48 секунд, и все одновременно вздохнули и выдохнули. Даже занавески на окнах закачались. Казнь откладывалась.

Поднялась одна рука.

— Ну, Зина?

Тихая отличница Зина опустила голову, покраснела и что-то прошептала.

— Громче, Зина. Ты хотела сказать, что наш Главный Поэт написал много прекрасных стихов...

— Про любовь... — прошептала Зина, чуть не плача.

— Да! — обрадовалась Татьяна Викторовна. — Конечно, про любовь! Ты помнишь какие-нибудь стихи про любовь?

Но Зина была в обмороке от своей смелости.

— А ещё про что писал наш Главный Поэт? Кто знает?

И тогда Андрюша Ли брякнул:

— Про монстров!

Он был помешан на монстрах и сказал первое, что пришло в голову. Татьяна Викторовна подумала и сказала:

— Ну, в общем-то и про монстров у него есть.

Дальше пошло легче.

— Про природу!

— Про войну!

— Про животных!

— Про Чебурашку!

Тут Татьяна Викторовна сказала «стоп».

— Стоп! — сказала она. — Какой Чебурашка, Караваев?

— Сами же сказали, что про монстров писал... — обиделся Коля Караваев.

Татьяна Викторовна махнула рукой и сказала:

— Да, ребята. Наш Главный Поэт написал на разные темы много прекрасных стихов. И сегодня мы будем выразительно читать одно из его замечательных стихотворений, с которым познакомились на прошлом уроке. Ну, кто начнёт?

Если бы в полу были щели, то 25 человек из 27 давно бы в них залезли. Но щелей не было.

— Странно! — сказала Татьяна Викторовна. — Вы же все читать хотели. Ну ладно. Пойдём по алфавиту.

Раздался стук. Это на парту упала голова Абрамова Владимира. Он был первый по списку.

— Что с тобой, Володя? — встревоженно спросила Татьяна Викторовна.

Абрамов Владимир мужественно ответил:

— Ничего, Татьяна Викторовна! Просто с утра голова всё время падает. То на стол, то на пол. Я вчера рыбу ел, — зачем-то добавил он. — Мне выходить?

— Нет! — воскликнула Татьяна Викторовна. — Сиди. Тем более что рыбу ел, — тоже зачем-то добавила она.

— Тогда наизусть нам расскажет...

Тишина стояла такая, что было слышно, как растёт фикус в углу.

Из 27 человек могли не бояться только двое учащихся. Первый учащийся — это тихая отличница Зина. Хотя она всё равно боялась, потому что была очень стеснительной. И всю свою смелость она уже потратила, когда отвечала на первый вопрос Татьяны Викторовны. А вторым человеком...

И тут в классе поднялась одинокая, как пятёрка по пению в дневнике Караваева, рука. Это была рука особенного ребёнка Сенечки. Он тоже не боялся. Но не потому что выучил стихотворение, а потому что он вообще ничего не боялся. Он не знал, что такое страх. Это была одна из многих особенностей особенного ребёнка Сенечки.

— Сенечка? — сказала Татьяна Викторовна с большим подозрением в голосе, потому что от Сенечки можно было ждать чего угодно. — Ты хочешь нам рассказать стихотворение нашего Главного Поэта?

Сенечка кивнул и вышел к доске без приглашения.

— Только я своими словами, ладно, Татьяна Викторовна? — сказал он.

— Как это своими?

— Ну, чтобы понятно.

Положение стало безвыходным. Сенечка стоял у доски и рвался отвечать. Отказывать ребёнку, да ещё особенному, было непедагогично, а Сенечке — невозможно. И Татьяна Викторовна вздохнула:

— Давай, Сенечка.

И Сенечка дал.

— Стих. Он жил...

— Кто он?

— Который стих написал. Он жил на ветке в избушке...

— На какой ветке?

— Там так говорились. Наша ветка и избушка. У них не было света и воды...

Тут подал голос осмелевший Дима Соловьёв:

— У нас в деревне тоже! Как свет отключат, так воды сразу нет!

Татьяна Викторовна мысленно махнула рукой и промолчала.

— Ага, Димон! — радостно подтвердил Сенечка. — И воды тоже. И он ей, бабушке своей то есть, говорит: где кружка? Пить захотел. А она не отвечает. Он тогда ей наводящий вопрос задал. Ты зачем кружку девушке отдала? Я видел, как она поутру за водкой шла.

— За водой поутру шла, — автоматически поправила Татьяна Викторовна.

— Так и не попил. Зато стих написал...

И тогда прозвенел звонок. Класс выдохнул, и от фикуса оторвался лист.

Когда Татьяна Викторовна очнулась, она увидела перед собой ясные глаза Сенечки.

— А что вы мне поставили, Татьяна Викторовна?

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Данным субботним утром ученица 3 «В» класса Нина Зотова сидела на скамейке под большим каштаном.

Вчера она узнала, что этот каштан называется конским. И теперь любознательная Нина пыталась самостоятельно разгадать эту удивительную тайну. Что общего между каштаном и конём, кроме буквы «к»? Если лошади едят каштаны, то как они это делают? Они же высоко! Может быть, есть

такие крылатые лошади, которые на лету срывают каштаны... Додумать ей помешал Дима Соловьёв. Он плюхнулся на скамейку и спросил:

— Ещё не пришла?

И они оба посмотрели на часы.

Большое табло с часами было над входом в школу. Здесь, у школы, Дима и Нина должны были встретиться с Татьяной Викторовной и сделать проект по окружающему миру — собрать весенние растения для гербария.

Вчера Татьяна Викторовна дала им это ответственное задание, а в конце спросила:

— Поняли, что надо сделать?

— Ага, — сказал Дима, — надо клумбарий собрать.

— Какой клумбарий? — удивилась Татьяна Викторовна.

— Мы же цветы с клумбы будем рвать, — объяснил Дима. — В сквере около школы. Там недавно много посадили. Красные и ещё всякие. А почему зелёных цветов не бывает?

Татьяна Викторовна посмотрела в ясные Димины глаза и сказала:

— Так. Мне всё ясно. В общем, одних я вас не отпущу.

И она велела ждать её около школы в 9 часов утра.

Так вот, Дима и Нина посмотрели на часы. На часах было 9 часов 15 минут.

— Ничего себе, — сказала Нина.

Понятно, почему она так сказала. Потому что Татьяна Викторовна никогда, никогда, никогда не опаздывала! Ни дождь, ни снег, ни автомобильные пробки, ни отключение электричества, ни перелом ноги, ни вражеские танки — ничто не могло остановить Татьяну Викторовну на пути в школу! А когда был страшный гололёд, она приехала на коньках.

Дима молчал. Он молчал довольно долго, а потом тяжело вздохнул и пробормотал:

— Да... значит, не пришили...

— Чего не пришили? — спросила Нина.

Но Дима замолчал. Молчал он, правда, недолго. Его так и распирало. Он сделал таинственное лицо, посмотрел в любознательные Нинины глаза и загадочным голосом произнёс:

— Ты знаешь, почему её нет?

— Проспала? — предположила Нина, хотя и сама знала, что Татьяна Викторовна такой человек, который почти не человек, а учительница. А учительница проспать не может.

— Поклянись, что никому не скажешь!

Нина не сопротивлялась, а сразу согласилась:

— Не скажу!

И тут Диму прорвало.

— Слушай! Ещё никто не знает! Татьяна Викторовна вчера сражалась с пиратами! Она пришла домой, а там пираты! Они искали её сокровища! Она не испугалась, взяла швабру и стала гонять пиратов по всему дому. Они потом в окно выскочили и побежали. Татьяна Викторовна за ними!

Ты знаешь, как она бегаёт? Она чемпион по бегу за пиратами! А один пират ей ножку подставил, и она прямо на трамвайные рельсы упала, прямо под трамвай. И ей ногу отрезало

— Совсем? — прошептала обалдевшая Нина.

— Совсем, — грустно сказал Дима Соловьёв. — А потом голову.

Нина похолодела.

— Совсем, — сказал Дима. — Ей всю ночь операцию делали. Сначала ногу пришили, а потом голову. Врачи ещё долго спорили, что сначала пришивать. Потом решили, что нога главнее. Без головы ходить можно, а без ноги куда пойдёшь? Значит, голову ещё не пришили. Вот она и опаздывает.

Нина переваривала услышанное. Да, всё сходится. Других причин для опоздания просто не может быть. Нет головы — значит, ничего не видит. Поэтому идёт медленно. И нога ещё болит, наверно. И откуда они только взяли, эти проклятые пираты?

— Дим, — сказала Нина, — а пираты-то откуда? У нас же моря нет.

Дима только усмехнулся:

— Да это же не морские пираты, а земляные... То есть тьфу! Воздушные. На чёрном вертолёте летают с черепом. Ну, череп нарисован.

— А ты откуда про них знаешь? — спросила Нина. — И про Татьяну Викторовну? Сам же говорил, что никто не знает.

— У меня же папка в полиции работает, — ответил Дима. — Он всю ночь этих пиратов ловил. А когда наловил, повёз Татьяну Викторовну в больницу. Её на заднем сиденье, а голову и ногу в багажнике. Вот.

— Привет, цыплята! — раздался голос Татьяны Викторовны. — Давно ждёте? Извините, что опоздала, будильник не поставила. Забыла, что суббота завтра. Сегодня то есть. Пошли на автобус.

Голова у Татьяны Викторовны была на месте. То есть на шее. И ещё на шее был лёгкий цветной шарфик. «Стесняется, — подумала Нина. — Не хочет, чтобы мы шрам увидели. Ну и я ничего спрашивать не буду. Может быть, ей неприятно».

Могла бы вообще не приходиться! А она пришла, только чуть опоздала. Ногу ей пришили хорошо, она совсем не хромала. И голова тоже нормально вертелась. Но всё-таки, наверно, здорово болит.

Нина очень хотела пожалеть Татьяну Викторовну. Но учительница вела себя так, будто ничего не произошло. «Гордая, — думала Нина. — Хочет, чтобы мы ничего не знали. Тогда я тоже сделаю вид, что ничего не знаю». Но долго делать вид не получилось. Нина не выдержала. Жалость к Татьяне Викторовне и просто любопытство пересилили.

Она догнала Татьяну Викторовну и задала отвлекающий вопрос:

— Какой платочек у вас красивый!

— Да? Спасибо. Мне тоже нравится, — ответила Татьяна Викторовна и потрогала шарфик.

Теперь можно было задать ещё один отвлекающий вопрос:

— А у вас нога не болит?

— Нога? — удивилась Татьяна Викторовна. — Нет, не болит.

— А голова?

— И голова не болит. А почему ты спрашиваешь?

И любознательная Нина Зотова ответила:

— Просто интересно, как она держится. На нитках или на клее тоже?

Татьяна Викторовна остановилась, несколько раз глубоко вздохнула и потом ласковым голосом сказала:

— Ниночка. Ты о чём? Какой клей? Какая голова?

— Ваша. Которую вам трамваем отрезало.

Татьяна Викторовна пошатнулась. К счастью, рядом была лавочка. Она села и со стоном прижала ладони к вискам.

— Вы меня с ума сведёте.

И тут вмешался Дима Соловьёв:

— Татьяна Викторовна! Это она всё выдумала! И про пиратов, и про сокровища, и про трамвай!

— Я?! — возмутилась Нина. — Я выдумала?

— Да, выдумала! — торжествующе закричал Дима. — И я это докажу! У нас в городе трамваи вообще не ходят! Правда, Татьяна Викторовна?

Татьяна Викторовна вздохнула:

— Лучше бы ходили...

Владимир Кормильцев

Владимир Николаевич Кормильцев родился в 1958 году, калужанин. Окончил Московский государственный институт культуры. Работает обозревателем в газете «Калужские губернские ведомости». Стихи и прозу пишет со студенческих лет. Произведения публиковались в местной периодической печати, в журналах «Траектория творчества», «Шишкин лес», в альманахе «Сорок сороков», в журнале «ЛифФт» и других изданиях.



ОБЕРЕГ

Последние полкилометра пути были самыми трудными. Лесная тропинка завела в непроходимые заросли, и Мара несколько раз предлагала вернуться, чтобы поискать другой путь. Но Алекс, периодически сверяясь с планшетом, целеустремлённо лез в самую чащу, и девушке ничего не оставалось, как идти следом.

Лес кончился неожиданно. И сразу перед ними открылась обширная поляна, на дальнем краю которой стояла приземистая бревенчатая избушка и несколько дощатых сараев, потемневших от времени. Покосившаяся изгородь из длинных жердей обозначала границы участка, где виднелись ухоженные огородные грядки.

— Вау-ваушки! — воскликнул Алекс. — Да здесь и вправду живут, как в позапрошлом веке...

— Ага, — согласилась Мара, вытряхивая из густых волос сосновые хвоинки. — Прямо «Таёжный тупик»!

— Какой тупик? — не понял Алекс.

— Темнота! Был такой газетный очерк о старухе, которая ушла от цивилизации и поселилась в тайге. Учи историю отечественной журналистики!

— У нас это только в следующем семестре... — буркнул Алекс, поправляя мешковатую вязаную шапку, то и дело съезжавшую на глаза.

— Ладно, не важно, — сказала Мара, оглядывая себя в зеркальце. Она всё успевала делать на ходу — разговаривать, поправлять причёску и макияж. — Ты, главное, с хозяйкой дома будь повежливее. Она тоже здесь живёт затворницей, не знаю уже, сколько лет. Живёт в своём мире, понимаешь? А тут — мы со своими вопросами... Не понравится что-то — может и на порог не пустить. Даже разговаривать с нами не захочет, не то что петь!

Но местная «затворница», в длинном льняном сарафане с неброской вышивкой и в выгоревшем цветном платке, повязанном необычно, как-то

не по-деревенски, оказалась приветливой и гостеприимной старушкой. Оставила работу на огороде и пригласила их в дом, поить травяным чаем с мёдом и вареньем из лесных ягод. Усаживая гостей за стол и разливая в глиняные кружки кипяток из настоящего самовара, хозяйка дома сообщила:

— Зовут меня Екатериной Илларионовной, но вы называйте бабой Катей, а то с непривычки язык сломаете.

— Хорошо, баба Катя, — отозвалась Мара, пробуя варенье из деревянной чашки, украшенной потемневшей росписью. — Очень приятно познакомиться! Я Тамара, а это Лёша, мы студенты Гуманитарного университета. Изучаем историю самодельного народного творчества. Ну, разные пословицы, сказки, песни...

— Понятно, — кивнула баба Катя. — Я было подумала сперва, что вы туристы, в лесу заблудились.

— Нет, мы строго по карте шли, — вступил в разговор Алекс, выкладывая на стол включённый планшет. — Сейчас в лесу заблудиться трудно, везде спутниковая навигация.

— А что я старые песни знаю — вам тоже ваша навигация подсказала? — усмехнулась баба Катя.

Мара подумала, что в информационных сетях можно найти сведения почти о любом человеке, жившем в обозримом прошлом или о ныне живущем, главное — задать правильный алгоритм поиска. Но возможно ли объяснить это старушке?

Неожиданно на помощь пришёл Алекс. Простодушно улыбнувшись, он признался:

— Мы много читали про вас, Екатерина Илларионовна! И про песни ваши тоже... Вы, можно сказать, в историю вошли.

Баба Катя коротко рассмеялась:

— Да уж, верно, попадали мы в истории, и не раз! Ладно, читатели-почитатели, пойдёте-ка в дом. Кой-чего вам покажу...

* * *

Когда баба Катя откинула в сторону ситцевую занавеску, отделявшую кухню от соседней комнаты, Мара и Алекс шагнули туда — и невольно остановились на пороге.

Всё что угодно они ожидали увидеть в избушке лесной отшельницы, но только не это...

Первое, что бросалось в глаза — плакаты на стенах: старые, выцветшие, с надорванными краями, склеенными пожелтевшим скотчем. С того, что был напротив входа, на них смотрел Владимир Высоцкий — строго, требовательно, словно хотел спросить: «А вы зачем сюда пришли? По делу или как?». Кто был изображён на фотоафишах, висевших справа и слева от знаменитого певца, ни Мара, ни Алекс не знали. Единственное, что было общего у этих людей — гитары в руках. Кстати, и настоящих старинных гитар в комнате обнаружилось целых четыре. Три висели на стенах, а одна, изрядно потёртая,

гордо стояла на широкой и длинной лавке, в окружении множества вещей, которые, судя по всему, были родом из прошлого века, как и хозяйка дома.

Названия некоторых предметов Мара помнила. Например, по соседству с гитарой стоял телевизор — не современный сверхплоский чёрный монитор, а квадратный ящик с небольшим закруглённым окошечком экрана в передней стенке. Похожие ящики, с круглыми ручками, клавишами и стеклянными разлинованными окошками, кажется, назывались радиоприёмниками, или радиолами. Ещё на лавке, а также на составленных рядом табуретках, на сундуке и просто на полу, покрытом выцветшим ковриком, лежали старинные магнитофоны с плоскими катушками, проигрыватели грампластинок и ещё какие-то похожие устройства.

Многоэтажный стеллаж в углу (кажется, такие предметы мебели в старину назывались этажерками) был тесно заставлен книгами, потрёпанными журналами и квадратными конвертами с круглыми вырезами посередине. Рядом стояло грубоватое сооружение из палок, похожее на огородное пугало. Правда, наряд «пугало» имело вполне презентабельный, хоть и необычный: старая тельняшка, зелёная выгоревшая ветровка с белой полустёртой надписью «КСП» на груди, а сверху — сильно поцарапанный мотоциклетный шлем.

И ещё немало вещей лежало на полках, что виднелись в полумраке на дальней стене комнаты — старинные телефоны с дырчатыми дисками, тускло-серебристые фотоаппараты, примусы, чугунные утюги, керосиновые лампы, какие-то медные духовые инструменты...

— Да у вас тут целый музей, баба Катя! — сказала Мара с искренним изумлением. — Неужели всё сами собрали?

— Верно, что музей... — согласилась хозяйка. — Вместе с мужем собирали, царство ему небесное. Мы тогда ещё в городе жили... Многое сюда перевезли, когда переехали.

Мара хотела ещё что-то спросить, но её перебил Алекс. Он бесцеремонно вылез вперёд, нацелив на «музейные экспонаты» камеру планшета и, забывшись, громко выдал:

— Нифигасе! «А у бабушки в избушке были разные игрушки...» Ой!

Он умолк, потому что девушка незаметно, но чувствительно ткнула его пальцем в бок. А затем сердито прошептала в ухо:

— Ты сюда работать приехал или матерные частушки вспоминать? Нахвтался на сайтах, фольклорист!

— А что я? — виновато ответил Алекс. — Никому не мешаю, кино снимаю...

— Вот и снимай! — заключила Мара.

И громко обратилась к хозяйке:

— Баба Катя! Я смотрю, у вас и граммофонные пластинки сохранились?

— Это не граммофонные, девочка, — промолвила хозяйка, взяв с этажерки несколько квадратных конвертов. — Но тоже антиквариат по нынешним временам. Настоящий винил, фирма «Мелодия» — слышали?

— А как же! — снова вступил в разговор Алекс, продолжая снимать. — Сейчас эти диски за такие бабки можно коллекционерам...

Он умолк, сообразив, что снова ляпнул что-то лишнее. Но баба Катя не обратила на его слова внимания, задумчиво перебирая диски в потёртых бумажных конвертах.

— Пластинки с нашими песнями тогда редко выпускали, — заметила она. — Тут, пожалуй, всё, что сохранилось. Магнитофонных записей было куда больше, но плёнка со временем портится. Много пропало, пока не научились... оцифровывать, — непривычное слово хозяйка произнесла осторожно, словно пробуя на вкус. И продолжала, ставя виниловые диски на место:

— А вот им ничего не делается. И через пятьдесят лет будут так же звучать, и через сто!

— Баба Катя! — просительно улыбнулась Мара. — А можно какую-то из них включить? Мы бы это на видео сняли... Алексей у нас очень хороший видеграф, известный блогер, его канал — знаете, сколько людей смотрят!..

Хозяйка слушала, кивая, словно соглашаясь. Но ответила неожиданно:

— Всё это хорошо, только не поставлю я вам пластинку. У меня ведь, ребята, света нет. Разве не заметили?

— Как — нет света? В смысле — электричество вырубилось? — деловито уточнил Алекс. — И давно это у вас?

— У нас это — всегда! — усмехнулась старушка. — Здесь ведь не город, ребяташки... Скажу по секрету — я и печку топлю валежником, и воду беру из родника, благо он рядом. И удобства во дворе, сами видели.

— Да мы всё понимаем... — немного смущённо ответила Мара. — Просто непривычно как-то.

Только теперь она сообразила, что подсвечники из отполированных древесных корней, висящие на стенах комнаты, были не только украшением. «Где же бабушка покупает свечи?» — подумала она. И, словно подслушав её мысли, хозяйка с гордостью сообщила:

— У меня даже свечи свои, рукодельные! Я пчёлку держу, в конце огорода ульи стоят. Оттуда и мёд, и воск.

— Мёд — это, конечно, хорошо, — заметил Алекс. — Но как же вы... того... без электричества? С людьми не пообщаться, новостей не узнать... А если вдруг «скорую» понадобится вызвать? Нет, не представляю!

— А предки наши так веками жили, — улыбнулась баба Катя. — И ничего, не вымерли... без фонарей электрических, без телефонов и телевизоров, без интернета вашего и скоростных дорог...

Она замолчала, задумавшись. А потом, проговорив негромко — «ладно, раз такое дело...», сняла со стены гитару, ту, что на вид была поновей. И, присев на табурет у окна, стала подкручивать колки, настраивая струны.

— Снимай это! — шепнула девушка Алексу. Но он и сам уже сориентировался, нацелив объективы планшета на старушку с гитарой.

Парень, как всегда, бесцеремонно вылез вперёд, заслонив хозяйку, но Мара, заглянув через его плечо на экран планшета, не стала обижаться. Потому что Алекс, при всех его недостатках, был, несомненно, мастером своего дела. Сейчас, к примеру, он максимально укрупнил изображение, и девушка близко увидела руки бабы Кати. Огрубевшие от тяжёлой работы,

с распухшими суставами пальцев, которые осторожно и как будто даже неумело касались блестящих идеально прямых гитарных струн... Картинка была — что надо! Алекс вообще любил использовать в своих роликах такие вот выразительные детали. Нередко бывало, что отснятый и смонтированный видеоряд оказывался интереснее, чем придуманный им закадровый комментарий. Ему бы настоящим тивишником стать, подумала девушка, или — на киностудию... Только в такие места без блага не берут, да и специально учиться надо, а такой разгильдяй, как Алекс...

Но внезапно пришедшую мысль Мара так и не додумала до конца, потому что в этот момент баба Катя запела:

— Когда зимний вечер
Уснёт тихим сном,
Сосульками ветер
Звенит за окном,
Луна потихоньку
Из снега встаёт
И жёлтым цыплёнком
По небу идёт...

Голос хозяйки дома звучал чисто и красиво. До того красиво, что это казалось неправильным. Ну не мог быть у старушки, что родом из минувшего века, такой сильный и молодой голос! Вернее, даже не молодой... Голос был — вне возраста, вне времени, он просто звучал, без единой фальшивой нотки, словно песня, написанная неведомо когда и неизвестно кем, вдруг прилетела из прошлого и пелась сама по себе:

— А в окна струится
Сиреневый свет,
На хвою ложится
Серебряный снег,
И, словно снежинки,
В ночной тишине
Хорошие сны
Прилетают ко мне...

И на гитаре баба Катя играла прекрасно. Её огрубелые, некрасивые пальцы легко перебирали гитарные струны, извлекая именно те звуки, которые идеально складывались в мелодию, на которую ровно ложились слова стихов:

— Ах, что вы хотите,
Хорошие сны?
Вы мне расскажите
О тропах лесных,
Где все, словно в сказке,
Где — сказка сама —
Красавица русская
Бродит зима.

Стихи... Их слова сплетались в строчки, как нити в причудливое кружево, которым хотелось любоваться, изучать его, постигая тайный смысл.

И подниматься мыслями к пониманию чего-то важного, правильного, однако теперь, увы — почти забытого!

— Но что это? Холод
 На землю упал,
 И небо погасло,
 Как синий кристалл? —
 То жёлтый цыплёнок,
 Что в небе гулял,
 Все белые звёзды,
 Как зёрна, склевал...*

Кончилась песня, и в комнате на несколько долгих секунд стало тихо. Мара понимала, что нужно что-то сказать, но почему-то разговаривать не хотелось. Тишину нарушил Алекс, закончивший съёмку восхищённым и нелепым возгласом:

— Йо-хо! Зачётно, баба Катя! Вы это из головы всё придумали, ну, в смысле — сами?

— Что? — недоуменно переспросила хозяйка дома, поднимая глаза и оглядывая молодых гостей так, словно увидела их впервые.

«Сейчас она нас выгонит, — подумала Мара. — Алекс, ну куда тебя понесло! Ведь так всё хорошо начиналось...»

А её приятель не унимался:

— Баба Катя, а спойте-ка ещё! В таком же стиле, или — чего-то помажорнее. У вас же не все песняки такие?

— Песняки? — переспросила старушка. И, вздохнув, поднялась с табурета. — Нет, ребята, «песняки» — это у вас. А у нас — песни... были, — закончила она чуть слышно. И, тяжело ступая, подошла к стене, оклеенной плакатами. Вешая гитару на прежнее место, баба Катя сказала, усмехаясь:

— Уж извиняйте, гости дорогие. Что-то устала я сегодня выступать, наверное, с непривычки. Так что концерта не будет.

* * *

Возвращаясь обратно, уже подходя к пассажирской платформе, Мара, не сдержавшись, заявила:

— А ты всё же бимбо**, Лекс! Ну куда тебя понесло с «песняками»?! Старушка сразу замкнулась. А могли бы ещё поговорить...

— Так вы и поговорили! — весело возразил Алекс. — Трындели ещё полчаса, я даже успел видос запилить***, в двух вариантах. Как поедем — в инет залью****.

* Песня «Зимняя сказка» советского и российского барда, поэта, журналиста и учёного Сергея Крылова (1963).

** Бимбо — человек, который ведёт себя нелепо, клоун (*молодёжный сленг*).

*** Видос запилить — смонтировать видеоматериал (*молодёжный сленг*).

**** В инет залью — размещу в интернете (*молодёжный сленг*).

Девушка, промолчав, только махнула рукой. Они действительно покинули лесную отшельницу не сразу. Баба Катя предлагала поужинать, но они отказались и снова пили чай, разговаривали — о хозяйкином огороде, о пчёлах и лесных грибах... Вроде бы о многом и в то же время — как бы ни о чём. Алекс вообще уткнулся в планшет, монтируя отснятый материал, и когда закончил — сразу объявил, что им пора, а то можно на поезд опоздать.

Пропрощавшись, они уже шагнули к дверям, но баба Катя, промолвив «погодите-ка...», на минуту скрылась за ситцевой занавеской в «комнатном музее».

Вернулась она с маленьким кожаным мешочком на тонком ремешке.

— Вот тебе на память, девочка, — сказала старушка, вешая Маре подарок на шею. А когда та, смущённо поблагодарив, спросила, что это такое, баба Катя ответила загадочно:

— Это у меня ещё с Грушинского* сувенир остался, там их почётным гостям дарили. Хочешь — слушай, а хочешь — просто носи, как оберег. Домой приедешь — разберёшься.

* * *

Разбираться с подарком Мара начала уже в вагоне поезда. Но сначала, удобно устроившись на упругом пластиковом сидении, объявила:

— Вот и конец путешествия в прошлое! Как тебе, Лекс?

— А что, приятный вайб**, и олда*** прикольная! Я бы ещё сгонял пару раз. Однако на сегодня — что? Кончился наш маскарад? — вопросительно подмигнул он девушке.

Та улыбнулась и сняла густой тёмный парик с головы, обритой наголо, но зато украшенной на висках и на затылке аккуратными абстрактными тату. А её спутник с видимым удовольствием избавился от мешковатой вязаной шапки, освободив пучок длинных разноцветных косичек с блестящими стразами на концах. Он сразу включил планшет, торопясь закинуть в «глобальную паутину» новый видеоролик.

А Мара наконец заглянула в кожаный мешочек, висевший на шее.

Внутри лежала флешка — непривычного вида, но со стандартным USB-разъёмом. Оказывается, подумала девушка, во времена бабы Кати уже были такие... В очередной раз она убедилась, что о времени, которое выбрала темой своей курсовой, знает не так уж и много. А из того, что знает — понимает ещё меньше.

На флешке были звуковые файлы. Это выяснилось, когда Алекс подключил её к планшету и на экране открылась картинка с надписью: «Песни уходящего века. Отечественные барды (избранное)».

* Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина — проводится под Самарой с 1968 года до настоящего времени.

** В а й б — приятная психологическая атмосфера (*молодёжный сленг*).

*** О л д а — старая (пожилая) женщина (*молодёжный сленг*).

— Если хочешь — послушай, — предложил приятель. — У меня наушники не заняты. Я всё равно пока в чате. Ты представляешь, у моего видоса — уже полторы сотни просмотров! И это — за десять минут!

— Лайкают*? — поинтересовалась Мара, надевая клипсы наушников.

— А-а... По-всякому, — неопределённо буркнул Алекс. — Кому-то нравится, кто-то троллит** из последних сил. Вот, сравни, что пишут: «Клип — полный улёт! Автору респект. Где нашли такую хижину? Артистка хорошо играет, и озвучка понравилась, мы с подружкой смотрели три раза». А вот — другой отзыв: «Что курил афтор? Текст — полный трэш! Видеоряд — отстой. Где нашли такую хижину? Совет на будущее: не надо экономить на павильонах и спецэффектах...» Ты представляешь?

Но девушка уже не слышала его. Откинувшись в кресле, она прикрыла глаза и мысленно была уже далеко отсюда: где-то там, в давно прошедшем времени, откуда звучала через беспроводные наушники полузабытая, простая и добрая песня:

До свиданья, дорогие,
Вам ни пуха, ни пера!
Пусть вам встретятся другие,
Лишь попутные ветра!

Море синее сверкает,
Чайки белые снуют...
Ни на что не намекаю —
Что ты!
Ни на что не намекаю...
Просто песенку пою.***

А скоростной поезд двигался, незаметно замедляя ход, туда, где зелень лесов и лугов постепенно сменяли серые краски промзоны, за которой в мутной дымке смога уже виднелись блестящие башни небоскрёбов Новой Тарусы — обычного, стандартного мегаполиса середины XXI века.

* Л а й к а ю т — от англ. like — «любить» — выражение одобрения в социальных сетях (молодёжный сленг).

** Т р о л л и т ь — заниматься издевательством, оскорблять при общении в социальных сетях (молодёжный сленг).

*** «До свиданья, дорогие!» — песня Юрия Визбора и Виктора Берковского (1974).

Виктор Лареев

Виктор Анатольевич Лареев родился в 1957 году в деревне Ульшино Дзержинского района Калужской области. Окончил факультет русского языка и литературы КГПИ им. К. Э. Циолковского, работал учителем русского языка и литературы в сельской школе и в УВД Калужской области. Стихи начал писать ещё в школьные годы. Автор пяти стихотворных сборников: «Я иду прозрачным коридором», «Своей любви я строю этажи», «Основа души», «Между временным и вечным» и «В кольце судьбы». Живёт в посёлке Товарково Дзержинского района Калужской области.



ПРОДЛИТЬ ЛЮБОВЬЮ ДЕНЬ...

* * *

Вся наша жизнь с тобой пройдёт
В коротких встречах на вокзале,
Где мы ведём минутам счёт
И объясняем глазами.

Где места нет ни тишине
И ни сердечным разговорам:
— Ну, мне пора.
— Пока.
— Ты мне
Звони, увидимся нескоро.

Умчался скоростной экспресс,
А солнышко — за тучу в спячку,
Холодный дождика компресс
Остудит чувств моих горячку.

Весенний день глаза смежил.
Он стал мне редкою наградой:
Я полчаса сегодня жил —
Ведь я живу, пока ты рядом...

* * *

Жаркий полдень. Середина лета.
Прямо на тропинке луговой,
Где движенье воздуха и света
Совпадают, замирая где-то
В звоне синевы над головой,

Мне предстала чудная картина —
Марево колышется, ты в нём
В васильковом платье из сатина,
Как неопалимая купина,
Полыхаешь голубым огнём.

Ты прошла, тропинки не касаясь,
Не примяв полуденной травы,
Не спеша над лугом поднимаясь,
Голубым туманом растворяясь
В глубине небесной синевы.

Много лет улыбкой пробуждала
Встреча та, смутившая меня,
Лишь недавно мне понятно стало:
Это нас судьба предупреждала
Отраженьем будущего дня...

* * *

Мгновенья жизни связаны любовью.
Прочнее связи во Вселенной нет.
И лишь согласно этому условию
Мир существует миллионы лет.

Да, существует, содрогаясь в боли,
От зла и бед, как и тогда — сейчас,
И также неизменно в нашей воле —
Продлить любовью день его и час.

* * *

Ты, безусловно, непроста...
Откуда у тебя, не знаю,
Секрет Чеширского Кота —
Дарить улыбку, исчезая.

Твою загадочность любя,
Приемлю странности любые,
Но вот улыбку без тебя —
Такое вижу я впервые...

Как зайчик солнечный кружит
По комнате, какая малость,

Но с ней и часть твоей души
Светить и согревать осталась...

Не всякий знает тот секрет.
Так жить — улыбкой, словом, взглядом,
И, уходя, оставить свет
Для тех, кто был с тобою рядом.

* * * *

Я не стану смешным или жалким
Дождаться последнего дня,
Без словесной пустой перепалки
Проводи так же молча меня.

Мы не скажем друг другу ни слова,
Нам и не в чем себя упрекать,
И не станем мы умысла злого
У судьбы в подоплёке искать.

Мы не стали родными, но вечно
Ни единого дня не забыть.
Как же ласково, как же сердечно
Ты умела меня не любить.

Татьяна Бессонова

Татьяна Феликсовна Бессонова родилась в 1971 году в Калуге. Училась в Московском государственном университете культуры и в Литературном институте им. Горького. Главный хранитель фондов Калужского объединённого музея-заповедника. Автор исторических повестей, публиковавшихся как в литературно-художественных журналах и сборниках, так и отдельными изданиями. Лауреат литературной премии «Отчий дом» им. И. В. и П. В. Киреевских. Член Союза писателей России.



ЛОРЕЛЬ

Солнце сияло на безоблачном небе, но в деревне Продромос совсем не было жарко. Расположилась она на одной из гор массива Троодос на Кипре, и прохладный ветерок гулял по извилистым улочкам. Макушку горы занимал настоящий замок в колониальном стиле, с мощной квадратной башней в центре и ещё двумя башнями на завершениях крыльев, с каменными нештукатуренными стенами, с двускатной черепичной крышей, — форт по внешнему виду, который был на деле шикарным отелем с царственным названием «Беренгария». Или «Веренария», как произносят местные жители. При прежнем владельце по имени Иоаннис Коккалос, который построил этот отель, здесь отдыхали самые могущественные англичане и главы дружественных Британии государств. Теперь же, в начале 1980-х, когда на побережье Кипра выросла не одна фешенебельная гостиница, статус постояльцев «Беренгарии» несколько понизился, но качество обслуживания поддерживалось на хорошем уровне тремя сыновьями Иоанниса, и здесь по-прежнему оставались преимущественно британские аристократы. Их привлекали чарующие горные пейзажи и приятная прохлада. А привычная архитектура здания, бассейны с морской водой и теннисный корт помогали чувствовать себя совершенно комфортно.

Средний, самый красивый из братьев Коккалос, тридцатилетний Костас обычно первым встречал постояльцев, переступающих порог отеля. Костас обладал внешностью героя древнегреческого эпоса: удлиненное лицо, обрамленное короткой бородой, подчёркивавшей правильность овала, и усами, большие карие глаза, прямой нос, чёрные волосы, зачёсанные назад и рассыпавшиеся локонами по плечам, безупречная фигура, подчёркнутая зауженным пиджаком. Костас знал, что неотразим, был уверен в себе, любезен в общении, вёл себя с достоинством и производил неизменно благоприятное впечатление на представительниц Туманного Альбиона. В тот день, стоя у стойки регистрации, он доверительно делился с администратором:

— Сон мне сегодня приснился премерзкий. Сначала вроде бы всё хорошо, мы с братьями маленькие, играем дома. Потом находим огромный бриллиант. Прямо больше ладони, и так светит, что аж глазам больно. И стали мы за него драться. Жестоко. В детстве мы вообще никогда так не дрались. А тут кровь... И вдруг я оказываюсь один. Бриллиант у меня на ладони начинает рассыпаться в пыль. Ветер уносит эту пыль, и всё. Пусто. А пока бриллиант рассыпается, и дом наш тоже начинает рушиться, но не весь сразу, а медленно и так ужасно: стёкла окон трескаются и осыпаются, крыша проваливается, стены облезают, начинают выпадать кирпичи из углов, мебель исчезает... Скверно от этого сна до сих пор...

Администратор хотел ответить что-то сочувственное, но не успел: двери отеля гостеприимно распахнулись.

Костас провёл руками по волосам от лба к затылку и с улыбкой обернулся ко входу, готовый очаровывать.

Он не ошибся, это была новая гостья. Молодая стройная шатенка среднего роста с длинными вьющимися волосами, в льняном костюме бежевого цвета с модно увеличенными плечами и широкими брючинами. На голове гостьи вместо шляпы красовалась мужская бейсболка, козырёк которой сдвинут был на левое ухо, на ногах — кроссовки «Адидас». Гостья прошла к стойке регистрации, по пути разглядывая большой холл. Лицо её при этом выражало привычку к заведениям премиум-класса и чуть ли не скуку. Так же холодно её изумрудные глаза оглядели и Костаса. Положив руку на стойку, гостья обратилась прямо к администратору:

— На моё имя забронирован номер. — Говорила она по-английски хорошо, но с акцентом. — Мадемуазель Лорель Бершо.

— Да, конечно, — также по-английски отозвался администратор. — Мне нужен ваш паспорт, мисс.

Гостья достала его из маленькой сумочки, висевшей на длинной цепочке на левом плече, и подала. Потом подписала карточку, поданную администратором, и несколько минут ждала, когда завершится оформление документов, продолжая неторопливо оглядывать светлые стены, высокие торшеры-фонари, красное дерево мебели, ковровую дорожку. А Костас, стоя рядом, разглядывал её лицо. Оно было не из тех, что сражают своей красотой, хотя дурнушкой новая гостья тоже не была. Скорее, всё-таки симпатичная. И эта копна непослушных волос, и аромат «Anais anais»...

— У вас уже оплачен месяц проживания, верно? — уточнил администратор.

— Верно. А если я решу задержаться подольше?

— Мы с удовольствием продлим вам пребывание, — заверил администратор и протянул ключ на массивной брелке с гербом отеля: — Номер 24.

— У вас — один из лучших номеров, — заговорил Костас, — на втором этаже, в конце коридора. Оттуда открывается очень красивый вид на горы. Вам непременно понравится, и вы задержитесь.

— Увидим, — тем же тоном, каким она общалась с администратором, ответила мадемуазель Бершо. — Я слышала об этом отеле хорошие отзывы.

Юноша в униформе, тоже украшенной голубыми гербами «Беренгарии»: лев и единорог, а между ними в овале — монограмма «НВ», — подхватил принесённый из такси чемодан, и Костас повёл мадемуазель Бершо по большой белой лестнице. На широкой площадке первого этажа он показал рукой вправо:

— Там у нас ресторан...

— Я непременно познакомлюсь с отелем, но позже, — довольно резко прервала его гостья. — Я очень устала: перелёт, поездка на такси по горам... Всего хорошего!

Она повернулась к Костасу спиной и пошла за носильщиком дальше — снова по лестнице, потом — по коридору и наконец — в просторный номер, из окон которого действительно открывался поразительный вид на зелено-голубые горные дали.

— Оставьте здесь, — махнула Лорель носильщику на самую середину гостиной, где тот и поставил чемодан. — А кто это хотел устроить мне экскурсию? — спросила она, протягивая юноше два фунта.

— Господин Костас Коккалос, хозяин. Точнее, один из хозяев, — учтиво сообщил носильщик, пряча монеты в карман.

— А хозяев много?

— Трое. Братья. Ещё господин Йоргос, старший, и господин Анастасиос, младший.

— Так это совместное предприятие? И часто хозяева ссорятся?

— Вроде бы нет. Старый хозяин строго им наказал управлять отелем дружно.

— Послушные дети... — скептически прищурилась Лорель. — Женаты?

— Нет, никто из них ещё не женат.

Носильщик не удивился расспросам. Редкая гостья отеля не интересовалась Костасом.

— Ну, хорошо. Иди, дружок, — отпустила юношу Лорель, подарив ему ещё один фунт.

Оставшись одна, девушка оглядела гостиную, обставленную уже потёртой викторианской мебелью, спальню с широкой кроватью под балдахином, белоснежную ванную комнату, которая огорчала ржавыми подтёками под кранами и душем. Вернувшись в спальню, Лорель под села к трюмо и пристально взглянула себе самой в глаза...

Костас нашёл обоих братьев в кухне ресторана. Они уточняли с шеф-поваром меню на обед и закупку продуктов на грядущий день.

Йоргос, на четыре года старше Костаса, тоже обладал приятной наружностью, уступая красавцу-брату только небольшими близко посаженными глазами, коротко подстриженными прямыми волосами да обычным, не улучшенным спортивными занятиями телосложением. Он тоже носил короткую бороду и усики. А выражение его лица всегда было серьёзным. Анастасиосу недавно исполнилось двадцать семь лет, но выглядел он гораздо моложе из-за худых бритых щёк, пухлых губ и очков. Да и вся фигура младшего брата, невысокая и худощавая, проигрывала в сравнении со старшими.

Тем не менее он был весьма умен и лучше старших разбирался в финансовых тонкостях бизнеса, поэтому братья дорожили им.

— У нас пополнение! — сообщил Костас. — Французский шик, если я не ошибся. Сняла люкс на месяц.

— Уже выпрыгиваешь из штанов? — хлопнул брата по плечу Йоргос под смехок Анастасиоса.

— Не знаю, честно говоря, стоит ли? — задумчиво ответил Костас.

Гонг к обеду по английской традиции прозвучал в восемь часов вечера. Гости отеля, а было их в разгар сезона сотни полторы, все — в нарядных платьях и смокингах, как по команде, явились в ресторан. Лорель, в вечернем платье на бретельках, из золотистого шёлка простого покроя появилась в дверях ресторана последней, когда все уже минуты две сидели за столиками. Она встала на пороге, неторопливо оглядывая публику, а трое братьев с интересом смотрели на её точёный стан, оголённые руки и молодое лицо, которое ненавязчивые косметические акценты сделали весьма привлекательным. Волосы девушки были теперь собраны на затылке в объёмный пучок. Несколько прядей, правда, своенравно выбивались из причёски, но небрежность эта только добавляла шарма всему облику.

— Ну? — тихо спросил Костас, сам приятно удивлённый преображением новой гостьи.

— Да... — негромко одобрили оба его брата. Потом Анастасиос грустно вздохнул, а Йоргос равнодушно отвернулся.

— Прошу вас вот сюда, мисс, — официант указал девушке свободное место за одним из столиков.

Лорель под села к немолодой супружеской чете и их дочери. Англичане сразу напряглись. А их новая соседка, вежливо поздоровавшись, попросила официанта подать ей местного вина и с невозмутимым спокойствием принялась за еду. Отрывая глаза от тарелки, она наблюдала за братьями Коккалос, сначала стоявшими вместе у барной стойки. Затем Костас («С ним всё ясно», — мелькнуло в голове Лорель) пошёл к музыкантам, и те заиграли приятную мелодию. Анастасиос («Проще простого») вышел на большую террасу, примыкавшую к ресторану, и сев там за столик у стены под небольшой лампой, углубился в бумаги из принесённой с собой папки. Йоргос («Нужно подумывать») остался у стойки потягивать кофе.

Англичане заговорили друг с другом, игнорируя соседку по столу так же, как и она их. Между прочим, отец семейства сообщил:

— В новостях передали: младший Брейди разорился.

Уголки губ мадемуазель Бершо на мгновение приподнялись в лёгкой улыбке, потом лицо её вновь стало отстранённым. Покончив с супом и бараниной, девушка встала, взяла свой бокал с вином, вышла на террасу и без церемоний под села к Анастасиосу.

— Не помешаю? — спросила она по-английски.

Младший Коккалос оторвался от бумаг и отрицательно помотал головой, не веря в такое везение.

— Тут очень красиво, — продолжала Лорель. — Как-то чувствуется вечность. Вы давно здесь живёте?

— Всю жизнь. Я тут родился. И отец мой родился в Продромосе.

— Где?

— В деревне за стеной отеля.

— А я родилась в Люксембурге, но жила там недолго, — улыбнулась Лорель, потом глотнула из своего бокала и доверительно продолжила, кивая головой на публику в ресторане: — Эти снобы невыносимы. Я не ожидала, что будет так...

— В Ницце или в Каннах их гораздо меньше, — заметил Анастасиос.

— Гораздо меньше, — согласилась Лорель. — Но Лазурный берег мне не подходит. Мой врач отправил меня сюда. Он говорит, что это идеальное место, и в общем-то я с ним согласна. Я просидела сегодня на подоконнике часа два, любуясь вашими горами. И всё же... — Девушка очень внимательно поглядела в глаза собеседника, наклонилась поближе к нему и немного понизила голос. — Понимаете, мне осталось жить на свете очень недолго... Только не подумайте дурного, это не заразно... Ну так вот, мне совсем не хочется провести остаток жизни в компании чопорных британцев. Может быть, время от времени вы могли бы составить мне компанию?

— Я? — поразился сразу всему услышанному Анастасиос.

— Да, вы. Например, за утренним кофе.

— Я готов!.. Однако, глядя на вас, никогда не подумаешь... Может быть, все не так плохо?..

— Меня бы это порадовало. Но видите ли — это вопросы крови. Ставить их мой организм научился, а отвечать на них врачи ещё не умеют.

Лорель вынула из своей маленькой сумочки пачку «Вирджинии слимс» и тонкий мундштук из сандалового дерева, немного перекрученный вокруг своей оси, что выглядело очень изящно. Достав сигарету, она подождала, не предложит ли её собеседник огня, но он растерянно развёл руками. Тогда Лорель достала и золотую мужскую зажигалку с гравированным вензелем «VJ», прикурила сигарету, вставила её в мундштук и несколько раз неторопливо затянулась. В лице её не было печали, только удовольствие от приятного вечера и качественного табака. Через окно ресторана она наблюдала, как Костас танцует с английской дамой.

— Я плохо умею развлекать, — признался Анастасиос, смущаясь затянувшимся молчанием.

— Меня не нужно развлекать, — улыбнулась Лорель. — Вы очень мило молчите. Можете вернуться к вашим делам. Я только посижу здесь ещё немного, ладно?

— Сидите сколько вам угодно! — поспешно отозвался младший Коккалос.

— Спасибо! — одарила его нежным взглядом Лорель.

Она докурила сигарету, наблюдая за танцами, потом сделала ещё глоток вина.

Во время небольшого перерыва, пока музыканты отдыхали, Костас пошёл к раскрытым дверям на террасу подышать свежим воздухом.

- Пойду к себе. — Лорель поднялась.
- Я провожу, — вскочил и Анастасиос.
- Нет-нет, благодарю вас, оставайтесь.

Лорель, прихватив свой ещё недопитый бокал, направилась обратно в ресторан и на входе, споткнувшись шпилькой о порог, буквально упала в руки Костаса.

— У вас тут отменное вино! — засмеялась она, показывая остатки в бокале. Потом мурлыкнула: «Мерси, месье!», встала на ноги и направилась к выходу, слегка покачиваясь, а по дороге отдала бокал официанту.

Добравшись до номера, Лорель скинула туфли, распустила волосы и села в кресло, качая правой рукой в такт маятнику напольных часов. Вскоре в её дверь постучали.

— Вот! — Девушка сделала часам знак указательным пальцем и, подойдя к двери, спросила: — Кто там?

— Обслуживание номеров, — отозвался мужской голос.

Лорель приоткрыла дверь так, чтобы её фигура одновременно была видна и загораживала вход. В коридоре стоял Костас с бутылкой и двумя бокалами на подносе.

— Вам понравилось наше вино, и я взял на себя смелость... — заговорил он.

— Вы ошиблись! — Лорель решительно закрыла дверь перед Костасом и громко заперла замок.

Костас был поражён. Он ещё раз постучал, но ответа не получил. Постояв немного, он с досадой развернулся и, пройдя две двери по коридору, постучал в третью. Туда его впустили со словами:

- А говорил, что будешь занят.
- Освободился всё-таки ради тебя...

Лорель легла спать очень довольная собой.

К завтраку она спустилась тоже одной из последних. Анастасиос встретил её у входа в ресторан и повёл на террасу к маленькому столику в углу, сервированному на двоих.

— Прошу вас, — младший Коккалос усадил девушку и сел сам.

Официант тут же принёс две чашки чёрного кофе. Его на столе поджидали сливки, круассаны и абрикосовый джем.

— Превосходно! — одобрила Лорель. — То, чем я обычно завтракаю. Угадать было несложно? Ничего особенного.

Сначала она пила хороший крепкий кофе с круассаном и молчала, наслаждаясь каждым глотком. Потом попросила Анастасиоса:

— Расскажите мне про здешний распорядок. И вообще, что здесь есть?

— Два бассейна и теннисный корт.

— Конечно! Как же без него!.. Я не играю в теннис. А бассейн — это хорошо.

— Ещё можно погулять по фруктовому саду или по роще возле отеля. Жаль, апельсины давно отцвели... Можно спуститься в деревню. Там есть торговые лавочки со всякой всячиной. А распорядок обычный для

британцев: завтрак вот на веранде, потом в час дня ланч, файв-о-клок и обед с музыкальной программой. Скоро у нас будет петь Элизабет Бейнбридж. Ещё у нас хорошая библиотека и каминный зал, где наши гости курят и читают свежие газеты.

— Ладно, пока осмотрюсь. Спасибо!

Лорель допила кофе, подошла к краю террасы и несколько минут разглядывала бассейны. В большом, предназначенном для взрослых постояльцев, уже кто-то плескался. Потом ушла к себе.

— Как тебе удалось с ней сойтись? — подскокил к младшему брату Костас.

— Она сама вчера подседа ко мне и предложила компанию к завтраку.

— Врёшь! С чего бы ей?

— А мне с чего врать? Ты сам видел, как мы вместе завтракали, — улыбнулся Анастасиос с неведомым ранее приятным чувством превосходства над Костасом.

— И что она тебе говорила?

— Да ничего особенного, — укрепился в своём новом чувстве младший Коккалос.

Костас недовольно поджал губы.

Неторопливая прогулка по роще и улочкам Продромоса заняла пару часов. Лорель шагала медленно и с удовольствием вдыхала аромат сосен и кедров, трогала их тёмные шершавые стволы, любовалась золотистыми листочками похожих на кусты дубов. Выйдя в деревню, девушка сощурилась от солнца и сделала глубокий вдох: чудесные горные вершины, открывшиеся её взору, и огромное чистое небо дарили ощущение полёта. Пройдя меж белых домиков, заросших олеандрами, Лорель нашла на окраине деревни местечко, с которого открывалась широкая панорама. Там она села прямо на траву и долго созерцала окружающий мир.

Ланч прошёл тихо. Анастасиос из чувства такта не навязывал девушке своё присутствие, а Лорель не давала ему понять, что нуждается в компании. Костас же был занят разбором жалобы на плохую уборку в одном из номеров.

Послеобеденное время Лорель провела у себя, листая журналы, которые прихватила в аэропорту, а в начале четвёртого спустилась к большому бассейну в шифоновом платье-халате, под которым виднелся полосатый как тельняшка сплошной купальник, в больших солнцезащитных очках и всё в той же бейсболке. Лорель скинула платье и растянулась в шезлонге. Очки скрывали направление её взгляда, и девушка спокойно рассматривала загорающую и купающуюся публику. Тела были ухоженными, хотя в большинстве своём далёкими от идеала, купальники — дорогими. Эмоции проявлялись сдержанно, и только подростки, которых Лорель насчитала пять человек, вели себя более естественно, шумно плескались в воде и прыгали с невысокого каменного трамплина.

Отель своими двумя крыльями как руками обнимал внутренний двор и бассейны, ограждая отдыхающих от ветра, и вне деревянного навеса было достаточно жарко. С чувством ленивой кошки Лорель прикрыла глаза...

Первые признаки «отлива» она почувствовала кожей. Оглядевшись, девушка заметила, что гостей у бассейна стало меньше, и потихоньку оставшиеся тоже собираются уходить. Она посмотрела на часы: половина пятого.

По лестнице, которая уходила куда-то за навес, одним из последних поднялся Костас в цветастых шортах, демонстрируя своё красивое спортивное тело. «Античный герой» обвёл взглядом пространство у бассейнов, углядел мадемуазель Бершо и направился к ней.

Подойдя и присев на соседний, свободный уже, шезлонг, Костас заговорил:

— У вас такая белая кожа. Опасно подставлять её прямым лучам солнца.

— Мой крем прекрасно меня защищает, — проговорила Лорель, глядя на Костаса сквозь очки.

— Тогда я спокоен, — улыбнулся тот и, кивая на потянувшихся в корпус последних посетителей бассейна, сообщил: — В пять подадут чай с печеньем.

— Не сомневаюсь. Принесите мне лучше коктейль, — попросила девушка.

— Какой пожелаете? — с готовностью вскочил Костас.

— На ваше усмотрение.

Молодой человек исчез, а вернувшись, протянул девушке бокал с золотистым напитком, увенчанный долькой лимона.

Лорель приподнялась, взяла напиток и глотнула из трубочки.

— Неплохо, — одобрила она. — Это что?

— Бренди Сур. Его готовят только у нас. А создавали его для короля Египта Фарука. Он здесь отдыхал.

Пока Лорель потягивала приятный напиток с виноградно-лимонным вкусом, приправленным терпкостью трав и корней, Костас ласкал взглядом её округлые плечи и стройные ноги.

— Вы прослывете чудачкой у здешней публики, — отметил он.

— Меня это должно беспокоить?

— Не знаю. — Костас опять улыбнулся. — Наверно, не слишком. Вы другая...

— Вы это заметили?

— Конечно. Надеюсь, вам нравится здесь?

— Пока да.

Лорель допила коктейль и протянула собеседнику пустой бокал. Молодой человек принял его, пальцами коснувшись руки девушки. Лорель решительно освободилась, потом спросила, указывая за навес:

— Куда ведёт та лестница?

— В душевые. Если хотите смыть с себя морскую соль, могу потереть вам спинку, — предложил Костас.

— Сегодня я не купалась. — Девушка поднялась, накинула платье и, сделав Костасу прощальный жест рукой, пошла к себе.

На обед она явилась в том же платье, что и накануне. Поела за своим столиком вместе с английским семейством, учтиво улыбнувшись в ответ на их приветствие, но не вступая с ними в беседу. Потом ушла, не обратив внимания ни на кого из братьев Коккалос, хотя двое из них часто поглядывали в её сторону.

За завтраком Анастасиос воспользовался предоставленным ему правом, снова встретил девушку на пороге ресторана и проводил к «их» столику с круассанами.

— Как мило! — одобрила его поведение Лорель. — Буду счастлива, если этот ритуал станет повторяться каждое утро. Совсем по-английски, — она рассмеялась. — А если серьёзно, я, правда, очень рада нашему с вами утреннему кофе. — Она вновь одарила Анастасиоса ласковым взглядом.

— Я тоже очень рад, — проговорил тот, краснея.

— А я не отвлекаю вас от дел? — продолжала Лорель. — Даже вечером, когда ваши братья свободны, вы всё с бумагами.

— Мне с бумагами проще, чем с людьми, — признался Анастасиос, — вернее, с цифрами. Я веду бухгалтерию.

— Так у вас — разделение обязанностей? А я всё думала, как это вы втроем управляете?

— Да, у нас Йоргос больше по хозяйственной части, Костас отвечает за персонал, я — за финансовую сторону бизнеса. Но не скажу, что братья не вмешиваются в мои дела, особенно по части деления прибыли.

— По-моему, они не правы, — заметила Лорель. — Мне кажется, вам можно доверять. Вероятно, только вам и можно... — задумчиво добавила она.

Анастасиос был польщён и с благодарностью глядел на девушку, пока она, всё так же погружённая в свои мысли, заканчивала завтрак. Потом они расстались.

Возвращаясь к себе, Лорель увидела на верхней площадке главной лестницы Йоргоса. Он что-то чертил в блокноте, стоя у стены. Девушка приблизилась к старшему из братьев и обратилась к нему с вопросом:

— Внутренне убранство отеля, мебель в духе королевы Виктории, все эти картины достойных мастеров на стенах — это ведь ваша заслуга?

— Изначально это всё придумал мой отец. А я помогал ему потом менять то, что вышло из строя, — оторвался от своего занятия Йоргос. — Ну и картины я покупал.

— У вас хороший вкус. Я тоже люблю Милле и Альма-Тадему, — продолжала Лорель. — Формализм, абстракция — это не моё. А музыка и кухня у вас здесь только британские?

— В основном, да. Ваши соотечественники выступают здесь крайне редко. Блюда же...

— Нет, вы не поняли. Я не об этом. Вот во Франции если приехать, скажем, в нормандскую деревню, там можно увидеть женщин в таких высоких головных уборах и полосатых платьях, попробовать мидии в соусе маринера или кролика в сидре, послушать нормандские песни. У вас же на Кипре есть что-то своё? Уж музыка точно.

— Вы хотите увидеть нашу национальную культуру? — Взгляд Йоргоса стал более заинтересованным.

— Увидеть, услышать, попробовать.

— Это можно сделать в любой таверне.

— Не могу же я одна пойти туда. Да и качество таких мест разное, наверно, как и везде. Не согласитесь ли вы отвести меня в достойное заведение? — попросила Лорель.

— Извольте. Когда хотите?

— Давайте сегодня вместо английского обеда.

— В семь часов я буду ждать вас внизу, в холле.

Когда облачённые в обязательные для английской вечерней трапезы смокинги Костас и Анастасиос зашли за старшим братом, они сильно удивились его джинсам и голубой рубашке с расстёгнутым воротом.

— У нас поменялся дресс-код? — поинтересовался Костас.

— Я не иду на обед. Я везу француженку в Платрес, — ответил Йоргос.

— Она из Люксембурга, — поправил Анастасис, хмурясь.

— Зачем? — Удивление Костаса тоже почернело.

— Она захотела поужинать в таверне, — сообщил братьям Йоргос.

— С тобой?! Вся любовная романтика в отеле — по моей части! — возмутился средний из них. — А ты... Ну чем ты можешь её заинтересовать?

— Ты уже подкатывал к ней? — спросил Йоргос, задетый словами Костаса.

— Да.

— И что?

Костас промолчал и насупился.

— Значит, на мадемуазель Бершо твои чары не действуют? — Лицо Йоргоса озарила довольная улыбка.

— Подействуют, не сомневайся!

— Ты думаешь? Я не уверен. Похоже, она не из твоего курятника. Похоже, ты для неё прост как пенс.

— Зато ты у нас — мудрёный импотент! — закипел Костас. — Только глядеть на неё сможешь, как на картину. И больше ничего!

— Перестаньте! — не выдержал Анастасиос. — Прекратите так о ней! Она умрёт скоро, а вы...

— Как умрёт? — Оба старших брата уставились на младшего.

— Она мне сказала, что ей осталось очень мало жить. Что-то там с кровью...

Повисла пауза: препиравшиеся братья растерянно замерли. И лишь спустя минуту бой часов словно вновь включили их.

— Она меня ждёт, я пошёл, — бросил Йоргос и побежал в холл.

Лорель, тоже в джинсах и шёлковой белой блузке с длинными широкими рукавами, спустилась к нему минут через десять. Молодые люди вместе покинули отель под завистливые взгляды Костаса и Анастасиоса, сели в серый «Бентли» и покатали по узкой горной дороге в селенье, ещё более уединённое, чем Продромос, но знаменитое своими виноградниками.

— Я решил отвезти вас в другую деревню. Дорога займёт полчаса. Не возражаете? — уточнил Йоргос.

— Нет. Снова полюбуюсь на окрестности, — ответила девушка.

Она опустила стекло, и ветер трепал её длинные распущенные волосы. Йоргос уверенно вёл машину по знакомо петлявшей дороге, осмысливал разговор с братьями и невольно гордился тем, что именно он едет сейчас с Лорель.

Чтобы было нескучно, Йоргос нажал кнопку магнитолы. Оттуда полились малопривычные звуки электронной музыки.

— Ого! Вы слушаете Жара? — воскликнула девушка.

— В музыке у меня широкие пристрастия. Выключить?

— Нет, пусть играет.

Когда меж горных склонов показались беленькие домики с красными черепичными крышами, очень эффектными на фоне зелёного леса, машина замедлила ход и остановилась у таверны с открытой верандой под невысокой балочной крышей и приветливо зажжёнными фонарями. Несколько семейств уже сидело за столиками. Двое немолодых музыкантов, один — с гитарой, другой — за электрическим фортепиано, настраивали свои инструменты.

— Сядем здесь, на воздухе? — предложил Йоргос.

Лорель согласилась.

Они расположились за столиком в центре веранды.

— Добрый вечер, господин Йоргос! — приветствовал гостя хозяин таверны на кипрском языке. — Как ваш славный отель? Процветает?

— С Божьей помощью, — кивнул старший Коккалос и снова обратился к Лорель по-английски: — Я сделаю заказ на свой вкус?

Девушка кивнула, с любопытством осматриваясь и прислушиваясь к незнакомому звучанию слов.

— Порази мою иностранную гостью, дорогой Пасхалис, — вернулся Йоргос к разговору с хозяином таверны и к родному языку. — Клефтико у тебя сегодня какое?

— Из ягнёнка, как раз то, что нужно! — заверил Пасхалис.

— И сувлаки. Они у тебя бесподобны. Разные подай, и шефталли, пусть гостя попробует. И вина, самого лучшего Мавро.

— Всё сделаю, ругаться не станете. Вы ж меня знаете!

Пасхалис удалился на кухню. А проворный юноша в белой рубашке и чёрных брюках поставил на стол перед молодыми людьми два высоких бокала с жидкостью мутно-молочного цвета и большое блюдо с морепродуктами.

— Аперитив. Анисовый бренди со льдом. И мезе, — пояснил Йоргос.

Лорель пригубила напиток и отказалась:

— Слишком крепкий для меня.

Йоргос немного смутился, но вместе с тем и порадовался.

— Это тоже семейный бизнес, — обвёл он рукой заведение, чтобы начать разговор. — Пасхалис — уже не знаю, какое поколение, которое держит эту таверну. А у его кузена — винодельня здесь, и очень приличная. С бренди вышла промашка, но вино вам понравится, я вас уверяю.

— А у меня нет семьи... — задумчиво проговорила Лорель.

— Что, совсем никого?

— Совсем. Мы уж слишком давно не общаемся. Я сама себе хозяйка, — улыбнулась девушка.

Уже заметно стемнело, и Йоргос проговорил:

— Здесь рядом есть красивый водопад. Вернёмся сюда днём? Я покажу.

— Хорошо, как-нибудь вернёмся.

Вдруг Лорель обернулась и внимательно поглядела на компанию, довольно громко что-то обсуждавшую. По виду это были коренные киприоты. Девушка вновь повернулась к Йоргосу и пояснила:

— Мне слышались французские слова.

— Наследство от Лузиньянов, — кивнул тот. — В нашем языке полно французских слов.

— Тогда почему я ничего не понимаю, когда вы говорите на своём языке?

— Потому что там ещё и греческие слова, и итальянские, и английские...

— Похоже на ваше мезе со всякой всячиной, — пошутила Лорель.

— Да, похоже, — рассмеялся Йоргос.

На столе появились украшенные зеленью шашлычки на деревянных шпажках, колбаски, пара глиняных горшочков с сочной ягнятиной и овощами, и запотевшая бутылка красного вина. Зазвучала музыка, глубокая и в то же время близкая, лирическая и ритмичная одновременно, она мгновенно пленяла душу, проникала в неё, награждая богатой палитрой ощущений. Скоро Лорель уже помахивала рукой или постукивала туфелькой в такт.

— Очень вкусно, — сказала она про еду. — Спасибо!

— Я рад, что здесь попал в яблочко. Позвольте мне выпить за вас! — Йоргос поднял бокал. — За ваше приятное пребывание на Кипре.

Лорель благосклонно наклонила голову и подняла бокал в ответ. Вкус местного вина, немного горьковатый, тоже понравился ей. Вечер складывался удачно.

К голосу инструментов присоединился голос певца, не слишком сильный, но с хорошим диапазоном. Песни звучали жизнерадостные, и публика, покинув свои места, принялась танцевать. Йоргос сначала просто смотрел, потом начал подбадривать танцующих криками и хлопать. Когда же музыканты заиграли сиртаки, безумно популярный на Кипре со времён «Грека Зорба», танцующие стали настойчиво звать Йоргоса к себе.

— Идите, идите, — присоединилась к ним Лорель.

Йоргос глотнул вина и вышел из-за стола. Он танцевал, обняв своих товарищей за плечи, с большим удовольствием и очень недурно. Лорель смеялась и хлопала в ладоши, а её одобрение окрыляло Йоргоса...

Он вернулся на место, дыша глубоко и шумно. Чтобы дать отдохнуть и другим, зазвучала лирическая, очень мелодичная, хотя по-прежнему ритмичная песня. От голоса певца с его высокими нотами щемило сердце.

— О чём он поёт? — спросила Лорель.

— О жестокой судьбе. — Йоргос собрался было перевести песню дословно, но заметил влажную пелену в глазах собеседницы и промолчал.

Лорель перевела взгляд на певца и внимательно слушала. Лёгкая улыбка осушила слёзы девушки, не дав им пролиться. А Йоргос так и не смог оторвать глаз от её лица...

Когда песня кончилась, он крикнул музыкантам:

— Моя спутница грустит! Исправляйте оплошность!

Гитара заиграла веселее, и скоро второй музыкант начал ставить себе на голову стаканы с водой, налитой до половины. Уже с десятком стаканов на голове он оказался перед Лорель. Каждый стакан стоял на деревянной дощечке поверх предыдущего. Как они не падали с головы артиста, как он умудрялся, не держа их руками, ещё и двигаться, Лорель не понимала и восхищённо следила за этим практически цирковым номером. Артист предложил девушке поставить наверх ещё один стакан и присел перед ней. Йоргос положил дощечку. Лорель поставила на неё самый обычный стеклянный стакан, артист поднялся и отошёл, пританцовывая, поражая девушку своим искусством. Лорель снова смеялась и хлопала в ладоши. Смеялся и Йоргос...

Близилась полночь, когда им подали крепкий чёрный кофе.

— Хотите чего-нибудь сладкого? — предложил девушке её спутник.

Лорель отрицательно помотала головой и проговорила:

— Хочу домой. Вернее, в вашу «Беренгарию».

Йоргос ненадолго отлучился и, вернувшись, позвал:

— Едем?

— А как? Вы же пили.

— Два бокала вина? Это пустяки. Они уже выветрились.

— А бренди тоже выветрился?

— Конечно. Не волнуйтесь, я вас очень аккуратно доведу, — заверил свою спутницу Йоргос.

Они сели в машину и покатали по совершенно тёмной дороге. Фары освещали её неплохо, но дорога много петляла, так что временами просто пропадала из виду. Однако Йоргос прекрасно ориентировался, вёл машину осторожно, Лорель было спокойно рядом с ним.

— Напомните, как пел певец? Как будет «жестокая судьба»? — попросила она.

— Склири мойра, — ответил Йоргос.

Лорель попыталась повторить. Вышло у неё неправильно и очень смешно. Йоргос произнёс фразу снова. Но из-за особенностей врождённого произношения набор звуков, который должен был означать жестокую судьбу, с каждой новой попыткой девушки становился всё вычурнее, доводя обоих спутников до безудержного хохота. Несколько раз Йоргос поворачивался к Лорель, чтобы более внятно проговорить неподдающуюся фразу. Тогда Лорель кричала по-французски: «Смотри на дорогу!», сопровождая свой приказ жестом руки. Йоргос понимал только указующий знак и слушался какое-то время.

— А как это будет по-французски? — поинтересовался он.

— Дэстэн крьюэль, — перевела «жестокую судьбу» Лорель, и теперь уже настал её черёд внятно повторять это словосочетание, пытаясь исправить невообразимые звуки, издаваемые Йоргосом.

Так весело и благополучно они добрались до отеля и, всё ещё смеясь, пересекли холл, поднялись по лестнице до номера 24.

— Спасибо! Ужин был потрясающий, — проговорила девушка.

— Это я должен вас благодарить, — возразил Йоргос. — Тут в суматохе совершенно забываешь, кто ты есть. Английский язык, английский распорядок, английские манеры... Вы дали мне возможность вернуться в мой мир. Вам спасибо!

Йоргос поцеловал девушке руку.

— Доброй ночи! — улыбнулась Лорель, шагнула в номер и закрыла за собой дверь.

Йоргос, так и сиявший от счастья, прижался рукой к двери на несколько секунд, потом направился к себе.

Входя в отель, молодые люди не заметили сидевшего в кресле в углу холла Костаса. А он проводил их вверх по лестнице тяжёлым, мрачным взглядом, не шевелясь и не двигаясь с места. Когда же Йоргос вновь появился и неторопливо направился в свою комнату, взгляд Костаса немного посветлел. Поднявшись, ревнивый красавец тоже отправился спать.

Встретив утром братьев Коккалос, Лорель улыбнулась и кивнула Йоргосу, но под руку взяла Анастасиоса, не меняя своего решения завтракать именно с ним.

— Понравился вам ужин в деревенской таверне? — спросил довольный Анастасиос.

— Да, очень. И вкусно, и весело, — отозвалась Лорель. — Ваш брат даже пытался говорить по-французски.

— Французы триста лет пытались учить нас своему языку, когда правили Кипром, — заметил Анастасиос.

— Вы сказали таким тоном, будто до сих пор злитесь за это на них, — улыбнулась Лорель.

— Скорее на Ричарда Львиное Сердце, который захватил наш остров, а потом торговал им направо и налево.

— И именно поэтому ваш замечательный отель назван в честь его жены, — прищурилась мадемуазель Бершо.

— Когда отец строил отель, было важно только, что Беренгария — английская королева, которая когда-то жила на Кипре. Ну и вся эта история, как Ричард освобождал её.

— Расскажите, — попросила Лорель.

Анастасиос думал, что подвиги легендарного короля-рыцаря известны всем, но, уступая собеседнице, принялся излагать:

— Ричард с большим флотом двигался на помощь королю Филиппу Французскому, который осаждал Акру. На одном из кораблей плыли сестра Ричарда и принцесса Беренгария. Уж почему она там оказалась, простите, не помню. На море поднялся сильный шторм, флот Ричарда изрядно потрепало, а часть кораблей вообще затерялась, и корабль с принцессами тоже пропал. Когда шторм утих, эти корабли оказались в гавани Лимассола, и их захватил в плен наш император Исаак. Опять же вместе с принцессами. Ричард починил свой флот на Родосе и прибыл сюда. Появление английской

армады испугало Исаака, он всячески избегал битвы и всё же умудрился её проиграть, имея армию гораздо больше армии Ричарда. Так английский король захватил весь наш остров. А через пять дней в Лимассоле обвенчался с Беренгарией. Потом он гонялся по горам за Исааком, пока не взял его в плен и не отправил в Сирию. В итоге Ричард провёл здесь двадцать пять дней весьма неплохо.

— Зачем же он торговал Кипром?

— Нуждался в деньгах, конечно. Войны дорого стоят. Ричард сначала продал наш остров тамплиерам, но тем было не до нас, и тогда Кипр перешёл к человеку, вместе с которым Ричард ловил Исаака, к Ги де Лузиньяну.

— С ним тоже здесь связана какая-то романтическая история, как я слышала.

— Да, он пленил дочь Исаака. Говорят, они были любовниками и встречались в замке святого Иллариона. По-французски этот замок называют «Бог любви».

— Дьё д'амур? И Афродита родилась на вашем острове. Чрезвычайно романтическое место!

Лорель закончила завтрак и простилась с Анастасиосом.

Прогулявшись до деревенской лавочки с фруктами, Лорель вышла к бассейну, поплавала в прозрачной воде и растянулась в шезлонге так, чтобы видеть лестницу к душевым. Когда вниз направился Костас, Лорель встала и тоже пошла туда, стараясь оставаться незамеченной для красавца. Это было нетрудно, — по лестнице спускалось и поднималось ещё несколько человек. Душевые кабинки с бетонными стенами и деревянными дверями располагались под площадкой с навесом. В одну из них нырнул Костас. За кабинками был сделан в горе небольшой коридор для хранения хозинвентаря. Лорель спряталась в этом коридоре и стала наблюдать. Наступало время ланча, отдыхающих здесь уже не было, и девушка изрядно подмёрзла, когда из интересующей её кабинки вышла высокая дама лет сорока. Проводив её взглядом, Лорель вышла из укрытия и ещё немного подождала. Костас открыл дверь той же кабинки и на пороге столкнулся с мадемуазель Бершо.

— А вы мастер тереть спинку, — проговорила она.

— Я? Вы ошибаетесь, — попытался возразить красавец.

— В вас? Определённо нет! — Девушка повернулась к собеседнику спиной и направилась в отель.

Костас сжал кулаки и жарким шёпотом воскликнул:

— Чёрт! Чёрт!! Чёрт!!!

Лорель вернулась в номер и заперлась, повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Включив радиоприёмник, она искала местную музыку, а найдя, сделал громче. Из мини-бара девушка достала бутылку «Коммандарии», наполнила бокал и, пританцовывая, чокнулась со своим отражением в зеркале.

Когда Лорель пропустила ланч, это сильно огорчило Костаса, который намеревался с ней поговорить, и несколько насторожило двух других братьев. Когда же девушка не явилась к обеду, все трое сильно заволновались

и вышли из ресторана, чтобы спокойно поговорить. Начал Йоргос, и с первых же его слов стало ясно, что о спокойствии можно забыть.

— Почему она не выходит? Что случилось? Что произошло за завтраком? — набросился в итоге старший брат на младшего.

— Да ничего не произошло, — растерянно пожал плечами Анастасиос. — Мы говорили о Ричарде, о Лузиньяне, я просто рассказывал, она слушала...

Костас молчал, поджав губы. Он был уверен, что Лорель не показывается из-за него.

— Давайте поднимемся к ней и спросим, что случилось, — предложил Анастасиос.

— Всем сразу нельзя, ещё напугаем, — заметил Костас. — Я пойду, а вы подождите.

— Нет, я пойду, — схватил брата за рукав Йоргос, пытаясь задержать.

— Почему ты? — дёрнул рукой Костас.

— Потому что я старший. — И Йоргос сделал шаг к лестнице.

— Ну и что! Это не детские игры! — Костас схватил брата за отвороты смокинга.

— Перестаньте! — постарался влезть между ними Анастасиос, опасаясь драки. — Может, это из-за болезни?

— Я схожу, ждите! — Йоргос решительно отцепил руки Костаса и пошёл на второй этаж.

Дойдя до двери номер 24, он немного послушал. За дверью было тихо. Йоргос постучал. Ответа не последовало. Он снова постучал и позвал:

— Мадемуазель! Мадемуазель Бершо!.. Лорель!..

— Да, Йоргос? — отозвалась девушка, не открывая.

— С вами всё в порядке?

— Да, всё хорошо.

— Вы не пришли на обед...

— Я не голодна. Не волнуйся, Йоргос, всё хорошо, — повторила она, радуя собеседника тем, что называет его по имени.

— Впусти меня, — попросил он.

— Нет, прости. Мне нужно побыть одной.

— Почему? — спросил Йоргос, но ответа не получил. Тогда он задал другой вопрос: — Завтра я тебя увижу?

— Непременно!

Это обещание немного успокоило Йоргоса.

— Тогда доброй ночи, Лорель!

— Доброй ночи! — донеслось из-за закрытой двери.

Старший брат вернулся к двум другим.

— Ну что? — нетерпеливо дёрнули его оба.

— Она мне не открыла. Сказала, что ей нужно побыть одной и что всё хорошо. Подождём до завтра? — как-то неуверенно заключил он, но братья с ним согласились:

— Подождём до завтра.

Они вернулись в ресторан. Йоргос, как обычно, остановился у барной стойки, наблюдая, все ли гости довольны едой и концертом, Анастасиос отправился на террасу изучать финансовые отчёты, а Костас пошёл танцевать.

Некоторое время спустя Анастасиос по боковой служебной лестнице прошмыгнул в коридор отеля, поднялся к номеру Лорель и постучал:

— Кто это? — спросила девушка.

— Ваш партнёр по утреннему кофе.

Лорель открыла дверь, не пропуская, впрочем, молодого человека внутрь. Анастасиосу показалось, что она слишком бледна.

— Что с вами? — спросил он, стесняясь такой бесцеремонности.

— Ничего, просто немного устала, — ответила Лорель. — А что, я плохо выгляжу?

— Нет-нет, — ещё больше засмутился Анастасиос.

— Тогда встретимся за утренним кофе.

И девушка закрыла дверь.

Анастасиос спустился к себе, довольный хотя бы тем, что увидел Лорель, в отличие от старшего брата.

Поздним вечером, станцевав почти со всеми гостями отеля, к двери номера 24 приблизился Костас.

— Да? — услышал он вопросительный возглас в ответ на свой стук.

— Это Костас Коккалос, мадемуазель, — назвался он. — Мне нужно с вами поговорить.

— О чём?

— Вы сами знаете, — продолжал общаться Костас с закрытой дверью.

— Вы шутите? Я давно уже сплю. Доброй ночи!..

Лорель спустилась к завтраку как ни в чём не бывало и под руку с Анастасиосом проследовала к «их» столику.

— Вы заставили нас поволноваться, — заметил младший Коккалос.

— Нас?

— Мы все трое беспокоились, — кивнул Анастасиос. — Особенно когда вы не открыли Йоргосу.

— Но когда я вам открыла, вы убедились, что всё в порядке?

Молодой человек неуверенно кивнул.

— А вы все трое следите за каждым своим гостем? — спросила Лорель.

— Мы не следим, — опешил Анастасиос. — Мы просто волновались за вас.

— Волновались? Я что не могу спокойно в номере посидеть? Или уйти куда-нибудь?

— Конечно, можете. Мы просто испугались: вдруг с вами что-то случилось...

— Ничего не случилось, — с раздражением заметила Лорель.

— Простите меня, мадемуазель! Я отчего-то решил, что мы стали друзьями, и позволил себе больше, чем следовало.

— Французские друзья называли меня Лоло, — сменила гнев на милость девушка. — Правда, их не осталось, потому что несколько последних лет

я прожила в Штатах. Будем друзьями. Зови меня Лоло. И на правах друга можно тебе дать совет?

— Конечно, — обрадовался молодой человек.

— У тебя слишком скучная причёска, она тебя портит. Можно, я кое-что изменю? — И поскольку Анастасиос молчал, прибавила с очаровательной гримаской: — Пожалуйста!

— Ну хорошо, — поддался младший Коккалос.

— Тогда идём ко мне.

И Лорель потащила своего кавалера в номер.

На лестнице их догнал Йоргос и, косясь на брата, предложил девушке:

— Поедем сегодня на водопад?

— Поехали. После ланча, — согласилась Лорель.

Приведя Анастасиоса напрямиком в свою спальню, она усадила его в кресло перед трюмо, сама встала между молодым человеком и зеркалом и сняла с Анастасиоса очки. Сердце молодого человека то колотилось, то замирало, ему нестерпимо хотелось обнять девушку, но он не решался. А Лорель взяла из баночки немного геля для укладки волос, растёрла его на ладонях и принялась колдовать над волосами Анастасиоса. На висках она зачесала их к затылку, а спереди и на макушке приподняла. Большой прядью она прикрыла молодому человеку лоб. Жёсткие чёрные волосы с непривычки не слушались, и девушке пришлось повозиться. Анастасиос не возражал и млея от её прикосновений. Когда же, по мнению Лорель, её старания достигли успеха, она надела молодому человеку очки и отошла. Анастасиос оказался перед своим отражением в зеркале и несколько опешил: новая укладка преобразила его в настоящего симпатягу. Такого эффекта он не ожидал и глядел на себя, не узнавая.

— Нравится? — спросила Лорель.

— Это не я!..

— Конечно, ты. — Девушка взяла его за руку и подняла: — Иди, поражай окружающих.

И пока Анастасиос ещё не справился со своим удивлением, Лорель подвела его к выходу и открыла дверь. В этот момент к двери подходил Костас. При виде непривычно взъерошенного брата, выходящего от Лорель, в голове красавца мелькнуло подозрение, которое, впрочем, Костас склонен был считать абсурдным. Под насторожённым взглядом брата Анастасиос гордо расправил плечи и торжественно удалился.

— Вы ко мне? — иронично обратилась Лорель к Костасу.

Тот кивнул. Тогда девушка впустила его в номер.

— Вчера вышло недоразуменье, — начал Костас.

— Разве? — Девушка округлила глаза.

— В душевой. Вы, наверно, подумали...

— Ничего я не думала. Вообще.

Чем больше Лорель делала вид, что ничего не произошло, тем больше Костаса распирало выговориться:

— Понимаете, в мои обязанности входит сделать отдых в нашем отеле максимально приятным, чтобы гости возвращались сюда снова и снова. Это

стабилизирует доходы. И если некоторые дамы хотят чуть больше ласки, приключений...

— Я всё понимаю, — пропела Лорель и замолчала.

Тон, которым она говорила, и весь её вид совершенно не походили на тон и вид обиженного человека.

— Так это не из-за меня вы вчера заперлись? — спросил Костас.

Лорель закатила глаза к потолку:

— Бог с вами! Уж точно не из-за вас.

— Значит, Стасис прав, из-за болезни? Но вы так хороши, что я всё время забываю о ней.

— Поэтому вы мне и нравитесь, — очень просто сказала Лорель, и вдохновлённый Костас предложил:

— Тогда давайте проведём время вместе?

Но Лорель отказалась:

— У меня другие планы.

Костас чувствовал, что в своих отношениях с этой девушкой вопреки её признанию не продвинулся ни на шаг с момента её приезда, и это бесило красавца, сознававшего, что братья достигли гораздо больших успехов.

«Античному герою» опять пришлось уйти ни с чем, а девушка уделила пару часов бассейну, потом перекусила и вместе с Йоргосом снова поехала в Платрес, вернее — чуть дальше за деревню, к водопаду Миллиомерис.

Это действительно было красивое место. В широкой расщелине между серо-коричневыми каменными глыбами, покрытыми сверху изумрудной растительностью, падали вниз серебристые струи. Шум воды сопровождался щебетом птиц. Лорель по камням пробралась как можно ближе к водопаду. Холодные брызги освежали и веселили её.

Йоргос прихватил с собой «Полароид».

— Можно, я тебя снимаю?

Лорель кивнула. Они долго выбирали места и позы не только возле водопада, но и в горах неподалёку. Щёлкала фотокамера, фиксируя мгновения, а пейзаж вокруг не переставал восхищать. Солнце меняло своё положение, тени перемещались, тонкие ветви деревьев служили великолепным обрамлением для Лорель, большие валуны — пьедесталом или тронном, а сами горы — потрясающим фоном, и очень хотелось запечатлеть всё вообще и каждую мелочь отдельно.

Наделав массу снимков и заметив, что уже вечерет, Йоргос предложил:

— Поужинаем у Пасхалиса?

— Нет, — отказалась Лорель и пояснила: — Я хочу вернуться в английскую цивилизацию раньше, чем ты выпьешь. Может, это странно слышать от меня, но я боюсь ездить так, как в прошлый раз.

— Прости, что вмешиваюсь, но разве совсем нельзя тебе помочь? Я приглашу лучших в мире врачей! — предложил Йоргос.

— Не надо! Уже приглашали. Я сыта по горло врачами, прекрасно знаю всё, что они скажут, и видеть их больше не хочу. Не омрачай моё существование.

— Ладно, не буду, — пообещал Йоргос. — Но если тебе нужен особый уход или лекарства...

— Ели ты не прекратишь обращаться со мной как с больной, я перестану общаться с тобой. Или даже уеду с Кипра, — очень резко и зло пригрозила Лорель.

— Прости, прости, больше буду, всё! — поторопился извиниться Йоргос.

Вернувшись в «Беренгарию», он проводил спутницу до номера и велел служащим ресторана накрыть за обедом столик и для него.

К вечерней трапезе Лорель вышла в красном платье с длинными рукавами. Тёмные волосы девушки были асимметрично заколоты, открывая правое ухо и пряча левое.

Йоргос ждал её у входа в ресторан.

— Ты ослепительна! — восхитился он, взял Лорель под руку и провёл к своему столику. — Я позволил себе отделить тебя от прочих. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?

Йоргос усадил девушку и сам сел напротив. Его младшие братья, стоя у бара, пристально наблюдали за новым поворотом дела. Когда же заиграла музыка, Костас мгновенно оказался подле Лорель:

— Позвольте вас пригласить?

Девушка благосклонно протянула Костасу руку. Такой эффектной пары «Беренгария», пожалуй, не видела. Красота лиц и фигур дополнялась ярким сочетанием чёрного, белого и красного цветов, изяществом движений и удольствием обоих партнёров.

Теперь уже настал черёд Йоргоса пристально наблюдать.

Но, несмотря на некоторую напряжённость, обед для всей компании вышел приятным. Постепенно все три брата оказались за одним столом с Лорель. Костас иногда отлучался танцевать с другими дамами, давая девушке возможность отдохнуть, поесть, побеседовать с Йоргосом и Анастасиосом о горах и водопадах, однако, желая закрепить свои достижения, неизменно возвращался к Лорель, а в конце трапезы первый предложил проводить девушку.

К явному неудовольствию Йоргоса Лорель согласилась и покинула ресторан уже под руку со средним братом. Следом за ними Йоргос тоже вышел в коридор и стал нервно прогуливаться там.

Костас довёл мадемуазель Бершо до номера, взял её руку и поднёс к губам:

— Благодарю за сказочный вечер! — Поцеловав тонкие длинные пальцы девушки, Костас не собирался их отпускать. — Очень жаль было бы завершить его здесь, в коридоре. — Он снова приласкал губами пальчики Лорель.

— Дорогой мой, — девушка нежно провела ладонью по щеке собеседника, — теперь ты пойми: я никогда не буду одной из твоих курочек.

— Это Йоргос? Ну, не ожидал я от него! — вспыхнул Костас.

— Чего не ожидал?

— Это же он называет «Беренгарию» моим курятником.

— Да? Я не знала. — Лорель усмехнулась. — Просто очень похоже... Так вот, пока ты топчешь кур в своём курятнике, обо мне не помышляй.

— Это бизнес. Как можно равнять тебя с ними? — попытался возразить Костас, но Лорель перебила его:

— Я ничего не хочу знать. Попрощайся со всеми любовницами, и тогда у тебя будет шанс.

— Но мы лишимся нескольких постоянных гостей...

Даже не пожелав молодому человеку доброй ночи, Лорель скрылась за дверь.

Озадаченный Костас поплёлся к себе. Заметив его уход издали, Йоргос просиял, пошёл к своей машине, забрал оттуда сделанные днём фотографии и долго рассматривал их...

Утро вновь собрало братьев Коккалос вместе. Нанятый ими архитектор-англичанин привёз для обсуждения проект реконструкции отеля.

— Если мы хотим вдохнуть в «Беренгарию» новую жизнь, нужно переделывать всё, — заявил архитектор.

— И стены тоже? — съязвил Йоргос.

— Вот посмотрите. — Архитектор пригласил всех к столу, на котором разложил чертежи и рисунки. — Нужно полностью поменять трубы, обновить систему отопления, электропроводку. Вот схемы. Смотрите сами: здесь нужно пробивать, чтобы заменить трубы. Здесь тоже нужно вскрывать, чтобы менять провода. В целом стены останутся, но интерьерам будет нанесён серьёзный урон. Придётся делать ремонт. А среди новых материалов хорошо будет смотреться мебель в стиле Макинтоша. Ну или что-то из последних предложений.

— И во сколько нам всё это обойдётся? — спросили братья.

— Вот мои расчёты, — архитектор протянул целую пачку исчерченных таблицами и исписанных цифрами листов.

Братья глянули на последний лист с окончательным итогом, и лица всех троих «вытянулись».

— Я должен проанализировать ваши расчёты, — проговорил Анастасиос.

— Конечно, — согласился архитектор.

— А это что? — спросил Йоргос, обращаясь к акварельным рисункам.

— Это проекты новых интерьеров.

Костас подошёл поближе и глянул.

— В целом симпатично, — одобрил он.

Йоргос нахмурился:

— Мне тоже надо это проанализировать.

— Разумеется, — снова кивнул архитектор.

— Отдохните пока, — предложил Костас. — Для вас приготовили номер. А мы все внимательно посмотрим, обсудим...

— Если появятся вопросы, я готов ответить, — заметил архитектор, настроенный явным недовольством братьев.

— Обязательно их вам зададим, если появятся.

Костас вызвал служащего и велел проводить гостя в отведённый ему номер.

Когда англичанин ушёл, братья заговорили на кипрском:

— Это все наши капиталы! А жить на что? А сроки?

Анастасиос заглянул в расчёты:

— Он обещает год. Ну, если деньги будут, конечно.

— Потерять весь сезон? А на какие деньги мы после реконструкции открываться будем?

— А если не закрываться и обновляться частями: одно крыло, потом второе? — предложил Костас.

— Надо ли менять вообще всё? — протестовал Йоргос. — Узнаваемость — один из залогов успеха. А это, — он указал на рисунки, — радикальная смена имиджа.

— Это перерождение, — возразил ему Костас, — мечта любой женщины: из старухи — в современную красавицу.

— Да эта новая мебель разве будет сочетаться с обликом здания, с каминном, с лестницей, с прошлым отеля, наконец? Нельзя же просто так взять и выбросить всё то, что создал отец. Кресло Черчилля — на помойку?! — возмутился Йоргос.

— Но нельзя же оставлять явное старьё только потому, что его покупал ещё отец, — продолжал гнуть своё Костас.

Видя, что страсти опять накаляются, Анастасиос предложил:

— Давайте, я внимательно изучу все расчёты, сам всё посчитаю. Может быть, действительно можно от чего-то отказаться, где-то сэкономить. Я посмотрю, потом ещё раз обсудим.

На том и порешили, но ещё часа два братья разглядывали схемы и эскизы, чтобы понять общий замысел.

Выйдя к завтраку, Лорель не встретила ни одного из господ Коккалос, даже Анастасиоса, и сильно удивилась. Однако стол был накрыт как обычно. Лорель позавтракала и всё время до ланча провела у бассейна.

Собираясь обратно в номер, девушка увидела на террасе Йоргоса, стоявшего в глубокой задумчивости. Когда Лорель попала в поле его зрения, он радостно махнул ей рукой и поспешил навстречу.

— Можно тебя задержать?

Девушка разрешила.

Тогда Йоргос повёл её в ту часть отеля, где располагались помещения администрации и жилые комнаты братьев. Войдя в одну из общих рабочих комнат, Лорель увидела на большом столе множество рисунков и чертежей.

— Утром привезли проект реконструкции отеля. Хочу посоветоваться с тобой, — пояснил Йоргос.

Лорель принялась разглядывать рисунки.

— Насколько тут всё устарело? — спрашивал в это время хозяин отеля. — Ну, крышу перекрыть, трубы поменять, сантехнику — это я согласен, это надо. А общий дизайн помещений? Нужно ли менять его на современный?

Видно было, что ему жаль вложенных когда-то в обстановку «Беренгарии» трудов.

— Современная мебель едва ли будет удачно сочетаться с внешним видом самого здания, — поддержала его сомнения Лорель. — У вас почти что крепость крестоносцев, а внутри будет такое безликое нечто? — Она показала на один из рисунков со столами и стульями лаконичных форм с клетчатой обивкой. — Я понимаю, это модно, в Штатах такого полно. Но тут, слава Богу, не Штаты. А уставить всё творениями Макинтоша, — она ткнула пальцем в другой рисунок, — это баснословные деньги.

— Да? Ты тоже так думаешь? — обрадовался Йоргос и тут же переключился на другое: — Я очень хочу пригласить тебя в театр.

— Пригласи.

— На настоящую древнюю трагедию. «Антигона» Софокла. Завтра её дают в древнем амфитеатре.

— Отлично! — одобрила Лорель.

— Тогда поедем туда часа в три, погуляем по раскопкам, если тебе интересно?

— Давай.

Условившись, они расстались. Йоргос ушёл в кабинет, чтобы заказать билеты и уделить хоть немного внимания текущим делам, а Лорель отправилась на ланч.

После него девушка собиралась побродить по окрестностям, но на выходе из отеля её догнал Костас:

— Можно тебе кое-что показать?

— Что? — поинтересовалась Лорель.

— Ну ты же умная. Я хочу знать твоё мнение...

И Костас потащил девушку в ту же комнату с проектом обновления «Беренгарии».

— Вот смотри. Мы собираемся реконструировать отель, только не можем решить, как. Йоргос не желает менять интерьеры, а я считаю, что мебель должна быть удобной, не то что эта пыль с нафталином. И к тому же, современный дизайн лучше сочетается с телевизорами, радиолами и всем таким прочим. Что скажешь?

— Мебель в номерах должна быть удобной, — утвердительно повторила Лорель, добавив важное слово, которое могло бы стать ключевым в примирении обеих точек зрения. Но девушка подозревала, что этого не произойдёт. И действительно, Костас отличия в словах не услышал.

— Значит, ты согласна, что современными должны быть не только трубы? Вот и я им твержу, да пока всё без толку. А куда ты шла? Пойдём вместе?

— Ты же не выполнил моё условие, — наклонила голову Лорель.

— Откуда ты знаешь? Может быть, выполнил.

— Нет. Когда ты сделаешь, как я прошу, я непременно узнаю.

— В конце концов, при чём тут это? — моментально посерьёзnel Костас. — Разве со мной уже нельзя просто пройтись?

— Ах, просто? Ну пошли. Я хотела прогуляться по роще.

И Лорель направилась к выходу. Костас снял пиджак и оставил его на стуле, потом догнал девушку, а по дороге ослабил галстук, расстегнул верхние пуговицы рубашки и закатал рукава до локтей.

Первые несколько минут они гуляли молча. Костас даже засунул руки в карманы брюк и, немного отстав от Лорель, пинал по тропинке камушек. Потом опять догнал спутницу и спросил:

— Почему ты одна? Ни мужа, ни любовника.

— А кто может быть рядом со мной?

— Я, — уверенно ответил Костас.

— Это называется, просто пройтись?! — засмеялась девушка.

— Прости, очень трудно отвлечься. Не могу представить тебя совершенно одну все двадцать шесть лет твоей жизни. Ведь кто-то же у тебя был? Или есть?

— Подсмотрел мой возраст у администратора?

— Заглянул в карточку, да. Знаю, когда и где ты родилась. А больше никто о тебе ничего не знает.

— Даже не буду спрашивать, у кого ты обо мне интересовался, — снова засмеялась Лорель. — В полицию обращался?

— А должен? Нет, ещё не успел. Так что же тот, без которого ты здесь?

— Мы расстались.

— Почему?

— Поссорились.

— Из-за чего?

— Из-за денег.

— А он знал, что ты... ну...

— Знал. И не хотел отпускать.

— Он попытается тебя вернуть, — уверенно произнёс Костас.

— Нет. Он понял, что к нему я не вернусь.

Молодые люди снова помолчали.

— Теперь твоя очередь, — заговорила Лорель. — Про отельных любовниц не спрашиваю, но, наверное, была и такая, которую ты искренне любил?

— Была. В Англии, — ответил Костас.

— Опять не спрашиваю, почему именно там, — улыбнулась Лорель.

Костас тоже усмехнулся, потом стал рассказывать:

— Отец отправил нас учиться в Брайтон. Сначала Йоргоса, потом нас со Стасисом. Ну и там, на студенческой вечеринке, мы познакомились... Ничего особенного, обычная история про светлую любовь. Я готов был даже жениться. Да куда там! Я же киприот, в переводе с английского — не человек. В постели, правда, это их не смущает, — съязвил Костас.

— А здешние девушки?

— Девушки у нас очень милые, — продолжал молодой человек. — Но мне нужна такая, с которой я мог бы ещё и делиться тем, что меня волнует: бизнесом, новинками музыки, техники, не знаю, чем ещё. Всем, — Костас взмахнул обеими руками. — Вот, реконструкцией отеля, например. — Он в упор глянул на спутницу. — Я прямо вижу, как мы с тобой могли бы тут развернуться.

— Но я не стала бы терпеть твои похождения.

— Это я понял. Нужны они мне!

— Докажи! — улыбнулась Лорель.

Они гуляли долго, спустились в деревню, и, топая по улочкам, Костас рассказывал спутнице про всех обитателей Продромоса:

— Вот здесь живёт старик Азариас. У него — лучшая зивания на острове... А тут живёт наш управляющий с женой и двумя дочками... Там раньше жил мой друг Спиро. Теперь он служит в банке в Лимассоле, иногда приезжает навестить родителей... В этом доме жила девчонка, в которую был влюблён Йоргос до отъезда в Англию. Сейчас она живёт в Лэфкосии. А через улицу, вон там, видишь крышу? — там живёт Селена, работает у нас в ресторане. Она влюблена в Йоргоса сейчас.

— А кто влюблён в тебя?

— Все остальные... А это наш дом, — показал Костас небольшое двухэтажное здание.

— Ваш? — удивилась Лорель.

— Дом родителей. — Костас остановился у двери. — Мы давно привыкли жить в «Беренгарии». Но здесь мы выросли. Стасис иногда здесь ночует. Зайдём?

Лорель кивнула, и они вошли. Обстановка внутри была скромной и добротной, как бывает в жилище зажиточной деревенской семьи. Везде красовались белые вышитые скатерти и салфетки.

— Мама вышивала, — пояснил Костас и показал фотографии на стене.

С одной несколько напряжённо глядела немолодая женщина с седыми волосами, убранными в пучок, и, несмотря на её полноту, было заметно, что младший сын похож на мать. С другой очень строго взирал усатый старик с чертами лица, как у двух старших его сыновей. Лорель догадалась, что это и есть строитель «Беренгарии». На комодке тоже стояло много фотографий мужчин и женщин. Лорель их не рассматривала. Её взгляд привлекли те, на которых запечатлелись маленькие братья Коккалос в шортиках. Курчавый Костас сидел верхом на деревянной лошадке с мечом в поднятой руке; аккуратно подстриженный Йоргос — на пластиковой машине с большим рулём; пухленький Анастасиос обнимал большой надувной мяч. Была и общая фотография, где братья стоят, обнявшись за плечи, а у их ног — мяч футбольный. И, конечно, Лорель увидела фото юных братьев в форменной одежде отеля у парадного входа в «Беренгарию».

— Наша спальня наверху, — сказал Костас и повёл Лорель по лестнице.

Мальчики жили все вместе в одной большой комнате, где стояли кровати, стол, несколько стульев и шкаф. В коробке у стола лежали игрушки. На стенах висели плакаты «Биттлз» и «Роллинг Стоунз». Костас взял со стола небольшого конного рыцаря:

— Мой любимец. Я с ним не расставался.

— Тут уютно. Дом не выглядит пустым и одиноким, — заметила Лорель.

— За ним смотрят. И Стасис часто здесь бывает, я говорил, — напомнил Костас.

Он вернул рыцаря на стол.

— Тебе в детстве не хотелось уехать отсюда? — спросила девушка.

— Нет, не хотелось. Наш отель — это такое чудо! Ну представь себе: глухая деревушка в горах — и вдруг дворец, в котором отдыхают короли да президенты! Мы видели в нём столько знаменитостей, учились ради «Беренгрии», служили в ней с юности... Нет, тут очень недурно живётся. А если надоест, можно смотаться на время куда угодно. Оставайся здесь со мной. — Заключение Костас, приближаясь к девушке и склоняясь так близко к её губам, что дыханье обоих смешалось.

— Мне удобно делать такое предложение. Я даже не успею тебе надоест, — произнесла Лорель.

— Я не думал в этом ключе, — смутился Костас.

— А я всё время думаю. Я думаю, что у меня мало времени и жаль его тратить на что-то низкопробное.

— Это про меня?

— Ты здесь для всех, понимаешь?

Лорель отступила на шаг. Костас не стал настаивать, они сошли вниз, вышли из дома.

— Подожди. — Костас на мгновение исчез в саду и, вернувшись со спелыми абрикосами в ладонях, протянул их девушке.

— Спасибо, — улыбнулась Лорель.

Перед обедом нашёлся Анастасиос и тоже позвал Лорель посмотреть на проект реконструкции отеля. Девушка сделал вид, что слышит об этом впервые.

Анастасиос рассказал ей о намерениях архитектора и о стоимости всего проекта.

— Выходит очень дорого, если считать, что материалы привозят из Англии и делается всё сразу. Мы подумали, что можно было бы проводить работы постепенно, в зимний период, когда гостей меньше. Сначала один корпус, потом второй, а уж после — центральный, чтобы совсем не терять доход. Но я тут подсчитал: выгоднее будет всё же закрыть весь отель и переделать всё сразу, а поэкономить на поставщиках и перевозках. Ведь что-то есть и на Кипре... Ничего, что я советуюсь с тобой, Лоло? Просто братья не могут не спорить друг с другом...

— Ничего, — успокоила его Лорель. — И если бы мне предложили отдых в отеле, часть которого закрыта на реконструкцию, я бы сочла это неудобным. Здесь и площадки-то нет, куда стройматериалы складывать. А если будут ещё и гости...

— Вот и я о том же, а они отказываются тратить сразу почти всё, что мы имеем. Ну ладно, буду стоять на своём, раз ты меня поддерживаешь, — повеселел Анастасиос.

Обед прошёл так же весело, как предыдущий, с той лишь разницей, что всем трём братьям посчастливилось потанцевать с Лорель. Каждый из троих был убеждён, что у него с этой девушкой особые отношения, каждый молчал об этом, внутренне чувствуя своё превосходство над остальными, и поэтому благосклонно позволял двум другим приглашать Лорель на танец.

А на следующий день Йоргос увёз её на побережье, к Лимассолу, в то место, где некогда располагался древний город Курион. Каменные блоки, мраморные колонны, фрагменты арок и стен, бывшие некогда процветающим городом, расположились на ровной вершине крутого утёса, возвышающегося над лазурным заливом Епископи. Оставив «Бентли» на парковке, Йоргос, одетый в светлую рубашку и чёрные брюки, повёл свою спутницу в Археологический парк — так теперь именовался Курион. Лорель нарядилась в длинную юбку «морковного» цвета и белую блузку. Чтобы спрятаться от солнечных лучей, она покрыла голову широкополой соломенной шляпой.

Молодые люди медленно гуляли по древним улицам, Йоргос показывал, где были дома, где термы, таверны и другие публичные здания. В «римском доме» они оба по расположению комнат пытались определить их назначение: спальня, кухня, кладовая... Выглянув в окно, Лорель подпёрла кулаком подбородок и приняла задумчивый вид, чем рассмешила своего спутника.

Затем Йоргос подвёл её к остаткам большого дома, который вместе с термами некий куриец Евстолиос подарил городским жителям, чтобы прятаться от ветра.

— Молодец! — иронично одобрила Лорель.

А ветер и в самом деле дул, не стесняясь.

Больше всего Лорель понравилась мозаика полов. Девушка присела и долго разглядывала яркие изображения цветов, птиц и рыб. Люди интересовали её меньше.

К шести часам, когда солнце перестало «поджаривать» округу, Лорель и Йоргос дошли до амфитеатра, который благодаря реставрации выглядел совершенно целым, и расположились на одной из каменных скамей в пятом ряду, на мягких подушках, специально разложенных для зрителей спектакля. К его началу все места были заняты.

Актёры появились на сцене в гиматиях и пеплосах, и в масках. В глубине сцены выстроился хор. Только электрическое освещение напоминало, что на дворе — двадцатый век.

Когда актёры заговорили по-гречески, и Йоргос на ухо своей дамы принялся переводить, девушка положила ладонь на его руку и шепнула:

— Я знаю содержание, не надо.

Йоргос замолчал и накрыл своей ладонью руку девушки. Лорель убрала её только где-то в середине пьесы, когда села немного по-другому...

Персонажи неторопливо двигались по сцене, декламировали нараспев, меняли маски, каждый жест был значителен, и в окружении эффектно подсвеченных древних руин всё это выглядело и звучало по-особому, завораживало, уносило в глубь тысячелетий...

Когда хор пропел финальные строфы, зрители наградили актёров щедрыми аплодисментами. Потом потянулись на выход.

— Давай подождём, пока все разойдутся, — предложил Йоргос и повёл Лорель на край утёса, с которого открывался вид на море, уже тёмное, загадочное в лунном свете. — Понравилось тебе? — спросил он о спектакле.

— Необычно, — кивнула Лорель. — Знаешь, я подумала, что в те далёкие времена было очень страшно жить. Жестокие законы и никакой определённости, никакой защищённости... Ужас!

— Они же не знали, что закон можно опротестовать, у дома поставить охрану, а если что-то заболело — вызвать «Скорую помощь», — улыбнулся Йоргос.

— Ну да, — поддержала шутку Лорель. — А от женщин вы всё ещё ждёте, что они будут такими же правильными и стойкими, как Антигона?

— Почему ты так решила?

— Чем же ещё объяснить, что ты до сих пор не женился?

— Я? Ждал такую, как ты.

— А на самом деле? У тебя ведь были женщины?

— Была, — уточнил Йоргос, взяв Лорель за обе руки. — Потом я должен был надолго уехать в Англию учиться гостиничному бизнесу, ждать она не захотела, и мы расстались. А дальше — учёба, работа с отцом, просто работа... Только ты вырвала меня из этой круговерти.

— Вот почему ты всё время хочешь меня куда-нибудь увезти?

— На самом деле я хочу крепко прижать тебя к себе и больше никогда не отпускать, заботиться о тебе, баловать, подарить тебе всё, что имею, посвящать тебе всю мою жизнь, — признался Йоргос, обнял девушку и поцеловал.

Лорель ответила на его ласку, их губы долго были неразделимы, взаимные объятия не ослабевали. Когда же поцелуй завершился и Йоргос пьяными от восторга глазами взглянул в глаза девушки, она проговорила:

— Не надо посвящать мне всю жизнь.

Сердце Йоргоса похолодело, а Лорель продолжала:

— Мужчина не должен отказываться от своего дела ради женщины. Он должен быть занят ещё чем-то кроме неё, иначе он перестает быть мужчиной.

— Тогда я продолжу управлять отелем, — с облегчением выдохнул Йоргос и снова приник к губам Лорель.

— Закрываемся!!! — донёсся до них крик зрителя.

— Уже уходим! — отозвался на родном языке Йоргос и со смехом заметил девушке: — Нас нашли. Хочешь, поужинаем в Лимассоле?

— Да, хочу.

Они, обнявшись, вышли из парка под сердитый звон ключей зрителя, сели в машину и поехали в «Неаполис» — лучший ресторан города.

— Это в память об итальянцах? Тогда почему не «Венеция»? — указывая на название, спросила Лорель.

— Нет, это византийцы так называли Лимассол — новый город, неаполис, — пояснил Йоргос.

Здесь было всё по-общезападному: кухня, музыка, интерьеры. И Йоргос предоставил своей даме заказывать блюда из меню, а когда спрашивал к выбранному стейку итальянское «Кьянти», уточнил у спутницы:

— После ужина ты потребуешь вернуться в наш отель? Можем остаться в Лимассоле...

— Лучше вернёмся, — ответила Лорель.

— Тогда один бокал для дамы, — сказал официанту Йоргос, — а мне минеральной воды.

За едой он, переполненный страстью и нежностью, то и дело пожимал девушке руку и шептал в извинение:

— Не могу удержаться...

Потом поехали обратно в горы. Беседовать Йоргос не мог и включил магнитолау.

В отеле он покопался за стойкой администратора, догнал свою спутницу на лестнице и повёл её в пустовавший пока королевский люкс.

— Для тебя — всё самое лучшее! — пояснил он.

В шикарных апартаментах Лорель осмотрелась. Набор мебели стандартный, а вот качество: позолота, красное дерево, бархатные портьеры с кистями и ковры, — настоящий дворцовый интерьер.

— Так здесь жили все ваши знаменитости? — спросила Лорель.

— Здесь. И Черчилль, и герцог Мальборо, и король Египта, и президент Израиля. И ты...

Йоргос поднял девушку на руки...

Рано утром, когда он уснул, Лорель тихонько покинула королевский номер и вернулась в свой. К завтраку она вышла, как обычно, но Анастасиос сразу заметил её бледность и усталый вид.

— Поездка меня утомила, — подтвердила Лорель, — мне нехорошо. Выпью кофе и пойду отдыхать...

Анастасиос не стал досаждать девушке расспросами и сочувственно молчал, пока она завтракала. Проводив её, младший брат побежал искать старшего, но Анастасиосу и в голову не пришло заглянуть в королевские апартаменты.

Йоргос проснулся около полудня. Заметил, что один и пожалел об этом. Не торопясь, привёл себя в порядок, мысленно переживая сладостные моменты ночи.

Спустившись в холл, Йоргос застал там разгневанную леди Уоррик, покидавшую «Беренгарию» гораздо раньше, чем она изначально планировала. Носильщик грузил её чемоданы в машину отеля, а дама с оскорблённым видом расплачивалась.

— Чем вы недовольны, миледи? — почтительно спросил Йоргос.

— Это просто возмутительно! — только и бросила ему леди Уоррик. — Прощайте!

— Надеюсь иметь удовольствие принять вас на следующий год.

— Не надейтесь! Ноги моей больше не будет в этом отвратительном при-tone!

Йоргос проводил недоуменным взглядом её гордо удаляющуюся фигуру и обратился к администратору:

— Что произошло?

Но тот только пожал плечами в ответ и сообщил:

— Час назад леди Кейн тоже выехала таким же манером. И семья графа Фостера укладывает чемоданы.

— Уоррик, Кейн и Фостеры? — Йоргос догадался, у кого надо спросить об их отъезде. — Ладно, что поделывать, если им приспичило... Пошлите кого-нибудь прибрать королевский люкс. — Он протянул администратору ключ.

— Хорошо, господин Йоргос, — удивлённо кивнул администратор, полагавший, что этот номер пуст и чист.

А Йоргос отправился сначала в кабинет среднего брата, там Костаса не нашёл и пошёл в его комнату. Костас валялся на кровати и слушал «Отель Калифорния».

— Почему твои куры разбегаются? — спросил его старший брат.

— Потому что я больше не хочу иметь с ними дело, — сообщил Костас. — Всё, хватит, надоело! Я высказал им это всем в лицо.

— Но мы же лишаемся дохода. Им жить ещё недели две и больше. Ты не мог подождать?

— Вот, знаешь ли, не мог.

— Ты со всеми расстался? Со всеми? Значит, уедут ещё...

— Уедут-уедут, — прервал брата Костас.

— И это как раз когда грядёт реконструкция.

— Ты же её не хочешь.

— Чушь, я хочу. Вопрос — до какой степени...

— Ладно, не начинай снова.

— Странно... Как это ты вдруг?..

— Отстань! — рявкнул Костас на старшего брата. — Сам с ними спи!

— Не смей орать на меня! — вспылил и Йоргос, но ему сейчас так не хотелось разбираться в поведении среднего брата...

В коридоре Йоргос столкнулся с Анастасиосом.

— Я тебя обыскался, — возвестил младший Коккалос.

— Из-за массовых отъездов?

— Что? — не понял Анастасиос. — Нет, я по поводу мадемуазель Бершо.

С утра она выглядела очень уставшей и жаловалась на нездоровье. Это из-за поездки с тобой! Ты с ума сошёл? Её ведь нельзя утомлять! Ты её убьёшь!

— Что? — спросил теперь Йоргос. — Ты видел её утром?

— Да, за завтраком.

— Ей плохо?

— Она была очень бледна, под глазами круги, взгляд такой потухший...

Йоргос не стал больше слушать, бросился к номеру 24 и забарабанил в дверь.

— Кто это? — отозвалась Лорель.

Йоргос назвался. Дверь открылась, но девушки он не увидел. Йоргос прошёл в номер. Дверь за ним закрылась. Йоргос обернулся. Лорель стояла в одной ночной сорочке, босиком, прижавшись к двери спиной, смотрела на вошедшего и улыбалась. Она действительно была немного бледна, но большой не выглядела.

— Стасис меня напугал, — проговорил Йоргос, приблизился к девушке и прижал её к себе. — Он сказал — тебе сделалось худо.

— Я просто не выспалась, — тихо произнесла девушка, прильнув к Йоргосу.
 — Зачем же ты встала так рано?
 — А сам не догадываешься? Чтобы всё было как обычно. Пока...
 — Ладно, если хочешь, пусть всё будет пока как обычно, — согласился Йоргос. — А я не слишком тебя утомил...

— Нет, — Лорель одарила его поцелуем, — ты великолепен. Мне только нужно выспаться и отдохнуть.

— Конечно, — Йоргос ещё раз нежно поцеловал Лорель. — Отдыхай.

Он ушёл. На ходу бросил маячившему в коридоре Анастасиосу:

— Всё хорошо.

Возле кабинета Йоргоса поджидал секретарь:

— Вам раз пять уже звонили по договору на воду.

— Где этот договор? — нехотя спросил Йоргос.

— Вот, — протянул секретарь несколько печатных листов.

Йоргос взял, вместе с секретарём вошёл в кабинет, уселся за свой стол и принялся изучать.

— Цену подняли... — поморщился он. — Так. Покажите договор Анастасиосу, пусть тоже проверит. Если у него замечаний не будет, я всё подпишу. И пусть посмотрит по счетам, всё ли у нас оплачено по старому договору. Нам без воды нельзя... Да, и узнайте, подвезли морскую воду для бассейнов?

После того как все распоряжения были отданы, бумаги подписаны, Йоргос уехал из отеля. Вернувшись около семи часов вечера, он велел накрыть ужин на двоих в королевских апартаментах и увёл туда Лорель ещё до гонга. Подведя девушку к зеркалу, Йоргос вынул из кармана небольшую бархатную коробочку, раскрыл её и надел на шею Лорель ослепительное бриллиантовое кольцо.

— Нравится?

— Да! — Лорель полюбовалась подарком, потом стала отвечать на поцелуи Йоргоса...

Выполнив поставленное ему условие, Костас вышел к вечерней трапезе в ожидании многого и от Лорель. Но она всё не появлялась. Через четверть часа после гонга Костас постучал в дверь её номера, но ему не ответили. Молодой человек вновь спустился в ресторан и огляделся.

— Ты что суетишься? — спросил Анастасиос.

— Её нет ни здесь, ни в номере. И Йоргоса не видно. Их обоих нет, понимаешь? — заподозрил неладное Костас.

— Снова поехали куда-нибудь в оперу, — нахмурился Анастасиос. — А я ведь просил... Ладно, вернутся. Помоги мне, Костас, я в растерянности. Хочу попытаться продать освободившиеся номера. Даже если предложить за полцены, будет выгоднее, чем если они теперь пустыми останутся.

— Ты прав, братишка, — несколько повеселел Костас. — Как тебе помочь?

— Давай посмотрим, кому стоит звонить с таким предложением, а кому не стоит в свете последних событий, — попросил Анастасиос. — Ты ведь лучше знаешь...

— Давай посмотрим, — понял Костас, о чём речь.

Они вдвоём вышли на террасу и расположились за столиком, за которым обычно работал Анастасиос. Он достал из папки списки постоянных гостей, и оба брата углубились в его изучение. Благо, вся отельная публика в этот вечер наслаждалась великолепным голосом Элизабет Бейнбридж, и отсутствия первого танцора никто не заметил.

За утренним кофе Анастасиос сообщил Лорель:

— Вчера случилась маленькая катастрофа. В течение дня без объяснения причин отель покинуло несколько солидных гостей. Я весь вечер подсчитывал убытки и выяснял, сможем ли мы сейчас продать освободившиеся номера. А почему ты пропустила вчерашний обед? Йоргос опять повёз тебя куда-то? Но выглядишь ты потрясающе.

— Спасибо, — отозвалась Лорель, не отвечая на вопрос, и задала свой: — А ты опять беспокоился?

— И я, и Костас, — признался Анастасиос.

Лорель с тоской глянула на собеседника. Потом проговорила:

— Знаешь, Стасис, что бы я сделала, если бы у меня был миллион?

— Не знаю. Что?

— Уехала бы на остров ещё меньше и ещё дальше Кипра. И жила бы в тишине и спокойствии, сколько мне там осталось.

Девушка замолчала. Анастасиос тоже какое-то время не знал, что сказать. Потом спросил:

— Одна? Уехала бы одна?

Лорель взяла молодого человека за руку, снова доверительно заглянула ему в глаза и тихо проговорила:

— Если б ты знал, как я устала от мужчин, которым что-то от меня нужно...

Анастасиос покраснел. Он сжал пальцы девушки обеими руками и тихо заверил её:

— Не все такие.

Лорель ухмыльнулась и скептически склонила голову на бок.

По дороге к себе девушка увидела внизу, в холле Костаса. Тот тоже заметил её. С минуту оба стояли так, она — на верхней площадке парадной лестницы, он — внизу, у последней ступени, и молча глядели друг на друга. Затем девушка не торопясь спустилась к молодому человеку.

— Ты довольна? Я их всех разогнал, — тихо проговорил Костас, слегка нагнувшись к уху Лорель.

— Довольна, — шепнула та, поймав его огненный взгляд.

Тогда Костас повлёк её в свою комнату и запер дверь...

— Как можно, как можно ровнять их с тобой?! — шептал Костас в угаре страсти. — Они всем скопом в подмётки тебе не годятся!

— Что, больше не горюешь об убытках? — смеялась Лорель.

— Я в раю, а в раю горя нет...

Йоргос снова провалился в этот день до полудня и только после ланча поднялся к Лорель. На стук никто не ответил, дверь в номер не открылась. Тогда Йоргос поискал девушку около бассейна, в комнате с камином, в библиотеке. Не найдя, он решил, что Лорель отправилась гулять. Когда же она не вышла к обеду, Йоргос встревожился и вновь пошёл к ней.

На этот раз Лорель отозвалась и впустила его. Она выглядела утомлённой, чем взволновала Йоргоса ещё сильнее.

— Тебе нехорошо? — Он взял девушку за руки.

Лорель кивнула:

— Небольшое осложнение. Это временно, скоро пройдёт.

— Можно, я побуду с тобой? — попросил Йоргос. — Я тебя не потревожу, просто тихонько посижу рядом.

— Нет, прости. Я хочу побыть одна. Ладно?

— Как скажешь... — грустно вздохнул Йоргос, поцеловал девушке руки и оставил одну.

Лорель закрыла за ним дверь и подошла к зеркалу.

— Это скоро пройдёт... — повторила она своему отражению.

Лорель вернулась к себе за полчаса до встречи с Йоргосом. Теперь, открыв окно, она устроилась на подоконнике и закурила.

— Что ты как в воду опущенный? — спросил сияющий Костас у старшего брата, повстречав его в дверях ресторана.

— Послушай, неужели ей и вправду недолго жить? — Йоргос поднял на брата полные боли глаза. — И когда она умрёт?

— Тебе-то что за беда? — вдруг повысил голос Костас. — Боишься, что престиж отеля пострадает, если кто-то здесь умрёт?

— Дурак! — огрызнулся Йоргос. — Что за моду ты взял орать на меня?!

— Сам не ори! Думаешь, если ты старший...

— Пошёл ты!..

Когда братья разошлись, Костас бросился на второй этаж. Вопросы Йоргоса испугали его, поэтому Костас и начал кричать. А добежав до номера 24, стал нервно дёргать ручку.

— Что за пожар? — отозвалась Лорель, не открывая.

— Это я, что случилось?

— Да ничего. Всё хорошо. Сам виноват, между прочим. Так дай, пожалуйста, мне отдохнуть.

Ровный, даже весёлый голос Лорель успокоил и Костаса. Но он всё-таки попросил:

— Впусти меня.

— Не впусти, иначе ты не уйдёшь.

— Ну да, — согласился Костас. — Ладно, отдыхай. Доброй ночи!

За завтраком Лорель пила кофе одна. Но недолго. К ней почти сразу подсели оба старших брата, зло глядевшие друг на друга после вчерашней ссоры.

— Стасис куда-то пропал с утра пораньше, — сообщил Йоргос. — Никому из вас он ничего не говорил?

Лорель и Костас отрицательно мотнули головами.

Девушка с холодным спокойствием позавтракала и покинула террасу в сопровождении обоих своих кавалеров, каждый из которых мучительно соображал, как бы избавиться от другого.

У стойки администратора они увидели изящную молодую даму, оформлявшую своё прибытие, и носильщика, таскавшего её чемоданы. Дама тоже заметила братьев. Её глаза призывно впились в Костаса.

— Иди, встречай гостью. Это по твоей части, — радостно распорядился Йоргос.

Костас одарил брата ненавидящим взглядом и спустился к стойке, а Йоргос пошёл провожать Лорель.

— Что будем делать сегодня? — спросил он.

— Пока не знаю. У тебя, наверно, есть заботы. Я посижу в номере тихо и спокойно.

— Наверно, заботы есть, но я ни о чём не могу теперь думать. Мне необходимо, чтобы ты была рядом.

— А мне необходимы тишина и покой. Немного терпения, Йоргос... — Лорель подставила губы для поцелуя.

Йоргос жадно прильнул к ним. Потом заметил:

— Терпения! Ты требуешь невозможного.

И снова поцеловал девушку. Затем всё-таки ослабил объятия, отпуская её.

— Увидимся позже, — пообещала Лорель и скрылась за дверью.

Костас в это время приветствовал прибывшую англичанку. Она хорошо его знала и очень ласково ему улыбалась. Молодой человек улыбался в ответ, но намного сдержаннее, чем делал это прежде. Впрочем, дама разницы не заметила и попросила Костаса проводить её в номер.

Там гостья дождалась, пока носильщик разместит её чемоданы, надела юношу чаевыми и отпустила, а оставшись наедине с Костасом, не церемонясь больше, обняла его за шею:

— Ну, здравствуй, мой красавчик! Надеюсь, ты соскучился? У нас впереди — три чудесных недели!

— Я очень рад, миледи, — холодно произнёс Костас, освобождаясь от её объятий. — И буду счастлив оказать вам все те услуги, которые значатся в нашем перечне услуг. — Он даже отступил на шаг для верности.

— Как? — опешила дама и немного помолчала, собираясь с мыслями. — Что вы себе позволяете? Что вы себе возомнили? Это неслыханно! Хам! — Она отвесила Костасу пощёчину. — Как вы могли подумать?.. Это оскорбительно! Я завтра же уеду отсюда. Потрудитесь заказать мне билет и машину до аэропорта.

— Как вам будет угодно, миледи.

Костас вышел и побежал к Лорель. Она открыла ему, но в номер не пустила.

— Очередная твоя пассия? — ехидно спросила девушка. — Где ты её обслуживаешь, в номере или в душевой?

— Перестань, — попросил Костас. — Я порвал с ней, она завтра уедет.

— Вот завтра и приходи! — Лорель захлопнула дверь.

— Вот же чёрт побери!!! — выругался молодой человек.

Он спустился к администратору:

— Леди Фиц-Аллен завтра уезжает, ей нужна машина в аэропорт. И билет до Лондона закажите.

— Разве она не остаётся на три недели, как забронировано? — поразился администратор.

— Разве я невнятно говорю? — спросил Костас так сурово, что служащий прикусил язык.

Раздался телефонный звонок. Администратор поднял трубку:

— Отель «Беренгария»... Да, конечно, одну минуту... Это вас, господин Костас.

Молодой человек взял трубку:

— Слушаю. О, привет! Только на днях о тебе вспоминал... Да? И что?.. Да??? Нет, я ничего об этом не знаю... Ну, может быть, не знаю... Это очень странно... Спасибо, приятель! Спасибо! Пока...

Костас говорил, и его лицо быстро меняло выражение. Сначала оно было радостным, потом внимательным, потом щёки молодого человека, даже та, которой недавно досталось, побелели. Закончив телефонный разговор, хмурый и задумчивый Костас пошёл искать Йоргоса. Тот оказался в своём кабинете.

— Сейчас звонил Спиро, — сообщил средний брат старшему.

— Приезжает? Опять тебя не будет несколько дней?

— Нет, не то. В банке был Стасис, закрыл все наши счета и перевёл деньги сначала в «Аризона Банк», потом ещё куда-то.

— Зачем? — От удивления Йоргос даже поднялся с кресла.

— А я знаю?! Ты тоже не в курсе? — недоверчиво уточнил Костас.

— Ты совсем дурной? Нет, конечно!.. Может, это он на реконструкцию?..

— Ага, делать будут англичане, а деньги — в Америку?.. Надо в полицию звонить, — проговорил Костас.

— Погоди. Он же наш брат. Может, вернётся и объяснит, что к чему?

— Вернётся? Наш финансовый гений?

— Давай всё же потерпим до завтра, — попросил Йоргос.

Он тоже был и возмущён, и озадачен таким поступком младшего брата, но к полиции из-за братской любви прибегать не хотел.

— Что творится?.. — развёл руками Костас.

— Это я должен был сказать, — усмехнулся Йоргос. — Вы оба в последние дни поражаете своим поведением.

— Да что ты ко мне-то привязался?! То дразнил, а когда я со всеми порвал, тебе это тоже покоя не даёт! Пошёл ты к чёрту!!!

И Костас покинул отель, чтобы «выпустить пар».

Йоргос покачал головой и крепко задумался над поступком младшего брата, но ни к чему не пришёл и укрепился в своём решении подождать.

Около пяти часов дня в кабинет Йоргоса вошёл начальник службы сервиса номеров.

— Дама из двадцать четвёртого заказала еду в номер. Вы просили сообщить, если ей что-то понадобится.

— Да, спасибо! Подготовьте. Я сам отнесу, — распорядился Йоргос.

Через несколько минут он уже подкатил к двери Лорель сервированный столик.

Девушка открыла, улыбнулась и впустила его, заметив:

— Да, терпения нет...

Йоргос оставил столик у большого стола и замер в ожидании.

Лорель, всё так же улыбаясь, подошла к нему, провела рукой по чёрным волосам, по щеке. Йоргос обнял девушку. Она не возражала. Йоргос понял, что может остаться...

Костас просидел в таверне Продромоса до темноты: ел, пил, болтал с приятелями, снова пил. К полуночи он, изрядно хмельной, возвратился в отель. В холле ему пришлось в голову вновь попытать счастья у Лорель. Костас, шатаясь, поднялся по лестнице. У номера 24 в полутёмном коридоре он заметил мужскую фигуру. Увидев Костаса, тёмная личность шмыгнула на служебную лестницу. Костас погнался за ней, но из-за выпитого не мог двигаться быстро и слышал только звук убегающих шагов. Когда чёрная фигура покинула здание отеля и побежала по двору, догонять её стало легче, хотя Костас то и дело натёкался на шезлонги. У бассейна он всё же ухватил беглеца за плечо и развернул. Это был Анастасиос.

— Ты? — воскликнул Костас.

— Ну я. — Брат поправил очки.

— Я думал, ты уже далеко вместе с нашими деньгами. Паршивый вор!

— Они мне нужнее, чем вам, — высокомерно произнёс Анастасиос. — И я постарался сделать так, что вернуть вы их не сможете.

— Смотри, вундеркинд, я тебя придушу, если ты сам их не вернёшь, — пригрозил Костас.

— Не верну. Души, — всё тем же тоном произнёс младший Коккалос.

— А что ты делал возле номера Лорель? — продолжал Костас.

— Тебе какое дело? — наклонил голову Анастасиос.

— Такое. Она моя девушка, — сообщил Костас.

— Кто? Лоло? — засмеялся Анастасиос. — Да её тошнит от таких, как ты.

— Как ты её назвал?

— Как она меня просила её называть.

— Она сама просила? — уточнил Костас.

— Сама. И сама мне сказала, что устала от тебя и тебе подобных.

— Врёшь! Она не могла тебе это сказать!

— Да она мне всё может сказать. Не вам, а мне! Я всегда больше знал о ней, чем вы, и лучше вас знаю, что ей действительно нужно. Только я это знаю. И только я могу ей это дать. Не вы, а я!

Голос Анастасиоса звучал так торжествующе и вызывающе, что Костас не сдержался и с размаха ударил кулаком в лицо младшего брата. От сильного удара худенький Анастасиос полетел навзничь, падая, сильно ударился об угол trampлина и рухнул в бассейн.

Костас и сам не ожидал такого эффекта. Он бросился к бортику и несколько минут высматривал брата в воде. Когда Анастасиос всплыл и безвольно распластался лицом вниз, Костас засучил рукава и попытался поймать его. Ухватив, наконец, за рубаху, Костас притянул брата к бортику и перевернул. Лицо Анастасиоса было бледным и безжизненным. Костас хотел было вытащить брата, но ощутил пальцами что-то тёплое и липкое на братовом затылке. Костас отдернул руку и глянул — кровь! Он потряс и позвал младшего брата — всё тщетно, проверил пульс — нет. Анастасиос был мёртв.

Мгновенно Костас протрезвел, но сидел ещё какое-то время у бассейна, пытаясь прийти в себя и понять, что теперь делать. Он огляделся. Вокруг темно и тихо. Никто их не видел. И возможно, не слышал, потому что, проработав в отеле всю жизнь, братья Коккалос приобрели привычку даже скандалить в полголоса, чтобы не беспокоить гостей. Костас смыл остатки крови с пальцев. Потом, заметив пятно крови на углу trampлина, обмакнул в воду свой платок, вытер trampлин и сунул платок в карман. Бросив прощальный взгляд на тело младшего брата, темневшее на зеркальной поверхности воды, Костас по той же служебной лестнице прошёл в свою комнату, так никем и не замеченный. Там он порвал в клочья и смыл в унитаз свой платок, оглядел одежду, особенно рукава, убедился, что нигде крови нет, переоделся, упал на кровать и устался в потолок...

По дороге в ванную комнату Лорель заметила белый конверт, подсунутый под входную дверь, и подняла его. На конверте красовался герб отеля, но ничего написано не было. Лорель убрала его в сумочку, даже не посмотрев, что внутри.

Рано утром с улицы послышались крики. Йоргос открыл глаза, прислушался, потом встал и выглянул в окно, но оно располагалось в конце крыла. Было видно только группу людей у бассейна.

— Что там? — спросила спросонья Лорель.

— Не знаю. Шум какой-то во дворе... Пойду посмотрю, — решил Йоргос, оделся и вышел.

Он долго не возвращался. Лорель тоже оделась и спустилась на террасу. У бассейна толпилось много служащих отеля, кто-то лежал у бортика, и над ним склонился Йоргос. Костас стоял рядом. Лорель решила подойти к ним.

В распростёртом неживом теле она узнала Анастасиоса и вскрикнула. Костас заметил девушку, схватил и прижал к себе. Лорель почувствовала, как сильно у него колотится сердце. Обернувшись на её возглас, Йоргос тоже поднялся.

— Зачем ты пришла? — тихо проговорил он, глядя девушку по голове. — Иди к себе.

— Что тут произошло? — спросила Лорель.

— Никто не знает. Ночью упал в бассейн и разбил себе голову. А как, почему?.. — Йоргос беспомощно развёл руками.

— Ночью?..

— Иди к себе, пожалуйста, — взмолился Йоргос. — Костас, проводи. Я подожду полицию.

Костас, не выпуская из своих объятий, повёл девушку обратно в номер, а достигнув его, усадил на неубранную кровать.

— Я тоже пойду ждать полицию, — буркнул он и направился к выходу.

— Костас! — окликнула его Лорель.

Он обернулся.

— Мне очень жаль... — произнесла девушка.

— Мне тоже... — кивнул Костас и ушёл.

Проводив его взглядом, Лорель поднялась, подошла к столу в гостиной, на котором стояла ещё не убранная посуда и два бокала (Костас не обратил на них внимания), налила себе вина и выпила. Потом нашла свою сумочку, вынула конверт, а из него — банковскую карту и листок бумаги. На карте значилось её имя, на листке, тоже со львом и единорогом, было выведено несколько английских строк.

«Милая моя Лоло! — писал Анастасиос, — Я очень хочу, чтобы ты жила как в сказке, то есть долго и счастливо, как можно дольше и как можно счастливее. Прими мой подарок и поезжай туда, где тебе будет хорошо и спокойно. Если возьмёшь меня с собой, я буду самым нетребовательным и самым верным твоим другом. Если нет, я буду помнить тебя, благословляя день, когда ты появилась. Ты дала мне почувствовать жизнь с той стороны, на которую я не надеялся, жизнь, полную красоты и нежности, твоей красоты и нежности. Я счастлив, что могу открыто любить тебя, и ты не смеёшься за это надо мной. Завтра мы встретимся, и ты мне скажешь...

Навечно твой А.

5836».

Лорель убрала карту обратно в сумочку, а письмо и конверт положила в пепельницу и подожгла.

Над отелем словно нависла чёрная туча, хотя солнце светило по-прежнему. Приехала полиция, тело Анастасиоса увезли. После разговоров со следователем из отеля уехало ещё несколько семей. Оставшиеся гости, встречаясь в ресторане, переговаривались о случившемся с недовольными лицами, — отдых был безнадежно испорчен. Братьев Коккалос не было видно.

И вот в сопровождении Йоргоса к Лорель явился следователь, коренастый, с крупными чертами лица, короткими курчавыми волосами и бритым подбородком.

— Только я прошу вас... — услышала девушка слова Йоргоса, когда открывала дверь.

— Мисс Бершо? — уточнил следователь. — Можно с вами поговорить?

— Да, конечно. — Лорель пропустила их в номер.

— Нам известно, что вы много общались с погибшим.

— Мы завтракали вместе каждое утро, — кивнула Лорель.

— Когда в последний раз вы его видели?

— Позавчера. Вчера утром его не было.

— И он не говорил вам, куда собирается ехать и что намерен делать?

— Нет, не говорил.

— А как давно вы были знакомы с господином Анастасиосом? — продолжал спрашивать следователь.

— Со дня моего приезда сюда, точнее — с вечера. Во время обеда мне стало скучно, я под села к нему, мы разговорились...

— И какие у вас с ним сложились отношения?

— Дружеские, я бы сказала...

— Ещё вопрос... Простите, мисс, я задаю его всем. Где вы были прошедшей ночью?

— Здесь, в номере.

— Одна? Простите, мисс, я должен спросить.

Лорель глянула на Йоргоса. Тот, стоя немного позади следователя, отрицательно помотал головой. Девушка перевела спокойный взгляд на полицейского и ответила:

— Нет, не одна. Я была с Йоргосом. Если нужны свидетели, их тут полно, но их не допросить, — Лорель указала на окружающую мебель.

Следователь усмехнулся, многозначительно оглянулся на Йоргоса, потом вернулся к разговору с девушкой:

— Судя по тому, как усердно господин Коккалос противился моей беседе с вами, я склонен думать, что это правда. Вы были вместе всю ночь, мисс? Господин Коккалос не отлучался?

— Да, всю ночь. Он ушёл только утром, когда услышал крики во дворе.

— Спасибо, мисс. Вы никуда не собирались уезжать? У нас могут возникнуть новые вопросы.

— Я пока здесь, — пожала плечами Лорель.

Следователь вышел, а Йоргос задержался и, обнимая девушку, произнёс:

— Кажется, ты спасла меня. Они хотели меня арестовать, но теперь у меня, как они выражаются, алиби.

— Я только сказала правду... А Костаса они арестовать не хотели?

— Костас всю ночь пил с друзьями. Они подтвердили... Он, конечно, был зол на Стасиса... — начал озвучивать свои беспорядочные мысли Йоргос. — Да и я тоже...

— Зол? Почему?

— За деньги... Может, Стасис как-то влип в историю, хотел откупиться, а его убили?.. Ладно, пойду. Они там проверяют бухгалтерию.

Йоргос поцеловал Лорель в щёку и вышел.

За обедом в полупустом ресторане без музыки к девушке подсел Костас, такой мрачный, что Лорель испугалась бы, не будь они на людях. Костас ничего не говорил, только пил бренди. Лорель тоже молчала и медленно ела без особого аппетита. По завершении обеда Костас пожаловался:

— Я не могу идти к себе.

— Идём ко мне, — предложила Лорель.

Они поднялись в номер.

— Ложись, отдохни. — Девушка устроила Костаса в своей постели прямо в одежде, только смокинг помогла снять, укрыла одеялом и, присев рядом, погладила как ребёнка.

Два переполненных эмоциями дня и бессонная трагическая ночь дали о себе знать: Костас мгновенно уснул.

Лорель опять устроилась на подоконнике и закурила. В дверь постучали. Девушка открыла, не спрашивая. Это был Йоргос. Он прошёл в гостиную и опустился на диван. Лорель села рядом.

— Так ничего и не выяснилось пока... — горестно проговорил Йоргос. Потом заметил: — От тебя табаком пахнет. Куришь?

Девушка кивнула.

Йоргос поглядел на неё с укоризной и хотел что-то добавить по этому поводу, но Лорель перебила:

— Ещё скажи, что мне вредно.

— Прости, пожалуйста. Я очень устал.

— Полиция уехала?

— Да. Завтра нужно заниматься похоронами... А кто это сопит у тебя? — встрепенулся Йоргос, услышав даже не сопение, а настоящий храп.

— Костас, — ответила девушка. — Он не мог оставаться один...

Йоргос вскочил и поспешил в спальню. Света из гостиной, попавшего туда через открытую дверь, вполне хватило, чтобы рассмотреть брата, спавшего совершенно одетым.

— Ну хорошо, пусть спит, — сжалился над ним Йоргос. — Опять напился?

Лорель кивнула.

— Мы просто сходим с ума. — Йоргос провёл руками по лицу. — А ты-то где будешь спать?

— На диване, — ответила Лорель.

— Нет, подожди, я сейчас.

Йоргос ушёл и вернулся с ключом:

— Иди спать в королевский.

— А ты иди к себе и постарайся отдохнуть.

Следующий день прошёл для братьев в печальных хлопотах. Лорель в них не вмешивалась. А утром третьего дня на кладбище Продромоса собралась, наверное, вся деревня и служащие отеля. Вздыхали, качали головами, утирали слёзы, глядя на молодого человека в гробу. Два старших его брата стояли, понуриив головы, и между ними, опираясь на руки обоих, стояла Лорель, вся в чёрном с головы до ног. Только помада почти непристойно алела на её губах.

Деревенский священник прочитал положенные молитвы, потом сказал, что давно знает семейство Коккалос и что ему весьма прискорбно после старика Иоанниса хоронить его младшего сына, но что Господь всё видит и воздаст, кому следует.

Гроб закрыли, опустили в могилу. Братья, Лорель, а следом за ними все остальные бросили по горсти земли... И вот уже над Анастасиосом — небольшой холмик, укрытый цветами.

В ресторане отеля был организован фуршет. Лорель от него отказалась. А братья в течение двух часов выслушивали слова сочувствия. Оба были бледны и молчаливы, только кивали головами в ответ. Проводив всех, кто был на печальном фуршете, братья вышли на террасу и долго стояли у перил, безмолвно глядя на злополучный бассейн. Служащие ресторана решили оставить их одних и тоже удалились, вокруг братьев не было ни души.

— Что же мы будем делать с деньгами? — заговорил Йоргос. — Спиро не может помочь нам найти и вернуть их?

— Он обещал подумать над этим, — ответил Костас.

Они снова надолго замолчали.

— Вот надо же, — опять проговорил старший брат, — я так боялся схоронить Лорель, а закопали сегодня Стасиса.

— Ты говоришь так, словно ты ей муж и имеешь право её хоронить, — ревниво заметил Костас.

— Прости, конечно, сейчас не время, но я хочу жениться на Лорель. Неважно, сколько ей осталось жить, — поделился своими планами Йоргос.

— Ты сделал ей предложение? Она согласилась? — обмер Костас и весь напрягся.

— Нет, я ей ещё ничего не говорил. Но я надеюсь, она согласится, раз мы... Ну, понимаешь?.. — Йоргос осёкся, видя, как брат мгновенно покраснел и как полыхают его глаза.

— Хочешь сказать, что ты с ней спишь? — Костас злое расхохотался. — Ты врешь! Я с ней сплю!

— Ты? Как ты можешь?.. Ах вот оно что! — засмеялся Йоргос. — Ты спал в её кровати позапрошлой ночью и решил, что между вами что-то было.

— Между нами что-то было, и не ночью, а днём! — проревел Костас. — Целый день напролёт мы любили друг друга, до одуренья, до потери сил. Это Лорель настояла, чтобы я перестал ублажать постоялиц отеля. Я всем сказал «гуд бай», и тогда Лорель стала моей.

— Нет, — помотал головой Йоргос, — этого не может быть. Как раз ночью накануне отъезда твоих любовниц Лорель стала моей.

— Врешь, гад! Не мог ты меня обойти!!! Она моя-а-а!!!

Костас вцепился брату в горло. Йоргос пытался освободиться, но от ярости Костас сделался настолько силён, что вырваться не удавалось, воздуха не хватало, горло зверски болело, перед глазами поплыли красные круги... Йоргос ослабел и рухнул на пол террасы. Костас ещё несколько минут душил его, навалившись всем телом, потом на мгновение очнулся от бесовского дурмана и ужаснулся.

Вокруг по-прежнему было безлюдно. Сбежав в ресторан, Костас убедился, что и там никого. Тогда он запер двери, пошарил в подсобке рядом с кухней и нашёл там верёвку. Посередине ресторана он привязал верёвку к потолочному крюку для люстры и сделал на другом конце петлю. Вернувшись

к телу брата, Костас поднял его, перетащил в ресторан и, с трудом забравшись на стул, просунул голову Йоргоса в петлю. Потом отпустил. Тело старшего брата закачалось в воздухе.

Костас слез и даже стул убрал. Затем тихонько вышел из ресторана, пробрался в кабинет Йоргоса, где в ящике письменного стола брат хранил на всякий случай револьвер. Ящик был закрыт, но Костас знал, где ключ. Открыв ящик, он нашёл там фотографии Лорель, сделанные у водопада. Костас смотрел на них, а из глаз текли слёзы...

Он медленно вышел с револьвером в руке, не видя шарахавшихся от него служащих, дошёл до зала с камином и остановился. Всё, хватит! Пуля пробила висок...

Отель снова наполнился полицией. Тот же самый следователь опять беседовал с Лорель, но теперь многие подтвердили, что девушка после похорон ушла к себе и появилась только когда нашли тела обоих братьев.

— В столе господина Йоргоса лежали ваши фотографии, мисс. — Следователь протянул Лорель целую пачку.

Девушка взглянула.

— Это мы ездили на прогулку... Удачные фото. Можно, я оставлю их себе?

— Да, конечно... Печально, мисс, что всё так случилось, — посочувствовал следователь.

— Печально... Скажите, я могу уже уехать отсюда?

— Да, можете, — позволил следователь.

Всё ещё в чёрном, красивая и бесстрастная, Лорель спустилась к администратору и сдала ключ. На шее девушки блесло бриллиантовое кольцо, в чемодане среди платьев покоилась пачка фотографий, в сумочке лежала банковская карта. Лорель окинула прощальным взглядом помпезный холл «Беренгари», широкую белую лестницу, ковровую дорожку кровавого цвета и покинула отель навсегда.

Вадим Мальцев

Вадим Александрович Мальцев родился в 1971 году в городе Янгиюль Ташкентской области Узбекской ССР. Сейчас живёт в селе Кузьмищево Тарусского района. Окончил Российский государственный социальный университет. Работает корреспондентом в районной газете «Октябрь». Пишет прозу с 2016 года. Рассказы публиковались в коллективных сборниках, альманахах, местной газете.



452 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЬСИЮ

— **О**х, и достал же этот радикулит окаянный, — пробурчал Толстой, нехотя выбираясь из старой коробки.

В глаза ударили лучи яркого мартовского солнца; Лев Николаевич зажмурился и раздавил блоху, запутавшуюся в дебрях его могучей бороды.

Картонная коробка была не только его пристанищем — с недавних пор она стала домом и для остальных книг, перекочевавших с полок читателей на городские помойки.

— Однако пора уже приступать к завтраку! Куда же запропастился наш поэт? — нетерпеливо пробурчал классик. — Небось, опять оду сочиняет, вместо того чтобы найти чего-нибудь съестное!

— Доброе утро, граф! — весело окликнул его Александр Сергеевич. — Сегодня у нас знатный улов! Уже давно не выбрасывали таких вкусных вещей! Глядите — просроченные консервы, зелёный хлеб, тухлая рыба и недопитая бутылка изысканного самогона! Мы устроим небывалый пир — как тогда, на балу, помните?

— Ах, балы, как давно это было! — Лев Николаевич вздохнул и шумно высморкался в подол рубахи. — Но надо жить здесь и сейчас. Давайте не ворошить прошлое, а лучше приступим к трапезе. Кстати, как вам удалось раздобыть столько снеди?

— Благодарите Тургенева! Он обшарил южный склон мусорной кучи. По дороге встретил Достоевского — он и откопал эту чудную настойку самогона на дихлофосе. Погуляем теперь на славу!

— А вот раньше, господин Пушкин, мы пили только выдержанное вино и коньяк!

— Забудьте, Лев Николаевич! Однако где же они?

Появился Иван Сергеевич, вместо трости он элегантно помахивал обломком старого костыля. За ним важно шествовал Достоевский.

— И какой это идиот вздумал отправить нас на свалку? — не унимался Фёдор Михайлович.

— Наверное, мы свершили какое-то преступление, вот и понесли наказание, — предположил Тургенев.

«Бедные люди, — подумал Лев Николаевич, — они никак не могут смириться с действительностью и ведут себя как подростки».

— Господа, не ссорьтесь, — прервал их Пушкин, — право же, так и до дуэли дойдёт! Приступим лучше к трапезе!

Друзья постелили на землю старый мешок, выложили добычу и молча начали своё пиршество.

* * *

«Газель» остановилась неподалёку от главной мусорной кучи. Два тинейджера нехотя покинули салон, следом неторопливо вышел мордатый водитель и скомандовал:

— Пацаны, тащите сюда мешок!

Потом с презрением оглядел классиков и ухмыльнулся:

— Эй, чуваки, принимайте пополнение...

Из мешка посыпались книги.

— Смотрите, — воскликнул Достоевский, — Вальтер Скотт, Марк Твен, Лем и даже Иван Ефремов! А это кто? Сам Конан Дойль! Ну теперь у нас будет весело! Добро пожаловать в нашу компанию, господа-товарищи!

— Ага, — подтвердил один из тинейджеров, — вот вам здесь всем и место, бомжары!

— Это мы-то бомжары? — обиделся Тургенев. — На себя посмотри, юноша, на тебе даже штаны дырявые!

— Ничего ты не понимаешь, чудик! — усмехнулся тинейджер. — Сейчас такая мода! Эти штаны стоят дороже, чем вы все вместе взятые.

— В наше время такие штаны даже крепостные не носили, — заметил Пушкин.

— А тебя я вообще не спрашиваю, кучерявый, — презрительно ответил пацан, открывая банку с пивом.

— Колюха, кончай свистеть с этими лузерами, их время прошло! Или тоже к ним захотел? — окликнул его второй.

— Ты чё, совсем долбанутый? — обиделся Колюха. — Я с ними рядом не си-дел и не собираюсь! Если мне надо чё почитать — и в компе найду.

— Правильно, — заметил мордатый, — загрузишься всякой фигнёй и станешь, как они. Поехали лучше водочку пить.

* * *

— Присоединяйтесь, братцы, — пригласил Толстой новичков, — теперь мы все в одной лодке.

— Ага, как Муму с Герасимом, — подметил Тургенев.

— Иван Сергеевич, мне непонятен ваш пессимизм, — перебил его Пушкин. — Право же, нам нечего жаловаться — жизнь продолжается!

— В качестве отверженных, — отряхиваясь ответил Виктор Гюго. — Кстати, господа, я понимаю, что мы теперь лишние. Но кто мне подскажет, в каком времени мы сейчас живём?

— Вам очень это надо? Тогда обратитесь к Шерлоку Холмсу! Мой герой знает всё, — важно предложил Конан Дойль.

— Нет ничего проще, — ответил Холмс, — сейчас первая половина XXI века.

— Мистер Холмс, я давно знаком со всеми вашими фокусами, но как вы это узнали? — удивился его спутник.

— Элементарно, Ватсон! — ответил Холмс. — Когда ещё мы могли бы оказаться на свалке в самой читающей стране? Брэдли такое и не снилось.



Елена Фадеева

Елена Алексеевна Фадеева родилась в 1957 году в Оренбургской области. Окончила филологический факультет Оренбургского педагогического института.

Работала в школе. Рассказы и юмористические истории публиковались в городских и региональных газетах, в литературном сборнике «На обнинских перекрёстках», газете «Поэтоград», журнале «Лифт». Автор книг «И вот...», «Ужас», «И ещё», «Житейские истории», «Аттракцион», «Быль и небыль», «Матрёнино горе». Член Союза писателей XXI века. Живёт в Обнинске.

ДАЧНЫЕ ПЕРИПЕТИИ

Деревянная калитка на дачном участке вдруг резко распахнулась, с грохотом ударившись о веранду. Дородная хозяйка была еле заметна за пышными зарослями помидоров, выше которых самосевом взметнулись редкие кустики укропа. Она испуганно повернулась на звук и увидела, как к ней почти бегом по узкой дорожке приближается встревоженная соседка. Несмотря на свои восемьдесят семь лет, худенькая баба Нюра была очень активной, находила время следить по телевизору за всеми новостями и в случае, на её взгляд, чрезвычайной ситуации оповещала всех, кто находился поблизости.

— Ты слышала, Лида, что сейчас по четвёртому каналу сообщили? — спросила она, не поздоровавшись.

— Нет, — ответила та и поднялась со скамеечки, сидя на которой занималась обработкой клубники. Хваткая, практичная в быту Лида в глубине души была впечатлительной и уже заранее начала волноваться. Руки сами собой медленно стянули с головы косынку, сжали её на груди.

— Что случилось? Опять теракт? Авария с большим количеством пострадавших?

— В жизни не угадаешь. Американцы заявили, что отберут у нас Сибирь. Как тебе это нравится? Я прямо места себе не нахожу после такой информации.

— А вы-то что разнервничались? — подал голос муж Лиды, Егор, который всё это время поливал из шланга яблони и был почти не виден за листвой. Ради такого случая он вышел из тени, продемонстрировав госте свой голый торс; ниже пузырились клетчатые шорты, натянутые на большой живот, как на мяч.

Соседка смутилась, узнав, что они не одни. В присутствии мужчин она всегда впадала в ступор, теряла дар речи, замыкаясь в себе, как моллюск в раковине. Может, поэтому и замуж никогда не выходила, и детей не имела. Коротала жизнь в одиночестве.

— Так вот, я что хочу сказать, — продолжил свои рассуждения Егор, осторожно обходя дерево вокруг, опасаясь, увесистым шлангом нечаянно нанести вред цветущей картошке. — Чем суету наводить, нервы людям взвинчивать, прикиньте для начала, где Сибирь, а где ваши четыре сотки. Тем более Америка.

Соседка столбом стояла на месте. Молчала. Продолжать вести с ней разговор было уже бесполезным занятием.

— Короче, — подытожил Лидин муж, — идите к себе и спокойно полите грядки дальше. В ближайшее время захват нам не грозит.

Соседка безропотно развернулась и молча ушла, аккуратно прикрыв за собой калитку.

— Мам! — послышался из окна голос взрослой дочери, которая приехала вместе с родителями на дачу отдохнуть на свежем воздухе. — А кто к нам только что приходил?

— Соседка, баба Ньюра.

— Что она интересного рассказала?

— Говорит, американцы у нас Сибирь хотят забрать.

Дочь тут же выскочила на крыльцо, чтобы обсудить эту новость с родителями поподробнее.

— Клево! Да, мам? Везёт сибирякам, — начала она мечтательно развивать начатую тему, привалившись к косяку, приятно щурясь от яркого солнца. — А давайте в Сибирь переедем и сразу американцами станем, не надо гражданство оформлять.

— Давай, собирай чемоданы, — завёлся отец, запутавшись от злости в высокой ботве. — Всё равно от тебя на даче помощи никакой. Там вон, за забором, уже одна эмигрантка засуетилась, чуть калитку не снесла от радости. Правда, из-за возраста может не дотянуть до счастливого дня. А у тебя появился шанс, спешి присоединиться.

— Мам! — притворно загнусавила дочка. — Чего он ко мне придирается? Пряма пошутить нельзя.

— Не обращай внимания. Выпить хочет, а не с кем, вот и кидается на всех, — сделала вывод Лида, снова усаживаясь на место, чтобы продолжать дальше заниматься прополкой.

Дочь, получив ожидаемую защиту, ушла в дом досматривать по телевизору интересный фильм, а её отца зацепила последняя фраза жены.

— Почему это не с кем? Было бы желание. Сейчас соседа дождусь и посидим с ним, пивко попьём, а может, чего и покрепче. Правда, его что-то на огороде не видно. Одна супруга, смотрю, всё утро, согнувшись, стоит.

Поскольку участки между собой с трёх сторон были разграничены сеткой-рабицей, то люди на них хорошо просматривались вместе с грядками, парниками и открытыми верандами.

— Эй, Кузьминична! — громко окликнул он жену соседа, которая без передышки копалась в парнике, сооружённом из отживших свой век оконных рам. — Подойди на минуточку, а то я шланг под напором бросить не могу.

Та, еле разогнулась и странной походкой направилась к забору. Возраст у них был примерно одинаковый, предпенсионный. Получив от предприятия эти земельные участки ещё лет тридцать назад, они сдружились. Часто на даче собирались вместе отмечать дни рождения, общие праздники. Можно сказать, знали друг о друге почти всё. Но сейчас, глядя, как приближается соседка, Егор пытался издали понять причину её необычной ходьбы. Вроде, одета как всегда: старое трико, закатанное до колен, сверху выцветшая футболка, на голове платок, повязанный концами назад. Когда Кузьминична подошла совсем близко, он не удержался, спросил:

— А что у тебя с ногами?

— Да калоши сегодня совсем порвались, — простодушно стала объяснять она. — Я в чулане порылась и нашла старые осенние туфли на платформах, которые, помню, ещё в молодости по талонам доставала. Выбросить жалко, а они за столько лет малость рассохлись, и каблук подворачиваются. Ничего, до вечера приноворюсь.

— Теперь понятно, а то я думал, болезнь какая приключилась. Неудобно стало, что дёргаю хромого человека.

— Чё спросить хотел? — перешла к делу соседка, освобождаясь на траве около забора от раритетной обуви.

— Где супруг твой прячется? Вроде с автобуса шли вдвоём, а работаешь на грядках одна.

— О-о-о... Мой уже час назад пропел «Раскинулось море широко...» и теперь спит.

— Что ж он поторопился, раньше времени управился?

— Некогда тянуть, в ночь на работу вызвали.

— Ты так спокойно об этом говоришь, Кузьминична, мне интересно, вы ругаетесь когда-нибудь или нет?

— Нет. Он у меня не особо разговорчивый. Сам знаешь. Нашёл — молчит и потерял — молчит. А когда норму выпьет, «Раскинулось море...» затынет и всё, готов.

— Сколько помню, супруг твой дальше первой строчки песню никогда не поёт. Что, выучить слова не может?

— А зачем? Не в словах же дело.

— Скучно, небось, Кузьминична, в молчанку всю жизнь играть?

— Я привыкла. Он меня не обижает, на работу ходит, чего ещё надо? Да мне и некогда языком молоть. Сначала сына, Вовку, считай, одна выростила, потом огород весь на мне, ещё работа.

— А что ж Вовка вам не помогает? Мы свою вывозим. Пока только к домику приучили, теперь бы ещё заставить грядки полоть, но моя жалеет. Видала, сама пластается, а здоровая девка музыку лёжа на диване слушает.

— Ты тоже не перетрудился, — вставила реплику недовольная жена, все это время издали прислушиваясь к разговору, — уцепился за шланг и только головой по сторонам крутишь, компанию подыскиваешь.

Она перестала заниматься обработкой клубники и подошла к забору.

— Считаю, когда дочка замуж выйдет, тогда и наработается.

— Я тоже думала, Вовку женю, будем вместе со снохой огородом заниматься, мужики по хозяйству помогать. А она один раз приехала сюда на машине, постояла на шпилечках у крыльца и цок-цок-цок к калитке.

— И ничего не сказала? — спросила удивлённая Лида.

— Сказала. Это, говорит, не дача, а какой-то комариный рай. Больше ни она сюда не ездит, ни Вовка.

— А причём тут комары?

— Не знаю. Переспросить было не удобно, подумает, глупая. Вроде рай — это хорошо, похвально, а комары, значит, или мошкеры полно, или участок маленький, только для мелких насекомых годится.

Соседка растерянно пожала плечами, одновременно пытаюсь при этом снова надвинуть на ноги сбережённые туфли.

— Ладно, пойду своего будить. Пусть разгуляется маленько, — сказала на прощанье Кузьминична и побрела, вперевалочку, на перекошенных платформах к летней веранде.

— Что же делать? — спросил жену раздосадованный Егор, с большим усилием перетаскивая шланг с водой на вторую половину огорода. — Дожили, выпить на даче в выходной день не с кем.

— Если так припёрло, наберись смелости и сходи в гости к Никодиму, что через дорогу от нас. Поближе познакомься с новыми соседями. Они вроде сегодня приехали, около забора машина стоит.

— Только не к нему. Он не пьёт, ни курит, чего зря время терять.

— Ну просто, как мужики посидите, поговорите.

— Какой он мужик? Он инженер с дипломом.

— Откуда ты всё знаешь, если они ни с кем не общаются, с тех пор как дачу купили?

— Да я ещё прошлой осенью заходил к ним на разведку, якобы по делу. И зря. Мне этот сосед все мозги вынес своим сверхсовременным проектом. Чертежами в нос тыкал, показывал расчёты на бумажке, умничал. А я стоял перед новоявленным дачным «архитектором», как обалдуй, поддакивал невпопад и не знал, под каким соусом уйти. Хочет, чтобы дом у него не просто на земле стоял, а как у бабы Яги, на ножке вертелся. То к лесу задом, то передом. А как этот грамотей наверх собрался карабкаться, не помню: или лифт приспособит, а может, по верёвочной лестнице.

— Ну и как идут дела? — заинтересованно спросила Лида.

— С тех пор на участке только молодые берёзки произрастают, я с чердака видел. А может, так по проекту задумано. Вот роща вырастет, тогда и диковинную избушку срубят.

— Я и не знала про грандиозные планы новых соседей.

— Теперь знай, — сказал он и пошёл отключать воду.

Когда кран был перекрыт, муж, сматывая шланг, обрадовал её:

— Получается, мать, как ни крути, а сегодня мне придётся с тобой круглую дату отметить.

— Какую круглую дату? — напряглась Лида, поскольку она очень скрупулёзно отслеживала все дни рождения, юбилеи.

— Сорок лет без урожая, — сострил вмиг развеселившийся Егор, закрывая на замок хлипкую дверцу сарая, где хранился весь садовый инвентарь.

— Это почему без урожая?

— А потому. Как только дачный сезон закрываем, тут же с сумкой в магазин идём, овощами затариваться.

— А картошку свою едим до ноября, забыл?

— Сколько мы её в прошлом году накопили? Уточни.

— Ведро.

— А посадили? Тоже ведро.

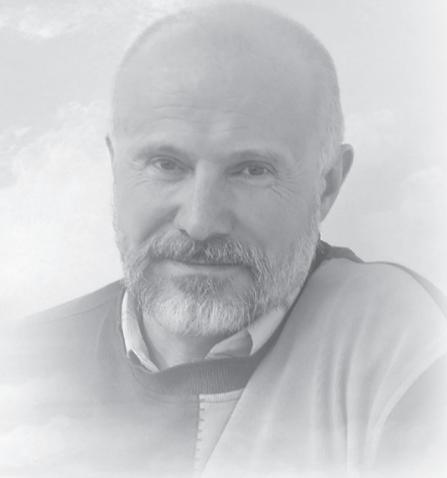
— То, что мы научились всё лето сохранять картошку в земле, это не отнять. Честь нам и хвала. За что сейчас и выпьем.

Муж демонстративно снял с верёвки полотенце и, посвистывая, направился за перегородку с летним душем, чтобы привести себя в порядок после трудов праведных.

Лида сначала пыталась сопротивляться, но поняла, что это бесполезное занятие, махнула рукой и пошла накрывать стол к обеду.

Андрей Убогий

Андрей Юрьевич Убогий родился в 1963 году в городе Железногорске Курской области в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Хирург-уролог. Автор нескольких пьес и книг прозы. Живёт в Калуге.



РОД

Диме и Даше

I. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Для человека молодого важнее всего он сам: молодость, как правило, эгоцентрична. Для мужа зрелого нередко важнее всего дело, которому он служит: именно в этом служении человек обретает себя и своё место в мире. А вот в старике, которому скоро придётся освобождать место под солнцем — в нём, вместе с убылью жизненных сил, порой нарастает особое чувство причастности роду. Он чувствует, что его личное тело ветшает, слабеет и вот-вот рассыплется в прах; но раз он причастен ещё и родовому огромному телу — которое существует как бы поверх индивидуальных границ и могил — то предстоящая и неизбежная частная убыль не остановит того родового потока, который течёт сквозь века.

Вот и я, оказавшись на переходе из зрелости в старость, почувствовал: род, с одной стороны, неизмеримо превосходит мои личные силы и рамки моей частной жизни — а с другой, наполняет особого вида энергией. Это энергия смирения и укрепления одновременно: это сознание того, что земное твоё бытие началось много раньше рождения — и, стало быть, не закончится смертью.

И ещё я почувствовал: пришло время сказать то, что я знаю о собственном роде. Это мой долг перед родом Убогих — Поповых — тем, что смотрит сейчас со стены глазами моих многочисленных предков. Не зря я, выходит, когда-то отбирал эти все фотографии, увеличивал их, вставлял в рамки и развешивал на стене. Собственно, много лет я и жил в осязаемом присутствии рода, под взглядами предков. И они терпеливо ждали все эти годы: когда ж, наконец, я скажу о них слово?

И нередко в этом скрещении неподвижно-внимательных взглядов я ощущал некую силу, что исходила ото всех этих глаз и лиц: силу, которая мало

того, что объединяла их всех — но силу, избыток которой передавался и мне самому. И со временем я осознал: эта тайная сила, которою движется и которой живёт человеческий род, может быть только любовью. Ибо что ещё так же объединяет и связывает людей, что ведёт их в объятия друг другу, что лелеет детей и хранит стариков — как не животворящая сила любви, питающей дерево каждого рода? Поэтому каждая из родословных, пространно или кратко записанная чьей-либо рукой — всегда есть история любви.

Возникает вопрос: откуда начать родословную? Ведь, по сути, моей родословной — как и родословной любого из нас — является вся человеческая история. Листок с моим «личным делом» как бы подшит в огромную папку, на которой написано: «История человечества». И любой мысленно представляя прошлое как сплетение родовых, сложно спутанных сил и чередование поколений, с неизбежностью осознаёт: вся история и совершалась в каком-то смысле лишь ради того, чтобы я — именно я! — появился на свет. Каждый из нас представляет собой остриё грандиозного клина, к которому сходится множество родовых непрерывных путей. Свет «сошёлся клином» вот именно на том человеке, который словно бы оглянулся, окинул мысленным взором былое и ощутил, какое неизмеримое родовое войско, состоящее из живых и усопших, он ведёт за собой.

Недаром в традициях древнерусской литературы было любую историю, пусть даже самую частную и бытовую, начинать ни много ни мало — от сотворения мира. Этим как раз задавался и должный масштаб, и та точка обзора, с которой всё то, что случается в самой обыденной жизни, обретает смысл вовсе не частный и не рядовой — но всечеловеческий.

Впрочем, от сотворения мира повести родословную я вряд ли сумею: у меня неостанет на это ни сил, ни отваги. Как начало любого города ведётся от первого письменного упоминания о нём — хоть, конечно же, город всегда много старше, чем та летопись, где он упомянут — так и летопись рода Убогих мы, пожалуй, начнём с года 1756 от рождества Христова: того самого года, когда по приказу Екатерины Второй был составлен реестр Запорожского войска.

II. СЕЧЬ

Да, наша фамилия, без сомнения, казачья — и именно Запорожская Сечь является нашей исторической родиной. Поэтому первой главой нашей казачьей родословной вполне можно считать «Тараса Бульбу» Гоголя: самое колоритное и знаменитое описание быта и нравов сечевого (или «низового») казачества. Итак, читаем: «...вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; ...лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; ...на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; ...бранным пламенем объялся древле-мирный

славянский дух и завелось казачество — широкая, разгульная замашка русской природы... Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед...».

Известно, что в низовьях Днепра Сечей — воинских казачьих лагерей, окружённых заострёнными («засечёнными») частоколами — было несколько. Гоголь описывал исторически первую Сечь: лагерь на днепровском острове Хортица, что близ нынешнего Запорожья. Эта Сечь была своего рода военизированным монастырём. Мало того, что женщины не допускались туда ни под каким видом; но каждый, пришедший на Сечь, получал новое прозвище, со временем становившееся его родовым именем. Тем самым казак отрекался от прошлого — отрясал его прах со своих ног — и принимал, вместе с новым именем, судьбу воина, которая редко заканчивалась спокойной старостью и мирной смертью.

Отчего кто-то из наших далёких предков получил то самое прозвище, которое мы теперь носим в виде фамилии? Могло быть двояко: ведь слово «убогий» имеет два смысла. Это либо увечный, больной человек — либо тот, кто находится на последней стадии бедности, в нищете. Я склоняюсь к тому, чтобы выбрать второе. Представить больного, ущербного человека в рядах казачьего войска непросто — кому и зачем он там нужен? — зато явиться на Сечь, в чём мать родила — было обыденным делом. Как раз такие «убогие» и собирались на остров Хортица, надеясь разбоем и удалью поправить своё бедственное положение.

Вообще, история казачества — особенно Запорожской Сечи, исчезнувшей впоследствии, как затонувшая Атлантида — тема интереснейшая и необозримая, как само Дикое Поле, на границе с которым селились казаки. Но раз уж мы занялись родословной, уместно вспомнить о том, какие народы стекались на Сечь: чьи гены бурлили в котле «низового» казачества? Перечень тех, кто приходил в Запорожье, будет одновременно и перечнем чуть ли не всех народов тогдашней Евразии. Татары и русские, сербы и венгры, поляки и немцы, евреи и турки, армяне и греки — и ещё множество языков и наречий являлись на Сечь, чтобы слиться там в совершенно особенном и уникальном единстве: запорожском казачестве. Обедневшие польские шляхтичи, не имевшие за душой ничего, кроме сабли и гонора; славяне Балкан, бежавшие от турецкого ига; сами турки, которые почему-либо не прижились в Блистательной Порте; русские крепостные крестьяне, искавшие воли; армяне или евреи, искавшие выгоды: Сечь принимала их всех и давала возможность разгульно и лихо пожить — перед лихой и разбойною смертью.

Для того чтобы стать казаком, достаточно было быть лично свободным — и быть способным к военному делу. Последнее достигалось учёбой: известно, что испытательный срок для вновь прибывшего длился семь лет — и только по истечении их человек принимался в «товарищество».

И ещё непременным условием для казака была православная вера: тут нельзя вновь не вспомнить «Тараса Бульбу». «Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! Что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в Троицу Святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу!

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония...»

Само слово «козак» (означающее «вольный человек») — слово тюркское; как, впрочем, тюркского происхождения и другие слова из казачьего лексикона — скажем, «атаман» или «есаул». Оселедец, иль чуб, — самая характерная черта казачьего облика — наследие сарматов, для которых такой вот длинный волосяной клок на темени являлся отличительным признаком воина и свободного человека. Необъятные шаровары (шириной, как писал Гоголь, в Чёрное море), как и сабля с кинжалом, висящие на широком поясе, пришли в Запорожье от турок-османов, ближайших соседей сечевиков, которые представляли для казаков то опасных противников, то ненадёжных союзников — но всегда были источником одежды, табака и вооружения.

А откуда явился пшённый кулеш с луком и салом, главная пища казачества? «Кулеш» (кёлеш) — слово венгерское, как раз и означающее «пшено». А сами венгры — это степняки-гунны, осевшие в пору Великого Переселения народов на востоке Европы. Поэтому, когда мы с вами варим вечерний кулеш на костре где-нибудь на берегу туманной реки и вдыхаем его горьковатый и сытный, дымом пропитанный запах — да ещё под плач чибиса или резкий треск коростеля — мы прикасаемся к давнему прошлому и дышим кочевым воздухом Дикого Поля.

Так что казачество вобрало в себя, в свой язык и уклад, в одежду, обычаи и кулинарию очень многое из того, чем оно было окружено и с чем сталкивалось: в мирной ли жизни или во время военных походов. Но пора перейти от общего к частному и вспомнить тот самый реестр Запорожского войска 1756 года, в котором наша фамилия упомянута пять раз. Итак, вот он — родовой оклик из XVIII века:

«...Убогий Иван — казак Роговского куреня;

Убогий Иван Тимофеевич — казак Уманского куреня;

Убогий Игнатий — казак Левушкинского куреня;

Убогий Павел — казак Шкуринского куреня;

Убогий Трохим — казак Пашковского куреня...» (*материал с сайта «Центр генеалогических исследований»*).

Только один из предков, Иван Тимофеевич, записан с отчеством; значит, мы знаем о том, что его отец Тимофей был на Сечи ещё во времена Петра — и, стало быть, нашему казачьему родословию уже триста лет. И, кстати, тот самый Уманский курень, к которому был приписан Иван Тимофеевич,

упомянут в «Тарасе Бульбе». Это, с одной стороны, укрепляет доверие к тексту — а с другой, наполняет законной гордостью: Гоголь, выходит, писал и о наших прямых предках тоже.

Но реестр 1756 года был последней всеобщей «перекличкой» Запорожского казачества: всего через 19 лет, в 1775 году, Екатерина издаёт «Манифест об уничтожении Сечи». И Сечь буквально сжигают: правда, прежде того переговорив со старшинами и предложив запорожцам уйти — что они и исполнили, без единого выстрела и без сопротивления.

Историки пишут много всякого-разного о причинах разгона Сечи. Одна из популярных версий та, что после Кучук-Кайнаджирского мира с турками для России отпала нужда в казачьей охране юго-западных границ. Но я уверен: глубинной причиной такого решения Екатерины были её страх и ненависть по отношению к казачеству как таковому. Ведь только что, в 1774 году, в Москве «на Болоте» был казнён Емельян Пугачёв. И хоть запорожцы прямого участия в его бунте не принимали, но ужас немки Екатерины перед стихийной, необъяснимою, тёмною силой русского бунта был настолько велик, что она запрещает даже употреблять само слово «Сечь»: как напоминание о силе, с которой нельзя до конца совладать и какую нельзя объяснить. В сущности, ужас императрицы перед разгульною силой казачества — это ужас «правильной», рациональной Европы перед необъяснимо-абсурдной Россией*. Недаром самые жестокие меры против казачества принимали правители-инородцы: такие, как немка Екатерина, или евреи Троицкий и Свердлов.

Итак, Запорожская Сечь была уничтожена. Но поразительно то, как она возродилась: сохранив и язык, и обычаи предков, и даже названия прежних своих куреней — которые превратились в названья кубанских станиц.

III. КУБАНЬ

Всё же Екатерина Великая, хоть была женщиной и имела женскую душу, но государственный ум у неё был мужской. Поддавшись бабьему страху и приказав уничтожить Сечь, она скоро сообразила, что без казачества не удержать имперских границ на юге России. И вот запорожцы в числе около двадцати тысяч переселяются на Кубань и Тамань — где из них формируется Черноморское войско. Его созданием руководил Суворов. И когда он затем ходил воевать турок, казаки-черноморцы были далеко не последней силой в суворовском войске. Отрадно думать, что и мои предки Убогие сражались под началом величайшего полководца в истории — и, что весьма вероятно, общались с ним лично: например, при штурме Измаила.

За геройство и лихость, которое проявили бывшие запорожцы в турецкой войне, матушка-императрица меняет гнев на милость. Черноморское

* Правнук Екатерины, император Александр Второй, так ответил на вопрос «Трудно ли управлять Россией?»: «Нет, Россией управлять нетрудно — но бесполезно».

войско объединяют с Кавказским линейным (там служили в основном казаки с Дона), образуют единое Кубанское казачье войско — и, что самое главное, наделяют казаков-переселенцев землёй. История о том, как казачьи атаманы несколько месяцев в Санкт-Петербурге ждали аудиенции императрицы и как затем атаман Головатый поразил Екатерину своей образованностью и обхождением (он изъяснялся с ней на латыни) — в результате чего казачье посольство увенчалось полным успехом — это тема для какого-нибудь исторического романиста. Впрочем, Гоголь уже описал эту сцену в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Помните, как кузнец Вакула с чёртом в кармане выпрашивает царицыны черевички? Так вот реальные казаки, во главе с Головатым, выпросили куда больше: плодородные земли Кубани — причём, как гласил манифест 1792 года, «в вечное и потомственное владение». Не случайно же и столицу новых казачьих земель в память о щедрости императрицы назвали Екатеринодаром.

И свершилось судьбоносное превращение: бывшие вольные, как степной ветер, запорожцы — по сути, грабители и головорезы — становятся оседлыми землепашцами. Правда, при этом они сохраняют и душу, и навыки воинов-степняков, для которых ещё очень долго шашка и конь будут важнее и ближе, чем плуг, запряжённый волами. Но зато великий и древний конфликт человечества — конфликт между кочевыми и оседлыми племенами, между народами, живущими созиданием своего либо грабежом чужого, — оказался обуздан и погашен в казачестве: ибо отныне казак — это воин и земледелец одновременно.

Вообще, удивительный сплав возник на Кубани. Здесь соединилась православная вера и русское подданство, малороссийская речь (кубанский диалект украинского языка стал называться «балачкой») и одежда местных кавказских народов (адыгов), которая гармонично и быстро сделалась привычной казачьей одеждой. Черкеска и бурка, папаха и газыри стали такою же обязательной принадлежностью кубанского казака, как кинжал, ружьё или шашка.

Из Запорожья были вывезены не только фамилии-прозвища, но и названия куреней, превратившиеся в наименования кубанских станиц. Так вот наши предки Убогие осели в основном в двух станицах: Платнировской и Пластуновской. Вот выдержка из переписи 1897 года, где наша фамилия упомянута целых 12 раз:

- «Убогий Деомид — станица Пластуновская, пластун;
- Убогий Дмитрий — станица Пластуновская, пластун;
- Убогий Евдоким — станица Платнировская, казак;
- Убогий Евлампий — станица Платнировская, казак;
- Убогий Евлампий — станица Платнировская, казак;
- Убогий Евлампий — станица Платнировская, пластун;
- Убогий Евлалий — станица Платнировская, пластун;
- Убогий Евлампий — станица Платнировская, пластун;
- Убогий Евлампий — станица Платнировская, пластун;
- Убогий Евлампий — станица Платнировская, казак;

Убогий Илья — станица Платнировская, казак;

Убогий Логвин — станица Платнировская, казак...» (*материал с сайта «Моё семейное древо»*).

Скорее всего, двое последних именно из этого перечня, Илья и Логвин, стали героями Первой мировой войны: удалось найти списки Георгиевских кавалеров станицы Платнировской, датированные 1915 годом. Цитирую:

«...92. Убогий Логвин Федосеевич, служащий в 1-й сотне 2-го Черноморского полка. Награждён Георгиевским крестом 4 степени № 750948. Приказ № 294 по 2-му Черноморскому полку от 20 октября 1915 г., город Несвиж: «В непрерывных боях с 5 по 24 июля 1915 года, находясь для связи при пехотных полках 42-й дивизии, выказывал выдающиеся храбрость и мужество при исполнении своих обязанностей по службе связи. В упомянутых боях, вследствие отхода частей под натиском превосходящих сил противника часто прерывалась телефонная связь, но благодаря беззаветной храбрости и самоотверженности приказная связь держалась, и все приказания и распоряжения передавались по назначению и своевременно, несмотря на сильный огонь противника (ст. 67, п. 19).

93. Казак Убогий Илья, служащий во 2-м Черноморском полку. Награждён Георгиевской медалью 4 степени № 566315. Приказ № 202 по Кубанскому казачьему войску от 24 марта 1916 г., город Екатеринодар...» (*интернет-форум «Вольная станица», материал «Георгиевские кавалеры станицы Платнировская»*).

Но та станица, откуда ведётся наше прямое родство, — это Балковская. Исторически эта станица — хутор-выселки станицы Иркилевская, что расположена в сотне километров к северу от Екатеринодара (теперешнего Краснодара), как раз на дороге, ведущей в Ростов и Москву. А Иркилевская — опять возврат в XVIII век — это одно из первых сорока поселений черноморских казаков на Кубани, основанное в 1794 году. И название она получила по одноимённому куреню Запорожской Сечи. Интересно, что казак как раз Иркилевского куреня в 1774 году был записан князь Михаил Илларионович Кутузов, тогда командовавший батальоном гренадёров, отражавшим десант Девлет-Гирея, который пытался занять Алушту. Именно в этом сражении пуля вошла Кутузову в левый висок и вышла у правого глаза. Истинным чудом кажется то, что Кутузов остался жив и смог свершить то, что было ему предназначено свыше; а для меня чудесным совпадением является то, как история нашего рода вплетена в историю России. Выходит, мои предки из Иркилевского полка-куреня сражались бок о бок с Кутузовым, и его запись в казаки именно нашего куреня является своего рода «братанием» с ними.

Кто жил в Иркилевской-Балковской? Известно, что жил там Фома Убогий, мой прапрадед, и у него было несколько сыновей. Сохранились имена троих: это Афанасий, Грицко и Ипатий. О Грицко известно лишь то, что он был вспыльчив, но отходчив и добр; а такое «хохлацкое» имя он носил потому, что в семье Убогих — да и, вероятно, во всей Иркилевской — все говорили на украинской «мове».

Об Ипатии мне удалось разузнать только то, что он был ленив и жаден — и, случалось, прятался под телегой, чтобы там в одиночку поедать пироги. Я бы, может, и не приводил здесь этой подробности — согласитесь, не украшающей одного из наших далёких предков — если бы эта деталь не осталась единственным, что ныне извлекает Ипатия Фомича из тьмы забвения. И потом, лень и обжорство для запорожца — врождённые свойства. Вне войны и похода казаку и полагалось валяться где-нибудь в холодке под телегой, покуривать люльку — да поедать пироги, если уж они подвернулись под руку. «А то вдруг, — как говорится в одном анекдоте про хохлов-казаков, — враг придёт, а я усталый?»

Про Афанасия Фомича, моего прадеда, известно чуть больше. Помимо земледелия, основного дела казаков на Кубани, он занимался ещё и торговлей скотом. Вероятно, и торговал, и хозяйствовал он довольно успешно: раз в его доме водились маслины и «алимоны» (именно так он их называл) — а это уж, по казачьим понятиям, деликатесы. И понятно, что торговать скотом в казачьей среде, где каждый — знаток и ценитель товара, мог лишь тот, кто действительно разбирается в животноводстве. Недаром его сын Василий окончил позднее Пятигорский зоотехнический институт и стал специалистом по коневодству. Не от них ли — от Афанасия и его сына Василия — и в моей дочери Даше такая любовь к лошадям?

Афанасий, хоть жил на хуторе Балковский, но учиться ходил в Ирклиевскую станичную школу. В ней-то он и познакомился со своей будущей женой по имени Ирина. Она была внучкой казачьего полковника, росла в семье, где было шестеро детей, и имела неблагозвучное отчество, которое доселе режет христианское ухо: Иудовна. Об этом отчестве — точнее, об имени отца моей прабабки — существует такое предание. Казачий полковник (мой прапрапрадед) крепко поссорился со станичным священником. И тот нашёл неожиданный способ мести: когда крестили очередного полковничьего сына, священник нарёк младенца Иудой. Говорят, что храбрый полковник, выйдя из церкви, рыдал — но переменить крестильное имя было уже не в чьих-либо силах.

Не представляю, как жил на белом свете кубанец Иуда. Думаю, что ему приходилось несладко: ведь, кроме немалой жизненной ноши, лежащей на плечах любого казака, воина и земледельца, ему приходилось нести ещё и груз имени — и он был едва ль не мучительней всех остальных. Но казак этот груз, без сомнения, вынес: раз он оставил потомство из шестерых детей. Фотография его дочери Ирины Иудовны сохранилась в нашем семейном архиве: с карточки смотрит старуха с печальным, но твёрдым лицом.

А печалиться ей было о чём — как была и нужда проявлять твёрдость. Её муж, Афанасий Фомич, погиб на германской войне в 1914 году и оставил вдову с четырьмя детьми: Иваном, Прасковьей, Марией, Василием. Даже в мирные и благополучные времена в одиночку поднять четверых детей — задача не из простых; но в те годы войн, смут и голода, что выпали на долю Ирине Иудовне и её семейству, выполнение этой задачи становится

жизненным подвигом. Вот она его и совершила — как совершили подобный же подвиг миллионы женщин России.

Сохранилась фотография её погибшего мужа, сделанная в 1914 году, накануне отправки на фронт, незадолго до гибели. Казак и смотрит в объектив фотоаппарата, как в глаза собственной смерти: с прощальной спокойной печалью. Сколько можно судить, сложением он лёгок и строен; кисть руки, что виднеется из длинного рукава черкески, тонка и изящна. Афанасий Фомич ещё очень молод — усы и брови черны, овал лица мягок — и, скажем прямо, красив. Не знаю, сказалась ли близость смерти — которую он, скорее всего, ощущал — или так проявилась врождённая тонкость натуры, но на последней (возможно, что и единственной) фотографии прадеда я вижу не столько воина, сколько поэта. Даже как-то и странно выглядит весь этот бравый казачий мундир — черкеска и газыри, кинжал и папаха, и темляк шашки за левым бедром — в сочетании с тонкой, грубою грустью лица.

Но ни тонкости, ни глубины, ни поэзии жестокому времени было не нужно: прожорливый Хронос XX века питался человеческим мясом и кровью. Афанасий сгинул в мясорубке Первой мировой войны — как, спустя всего 27 лет, в мясорубке Второй мировой сгинет и его сын Василий, мой родной дед. Невозможно даже сказать, долговечны ли были мужчины в моём роду по отцу: все они погибали в бою.

Но вернёмся в станицу Балковскую, и хотя бы вкратце расскажем о жизни детей овдовевшей Ирины Иудовны. Мария Афанасьевна — у нас в семье её звали «тётя Маруся» — окончила Киевский технологический институт, работала инженером-химиком и прожила жизнь в пригородном посёлке под названием Буча Киевская. Замуж она, насколько я знаю, не выходила — но растила приёмную дочь Ирину, у которой родился сын Стасик. Неблагозвучную родовую фамилию тётя Маруся сменила на очень уж звучную: Иорданская. Когда мне было лет двадцать, я навещал её в Буче — но, сказать честно, мало что запомнил из того короткого визита. Сам посёлок был очень зелен, и из окон квартиры тёти Маруси (она жила на первом этаже) виднелись красивые сосны. Смутно помню сухую рассеянную старушку и помню обильное угощение, которое я поглощал с азартом двадцатилетнего, вечно голодного парня. Ещё помню Ирину, очень приятную, милую женщину — которая всё подливала мне розовый вкусный компот. Но мне, дураку, даже в голову не пришло порасспрашивать тётю Марусю о её жизни в Балковской и о её брате Василии, моём родном деде. Сказалась, видимо, и застенчивость, и эгоцентризм юности — что мне, двадцатилетнему, было за дело до давно минувших лет? — и свойственное всем молодым заблуждение, что всё в жизни ещё повторится множество раз, и я ещё много раз буду пить вкусный компот на станции Буча за столом у тёти Маруси.

Её сестра, Прасковья Афанасьевна, прожила жизнь тоже без мужа — но у неё была дочь Людмила, а от неё — внуки Саша и Оля. Тётя Паша окончила всего лишь церковно-приходскую школу и затем всю жизнь с церковью не расставалась. Усерднейшая прихожанка, она всю жизнь была

церковной старостой в Пятигорске — и это в безбожные советские годы, когда столь усердное исповедание веры было явлением редким. Тётю Пашу я видел всего один раз, в Пятигорске, — она зашла взглянуть на племянника Юру и его сына Андрея — но я запомнил выражение скорбного одиночества на её тёмном, суровом лице. При взгляде на это лицо сразу думалось: «Господи, как же трудна, и горька, и мучительна жизнь человека...»

О Василии Афанасьевиче вспоминают то, что он был очень добр и всегда заступался за малых детей. Так, когда кто-то из детворы пролил на пол кисель (а времена были голодные), то Василий, чтобы избавить ребёнка от наказания, сказал: «Ничего, не ругайте его — я этот кисель подберу и съем», — и, действительно, так и сделал. И вот надо же: это едва ль не единственное, что осталось в памяти рода о жизни моего дела в Балковской. Впрочем, ещё знаю то, что у деда имелась гитара и он хорошо пел под собственный аккомпанемент.

Учился Василий Убогий в Пятигорске, в зоотехническом институте — на факультете, занимавшемся ахалтекинскими скакунами. В том же Пятигорске, но уже на фармацевтическом факультете, учился его родной брат Иван; и именно в Пятигорск дядя Ваня вывез остатки семьи из Балковской, спасая её от страшного голода 1932–33 года. Этим годом и закончилась станичная жизнь моих предков. Когда я просил уже 90-летнего дядю Ваню рассказать что-нибудь о жизни в кубанской станице — он, как заведённый, качал головой и повторял одну фразу: «Калиточку закрыл — и никого не осталось... Калиточку закрыл — и никого не осталось...» Так, видно, и закрепилась в гаснущей памяти глубокого старика одна эта картина: как он закрывает калитку в былое.

Но дверь в прошлое для кубанского казачества была закрыта десятилетием ранее, в годы исхода Гражданской войны. Кубанцы поначалу старались соблюдать в ней нейтралитет и не ввязываться в братоубийственную бойню. Но когда пришлось всё-таки выбирать — почти все они выбрали сторону белых. Казаки, хоть и не знали тогда содержания декретов Троцкого — Свердлова — Ленина о «расказачивании» (по сути, о геноциде казачества), но нутром чувствовали: большевистская власть казакам — злейший враг. Вот и сражались они под знамёнами Корнилова, Деникина, Врангеля — а уцелевшие кубанцы уходили потом из Крыма, «среди дыма и огня», как написано в одном горестном стихотворении. Чтобы не забыть об этом трагическом исходе казачества, я приведу ещё один архивный материал, в котором сказано ещё об одном нашем предке.

«Убогий Николай Дмитриевич, род. в 1891 году. Студент-юрист во ВСЮР (Вооружённые силы Юга России. — А. У.) и Русской армии, в Славянском стрелковом полку. С весны 1920 года во 2-м Карпаторусском батальоне сводно-стрелкового полка и 4-й роте Брестского пехотного полка. Ранен в 1920 году под Каховкой. Подпоручик во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Инкерман» (4–63, 404) (*материал с сайта ВГД «Участники Белого движения в России»*).

Не с кормы ли «Инкермана» стрелял по своему коню и казак-поэт Николай Туроверов? Именно его стихотворением я хочу завершить главу о своих предках, навсегда ушедших с Кубани:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Мой денщик стрелял не мимо:
Стала красною вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомню навсегда...

IV. ПЯТИГОРСК

Пятигорск стал местом спасения нашего рода от голода 1932–33 годов, когда Кубань, Украина, Поволжье вымирали буквально станицами, сёлами и деревнями. А спасителем — тем, кто решил и сумел перевезти семью из умирающей Балковской в город, где, по крайней-то мере, не лютовали красные демоны продразвёрстки — стал дядя Ваня. И вот, закрыв калитку на опустевшем подворье, Иван Афанасьевич перевёз в Пятигорск мать и сестру Пашу (другая сестра, Мария, училась в то время в Киеве, а брат Василий был студентом Пятигорского зоотехнического института). Как ему удалось получить участок земли в пригороде под названием Горячеводск и затем построить там дом, я не знаю; но знаю, что долгие годы дядя Ваня работал заведующим аптекой станицы Зеленчукская. В Великую Отечественную он воевал и имел награды. Иван Афанасьевич был женат, но овдовел довольно рано; единственная его дочь Виктория была женщиной, выдающейся во всех отношениях, — но о ней я расскажу позже.

Пятигорск — особенный город. Форпост России на Северном Кавказе, он стал одним из знаковых городов и для русской литературы. Пожалуй, нет ни одного, подобного ему, города, который при собственных скромных размерах — занимал бы в истории нашей литературы столь заметное место. Пушкин, бывавший там дважды, посылает к его «дымным струям» Онегина:

Уже пустыни сторож вечный,
Стеснённый холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук.
Машук, податель струй целебных:
Вокруг ручьёв его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя, кто Киприды;

Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Красотка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть — хотя на миг...

Лермонтов не просто описал Пятигорск, его быт и нравы в «Герое нашего времени» — но и закончил в нём свой земной путь. А Толстой в Пятигорске писал «Казаков». Это надо же: три наших гения «отметились» в Пятигорске — и тем самым навеки отметили город в истории русской литературы.

Мой отец немало рассказывал о своей первой поездке в Пятигорск, в гости к брату своего погибшего отца, в 1949 году — и прекрасно описал эту поездку в своих мемуарах «Вторая жизнь». Затем он приезжал в Пятигорск в 1956 году, чтобы учиться в тамошнем фармацевтическом институте — но выдержал всего две недели учёбы и вернулся домой, в Тим. А ещё он посетил Пятигорск уже в 1977 году вместе с женой и сыном — то есть со мной.

Как только мы — отец, мать и я — ступили за калитку дома дяди Вани (переулок Краснопартизанский, 8), как я был атакован неистовым петухом. Какой-то яростный шар из красных и чёрных перьев взлетал, клокотал, хлопал крыльями, бил меня в ноги, ощутимо царапаясь даже сквозь брюки — чтобы затем, упав на землю, повторить свой отчаянный и отважный наскок. Я испытал тогда не то чтобы страх — петушок был невелик, а мне было всё-таки почти 14 лет — но испытал восхищённое изумление перед безрассудной жизненной силой, которая заключалась в столь небольшом существе. Пожалуй, тогда я впервые ощутил напор самой жизни как таковой — причём ощутил буквально на собственной шкуре: на коленях, ободранных этим отважным безумцем.

А ведь, в сущности, сила, ведущая род по путям его жизни, — она столь же отважна, бездумна, таинственна и необъяснима. Она просто есть, просто движет собою всех тех, кто её воплощает — и не нуждается ни в объяснениях, ни в оправданиях.

Петушка наконец отогнали. И нас встретил уже настоящий хозяин: высокий и важный, красивый старик лет семидесяти. Это и был дядя Ваня, мой двоюродный дед. Несмотря на жару, он был в шляпе; потом я узнал, что ношение шляпы как символа благородного и порядочного человека было для него моментом принципиальным. Когда, лет двадцать спустя, уже девяностолетним и впавшим в слабоумие старцем, он доживал век в Киеве, в городской квартире дочери Вики — со шляпой он не расставался и там. Отправляясь в туалет справить нужду, он мог забыть надеть брюки — но шляпу надевал обязательно и шествовал в ней по коридору гордо, как генерал на параде.

Та степень собственного достоинства, каким был полон Иван Афанасьевич, для меня до сих пор остаётся непостижимой и недоступной. Кажется, что важнее, чем он, человека не было в целом мире: сам он, по крайней мере, был совершенно в этом уверен. В нашем семейном архиве есть две

фотографии, которые он присылал когда-то как фотоотчёт о собственном отдыхе. На одной он стоит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (в те годы ещё Ленинграда), и даже Александрийский столп за спиной величавого дяди Вани (увенчанного, разумеется, шляпой) кажется малозаметным и незначительным столбиком.

А на другой фотографии мы видим пляж в Гаграх. Уж там-то, казалось бы, трудно принять важный вид старику — далеко не Аполлону — тем более строгая шляпа на пляже как-то не к месту. Но дядя Ваня и там — генерал. Нет, скорее, он там похож на султана: он важно стоит над телами, павшими ниц (это то ли его приближённые, то ли гарем падишаха?), а на гордо поставленной голове, вместо шляпы, лежит какая-то тряпка, отдалённо напоминающая султанский тюрбан.

Живя в Пятигорске уже одиноким вдовцом-стариком, дядя Ваня долгие годы имел одну настольную книгу: мемуары дипломата графа Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Вот кем-то вроде несокрушимого графа мне и представляется сам дядя Ваня; и, хоть он стоял не в строю дипломатов, но в строю самой жизни он, простой кубанский казак, всегда выглядел каким-то сиятельным аристократом.

Мы, признаться, немало подшучивали над этой потешною важностью Ивана Афанасьевича и над его склонностью к бесконечным нравоучениям. Но теперь, когда дяди Вани — единственного мужчины в отцовском роду, кого я знал лично, — уже давно нет в этом мире, я вспоминаю о нём с тем чувством запоздалого уважения и восхищения, какого, увы, он от меня не дождался при жизни. Я вижу, что дядя Ваня был в самом деле титан. Что только ни делала жизнь, чтоб его уничтожить, сломать, чтоб заставить его склонить перед ней свою голову — или хотя бы снять свою неизменную шляпу! На веку дяди Вани были две революции и две мировые войны (в одной из них он участвовал и даже имел награды), был голод двадцатых, затем — самый страшный — тридцатых, а затем ещё послевоенных сороковых годов, были те ужасы геноцида, которым советская власть подвергала казачество, чтоб его изничтожить, стереть в порошок или в пыль лагерей. Но Иван Афанасьевич остался стоять посреди всех напастей судьбы и эпохи как памятник всему нашему роду: могучим и важным красавцем в добротном костюме и шляпе.

Что ещё мне запомнилось из той давней пятигорской поездки? Ручей-арык, протекавший через сад дяди Вани; громадный, раскидистый грецкий орех, возвышавшийся над его домом, и громада зелёной горы Машук, которая возвышалась даже над грецким орехом. Запомнилась речка Подкумок, которая несколькими мелкими рукавами блестела на каменном ложе. И, конечно, запомнились те самые струи целебных источников, возле которых когда-то стоял, размышляя, Онегин, а княжна Мери, гибко присев, подала обронённый стаканчик бедняге Грушницкому. Очень забавны были те кружки, из которых полагалось пить целебную, но уж очень зловонную воду: полая их рукоять имела отросток, по которому сероводородные струи перетекали сразу в рот пациента, щадя его обоняние.

Удивительно всё же, что именно Пятигорск — некогда главный курорт всей дворянской России — стал местом «исцеления» и спасения нашего рода: именно на его благодатной земле наши родичи пережили самое трудное время — а затем, когда «курс лечения» был завершён, разбрелись-разлетелись по белому свету.

V. КИЕВ

В географию нашего рода входит и Киев, «мать городов русских». Здесь большую часть своей жизни прожила Виктория Ивановна Выхованец, моя двоюродная тётка. Тётя Вика смолоду была редкой красавицей: её ясноликая статность прямо-таки завораживала мужчин. Пожалуй, всё лучшее из того, что вобрала в себя кубанская южная кровь — горячая, гордая, сильная, жадная к жизни — воплотилось в Виктории, правнучке казачьего полковника из станицы Ирклиевская. Тётя Вика не раз с гордостью говорила: «Я не русская и не украинка, я — казачка!» — словно бросая вызов тем силам истории, что стремились стереть саму память о казаках.

Как и её отец, Иван Афанасьевич, по профессии она была фармацевтом. Но мелочность этой работы — согласитесь, более подходящей для немцев или евреев — была тёте Вике явно тесна. И, коль уж в чинно-благопристойной аптеке показать свою удаль и размах ей не удавалось, она проявляла отчаянную решительность в личной жизни. Когда первый муж чем-то ей не угодил — а как угодишь своенравной красавице, беспощадной, как шашка и вспыльчивой, как пороховой заряд? — она оставляет его и уезжает из Пятигорска не куда-нибудь, а в Магадан, на край света. Расчёт тёти Вики был прост, но верен: во-первых, в Магадане платили большие «северные» деньги — а во-вторых, там, в краю настоящих мужчин, было легче выбрать себе нового спутника жизни. И такой выбор был сделан: им оказался полковник внутренних войск. Я потом, уже много лет после, видел её второго мужа: так вот суровый полковник трепетал перед женой, как новобранец перед генералом.

Но задерживаться в холодном Магадане тётя Вика не собиралась: она твёрдо решила жить только в самом лучшем городе мира. А, поскольку таковым в те советские годы был, без сомнения, Киев — богатый, красивый и солнечный, щедрый и тёплый — то, как только полковник вышел в отставку, тётя Вика в сопровождении мужа (который вёз чемодан «северных» денег) с триумфом въехала в украинскую столицу. И этим она замкнула родовой долгий круг: ведь её предки вышли когда-то из Запорожской Сечи, с крутых берегов Днепра — и вот к водам той же реки тётя Вика вернулась спустя двести лет.

В Киеве я навещал её трижды. Помню женщину необъятных размеров: в обычные двери она могла протиснуться только боком. Но ни о какой диете для похудения тётушка не желала и слышать: не для того она поселилась в Киеве, городе своей мечты, чтобы здесь морить себя голодом. «Скильки нам тий жизни!» — помню, приговаривала она, вдохновенно колдуя над огненным жирным борщом, шедевром украинской кухни.

Какое-то время киевская квартира тёти Вики была многолюдна. Муж Виталий, полковник в отставке, работал начальником пожарной охраны в одном из киевских театров; и ещё с ними жили два сына, Саша и Женя. Но полковник неожиданно и скоропостижно скончался; сын Саша уехал с семьёй в Саратов — где, надеюсь, живёт и поныне. А Женя, по профессии врач-генетик, — тот уехал аж в Соединённые Штаты. Знаю, что его сын Дмитрий — прекрасный пловец, а по специальности — биохимик. Какое-то время в опустевшей квартире тёти Вики доживал её престарелый отец Иван Афанасьевич: тот, кто не расставался со шляпой и с мемуарами графа Игнатьева.

Но пришёл черёд и старику отбыть в лучший мир. Тётя Вика осталась одна; а, поскольку из-за чудовищной полноты («Да, я баба бедрастая!» — как бы даже и с гордостью говорила она о себе) и из-за перелома шейки бедра ходить она уже почти не могла, то и пределов квартиры последние лет двадцать жизни тётушка не покидала. Но поразительно, что цепкий ум, здравый смысл и интерес к жизни её не оставляли. Последние годы мы общались с ней и по телефону, и через компьютер; и нередко среди разговоров о нашей Калуге или Америке (где жили её сын и внук), среди советов, как лучше варить борщ или мариновать помидоры, тётя Вика вдруг гордо напоминала: «Я Виктория — значит, победа!». Когда же она на девятом десятке всерьёз заболела (и по всем признакам онкологией) — то на все мои советы обследоваться решительно отвечала: «Андрюша, ты как думаешь: лучше умирать от известной — или неизвестной болезни? Я считаю, лучше от неизвестной: поэтому со своими советами ко мне больше не приставай!» И вот уж два года, как от тёти Вики нет никаких известий, а с её сыновьями у нас нет связи. Значит, болезнь, которую гордая казачка Виктория даже не удостоила чести назвать по имени — всё же настигла и одолела её...

Но с Киевом меня связывает не одна тётя Вика. В 1988 году, как раз в год тысячелетия крещения Руси, я и сам решил покреститься, и не где-нибудь, а во Владимирском соборе Киева. Трудно сказать, что подтолкнуло меня поехать креститься на исторической родине русского православия, да ещё в год его тысячелетнего юбилея. Возможно, я неосознанно хотел возвратиться к «роду Христову» (от которого был отлучён зияющей трещиной атеистических лет) именно на своей кровной родине: на берегах Днепра.

Киев, даже в тот тёплый, бесснежный декабрь 1988 года, был очень красив. Нас с Виталием (я путешествовал вместе с другом) восхищали и Крещатик с его кофейнями и неспешно гуляющими красавицами, и Софийский собор, и Андреевский спуск, и виды на Днепр и Подол от памятника св. Владимиру. Здесь, на родине русского православия, да ещё на Владимирской горке, тысячелетняя древность казалась живой, ощутимой и близкой: словно только сейчас деревянные идолы уплыли по водам за поворот Днепра, а им на смену встал крест князя Владимира.

Вот и я принимал крещение именно во Владимирском храме. Смутно помню его золочёную пышность и васнецовские росписи стен, мерцанье лампад и окладов и потрескивание свечей: я волновался и поэтому

неотчётливо воспринимал окружающее. Но священника, который крестил нас в правом боковом приделе собора, я помню хорошо. Это был глубокий — возможно, лет за девяносто — старик, казавшийся совершенно прозрачным от старости и худобы. Его длинная белая борода была лёгкой, как пух — и таким же, невесомо-бесплотным, казалось всё тело. Словно только тяжёлое облачение, шитое золотом, и удерживало старика-священника на земле: иначе он бы давно воспарил к небесам. Чтобы помазать елеем босые ноги обращаемых ново-христиан (а нас было много, человек двадцать), священнику приходилось буквально падать перед каждым из нас на колени: тяжёлая риза его шелестела, белая борода едва не касалась босых наших ног, и каждый раз было тревожно: а вдруг старец больше не встанет? Но он, вновь и вновь, поднимался — чтобы снова упасть на колени перед тем, кто вступал в род Христов.

Это запомнилось мне из обряда крещения больше всего. То, что смирение не унижает, а возвышает — было явлено с очевидной, прямой простотою и силой. И ещё, наблюдая того старика-священника, уже как бы светящегося от седин, старости и худобы, я впервые тогда осознал, что цель жизни и состоит — в просветлении.

Вечером, после моего крещения, мы с Виталием ужинали в ресторане на Крещатике — посреди шумной еврейской компании. Других мест просто-напросто не оказалось, и метрдотель, пожалев, посадил нас на пустовавшие места за еврейским столом. Мне, только что окрещённому и поэтому склонному во всём видеть символы, это показалось намёком на иудейское, ветхозаветное происхождение христианства.

И помню, как мне было не по себе посреди чуждого нам обоим веселья. Нас не прогоняли, но и не принимали; шутки и реплики, которыми обменивались пирующие за столом, были вот именно, что «для своих»; и эта близость без близости, эта формальная общность, терпимость и вежливость при глубинном различии взглядов на мир с тех самых пор сохранилась во мне, как некое психологическое ядро отношений между иудеями и христианами. «Нет уж, — думал я, отказываясь от маринованного чеснока, которым соседи по столу усердно нас потчевали, — всё же каждому надо держаться своих, и жить в своём роде...»

VI. МУРАВСКИЙ ШЛЯХ

Все предыдущие главы я описывал казачью ветвь нашего рода: историю запорожцев Убогих. Но другие три четверти рода — большей частью куряне, жители той южнорусской окраины, где леса и болота уступают место степям и где Русь переходит в Дикое Поле. Вот о них, о курянах, мы теперь и поведём разговор. И если в начале казачьей родословной я смело могу поставить гоголевского «Тараса Бульбу» — то первое литературное описание наших предков-курян куда старше: оно датируется XII веком. Это «Слово о полку Игореве»:

«А мои ти куряне — сведомы кмети: под трубами повити, под шеломы възлелеяны, конець копия въскормлени; пути имь ведоми, яругы имь знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изострени; сами скачуть, акы серьи волцы в поле, ищучи себе чти, а князю славе...».

Так что от военного прошлого никуда нам не деться. Жить на окраине этноса — в нашем случае на границе оседлой Древней Руси и кочевого Дикого Поля — и означало вести непрерывные войны, то отбиваясь от степняков, то самим отправляясь с набегами в «земли незнаемы». Даже и в XIX веке, когда Курщина давно перестала быть русской окраиной, душа степных воинов продолжала жить в курских крестьянах. Владимир Даль в своём очерке «О наречиях русского языка» так описывает курян — людей, резко отличных по облику, складу и норову от коренных жителей «лапотно-избяной» Руси:

«Куряне очевидно принадлежат к какому-то особому племени: приземистые и плотные, широколобые, волос тёмно-русый или рыжий, глаза карие; народ работающий, но вороватый и злобный...»

«Вороватый и злобный» в контексте эпохи означало: смышлёный, воинственный и жизнеспособный. Как иначе было и выжить в степных тех краях, где аж до XVII века, и чуть ли не ежегодно, то татары из Крыма шли на север, чтоб грабить Москву — то за ними вдогон (и почти всегда безуспешно) спешила «на полдень» тяжёлая русская конница? Захваченных русских детей татары везли в притороченных к сёдлам корзинах, а связанных полонянок швыряли поперёк сёдел — и невольничьи рынки Феодосии-Кафы вскоре получали новую партию живого товара.

Семья моей бабушки по отцу Марии Павловны Панюковой — родом из села Становое, что расположено близ Муравского шляха. Название «Становое» не оставляет сомнений: именно здесь обыкновенно и разбивали походный свой лагерь татары или ногайцы, ходившие за ежегодной добычей на север.

Вообще, Муравский шлях — удивительное творение природы и человека, и он стоит того, чтоб о нём написать поподробнее: тем более что он является в известном смысле «колыбелью» нашего рода.

В пору, когда Дикое Поле людьми было ещё не заселено — одни лишь табуны диких коней и сайгаков каждый год кочевали то к югу, то к северу, двигаясь вслед за теплом и травой. Понятно, что дикие эти стада выбирали пути по удобным долинам, где не было переправ через широкие реки. Сотни тысяч копыт, сотни лет дважды в год перепаживали степной чернозём — да ещё на ходу удобряя его навозом и засевая неперевавленными семенами трав — и так в междуречье Днепра и Дона с юга на север протянулся громадный зелёный ковёр, засеянный в основном «муравкой»: низкорослой и сочной травой. Ширина этого травяного ковра была от нескольких сотен метров до двух-трёх километров; а протянулся он, местами разделяясь на несколько рукавов, от нынешних Орла, Белёва и Мценска до самого Крыма.

Когда вместо диких копытных кочевать стали люди — также с конскими табунами или отарами овец — они, естественно, выбирали для переходов

тот же самый, травой-муравую засеянный путь. Пастухов-скотоводов порою сменяли войска, и татарская, ногайская либо русская конница двигалась то на юг, то на север — и копыта коней продолжали рыхлить плодородную землю, а конский навоз продолжал удобрять просторы Муравского шляха. Конечно, летом и в засуху трава выгорала, и зелёный ковёр превращался в пыльную полосу потрескавшейся земли, по которой там-сям белели конские (а то и человеческие) кости; но шлях оставался шляхом — эпической древней дорогой, соединявшей Россию и Крым. Прекрасное описание этой дороги оставил Иван Алексеевич Бунин в своём рассказе «Муравский шлях» — и я с радостью передаю слово ему:

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный, пустынный большак... Много пустынных дорог и полей на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать. И ямщик мне сказал:

— Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь, и всё не могли пройти...

Я спросил:

— А давно?

— И не запомнит никто, — ответил он. — Больше тысячи лет!»

Вообще, определить, где исконная родина человека — то есть из каких мест произошли его гены? — достаточно просто: надо спросить, какие края и какую природу он чувствует родственно-близкой? Именно в ощущении природы и проявляется генная память — когда возникает особого рода созвучие и резонанс, и помимо всех фактов или рассуждений мы чувствуем: «Это — моё!».

Так вот, несомненно, «моё» — это степи. Причём степи именно нашего юга и юго-востока: живописно-холмистые, с оврагами и речными долинами, с просёлками, врезанными в косогор, с перелесками и меловыми обрывами, со свистом сусликов и дрожанием кобчиков над осенним жнивьем. В таких местах я словно чувствую, как дышит сама земля: то вздымая на вдохе покатые груди холмов, то облегченно, на выдохе, опадая к сырой ивняковой уреме, в которой журчит неприметная речка. Тогда и сам начинаешь дышать как бы в такт тем размеренным вдохам земли: дышать так свободно и так широко, словно твоим вдохам-выдохам — да и всей твоей жизни — не положено никакого предела.

В иных-прочих местах так дышать я не могу. Ни в лесах, где чащоба стволов и ветвей, и весь этот путанный хаос растительной жизни словно оплетает тебя, не давая простора ни взгляду, ни мысли; ни в горах, где разломы земли чередуют ущелья и пики, и вместе с этим разрывают как бы и тебя самого, созерцателя всей этой нечеловеческой мощи; ни даже у моря, где зыбко-безбрежная водная гладь не даёт ни малейшей опоры для взгляда — а, значит, сама она как бы тоже не замечает, не видит тебя... Да, этим всем — и лесным изобильем, и ширью морей, и симфонией гор — я могу любоваться и восхищаться, но у меня никогда не возникнет глубинного чувства, что вся эта роскошь природы — есть как бы я сам. А вот в холмистой степи мне

порой чудится: это именно я протянулся до самого горизонта, и это над моей собственной грудью, коленями и животом так дрожит знойное марево, а коршун дремотно мотает круги, уходящие в бледное небо...

Так что нечего и сомневаться в истоках нашего рода: они именно здесь, в южнорусских холмистых степях.

Кто же из наших жил в Становом? Проследить род крестьян Панюковых удаётся лишь до начала XX века: крестьянская жизнь оставляет, увы, меньше следов, чем жизнь реестрового казачества. Мой прадед, Павел Михайлович Панюков, помимо того, что возделывал землю, ещё промышлял тем, что мастерил бочки и балалайки да ходил по дворам Станового с точилом. Трудно сказать, делал ли он это от нужды в приработке — или просто от склонности к рукоделию и общению. У него был брат Игнат; об их родителях мне ничего не известно.

Женат Павел Михайлович был на полной и доброй Анастасии Антоновне, родившей ему детей: Марию, Ольгу, Елену, Георгия, Семёна, Фёдора, Игната и Ивана. В 20-е годы XX века, когда лютовали голод и тиф, сама Анастасия Антоновна и её родители, отец Антон Семёнович и мать Варвара (о которой её внучка, а моя бабушка Мария Павловна запомнила лишь, что та приносила им, детям, конфеты) — все умерли от сыпного тифа. У Анастасии Антоновны была ещё сестра Анна и братья Николай и Алексей; внук Анны, Алик Мелентьев, стал физиком и всю жизнь проработал в подмосковной Черноголовке: я запомнил его как азартного человека и неукротимого спорщика.

Удивительно, но овдовевший Павел Михайлович Панюков женился вторично: отважная женщина Анна вышла замуж за вдовца с восьмью детьми и ещё родила ему сына Николая. Николая Павловича я хорошо знал. Могучего склада мужик (вот уж настоящий, из описания Даля, курянин), отслуживший пять лет на флоте, он любил выпить, любил возиться с пчёлами — и выражался сильно и смачно. Так, одного из начальников, чем-то очень ему досадившего, Николай Панюков многие годы приветствовал одной и той же фразой: «Помни — котлы кипят!» — имея в виду неизбежность по-смертного воздаяния за все совершённые в жизни грехи.

Жестокий век не щадил Панюковых. Одна из дочерей Павла Михайловича и Анастасии Антоновны, Елена, умерла в родах; её сын Николай Русанов впоследствии поселился в Хабаровске. Из четырёх сыновей, ушедших на фронт в Великую Отечественную, погибли трое: Семён, Игнат и Фёдор. Сам Павел Михайлович, в те годы уже старик, был принят румынами-оккупантами за партизана и в 1943 году заколот штыком на задворках собственного дома. Но это случилось уже не в Становом, а в деревне Камыш — куда перед самой войной переселилась семья. Так крестьянин-солдат Павел Панюков, воевавший ещё в Первую мировую и уцелевший в этой войне, — пал жертвой Второй мировой.

Единственный вернувшийся с войны сын Георгий уехал в Тулу и всю жизнь проработал там бульдозеристом. У него родились и выросли две дочери, Зина и Анна. Про Зину знаю, что её муж-металлург работал на комбинате

в Косой Горе и был награждён орденом Ленина, высшей наградой тогдашней страны. А вот Анна работала садовником в Ясной Поляне, ухаживая за теми самыми яблонями, которые помнили ещё Льва Толстого.

В Становом, родовом селе Панюковых, остался жить лишь Иван, младший сын многочисленного некогда семейства. В доме Ивана — а он проработал всю жизнь трактористом — мне приходилось гостить: нас с отцом принимали там очень радушно. Меня, на ту пору давно городского человека, поражали черты того традиционного крестьянского быта, о котором я мог читать разве что в книгах. Так, в общем застолье всё семейство Ивана Михайловича — хозяин, хозяйка, две взрослые дочери и их мужья, да ещё мы с отцом — ели из общей миски, по очереди зачерпывая из неё деревянными ложками. Застольным напитком был, естественно, самогон, наливавшийся в кружки из трёхлитровой банки. А наутро моя просьба заварить чаю (без которого я не представлял себе жизни) вызвала настоящий переполох: чаю здесь сроду не пили, и хозяйка тётя Шура — красивая, добрая, но до предела измученная сельскою жизнью женщина — заварила мне в кружке смородиновый лист.

И хоть дом Панюковых был довольно просторным — помню, в чистой гостиной по стенам висели цветастые коврики, вытканые руками хозяйки, — но вся жизнь семейства протекала, похоже, в одной тесной кухонке, где варили еду людям и поросётам, принимали и потчевали гостей, чинили одежду и утварь да порой пели песни в самогонном хмелю. Так и чувствовалось, сквозь всю бесприютность, безбытность, нескладность и неухоженность здешнего существования, что дом Панюковых, как и всё Становое, расположен именно на обочине шляха: и, стало быть, ни к чему заводить здесь налаженный и основательный быт. Не татары, так войны, не войны, так революции и продразвёрстки, или очередные реформы и перестройки — всё равно что-то злое и чуждое непременно ворвётся в крестьянскую жизнь и развеет по ветру всё то, что копилось и строилось десятилетиями. Курянам из Станового едва ли не более чем остальным русским людям была очевидна призрачность всякого мирского благополучия: в саму их душу и кровь из века в век входило печальное знание о том, что сей мир человеку — лишь краткий и иллюзорный приют, лишь временное пристанище на родовом протяжённом пути...

VII. КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Приближается точка очередной встречи: одной из тех многих встреч, какими и движется род. Вообще, встреча мужчины и женщины — важнейшее из событий в истории рода. Как и где, отчего и когда она происходит, какие силы и какими путями сводят вместе людей, прежде незнакомых друг другу и связывают их воедино — это, конечно же, тайна. Предначертана или случайна каждая из таких встреч? И отчего иные из них продолжают долгим союзом — а иные бывают короткими и порою вторгаются в жизнь человека, как бурный недуг — но тем не менее оставляют после себя след в потомстве?

Но несомненно, что каждый род движут две силы: любовь и смерть. В чередовании, в сочетании, в переплетении их род и существует: непрерывно обрываясь и продолжаясь, кончаясь и начинаясь, иссякая и наполняясь новой жизненной силой. То огромное родовое тело, к которому принадлежит каждый живущий (как, впрочем, и умерший), не может существовать без непрерывного обновления и освежения — без исчезновения тех поколений, которые, отжив свой земной срок, освобождают место потомкам.

Но и без любви род тем более не может существовать. С точки зрения рода, едва ль не важней, чем отдельные люди — из которых он, род, и состоит — та сила, что сводит их вместе и бросает в объятия друг к другу.

Вот одна из таких родовых встреч и случилась на Курщине, в селе Красная Поляна Черемисиновского района. Там познакомились мои дед и бабушка по отцовской линии, Василий Афанасьевич Убогий и Мария Павловна Панюкова. Незримые силы судьбы, которые одновременно привели в Красную Поляну кубанского казака и курскую крестьянку, в этот раз приняли обличие государственного распределения: Василий прибыл на Курщину после окончания коневодческого факультета Пятигорского зоотехнического института, а Мария — отучившись в Орловском фармацевтическом училище.

И если для кубанца Василия факультет коневодства представляется естественным местом учёбы — кубанский казак и должен быть при лошадях — то для курской крестьянки Марии Панюковой фармакология должна была представляться чем-то безмерно далёким и чуждым. Но судьба движется своими путями и имеет свои отдалённые цели, которые часто непостижимы для тех, кто плывёт в её сложном потоке.

Мария Панюкова родилась в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, за два года до Октябрьского переворота, так изменившего жизнь и облик России. В их крестьянской семье, обитавшей в селе Становое, было восемь человек детей; мать Марии, Анастасия Антоновна, как и её родители, умерла от сыпного тифа, который лютовал в годы Гражданской войны и послевоенного голода. Чтобы выжить, десятилетней Марии пришлось идти в люди и наниматься работать нянькой в семью сельских учителей. Там смышлёную, добрую, скромную и трудолюбивую девочку Машу так полюбили, что не только обучили её грамоте, но и определили на швейные курсы в город Мценск: так у девочки-подростка из бедной крестьянской семьи появилась профессия, позволявшая жить. Но те учителя, у которых нянчила малых детей Мария Панюкова (к сожалению, имени этих добрых людей я не знаю), продолжали ей покровительствовать и помогли девушке поступить учиться в Орловское фармацевтическое училище. Это были те годы, когда по всей стране проходила коллективизация (то есть сокрушение традиционной крестьянской жизни), когда от голода умирали миллионы людей, и когда оказаться в городе, да ещё на казённом, пусть и нищенском, обеспечении — было настоящим спасением. А юной Марии, наверное, казалось истинным чудом, что после крестьянского мира, где её окружали куры да гуси, плуги и бороны, хомуты и телеги, она вдруг оказалась в окружении колб и реторт, рецептов с латинскими буквами, весов и спиртовок, керамических ступок и пестиков,

облаток, таблеток — словом, в обстановке почти что средневековой алхимической лаборатории.

Но где наша не пропадала? Был бы ум, да усердие, да желанье учиться: нет тех наук, которые не осилила бы смышлёная деревенская девушка. Так вот и стала Мария фармацевтом-рецептаром, впервые в нашем роду ступив на тот медицинский путь, по которому идёт вот уже четвёртое поколение: врачом-психиатром стал её сын Юрий, хирургом стал внук Андрей, врачами стали правнуки Дмитрий и Дарья.

А первым местом работы, куда Марию Паниюкову послали трудиться по окончании фармучилища, было большое село на Курщине, называвшееся так созвучно эпохе: Красная Поляна. Это село само по себе достойно отдельного разговора. Именно возле него 12 июля 1709 года — день в день с Полтавской битвой — произошла и битва при Красной Поляне.

Эта битва с ногайцами — одно из малоизвестных, но крупных сражений в русской истории. Некоторые исследователи-краеведы даже предлагают поставить её в один ряд с битвами Куликовской, Полтавской и Бородинской (см. Ростислав Марков «Голубец на Красной Поляне», 1909 г.). Немало легенд окружают ту битву — в том числе сказание о богатыре-ногайце ростом более трёх сажен, чья отрубленная голова потом долго стояла на одном из местных холмов, который доселе так и называется: «Голова ногайца». Якобы даже и Пушкин, проезжая на юг по Муравскому шляху, мог её видеть и затем описать в известной поэме; неувязка в одном: «Руслан и Людмила» с головой мёртвого богатыря появилась раньше пушкинской «южной ссылки».

Но как бы то ни было Красная Поляна — легендарное русское место. Об обстоятельствах встречи Василия и Марии ничего не известно. В устной памяти рода остался лишь рассказ бабушки о том, как её благосклонности добивалось сразу несколько местных парней, но она была неприступна. И молодому приезжему зоотехнику так и сказали: «Скорее у тебя на ладонях вырастут волосы, чем Мария из аптеки будет твоей». Подстегнуло ли это пыл казака, или взаимная тяга двух молодых людей друг к другу и так была велика — но скоро они поженились, и в сентябре 1940 года у них родился сын Юрий.

Своего первенца и наследника редкой фамилии Василию Афанасьевичу удалось увидеть всего однажды, когда он приезжал из армии на побывку. Ведь в Европе уже вовсю полыхала Вторая мировая, и казака Василия Убогого призвали на военную службу. Зоотехники в армии тогда были нужны — танки ещё не полностью вытеснили кавалерию — и выпускнику коневодческого факультета дома было не отсидеться. И не успел он отбыть свою срочную службу — как немцы перешли нашу границу.

В суматохе и панике первых военных месяцев было не до того, чтобы определять каждого в тот род войск, к которому он относился. Кубанца-кавалериста направляют на офицерские курсы, и через короткое время лейтенант Василий Убогий становится командиром стрелковой роты. Причём это была рота автоматчиков, пехотной элиты — которую посылали в самые

гибельные места передовой. Да и участок на фронте выпадает деду такой, где уцелеть шансов не было: «Невский пятачок». Там погибло около миллиона наших солдат; где-то там, в Ленинградских болотах, истлело и тело кубанца Василия. И когда я слышу эту военную песню:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу... —

то я понимаю, что это — про деда.

На сайте «Мемориал» удалось найти страницу учётной воинской книги, где лейтенант Василий Афанасьевич Убогий числится «пропавшим без вести» — а такая запись мне кажется даже страшнее, чем запись «убит». Итак, вот этот в бледную синюю клетку «учётный листок убытия»:

«Лейтенант Убогий Василий Афанасьевич, 1913 г.р., командир стрелковой роты с 18.12.41: пропал без вести. Жена: Панюкова М. П., с. Становое. Запись от 22.12.41 г.».

Что было делать юной вдове с годовалым сыном на руках? Она кое-как добирается из Красной Поляны до деревни Камыш, где тогда жила её сестра Ольга и где, уже с новой женой, поселился и её старый отец, Павел Михайлович. Но от войны уйти не удалось: враг наступает, занимает Тим и Камыш — и старика Панюкова, приняв его за партизана, закалывает штыком румынский солдат. Там же, в саду на задворках дома, Павла Михайловича и похоронили.

Как выживали в забытой, заснеженной, нищей, голодной деревне Камыш Мария, Ольга и младенец Юра — одному Богу известно. Но в 1943 году произошла битва на Курской дуге, и немца погнали назад. В освобождённом Тиму (райцентре в семи километрах от Камыша) вновь открывают аптеку, и Марии Панюковой находится место работы. А когда, уже после войны, ей выплачивают пособие за погибшего мужа — то на него удаётся купить полдома рядом с аптекой. Впоследствии мой отец в автобиографической повести «Мальчик издалека» так и назовёт первую главу: «Полдома за отца».

И моя бабушка почти на всю оставшуюся жизнь становится жительницей города Тим. Позже, в 1949 году, к ней из Камыша переберётся сестра Ольга и устроится работать санитаркой в ту же аптеку: но это уже будет тема следующей главы.

VIII. ТИМ

Вот мы и приблизились к Тиму, судьбоносному для меня месту: именно здесь, в тимской школе, познакомились мои мать и отец. Но их встреча ещё впереди; покамест расскажем о самом Тиме.

Говоря строго, это небольшой посёлок городского типа, имеющий всего 3–4 тысячи жителей; но и в языке, и даже в литературе за ним прочно закреплён титул города. Есть даже песня военной поры:

Город Тим крутой горою
Прямо в небо уходил,
Возвышаясь над рекою,
Словно крепость Измаил...

Отметился город Тим и в русской классической прозе. У Чехова есть рассказ «Самый большой город»; этот рассказ невелик — поэтому я приведу его целиком.

«В памяти обывателей города Тима, Курской губ., хранится следующая, лестная для их самолюбия легенда.

Однажды какими-то судьбами нелёгкая занесла в г. Тим английского корреспондента. Попал он в него проездом.

— Это какой город? — спросил он возницу, въезжая на улицу.

— Тим! — отвечал возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками.

Англичанин в ожидании, пока возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и заснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой.

— А это какой город? — спросил он.

— Ти... Тим! Да ну же, проклятая! — отвечал возница, соскакивая с телеги и помогая лошадёнке выбраться из ямы.

Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протёр глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колени в грязи, изо всех сил тянул лошадь за узду и бранился.

— А это какой город? — спросил англичанин, глядя на дома.

— Тим!

Остановившись немного погодя в гостинице, корреспондент сел и написал: «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим».

У читателя этой родословной может сложиться впечатление, что я слишком часто цитирую писателей-классиков: что и Пушкин, и Гоголь, и Бунин, и Чехов, и даже автор «Слова о полку Игореве» — все они как бы участвуют в написании истории нашего рода.

Но ведь, по большому-то счёту, так оно и обстоит. Литература и есть родословная того народа, которым она создаётся; а уж для русских, людей в высшей степени литературоцентричных, писатели-классики есть их прямые духовные предки. И род русской литературы, к которому все мы, говорящие и пишущие по-русски, в той или иной степени принадлежим — это наш неотъемлемо-личный и почитаемый род.

Но вернёмся в Тим. Уверен, что в целой России найдётся немного мест, столь же вольно-эпических по своему духу. Дело в том, что этот небольшой городок расположен на одной из самых высоких точек Среднерусской возвышенности. С холма, на котором стоят дома Тима, открываются виды былинной шири и красоты. Едва ли не каждая улица — которая, как и во всяком русском уездном городке, состоит из заборов и затрапезных домишек, луж, пыли, кур и гусей, — открывается не куда-нибудь, а в просторную степь.

И поэтому кажется: Тим, со всем его скучным, привычным и бытовым за-трапезом, не просто стоит на высоком холме — а летит над волнистой степью, непрерывно стремясь к синевато-сиреновой мгле горизонта. И потому Тим для меня — самый русский из русских, из тех городов, что даже своими ландшафтами и архитектурой (если, конечно, считать архитектурой эту россыпь печальных домишек) выражает извечный и неутолимый порыв от постылого, скучного быта — в манящую и недостижимую даль.

И вот в этих былинных местах пятьдесят лет одиноко и трудно жила офицерская вдова, рецептар районной аптеки, Мария Павловна Панюкова. Те полдома, что ей удалось купить на военную пенсию за погибшего мужа, располагались на центральной улице Тима (естественно, улице Ленина), рядом с аптекой; и я думаю, что близость к аптеке — как буквальная, так и фигуральная — играла немалую роль во всей жизни бабушки. Дело в том, что жизнь Марь-Палны (как её называли все жители Тима) была в высшей степени правильной жизнью. Эта «правильность» — согласитесь, редкая для расхристанной, дикой, неправильной жизни России — проявлялась во всём, что Марь-Пална делала или говорила. Про работу в аптеке нечего и упоминать: там аккуратность и точность являются самой сутью профессии. Я ещё застал бабушку в белом халате, за аптекарскими весами, на которых она отвешивала порошки, заворачивая их в прямоугольники из вошёной бумаги. И в меня, ещё с раннего детства, вошло убеждение, что, как бы нескладно, наискось и набекрень ни шла жизнь, — но в ней всё же есть одно спасительное место, где эти все перекосы исправляются и устраняются, где аккуратность и точность являются высшим и непреложным законом; и это место — аптека, в которой работает бабушка.

Но правильность жизни Марь-Палны не ограничивалась рабочими часами и рецептарным столом. Всё всегда безупречно и чисто было и в её небольшой кухонке, и возле печи, и в единственной комнате, где она жила вместе с сыном. Полудеревенский, полугородской быт уездного жителя всегда грозит рассыпаться в хаос; но бабушка этому хаосу стойко сопротивлялась. У неё всё всегда было строго разложено, чётко надписано и распределено по своим местам: от бутылочных пробок или «прочищалонок» для примуса до рецептов варенья или листков отрывного календаря с полезными бытовыми советами, которые также, перехваченные резинкой, хранились в отделениях шифоньера.

А огород и сад? А погреб с картошкой и банками консервированных огурцов, помидоров, компотов? Всё всегда содержалось в безупречном порядке; трудно даже представить, каких неустанных трудов и хлопот всё это стоило бабушке. И, кажется, ничего удивительнее бабушкиных компотов — где яблоки, груши и вишни были вкусней самих себя свежих — я ничего в жизни не ел.

Вообще, кулинаром она была несравненным. Конечно, и в этом искусстве привычка к аптекарской точности и уважение к рецептуре играли немалую роль; но всё же тем главным, что превращало котлеты, вареники, борщи, блины, сырники и лапшу Марь-Палны в истинные шедевры — была

безграничная доброта моей бабушки. Она вот именно, что всю себя отдавала тем людям, которых кормила, — а это чаще всего были мы с отцом — и выражение «вложить душу в то, что ты делаешь» именно в случае с бабушкой представляется совершенно естественным и необходимым.

Но если я сейчас начну погружаться в подробные воспоминания о бабушкиных обедах — боюсь, я впаду в тот же обморок блаженного оцепенения, в какой впадали и мы с отцом, поедая янтарную, словно светящуюся, лапшу или вареники с вишнями, сок которых окрашивал густую сметану, окружавшую их, в цвета нежно-розового заката...

Поэтому, сглотнув слюну и смахнув слезу давних воспоминаний, я возвращаюсь к рассказу о тимской жизни бабушки. Надо ли говорить, что Марь-Палну в Тиму знали все — и все любили и уважали? Прожив в одном месте полвека, она сделалась в известном смысле оплотом и центром всего городка. Даже когда она перестала работать в аптеке, люди без конца приходили к ней за советом и помощью: можно сказать, что Марь-Пална вела в Тиму многолетний психотерапевтический приём. Каждому она находила и доброе слово, и здравый совет; но, возможно, важней всех советов и утешений для гостей-посетителей бабушки было именно то ощущение правильной жизни, какую вела эта скромная, добрая и работающая женщина. Каждый в глубине души чувствовал: ладно, пусть жизнь его самого бестолкова и путана, и неизвестно, к каким плывёт берегам; но зато есть в Тиму человек, у которого всё в жизни так, как оно должно быть — от порядка в саду-огороде до внешности благообразной старушки с морщинистым, круглым, участливым, добрым лицом.

Поговорим теперь о тимском послевоенном детстве и юности моего отца. Жизнь мальчика Юры в Тиму точнее и полнее всего выражают два слова: воля и безотцовщина. Как сам городок был наполнен дыханием степи и воли, так и все его жители — особенно дети, которые после войны росли без присмотра-пригляда, как полевая трава, — были наполнены воздухом воли. Уж где, как не здесь, на просторах тимского холма, было им и разгуляться? С утра до ночи хоть катайся на лыжах, хоть взрывавай мины-снаряды, которых немало осталось с войны, хоть лови рыбу, хоть ныряй и учись плавать в мелкой илистой речке Тим, хоть гоняй на коньках — когда эту же самую речку затянет ледком. Ни вполне деревенским ребятам, всё-таки занятым кое-какой крестьянской работой, ни тем более городским такого приволья даже не снилось. Единственным ограничителем подростковой свободы был участковый милиционер по фамилии Помарока — который, случалось, гонялся за пацанами, обтрясавшими груши и яблони в местных садах.

И едва ли не большая часть тимской молодёжи — как и всей молодёжи страны — росла без отцов. Война так беспощадно прошла по России, что безотцовщина стала важнейшим явлением жизни — во многом определявшим эту самую жизнь и создававшим облик целого послевоенного поколения. Те, кого позже назовут «шестидесятниками», они и росли, ощущая, с одной стороны, небывалую прежде свободу (свободу, помимо прочего, и от строгого взгляда

отцов) — а с другой стороны, они жадно искали примеров, достойных уважения и подражания. Разве мог бы в иной обстановке стать своего рода духовным отцом для целого поколения русских юношей тот бородач в грубом свитере, чей портрет висел чуть ли не в каждой интеллигентной квартире? Причём у самого-то Эрнеста Хемингуэя отношения с отцом были более чем непростые; тут впору призвать для анализа другого бородача и кумира шестидесятников — Зигмунда Фрейда.

Уличное детство отца проходило, как сам он рассказывал, в бесконечных соревнованиях, спорах и драках — внутри той стаи подростков, которая непрерывно и страстно выясняла отношения и иерархию внутри самой же себя. Из тех, видно, лет в отце до сих пор остаётся задиристость уличного подростка: когда он в ситуации мало-мальского конфликта готов огрызаться и чуть ли не пускать в ход кулаки. И эта задиристость вызывает во мне удивление, сочувствие и уважение одновременно: как отголоски той непрерывной битвы за место под солнцем, которая начиналась давно на пыльных и ветреных улицах Тима.

Не могу не сказать ещё об одной ветви нашего рода, доселе живущей в Тиму. Родная сестра моей бабушки, Ольга Павловна Панюкова (мы всегда называли её «тётя Лёля») всю войну и первые послевоенные годы работала колхозным бригадиром в деревне Камыш. В 1949 году она с семьёй переехала в Тим, где её муж, трудолюбивый и рукодельный дядя Миша, своими руками построил небольшой домик неподалёку от дома Марь-Палны. В этом домике — а я его помню совсем утонувшим в кустах акации и сирени — всегда было как-то по-особенному уютно: видимо, от радушия и от неизменно живой, умной речи хозяйки. Тётя Лёля была удивительной женщиной: вот именно что самородком. Она едва знала грамоту и поэтому смогла устроиться лишь санитаркой-уборщицей в районной аптеке; но тем не менее её здравый ум, живой юмор и поразительно образная и точная речь делали тётю Лёлю незабываемым собеседником. Жаль, что я не умею передать на бумаге ни её интонации, ни особенных слов, которых я не встречал больше нигде: для этого надо бы иметь актёрский талант великого Михаила Щепкина (тоже, кстати, курянина) и языковые познания Владимира Даля. Интересно, что полунеграмотную тётю Лёлю тоже влекла к себе литература: уже совсем старой и почти неспособной ходить, она взялась сочинять и записывать стихотворный цикл под названием «Правда». В строках, наивно-нескладных по форме — тем не менее прямо-таки ощущаешь «первичный литературный импульс» (если перефразировать выражение Шопенгауэра): то есть видишь искреннюю попытку сказать своё собственное, прямое и точное слово о жизни. Вот для примера несколько стихотворений тётя Лёли:

САМОЛЁТ

Всю войну жила в колхозе,
В село ходили окопы рыть.
Самолёт спустился низко
И начал по нас строчить.

Я ОДНА

Налила я кружку кваса,
Его выпила до дна.
Мужа нет, дети далеко,
Осталася я одна.

ЗДОРОВЬЕ

Пришла домой из магазина,
Легла сразу отдыхать.
Отдыхала очень долго,
Но здоровья не видать.

СИЛУШКА

Я по улице гуляю,
А силушки нету.
Много есть таких людей
По белому свету.

Единственная дочь тёти Лёли и дяди Миши, моя двоюродная тётя Рая стала фармацевтом: видимо, с лёгкой руки Марь-Палны аптекарское дело неплохо прижилось в нашем роду. Надеюсь, тётя Рая и сейчас так же моложава, как была и всегда, — и так же в курсе всей тимской жизни. Её первый муж, майор медслужбы Виктор Рашицкий был родом из Мценска и служил сначала в Германии, а потом в Грузии. Выйдя в отставку, он с семьёй на какое-то время поселился в Тиму; мне не раз доводилось удить карасей с этим добрым и очень приятным в общении человеком.

Дочери тёти Раи и дяди Вити, мои кузины Оля и Таня, тоже стали медиками: Оля врачом-эндоскопистом, а Таня после пединститута окончила курское медучилище и работает сестрой-массажисткой. Обе живут в Тиму, и у них уже взрослые дети: Владик у Ольги, и Яна и Денис — у Татьяны. Сестрёнки мои — замечательные. Я хорошо помню, как они без памяти любили свою бабушку Олю (а тётя Лёля души не чаяла в них) — и, к счастью, переняли у бабушки и живой ум, и доброе сердце.

IX. ГРЕЦИЯ

Зачерпнём теперь из другого — уже материнского — родового потока. Любопытно, что, двигаясь по «материнской» реке рода вспять, мы снова — как и в случае с Запорожским реестром, где упомянуты пять казаков Убогих — выходим к эпохе Екатерины Великой: «временам Очаковским и покоренья Крыма».

Слово «Греция» потому и вынесено в название этой главы, что одна из наших семейных легенд гласит следующее. Жарким днём на пыльной окраине села Выгорное, что близ Тима, появилась измученная молодая женщина, несущая узелок, кофейник и свёрнутый в трубку ковёр. Крайний дом села, где утомлённая путница попросила напиток, был домом крестьян Герасимовых,

моих прямых предков по материнской линии. Утолением жажды дело не ограничилось: одинокой красавице предложили сначала передохнуть, потом переночевать — а в скором времени кто-то из молодых Герасимовых и женился на ней. Так вот эта странница была настоящей гречанкой; а то, что до нас дошла и её родовая фамилия — Варилопулос — переводит эту романтическую историю в область вполне достоверную. С удовольствием перевожу это слово на русский: «большая бочка». Видимо, виноделие — или, может быть, винопитие? — было не чуждо нашим греческим предкам. Рассказывали, кстати, и то, что в узелке юной странницы были золотые монеты, которые она закопала где-то на герасимовском подворье; и уже в недавние времена предпринимались даже попытки разыскать этот греческий клад, поглощённый курским чернозёмом. Но это, скорее всего, и впрямь вымысел — какая легенда обходится без зарытых сокровищ? — а вот греческое происхождение той загадочной странницы сомнений не вызывает. Достаточно посмотреть на фотографии её прямых потомков: моей бабушки Марии Денисовны и её матери Домны Тимофеевны. Правильные — именно греческие — черты лиц, прямые чёрные волосы и пронзительный взгляд тёмных глаз говорят сами за себя.

Но откуда взялась гречанка Варилопулос во глубине Курской губернии — да ещё притащила с собой ковёр и кофейник? Не пришла же она пешком из Афин или Коринфа? Объяснение этой загадки подсказал Костя Сараев, мой двоюродный племянник. Интересуясь происхождением своей фамилии, он узнал, что она ведётся из курской деревни Сараевка, что расположена близ райцентра Солнцево — а название этой деревни, в свою очередь, происходит не от избытка сараев (вряд ли их там было больше, чем в любой русской деревне), а оттого, что в екатерининские времена там осела партия греческих переселенцев из крымского Бахчисарая; со временем это слово, естественно, сократилось до просто «Сарая».

И вот здесь будет уместно ещё одно отступление от истории рода — в «большую» историю. Вообще, интересно проследивать такие вот «выходы» из области частных семейных преданий на эпохальные и многолюдные исторические подмостки.

Итак, поговорим об исходе греков из Крыма. Россия, ведя сложную и многолетнюю военно-дипломатическую игру с Османской Портой — игру, главной ставкой в которой был Крым, — прибегла, среди прочих ходов, и к такому: она решила переселить из Крыма на русские территории большую часть христианского населения. Официально считалось, что это было защитой единоверцев от притеснений в исламском Крыму; дипломаты же Екатерины (в их числе и автор этой идеи граф Румянцев) предполагали, что такой массовый вывод греков и армян, державших в руках основные нити крымской торговли, сильно ослабит экономику Крымского ханства — что было России, разумеется, на руку.

И вот в августе 1778 года тысячи повозок в окружении ревущего и поднимающего пыль скота двинулись к Перекопу и дальше на север, в Россию. Руководил этой де-портацией (шли-то, по сути, из Порты!) лично Суворов. Сохранились и точные данные о переселенцах. Так, с августа по сентябрь

1778 года греков было выведено 18407 душ, армян 12598, и значительно меньше — грузин и валахов. Большая часть крымских греков осела в Причерноморье, основав там город Мариуполь и ещё несколько сёл неподалёку от него; причём названы были эти селения так же, как те, что оставили греки в Крыму: Гурзуф, Старый Крым, Ялта, Алушта.

Но какая-то часть греческих переселенцев двигалась дальше по Муравскому шляху и дошла аж до нынешнего Новомосковска; кто-то на этом пути отставал от переселенческого потока: так и появилась на Курщине деревня Сараевка-Бахчисараевка. Известно, кстати, что греков из Бахчисарая в Россию было выведено 1319 человек.

А единственная дорога, проходящая через Сараевку, ведёт как раз в Выгорное. Так что всё сходится: и покорение Крыма, и исход греков из него, и появление в Выгорном одинокой странницы с пыльным ковром на плече. А уж почему она оставила своих соплеменников и пустилась шагать по степи — пусть так и останется тайной. Но хочется думать, что причиной того давнего бегства была трагическая любовь: та сила, что движет не только сменяющие друг друга поколения рода — но даже, как уверяет нас Данте, движет солнце и светила.

Столь очевидные и несомненные греческие корни в материнском роду объясняют для меня многое — в том числе то, что я чувствую Грецию как свою родину. Это чувство подспудно жило во мне ещё в детстве благодаря тем греческим мифам, на которых растёт едва ли не каждый начитанный русский ребёнок; затем благодаря русской классической литературе, которая, можно сказать, вскормлена греческим молоком; затем, в пору философических увлечений юности, благодаря именам и идеям Сократа, Платона и Аристотеля; а затем, уже в зрелости, благодаря ощущению православия, как именно «греческой веры». И когда я действительно оказался в Афинах, на берегу Эгейского моря, то с изумлением и облегченьем почувствовал: наконец я вернулся на родину! Всё, что меня там окружало — блеск, зной и ветер, жёсткий шелест олив и цветы олеандров, меловой цвет пыльных холмов, плеск Эгейской волны, даже гомон афинской толпы, всегда возбуждённой и шумной — всё принимало меня в родовые объятия...

А то, что среди моих предков были не просто греки, а именно крымские греки, — объясняет и привязанность к Крыму. Сам крымско-татарский язык звучит для меня, словно музыка: например, в тех топонимах Крыма, что я так нередко выкрикивал, взбираясь на очередную гору или штурмуя очередной перевал. Кучук-Еньшар и Ким-Чек, Сюрю-Кайя и Хоба-Тепе, Киик-Ат-Лама и Туар-Алан, Джан-Кутаран и Узун-Сырт, Кок-Тебель или Гяур-Бах: кажется, я бесконечно могу произносить эти певучие и гармоничные звуки.

А ведь именно крымско-татарский язык стал родным для значительной части тех греческих колонистов, что в незапамятно-давнее время — ещё в эпоху античности — осели в Крыму. Эту ветвь крымских греков называют урумы, а их диалект иногда именуют «греко-татарским». Вот, значит, и я из урумов: потому что и язык службы в греческом храме, и язык, именующий чудеса крымской природы, — оба мне кажутся близкими и родными.

X. ВЫГОРНОЕ

Продолжим рассказ о Герасимовых, тех самых курских крестьянах, что когда-то приняли в свой род утомлённую молодую гречанку с ковром на плече. Общее мнение тех, кто когда-то что-либо рассказывал мне о них, — это то, что Герасимовы были зажиточными крестьянами Тимского уезда и никогда не были крепостными: наоборот, в их хозяйстве трудились наёмные работники. И, что особенно приятно отметить, женщины в герасимовском роду были редкостными красавицами. И вклад в эту их красоту, возможно, внесла не одна только гречанка Вариллопулос, но и дворянка Олимпиада Ярмиловская. С этой последней — судя по фамилии, полькой — связана ещё одна романтическая история. Один из Герасимовых чем-то так покорила своенравную польку, что она, против воли родных, вышла за простого — хоть и зажиточного — крестьянина. Родители не смогли стерпеть мезальянса и лишили дочь наследства. Но главное приданое Олимпиада в наш род всё-таки принесла: она влила в его поток свою непокорную, страстную кровь.

Первый из Герасимовых, кого я могу именовать полностью, по имени-отчеству — был мой прапрадед, Тимофей Иванович. Он женился на Агриппине Савельевне, и у них было восемь детей: Кирилл, Анна, Анастасия, Фёкла, Екатерина, Александр, Иван и, наконец, Домна Тимофеевна, моя прабабка. О большинстве из них известно немного. Так, у Кирилла было двое сыновей, а у Фёклы — дочь Татьяна, которая получила высшее образование, преподавала в Харьковской партийной школе (не знаю уж, какие науки), и прожила довольно долгую жизнь. Екатерина — «баба Катя» — работала вахтёршей в общежитии той же партшколы, была проста, скромна и всегда чуть сонлива; а жила она в большой комнате коммунальной квартиры на улице Сумской. Любопытно, что прежде всей этой квартирой владел известный композитор Исаак Дунаевский. И вот именно в этой комнате бабы Кати позже получили приют три студентки Харьковского мединститута, моя мама Ира Попова и её сёстры Галя и Света.

Про красавицу Анну — «бабу Ньюру» — известно, что её отдали замуж «за шесть детей»: то есть за вдовца с многочисленным потомством; навряд ли самой Анне жилось в замужестве легко и просто.

А вот о красоте её сестры Анастасии так вообще ходили легенды. Рассказывали, что на неё, простую крестьянскую девушку, люди специально приходили посмотреть. «На неё любовались, как на икону», — говорил её племянник, а мой прадед, Денис Максимович Попов. И вот поразительно, что больше о красавице Насте ничего не известно: ни как она жила, ни кем работала, ни где и когда умерла; неизвестно и то, нашёлся ли ей достойный избранник и оставила ли она потомство? Как будто её красота была столь совершенна, что смогла погостить в этом мире лишь короткое время — и улетила куда-то, так и не оставив следов...

Трагична судьба её родных братьев, Ивана и Александра. Оба они были инженерами, и оба были расстреляны немцами в Тиму, во время массовых

казней 1943 года. Рассказывали, что братья, ещё живые, подползли друг к другу в общей расстрельной яме, обнялись — и были засыпаны заживо. Недаром, видно, так горько-печален взгляд Ивана Герасимова, что я вижу на довоенной фотографии: он словно предчувствует свою мученическую кончину.

Теперь о моей прабабке, Домне Тимофеевне Герасимовой-Поповой. Она была и умна, и хороша собой; а то, что она была неграмотна, с лихвой искупалось редкой твёрдостью характера. Так, известен один трагикомический эпизод из жизни её семьи на Донбассе, на шахтах француза Буроца. Муж Домны тогда закрутил любовь с местной красоткой-буфетчицей и — гулять, так гулять! — повёз её кататься на тройке. Так вот Домна Тимофеевна выскочила наперерез, на скаку остановила тройку (вот, оказывается, о каких женщинах писал поэт Некрасов), за шиворот вытащила из саней соперницу и до полусмерти избила её на глазах у оторопевшего и онемевшего мужа. Его она, кстати сказать, даже пальцем не тронула: но урок оказался настолько доходчив, что гулёна и щёголь Денис Максимович ещё долго боялся даже взглянуть «на сторону» от жены.

Угольные шахты Макеевки играли важную роль в жизни семьи. Начиная с 1904 и аж до 1933 года мой прадед Денис Максимович, сначала один, а потом со своей женой Домной (не зря же она носила столь пролетарское имя) периодически уезжали на отхожие промыслы, из крестьян превращаясь в шахтёров. На Курщине так вообще было принято: на Донбасс и картошку возили, чтобы там её продавать, и поступали работать на шахты, воплощая звучавший в советские годы лозунг о «смычке» рабочего класса с крестьянством. И зарабатывали на шахтах, похоже, неплохо: Денис Максимович, быстро дослужившийся до бригадира-десятника, щеголял там в атласной рубаше и бархатном кителе; а во время поста покупал на прокорм семье таких осетров, что их хвосты свешивались с саней, метя по снегу. Работала и его жена Домна: она то шила телогрейки рабочим на бессмертной швейной машинке «Зингер», то трудилась поварихой в шахтёрской столовой. Шахты, конечно, спасали: там много легче было пережить голод 20-х, а затем и 30-х годов. К тому же крестьянская по происхождению и довольно зажиточная семья новоиспечённых шахтёров избежала того раскулачивания и ссылки в Сибирь, что жестоко сломала судьбы многих русских людей.

Но земля и родина не отпускали, и перед великой войной Поповы-Герасимовы всё же вернулись в Выгорное. Домна Тимофеевна, вырастив четырёх достойных детей — дипломата, подполковника авиации, заведующего кафедрой политэкономии и знаменитую на всю округу учительницу, — умерла в 1951 году, в возрасте 62 лет. Причём умерла на своём огороде во время прополки гряды: вот уж действительно она работала до последней минуты жизни.

Теперь пора рассказать о другой — поповской — линии рода. Фамилия не оставляет сомнений в том, что у её истоков были священники. Но тот из Поповых, кто пришёл в Выгорное из села Соколье, был вот именно, что гол как сокол и не имел за душой ничего, кроме драной поддёвки. Его

звали Максимом Прокопьевичем, и это случилось где-то в середине XIX века. Он взял в жёны хромую Катечку «Утаренскую»: видимо, это прозвище произошло от «Вторенская», то есть жительница Второй Части (так до сих пор именуют Второе Выгорное). Детей у них было много, и все они отличались редкостным долголетием. Так, мой прадед Денис Максимович прожил 93 года, Архип — около 100, Ганна (Гаша) — 108, а Наталья — так даже 110. Чуть меньше своих сестёр-братьев прожил Александр (его все звали Сашок): всего-то 86 лет. Но тому была уважительная причина: у Сашка было целых семь жён (разумеется, поочерёдно — мы всё же не мусульмане); видимо, пыл любовных страстей несколько укоротил бурную жизнь Александра Максимовича. Ещё был брат Алексей (о нём вспоминают как о «скупом пасечнике»), который угорел в возрасте 85 лет, и сестра Дарья, сын которой по прозвищу «Петька-рябой» стал хирургом и ещё до войны навсегда уехал в Америку.

Предвижу особенный интерес к личности неутомимого ловеласа Сашка и передаю то о нём, что я знаю. Он был художав и подвижен, и всех своих жён нещадно бил-колотил: может, ещё и поэтому они у него особенно не заживались. Говорят, внешне он был похож на своего брата Дениса, моего прадеда — того, чья фотография смотрит сейчас на меня со стены — но был выше и представительнее его. «Сашок был похож на белогвардейского офицера», — так определила его моя мама.

Детей у Сашка было, кажется, меньше, чем жён. Были дочери Катя и Люба (обе — учительницы), сын Саша и ещё одна дочь, Зоя, моя двоюродная бабка, которую я помню очень хорошо. Её так все и называли: Сашкова Зоя. У неё были железные зубы и громкий, высокий, напористый голос, который многие годы оглушал посетителей тимской столовой, где работала Зоя. Меня она не называла иначе, чем «зайчиком» — даже тогда, когда «зайчику» было уже лет двадцать. В Зоинном доме, стоявшем на верхнем планте (улице) Выгорного, мы бывали не раз: помню, с каким шумным и суетливым радушием нас неизменно встречала хозяйка. От Зои осталось двое детей: дочь Татьяна, давно перебравшаяся в Москву, и сын Сергей, коренастый, русоволосый и молчаливый.

Общее мнение односельчан о Поповых было: бабники, бездельники и бедняки. Как ленив и беден был Максим Прокопьевич, явившийся в Выгорное в одной поддёвке — так не отличался трудолюбием и рассудительностью и его сын Денис. «Он, рохля, даже пенсию не сумел себе выхлопотать», — возмущалась позднее одна из его внучек. Зажиточные Герасимовы долго не хотели отдавать за него свою дочь, красавицу Домну; но таинственной силой, ведущей род по его неисповедимым путям, нет дела до меркантильных соображений, столь мелких и незначительных там, где речь идёт о продолжении рода. Как выражался Пушкин устами Татьяны Лариной, «то в высшем суждено совете»; вот этот высокий совет и решил-таки свести Домну Герасимову и Дениса Попова.

По общему мнению трёх их внучек — в том числе моей мамы — руководила в этом семейном союзе жена. Именно она настояла сначала на переселении

на Донбасс (спасительном для всей их семьи), а затем на возвращении в родное Выгорное. Домна Тимофеевна и трудилась, и хлопотала, и переживала за близких куда больше мужа. Видимо, поэтому она и прожила меньше, чем он, на 31 год: согласитесь, это явление для России редкое. А Денис Максимович всегда жил, что называется, в своё удовольствие: если, конечно, можно назвать удовольствием жизнь человека, родившегося в 1879 году, прожившего почти век и пережившего несколько войн (из них две мировые), Февральскую и Октябрьскую революции, и все те беды, что были связаны с ними. Но, несмотря на все социальные катастрофы и потрясения, прадед не упускал случая выпить рюмку-другую и всегда хорошо одевался. Про атласную рубашку и бархатный китель я уже упоминал; моя мама запомнила и щегольской белый тулуп, который Денис Максимович неизменно надевал на Покров, отправляясь пешком из Выгорного в Тим — чтобы как следует отметить там праздник.

Вернувшись с Донбасса, Денис Максимович устроился работать землемером: я хорошо помню его землемерский аршин, стоявший в сарае и напоминавший огромную букву «А». Верх этой «буквы» был так отполирован ладонями прадеда, что аршин словно сам собою, легко проворачивался и переступал с ноги на ногу — даже в моих детских руках. Вот с этим аршином и с маленькой белой собачкой по кличке Пушок прадед чуть свет отправлялся куда-то, чтоб замерять родные курские чернозёмы — а уже под вечер возвращался изрядно хмельной (кто ж не поднесёт землемеру чарку-другую?), опираясь о свой верный кормилец-аршин и неся под мышкой Пушка, который, в отличие от хозяина, идти сам был уже неспособен.

Я прадеда очень любил. Скажу больше: само чувство любви, как особое отношение одного человека к другому, я впервые и испытал года в три — когда узнал прадеда. Я почувствовал, что, во-первых, он совершенно иной, чем я сам, — а, во-вторых, мне рядом с ним удивительно хорошо и спокойно. От прадеда, помню, всегда исходил особенный запах: запах лёгкой, спокойной и даже радостной старости. Это был смешанный запах горького дыма и сладкого мёда (прадед держал ульи с пчёлами); и вот именно эта медовая, сладкая горечь для меня с тех пор стала любимейшим запахом в жизни.

Как известно, нет безответной любви: меня прадед тоже любил. Он называл меня особенным словом «котурка» и всегда так осторожно касался своей узловатой, тёмной рукой моей головы, как будто боялся, что в миг прикосновения правнук Андрюша исчезнет. Но первым исчез, конечно, он сам; вернее сказать, не исчез, а перешёл в тот мир, где под вечно цветущими яблонями вечно вьются-гудят его вечные пчёлы...

ХІ. ХАРЬКОВ

(этим городом тесно связана жизнь как детей Дениса Максимовича и Домны Тимофеевны, так и их внуков.

Детей было четверо: Иван, Фёдор, Александр и Мария. Старший, Иван, первым обосновался в Харькове и много содействовал переселению в этот

русско-украинский город других членов семьи. Вообще, та «слободская» восточная Украина, столицей которой, по сути, является Харьков — это исконные русские земли. Приезжая туда, я ни разу не слышал украинской «мовы»; а язык братьев-хохлов встречал только на городских надписях, так забавлявших меня: «Перукарня», «Идальня» или «Швыдка медична допомога».

Крестьянский сын Иван Попов быстро сделал карьеру учёного и стал заведующим кафедрой политэкономии в Харьковском медицинском институте. Его первая жена, Ираида Павловна, была столь неотразимой женщиной, что в неё влюбился — и, увы, увёл от Ивана Денисовича — не кто-нибудь, а первый секретарь компартии Украины Пётр Ефимович Шелест. Так что бывшая жена Ивана Попова стала первой леди большой республики; несмотря на разрыв с первым мужем, в нашей семье к ней всегда относились с уважением: моя мама названа именно в её честь.

Вторую жену Ивана Денисовича (кстати, его студентку) звали Наталья Николаевна — и она тоже была замечательной женщиной. У них родилось двое сыновей: Иван, избравший карьеру военного и позднее преподававший в Академии бронетанковых войск имени маршала Говорова, и Александр, ставший известным в Харькове врачом-терапевтом. Знаю, что у Ивана Ивановича есть сын Андрей, врач-травматолог, а у Александра Ивановича — дочь Елена.

Я своего двоюродного деда Ивана Денисовича никогда не видел; а имя его впервые услышал в день его смерти. Помню, что это был жаркий день в Выгорном; я, трёхлетний, стоял возле нашего дома, на обочине пыльной дороги — и вдруг увидел, что со стороны Тима бежит моя бабушка, Марья Денисовна. В первый миг я подумал, что бабушке очень весело: она, как мне показалось, громко хохотала и на бегу размахивала сорванным с растрёпанной головы платком. «Ваня, Ваня!» — кричала бабушка, приближаясь ко мне. Я даже оглянулся: кого это она зовёт на пустынной улице? Но когда она, не обратив на меня внимания, с искажённым от крика лицом пробежала мимо — меня обдало ледяной волной ужаса. Я понял, что бабушкин смех — это вовсе не смех, а рыдания...

Это и была моя первая в жизни встреча со смертью: точнее, не с нею самой, а с тем её отражением в душах людей — которое, может быть, страшней самой смерти.

Брат Ивана, Фёдор Попов, сделал вообще удивительную карьеру. Он стал дипломатом и многие годы (в том числе годы войны) работал в посольстве Советского Союза в Соединённых Штатах Америки — в команде, как сейчас выражаются, знаменитого Андрея Андреевича Громыко. Когда Громыко — полномочный и первый посол в США — позднее возглавил Министерство иностранных дел, он перевёз в Москву и своего соратника Фёдора Попова. Есть даже фотография в главном журнале страны «Огонёк», где рядом стоят Громыко, мой двоюродный дед — и, кстати, генеральный прокурор СССР Вышинский.

Конечно, с руководителями мировых держав Фёдор Попов виделся чаще, чем со своей сестрой Машей; но случалось, он заезжал и в Выгорное.

Рассказывали, что, когда он как-то подъехал к родительскому дому на машине «Волга», полной подарков семье, то Мария крикнула брату: «Федя, выноси по одной коробке!» — чтобы односельчане дивились, как долго разгружается заваленная разнообразными дарами машина.

У Фёдора Денисовича было двое детей: Юрий, красавец и тоже дипломат, и дочь Наталья, работавшая личным секретарём известного врача-онколога академика Блохина.

Младший из братьев Поповых, Александр Денисович, стал военным лётчиком и дослужился до подполковника. В годы Великой Отечественной войны он летал в Монголии, охраняя азиатские русские рубежи. Дядя Саша приезжал и к нам в Калугу, чтобы навестить свою племянницу Иру. Не очень отчётливо, но я помню этого статного и красивого пожилого офицера; мужчины в роду Поповых вообще на редкость крупны и красивы.

В жизни дяди Саши были чёрные дни: его дочь Леночка, только недавно родившая сына Дениса, заболела раком желудка и умерла, когда ей было всего тридцать лет. Осиротевшего мальчика, как родного сына, вырастил и воспитал его дядя, родной брат Леночки, Фёдор Александрович Попов — у которого росли и свои дети, Александр и Наталья. Знаю, что Фёдор, как и его родной дядя и тёзка, тоже пошёл по дипломатической — но с торговым уклоном — линии.

Если кончина одного двоюродного деда, Ивана Денисовича Попова, впервые дала мне почувствовать, что такое смерть — в тот момент, когда бабушка с искажённым от горя лицом пробежала по улице мимо меня — то кончина другого двоюродного деда, Александра Денисовича, в первый и единственный раз показала мне наш род Поповых, собравшийся тогда в Москве по этому печальному случаю. Не буду подробно перечислять, кто там был и как выглядел — боюсь кого-то забыть или что-то напутать — но скажу, что я редко встречал где-либо так много умных, учтивых, приятных и интеллигентных людей. А дядя Саша был красив даже в гробу — лёжа строго навтыжку, в мундире и в орденских планках, как и подобает настоящему офицеру...

Думаю, здесь будет уместно одно отступление. Можно взглянуть на род Убогих-Поповых, как на единый живой организм — со своим, так сказать, выраженьем лица, со своими особенностями и родовыми чертами. Так вот отцовская ветвь, род Убогих — это прежде всего род воинов-казаков, сначала запорожских, а затем кубанских.

А материнский род Поповых — очевидно, ведёт начало от священнослужителей. Правда, безбожный провал сроком в семьдесят лет, в который попала вся наша страна, не позволяет найти следы конкретных священников, давших фамилию роду; но сам факт их существования несомненен: фамилии не возникают на пустом месте.

Так что если пользоваться терминами индузов, наш род образован кшатриями и брахманами — то есть воинами и жрецами. А если выстраивать образ рода в понятиях более близкой культуры — ну, скажем, греческой — то на память мне тут же приходит один из памятников, который я видел

неподалёку от Олимпии. Там на площади стоит бронзовый православный батюшка в рясе — но взмахивает он не кадилом и не крестом, а взметнувшись в небо саблей. Как нам пояснили, этот священник когда-то возглавил восстание против нехристей-турок: и воевал он, судя по сабле, не только молитвой. Так вот этот батюшка с саблей как раз выражает собой тот союз воинов и священников, что сложился и в нашем роду; поэтому если кто-то желает увидеть уже существующий памятник нашему роду Убогих-Поповых — пусть едет в Грецию.

Но кровожадные и героические времена сменялись более мирными; соответственно времени более мирными становились профессии, что избирали позднейшие представители рода. Так, воины мало-помалу сменялись врачами, а священники — учителями. Но несомненна преемственность и сакральная близость этих профессий. Разве, скажем, хирург не проводит жизнь в шаге от смерти — причём весь облитый и потом, и кровью, почти как солдат в рукопашном бою? А любой, кто видел, как одевают хирурга перед операцией, тут же вспомнит, что похожим образом облачают и священника в храме: превращая его из обычного человека в того, кто вот-вот выйдет в особенное, напряжённо-мистическое пространство.

Несомненна также близость священников — и учителей. И те, и другие наставляют на путь, указуют и исправляют; а в идеале они должны собственной жизнью подавать пример пастве и ученикам: вся их жизнь должна стать служением.

Вот такой истинной учительницей и была моя бабушка, Мария Денисовна Попова. Когда её, уже глубоко пожилую женщину, приехавшую к нам в Калугу навестить дочь, внука и зятя, увидел в магазинной очереди сослуживец и хороший знакомый отца, он сказал ему: «Ваша тёща — настоящая императрица!»

Мария Денисовна и в самом деле была женщина, что называется, видная. Уж если и в старости она имела царственный облик — то какой же она была в расцвете своих женских сил? Видно, крови беглой гречанки и гордой польской дворянки так в ней перемешались, что бабушка производила на людей исключительное впечатление. Сказать, что она была высокой и статной, что её прекрасные чёрные волосы долго не трогала седина, что черты её лица были правильными и благородно-красивыми — значит, сказать очень мало о внешности бабушки. Только теперь я осознаю, что в Марии Денисовне было то редчайшее чувство собственного достоинства, которое не только не подавляло и не принижало находящихся рядом людей — но, напротив, побуждало каждого, кто её видел и слушал, стать лучше, чем он был доселе.

И вот в этом смысле бабушка была, без сомнения, великой учительницей. Не забуду, как уже много лет после её кончины я в тимской пивной разговаривал «за жизнь» с одним мужичком затрапезного вида. Очевидно, он этот свой затрапез сознавал и стыдился его. И вот, пытаясь себя приподнять в глазах собеседника, он решил поделиться со мной сокровенным и вспомнить лучшее, что было в его скудной жизни — то лучшее, чем, без сомнения, можно было гордиться. «Знаешь, — сказал он мне с важностью, подняв к небу

дрожащий, прокуренный палец, — а ведь я учился у самой Марьи Денисовны!» И это при том, что мой визави, разумеется, и не подозревал, что он пьёт пиво с родным внуком той самой учительницы...

Жизнь Марии Денисовны была, мягко говоря, непростой. Она родилась в 1909 году и росла то на шахтах Донбасса, то в родном Выгорном. Окончив Курское педагогическое училище, она уехала работать в село Погожее и там в 1931 году (то есть 22-х лет от роду) вышла замуж за директора погоженской школы, которого звали Василий Архипов. О нём в преданиях рода осталось лишь то, что он был конопат и очень ревнив. Не берусь судить, насколько это большие недостатки — но через восемь лет семейной жизни Мария оставляет мужа и возвращается к родителям в Выгорное с семилетней дочкой Галиной на руках. И оказалось, что в Выгорном её ждёт-поджидает давнишняя, ещё чуть ли не с детства любовь; а зовут эту любовь Степан Львович Жигалкин.

Что только страсти не делают с человеком — тем более с молодой и красивой, порывистой, смелой и гордою женщиной? И вот Мария, оставив дочку родителям, уезжает со Степаном в Харьков, чтобы начать там новую жизнь. Оба они поступают в институты, Мария — в автодорожный. Сохранилась фотография бабушки, снятая в ту пору: прямо-таки красавица-аристократка, в меховой шубке и кокетливой меховой шапочке смотрит с едва заметной, печальной улыбкой.

Но со Степаном Жигалкиным Мария смогла прожить ещё меньше, чем с Василием Архиповым. Красота, увы, вообще редко находит семейное счастье: так уж несправедливо (или, наоборот, справедливо?) устроена жизнь. Как раз с началом войны совпадает и второе возвращение бабушки в Выгорное: только теперь к дочери Галине добавляются ещё две, Ирина и Светлана.

В памяти моей мамы, тогда совсем младенца, сохранились смутные то ли воспоминания, то ли рассказы о попытке бежать «из-под немца» и о закапывании на задворках усадьбы кое-какого семейного добра. Подобное закапывание и бегство тогда было всеобщим; вот и отец рассказывал, как они в Камыше закопали всё, вплоть до шляпы отца, воевавшего на Ленинградском фронте. Шляпу-то потом откопали — а вот хозяин её не вернулся...

Убежать от немцев удалось мало кому: слишком быстро те наступали. Большинство жителей Выгорного возвратилось и мыкало горе войны по своим родным хатам. Как одинокой женщине с уже пожилыми родителями и с тремя маленькими девочками на руках удалось пережить эти годы войны и послевоенного голода — я не представляю. Но своих дочерей Мария Денисовна не просто спасла и вырастила, но и вывела, что называется, в люди: все трое стали замечательными врачами.

А Мария Денисовна стала той самой знаменитой на всю округу учительницей — о которой потом много лет в хмельном умилении и восторге вспоминали её постаревшие ученики. Но мало того, что она почти всю жизнь проработала сельской учительницей — а ведь это, говоря строго, даже не просто работа, а миссия — бабушке приходилось вести жизнь ещё и крестьянки,

выращивая пропитание себе и семье: в прямом смысле, в поте лица. Её мать Домна Тимофеевна умерла в далёком 1951 году; отец Денис Максимович был уже стар и годился только на небольшие работы по саду и пасеке. Так что единственной полноценной работницей оставалась она сама, учительница выгорновской начальной школы Мария Дмитриевна Попова. Я помню, как она, чуть живая, приходила из школы, ненадолго присаживалась отдохнуть в тени хаты, а потом тяжело поднималась и говорила: «Ну ладно, внучок, пойду сорняки дёргать — а то перед соседями стыдно...» В крестьянском её хозяйстве была и корова, и поросёнок, и гуси, и куры; и за всем этим нужен был ежедневный пригляд и забота.

Жизнь бабушки вообще была полной непрерывных тревог и заботы — той самой глубинной и неотступной заботы, что, по Хайдеггеру, составляет самую суть человеческого существования. Легкомыслие её отца, которому главное было вовремя выпить рюмку да потом вольно побродить по деревне или посидеть у завалинки хаты, нимало ей не передалось: сколько я помню, бабушку непрерывно прямо-таки сжигала тревога за близких. «Ох-ма-а...» — бывало вскидывалась она, вспомнив какое-нибудь очередное и неотложное дело: например, что пора купать внука Андрюшу. Опасаясь меня простудить, она даже летом топила печь, и в хате делалось жарко, как в бане. А купала она меня в оцинкованном жестяном корыте: помню, как его дно гулко хлопало под моими переступающими ногами (по которым текла горячая, серая мыльная пена) и как это гулкое хлопанье чем-то напоминало рокот далёкого грома.

Ещё помню, как бабушка окликала своих дочерей, когда те, хоть и редко, но съезжались в родительский дом все втроём. Замороченность бабушки бытом и бытовыми заботами была столь велика, что она начинала путать их имена; и вот, чтобы никого не забыть и не обидеть, она обращалась к любой из дочерей сразу тройным именем. «Ир-Свет-Галь!» — кричала она в сумрак хаты или в прохладу сеней (где стояли на лавке вёдра с водой, прикрытые влажной фанеркой) — и любая из тех, кто могла отозваться, откликалась на этот тройной материнский призыв. Тогда меня это и удивляло, и забавляло; но теперь-то я понимаю, что бабушка обращалась не просто к кому-то из дочерей; нет, она окликала как будто частицу единого, слитного родового тела Поповых — того родового тела, реальность которого я вполне ощущаю теперь, когда пишу эти воспоминания.

ХИ. СЁСТРЫ ПОПОВЫ

«Ир-Свет-Галь!» — кричала бабушка в сумерки хаты, и когда я сейчас повторяю за ней этот оклик, перед мысленным взором встают эти три удивительных женщины: сёстры Поповы.

Говоря строго, старшая из них Галина в девичестве была Архиповой. Но Мария Денисовна ушла от мужа, когда дочери было только семь лет — а потом началась война, Василий Архипов ушёл на фронт и пропал там без вести. Так что, по сути, настоящей Поповой росла и Галина.

Ей, старшей из трёх сестёр, приходилось тяжелее всего: в годы войны и послевоенья она была уже подростком, и все взрослые тяготы этого времени легли ей на плечи. Но о том, как она росла — сначала в Погожем, потом в Выгорном, потом в Харькове, где она, первой из трёх сестёр, училась в мединституте — я знаю немного. Вот разве что две истории — которые, право же, стоят того, чтобы их рассказать.

Одна — это история про «раненое пальто». Когда юная Галя Архипова со своей лучшей подругой Валеёй Жидких шла из Тима домой (а Выгорное расположено «под горой», километрах в двух от райцентра), их остановил какой-то парень из местных, крепко повздорил с ними — кажется, там была какая-то романтическая любовная история — и в завершение ссоры ударил Галину ножом в спину: вот какие испанские страсти кипели в нашем Тиму! Галину спасло толстое, на вате, зимнее пальто: рана, которую девушка получила, оказалась не такою уж и значительной. Правда, Галя всё же упала — и лишь с помощью Вали Жидких кое-как добралась до больницы (к счастью, та была совсем рядом). Рану на спине Гали зашили, как потом зашили и рану на спине спасительного пальто: о том, чтобы выбросить такую добротную вещь, никто даже не думал. Так вот в этом «раненом» пальто потом ходила в школу её сестра, моя будущая мама, Ира Попова. Наверное, с тех самых пор мама так не любит штопаные, переделанные, зашитые вещи: след «раненого» пальто остался с ней на всю жизнь. А того дурака-парня с ножом, кстати, простили, не доводя дела до суда: за что его родители по гроб жизни были благодарны и Гале, и её матери Марии Денисовне.

А другую историю мне поведала сама тётя Галя. Как-то она, совсем ещё девочкой, пасла гусей на окраине Выгорного, вместе со своими сверстниками — и было это как раз в конце войны. И вот на краю гусяного стада что-то случилось: словно взрыв взметнул к небу перья и раздался оглушительный рёгот перепуганных птиц. Подбежавшие дети увидели, как несколько больших серых собак — никто сразу даже не догадался, что это волки — хватают гусей одного за другим, бьют их о землю и душат. Тут дети бесстрашно схватили кто камень, кто палку — и с криками-визгами побежали навстречу волкам отбивать у них бедных гусей. «Страх был только за то, — рассказывала тётя Галя, — что взрослые нас заругают: как же вы, мол, гусей-то не уберегли?»

На счастье, кто-то из жителей ближних домов всё это увидел, и на волков побежали уже не одни только дети с камнями и палками — а бабы с колами и вилами. И только тогда волки нехотя оставили поредевшее гусяное стадо, прихватили каждый по две задушенных птицы — и грузной рысью стали уходить вверх по оврагу в сторону леса...

Именно в дом тёти Гали (она с мужем Вениамином и дочерьми Наташей и Машей жила тогда в Железногорске) меня привезли из роддома. Так что первая настоящая семья, в которой я начал жить, была семья тёти Гали и дяди Вены Синяевых. Они вообще были люди редкого хлебосольства и гостеприимства. Их дом был приютом для нашей семьи не только в первые дни моей жизни, но и потом, когда мой уволившийся из армии отец искал

место для врача-психиатра и во время наших ежегодных приездов в Курск, а затем и в Москву. Дом Синяевых был вот именно что открытым: в нём постоянно гостили родные, знакомые и сослуживцы хозяев. И, конечно же, центром всей этой шумной, радушной и хлебосольной семьи была тётя Галя. Она, как и её мать, постоянно о ком-то или о чём-то заботилась и хлопотала: я так и запомнил её то соображающей, где же постелить на ночь очередному нагрывшему гостю (а раскладушки привычно стояли у них в прихожей, словно в каком-нибудь Доме колхозника) или как поскорее использовать или переработать те вёдра и ящики с фруктами, что привезли им откуда-нибудь с Украины или Молдавии.

Была у тётки Гали и ещё одна черта: она очень любила куда-либо ехать и всегда с лёгкостью трогалась с места: будь это хоть переезд на жительство в другой город (а они жили сначала в Железногорске, потом в военном Челябинске-40, что на Урале, затем в Курске, затем в Москве) — хоть недалёкий выезд с мужем куда-нибудь в степь на охоту. Может, кровь древних жителей курских степей, кочевников и скотоводов так себя в ней проявляла — что тётя Галя любила дорогу, и волю, и дрожащее марево перед степною чертой горизонта?

Но жизнь тётки Гали не ограничивалась семьёй и приёмом гостей, выездами в степь и домашними заготовками. Она работала врачом-инфекционистом — и таких, как она, спецов было немного. Достаточно сказать, что первый в Советском Союзе диагноз «болезнь легионеров» (есть такое редкое инфекционное заболевание, завезённое к нам, как и многое прочее, из Соединённых Штатов) поставила московский врач Галина Васильевна Синяева.

Нельзя не написать и о её муже, Вениамине Петровиче. Он рос в соседней с Выгорным деревне, называвшейся «Первая Часть», в очень бедной семье. Его овдовевшая мать, Наталья Петровна, смогла «поднять» пятерых детей в условиях непредставимой нам нищеты и разрухи. И выживали они буквально на «подножном корму». Первой профессией Вениамина Синяева стала профессия водоноса: он таскал полные вёдра на тимскую гору, в райцентр, где тогда ещё не было водоснабжения. Но социальные лифты в ту пору работали с редкою силой, и к своим зрелым годам мальчишка-водонос становится начальником строительного отдела кооперации всего Советского Союза (эта организация называлась «Центросоюз»): по рангу и по возможностям эта должность примерно соответствовала заместителю союзного министра. Но мне дядя Вена запомнился, конечно, не высокою должностью, а неизменным радушием и добродушием — и своей любимую присказкой: «Не может быть, чтоб лапти воду пропускали!»

Другие сёстры Поповы, Ирина и Света, росли, вовсе не зная отца. Короткая жизнь Марии Денисовны со своим вторым гражданским мужем, Степаном Львовичем Жигалкиным, оборвалась так быстро и непоправимо, что никакого участия в судьбе девочек их отец не принимал. Больше того: когда уже взрослыми девушками они поехали в Харьков, чтобы найти там Степана Жигалкина и попробовать как-то наладить с ним отношения — их не пустили даже на порог. Так вот и вышло, что для меня осталась неизвестна

и недоступна огромная часть родового древа. И дедов своих я не знал совершенно: один погиб на войне за 22 года до моего рождения, а другой жил где-то в параллельном мне мире.

Вообще, безотцовщина — страшная рана для рода. А в годы войн, смут и иных потрясений едва ль не на каждом родовом теле зияют эти ужасные раны. Так, без отцов росли мои оба родителя: и мать, и отец. И даже я сам — хоть внешне канва моей жизни вполне благополучна — я сам до сих пор ощущаю ущерб, нанесённый нашему роду этим двойным безотцовством. Беда в том, что человек, не знавший отца, — в полной мере не может увидеть, почувствовать и узнать сына: знобящая пустота за спиной неизбежно влечёт за собой и какую-то тень пустоты — впереди. Ещё слава Богу, что такие раны на родовом теле способны, хоть и не скоро, затягиваться — и у моих детей есть «полноценный» отец, знавший собственного отца...

Но пора рассказать о Светлане Поповой. С этого места родословная вступает в область, уже доступную воспоминаниям и моих детей, Димы и Даши: ведь они не могут не помнить, как тётя Света встречала нас всех на перроне в Харькове по пути в Крым. Поезд стоял там долго, около часа — и мы успевали увидеться и наговориться с нашей любимой тётушкой, передать ей подарки из Калуги, от сестры Иры, и взять те гостинцы, что приготовила нам в дорогу заботливая тётя Света. Она была крупной, уверенной женщиной с ясным и очень умным лицом; энергия так и струилась от её облика, жестов и речи. Иногда вместе с ней нас встречала её дочь, красавица Ольга — стоящая, как с картинки, хохлушка. Теперь Ольга замужем за болгариним по имени Златко и живёт на испанской Майорке: вот как непредсказуемо и далеко древо жизни выбрасывает родовые побеги.

А когда-то моя кузина Ольга была маленькой девочкой, и рядом с её кроваткой ночью, во сне умерла бабушка Мария Денисовна: умерла так тихо, что чутко спавшая внучка даже не пробудилась. Думаю, смерть во сне — лучшая из смертей — была дарована бабушке как награда за жизнь, проведённую в непрерывных трудах и тревогах.

Младшая из её трёх дочерей, Светлана Попова, была самой активной и яркой. Всегда отличница, всегда первая, всегда знающая, как поступать и никогда не терявшаяся перед преградами — она всегда была образцом и поддержкой для своей старшей сестры, скромной красавицы Иры Поповой. Уверенность тёти Светы в себе порой доходила до степени анекдотической. Так, однажды в Москве на Красной площади она повздорила с милиционером, не пускавшим её в Мавзолей: уже, дескать, шесть часов вечера и посещения прекращены. «Как шесть?! — возмущалась тётушка, показывая свои часы. — Ещё только без четверти шесть!» В ответ милиционер, улыбнувшись, указал ей на циферблат часов Спасской башни Кремля — тех главных часов, по которым сверяет время страна. «А те часы спешат!» — ни на секунду не сомневаясь в собственной правоте, воскликнула тётя Света.

Как жили сёстры Поповы в послевоенном Выгорном? Конечно, непросто — как непросто жила вся страна. И все деревенские работы ложились и на них тоже: поливка и прополка огорода, кормление скотины, пастьба

гусей и копанье картошки. Но, с другой стороны, Ира и Света были не кто-нибудь, а дети уважаемой всеми учительницы и племянницы видных людей — дипломата, учёного и военного лётчика — что превращало их из простых деревенских девчонок в своего рода аристократию Выгорного. Было даже время — правда, очень недолгое — когда старшеклассницы Поповы носили шляпы: а уж это, согласитесь, было почти то же самое, что ходить за плугом в смокинге и лаковых туфлях. Но эти школьные шляпы не прошли даром: закваски интеллигенток, любящих и умеющих хорошо одеваться, сохранилась в сёстрах Поповых на всю жизнь.

Нет нужды говорить, что обе сестры были круглыми отличницами; и это при том, что Мария Денисовна если чем и выделяла собственных дочерей, которых учила в начальной школе — так только особенной строгостью к ним. И то, что по окончании школы обе сестры, с интервалом в два года, поступили в престижный Харьковский мединститут, было совершенно справедливо и закономерно. А поселились они в Харькове в той самой квартире Исаака Дунаевского на улице Сумской, одну из комнат которой занимала их двоюродная «баба Катя». Вот у неё в комнате, ночуя вдвоём на одной кровати, сёстры-студентки и жили.

После института Светлана Попова сразу же поступила в аспирантуру — и всю жизнь проработала в Харькове врачом-эндокринологом. И не простым, а доцентом кафедры, доктором медицинских наук. Уверен, она бы этой кафедрой эндокринологии и заведовала, будь она украинкой: национальный вопрос в братской республике год от года становился острее.

А писать диссертации — сначала кандидатскую, потом докторскую — в доинтернетовскую эру было очень непросто: найти необходимую литературу можно было только в Ленинской библиотеке Москвы. Вот и приезжала моя дорогая тётушка из Харькова в Москву, вся обвешанная неподъёмными сумками с подарками для родных. И, помимо научных трудов, она ещё успевала съездить к сестре Ире в Калугу, и там под разговор за вечер и ночь сшить той какую-нибудь особо модную юбку, потому что сидеть без дела тётя Света просто-напросто не могла.

Энергия Светланы Степановны была такова, что, казалось, ни старость, ни смерть так и не смогут к ней подступиться. В свои семьдесят пять она была активнейшей женщиной, продолжала работать и была готова покорять ещё и остров Майорку, куда как раз переехала дочь. И старухе с косою пришлось избрать особенное орудие — тяжёлый фургон-грузовик — чтобы остановиться на шумной харьковской улице уверенный шаг тёти Светы...

XIII. МОСКВА И МОСКВИЧИ

В этих родословных заметках не обойти и Москвы. Отношение русского провинциала к столице всегда разное: к ней то тянутся, словно к земле обетованной (клич сестёр Прозоровых «В Москву, в Москву!» до сих пор звучит в русских сердцах), то кланут её, как вместилище всевозможных грехов и пороков. Но Москва очень разная: это едва ли не самое постоянное из её

переменчивых свойств. Одно дело — город конца застойной эпохи, сытый, спокойный и неторопливый, будоражили который лишь возбуждённые очереди из провинциалов, понаехавших в столицу за продуктами: поезда, привозившие-отвозившие их, так и назывались «колбасными». Другое дело — Москва конца прошлого века, когда на её мусорных улицах во множестве появились бомжи и проститутки, а в подворотнях захлопали выстрелы криминальных разборок. Но Москва своим крепким желудком эти все безобразия переварила и снова сделалась чинно-благопристойной, сияющей витринами, фасадами и огнями реклам. Потом миновали и «тучные нулевые», и Москва вновь переменяла лицо: реклам и ларьков поубавилось, зато прибавилось людей в форме, турникетов, видеокамер и пропускных пунктов: похоже, столица не просто готовится к третьей мировой войне, но давно в ней участвует.

Что до меня, то мне милее всего та столица, которую я не застал: романтическая Москва времён «оттепели» шестидесятых годов прошлого века, Москва Геннадия Шпаликова, Георгия Данелии и Марлена Хуциева. Описывать её я, пожалуй, не буду — лучше посмотреть фильмы этих замечательных людей — но вот именно в такую Москву и перебралась когда-то наша родня. Я уже рассказывал о своём двоюродном деде, дипломате Фёдоре Денисовиче Попове. В Москве жил и он — живёт и его сын Юрий, пошедший тоже по дипломатической части и долго работавший в африканском Лесото: кому интересно, может поискать это крошечное государство на карте. А дочь Фёдора Денисовича Наталья (в замужестве Тютюник) жила на Фрунзенской набережной, в одном из престижных районов столицы. Как-то мы с мамой заезжали туда — и я, ещё мальчик, дивился державному виду из окон квартиры своей двоюродной тётки. Знаю, что у тёти Наташи есть дочь Ольга, а у её брата Юры — кажется, сын Олег; на этом следы этой родственной ветви теряются.

У другого из москвичей, лётчика Александра Денисовича Попова, была дочь Леночка, умершая совсем молодой, но успевшая родить сына Дениса — и сын Фёдор, который получил имя и отчасти профессию как бы в наследство от своего дяди Фёдора. Фёдор-младший долго работал в Голландии, в нашем торгпредстве — то есть тоже, по сути, был дипломатом.

Любопытно, что дипломаты — четвёртая из популярных профессий в нашем роду. Три первые — это воины, медики и учителя: согласитесь, достойный набор.

Но самые близкие нам москвичи — это, конечно, Синяевы. Вениамин Петрович перебрался в Москву с женой Галиной Васильевной и дочерьми Наташей и Машей в 70-х годах прошлого века, в эпоху классического «застоя»: в самое сытое, неторопливое и благополучное время. Ему, как фигуре значительной — начальнику строительства «Центросоюза» — государство поочередно давало квартиры, одну лучше другой, и во всех этих квартирах нам доводилось гостить. Благодаря Синяевым, я узнал и то, что такое правительственная (или номенклатурная) дача: дом в сосновом лесу под Малаховкой, где государственные мужи должны были отдыхать и набираться сил для новых свершений во благо страны. Слов нет: дача меня впечатлила.

Но, несмотря на все привилегии, Синяевы оставались людьми в самом хорошем смысле простыми. И те трудности и невзгоды новых времён, которые в России не заставляют себя долго ждать, они приняли с исконно крестьянским терпением и отвагой. Когда в «перестройку» прежняя жизнь стала рушиться, Вениамин Петрович уже на излёте своих (немалых когда-то) возможностей решил строить дом в подмосковном Пикалово, неподалёку от города Чехов — где у Чехова, в тогдашней Лопасне, была дача: никуда нам не деться от русской литературы. И задуман был этот дом именно как родовой оплот-крепость. «Все сюда соберёмся, — говорил, бывало, Петрович, — и будем держать тут оборону. На чердаке можно и пулемёт поставить: Серпуховское шоссе отлично отсюда простреливается». От кого именно собирался отстреливаться Петрович в самом центре России, сказать трудно; но я осознал тогда, что род, помимо всего остального, — это ещё и военное подразделение, с которым так просто не справиться.

На строительство дома-крепости Петрович созвал всех, кого мог — в том числе и нас с отцом. И вот как-то очень светло вспоминается эта неделя в Пикалово, где мы плотничали, ночуя в той же самой избушке-временке, которую строили: причём ночевали на ворохе сухо шуршащего и пахучего сена, а пищу Петрович варил нам на костре. Стоял студёный, погожий октябрь, и звёзды ночами висели так низко — что, казалось, их можно сорвать, словно крупные спелые яблоки. И по вечерам у костра, глотнув спирта «Рояль» (который тогда затопил всю страну), я остро чувствовал, что нахожусь в глубине России, в глубине и в потоке рода — и в глубине обороны, которую род нескончаемо и упорно ведёт против внешних и внутренних сил, что хотят его, род, прекратить, уничтожить, стереть с этой стылгой, в серебряном инее, жухлой травы и земли...

Пикаловский дом был построен, но старшим Синяевым толком пожить в нём не довелось. И Галина Васильевна, и Вениамин Петрович покоятся неподалёку, на кладбище посёлка Новый Быт. А в Москве остались жить их дочери, Наташа и Маша. Они медики: Наташа — доктор, а Маша — медсестра, но сейчас, правда, обе пенсионерки. У Маши дочь Женя, статная белокурая красавица, работающая дизайнером в одном из московских издательств. У Наташи было два сына, Костя и Вова; но младший, двадцатилетний чудесный юноша Вова, погиб в 2017 году. Ещё слава Богу, что синяевский род всё-таки продолжается: у Кости и его жены Кати растут сыновья, Алексей и Павел. Вот с этой ветвью рода Синяевых — Наташей и Костей и его славной Катей — мы общаемся довольно-таки часто, и всегда с радостью: наша московская родня — прекрасные люди. К тому же нас сблизили, кроме родственных, и отношения кумовства: крёстными Диминой дочери, а моей внучки Анюты стала моя дочь Даша и мой двоюродный племянник Костя Сараев.

Костя, математик по образованию и программист по профессии, глубоко интересуется историей и родословной: именно от него я узнал о греческих корнях Герасимовых-Поповых. Вот ему-то, Бог даст, я и пошлю эти заметки — и с радостью побеседую с ним о таинственных и прихотливых путях, которыми движется род.

XIV. КАЛУГА

Родословная приближается к самому сложному для меня месту: к родителям. Я живу с ними рядом — а при близком и почти ежедневном общении часто теряется та пространственная и временная дистанция, с которой только и можно верно оценить человека и его жизнь.

Набросаю сначала географическую канву: тот пунктир жизни, который пролёг между юными Юрой Убогим и Ирой Поповой — и теперешними почтенными пожилыми людьми по имени Юрий Васильевич и Ирина Степановна. Они, рождённые в одном 1940 году, познакомились в тимской средней школе: оба учились в её старших классах. Но в медицинские институты поступили поврозь: мама в Харьков, а отец, год проработав в Воронеже токарем, поступил в Воронежский мединститут. Поженились они, когда отец учился на пятом, а мама на шестом курсе: так что, когда я родился, мой отец был ещё медицинским студентом.

А маме пришлось — такие тогда были жёсткие правила — с грудным ребёнком на руках уезжать на работу по распределению в село Юнаковка Сумской области, что на Украине. Работала она там участковым врачом-педиатром: и это, по-моему, одна из самых сложных работ, какие только бывают на свете. Поскольку бегать на вызовы с младенцем на руках было трудно, мама оставляла меня у какой-то старухи, а её внучка, как после рассказывали, постоянно съедала кашу, приготовленную для меня: так что моё раннее детство было в прямом смысле слова голодным. Мне порой кажется, что я помню и эту старуху, и её вредную внучку, и даже тарелку с остатками каши. Что ж, ничего удивительного — ведь, скажем, Будда помнил даже то время, когда он был козлёнком.

Когда отец закончил учёбу, его тут же призвали в армию, и он, забрав жену и сына, поехал служить на Урал. Местом его назначения была станция Ива, что под Нижним Тагилом, а должность именовалась: «врач ракетного полка». «Наши ракеты, — рассказывал позже отец, — были нацелены на Филадельфию...» Так что к этому незнакомому американскому городу я до сих пор чувствую нечто вроде симпатии.

Но в армии отец не задержался: режимная жизнь была явно не для него. Комиссовавшись, он с семьёй ненадолго вернулся в Железнодорожск (в этом-то городе я и появился на свет в 1963 году), где поработал врачом-рентгенологом, вволю покупался в тёплой реке Сейм (мой отец — отличный пловец и ныряльщик) и прочитал роман Фолкнера «Солдатская награда». Решение самому стать писателем отец принял, ещё учась в школе, и теперь он искал то подходящее место, где эту мечту можно было осуществить. Перебрав несколько предложений — среди них, знаю, была и станция Россошь: какое название! — он выбрал село Ахлебино, что на Оке под Калугой.

А медицинской мечтою отца было работать врачом-психиатром. Во-первых, эта работа не так изнурительна — как, скажем, хирурга. Во-вторых, что ещё может быть интересней писателю, чем изучение человеческих душ? И, в-третьих, психиатрия была отцу просто-напросто ближе: конкретность

соматики быстро наскучивала ему. А мама, как верная спутница и настоящая писательская жена, во всём шла за мужем — и согласилась сменить свою педиатрию на психиатрию: тогда такие перемены специальности происходили значительно проще.

Так вот и вышло, что мои мать с отцом стали врачами психиатрической больницы, расположенной в старинном калужском селе Ахлебинино. Красивее и привольнее мест, чем окрестности Ахлебинино, я, пожалуй, и не встречал — хоть, слава Богу, постранствовал по белу свету. Ока и крутые её берега, поросшие соснами или дубами; заливные луга с их цветением и разнотравьем; дороги в полях и рыбацкие лодки в затоках реки; рассветы-закаты, туманы и росы — всё это было таким, каким может быть только в сказке или в раю.

Да и жизнь молодых докторов — а их в той больнице оказалось немало — походила на сказку. Работа была интересной и не тяготила; общения и молодого веселья было — хоть отбавляй; а близость реки позволяла купаться, рыбачить и даже иметь свою лодку: тогда в нашей семье впервые появилась байдарка «Салют» и началась многолетняя байдарочная эпоха, длящаяся по сю пору.

А для отца переселение на калужскую землю совпало ещё и с началом его литературной судьбы. Писать-то писал он и раньше, ещё со времён студенчества и военной службы, и посылал свои рассказы в журналы; но лишь живя здесь, он узнал, что его рассказ «Максимыч» стал лауреатом премии всесоюзной газеты «Труд», самой тиражной тогда газеты в мире («Максимыча» прочитало, как минимум, десять миллионов человек); и, кстати, разделил эту премию с никому не известным молодым психиатром не кто-нибудь, а Вениамин Каверин, автор знаменитых «Двух капитанов». Потом отец получал ещё много различных премий и много публиковался; но, конечно, именно эта публикация в «Труде» стала важнейшей и, что называется, знаковой: в литературу вошёл писатель Юрий Убогий.

Ахлебининский рай продолжался недолго: неполных два года. Но то новое место, куда в 1968 году переехали мои мать с отцом, было тоже чудесным: деревня Бушмановка. «Когда я впервые здесь оказался, — рассказывал отец, — я сразу понял, что проживу здесь всю жизнь». Так оно и оказалось: жители Бушмановки до сих пор могут видеть благообразного старца с седой бородой, дважды в день выходящего на прогулку со шнауцером Луи, таким же седым, бородатым и неторопливым, как и выгуливающий его писатель.

Калужанам — а тем более моим детям, выросшим здесь, — нет нужды объяснять, что это за место: «Бушмановка». Но для того постороннего, кто, быть может, случайно забредёт на страницы этой родословной, я поясню: Бушмановка — это посёлок при крупной психиатрической больнице, существующей здесь уже около 120 лет. Авторитет и уровень её очень высок; более полувека ею руководил легендарный главный врач Александр Ефимович Лифшиц: больница носит теперь его имя. Да что говорить: сюда приезжал родной сын великого Эрнста Кречмера, одного из столпов мировой психиатрии — тоже известнейший психиатр, профессор Вольфганг Кречмер. Помню, когда мы беседовали, гуляя по бушмановскому оврагу, мой пятилетний сын Дима с недоверием спросил Кречмера: «Дядя, а ты правда

немец?» — «Правда, немец», — несколько удивлённо ответил профессор, хорошо говоривший по-русски. «Ну тогда скажи мне, как будет по-немецки «телёнок»?» — продолжал допрос Дима, показывая на пасущееся неподалёку стадо. И Кречмеру пришлось выдержать целый небольшой экзамен «на немца» — который он сдавал под наш дружный хохот.

Бушмановка до сих пор — зелёный и тихий оазис посреди быстро растущего города, который давно уж не только приблизился, но и почти окружил больничные корпуса, парк, дома и сады коренных бушмановских жителей. И до сих пор меня по утрам будят здесь петушиные крики и лай собак.

Где же и жить-поживать писателю, как не в таком замечательном месте? Довольно долго, до 1985 года, отец совмещал занятия литературой с работой сначала врача-психиатра, а позднее — психотерапевта. Когда же его литературный авторитет достаточно укрепился, а гонорары стали стабильными, он с медициной расстался. Но спокойной писательской жизни не получилось: сменилась эпоха, и рухнула та империя, которая, помимо того, что была коммунистической и тоталитарной, — была ещё и литературоцентричной. Писатели, долгое время бывшие национальной элитой и «солью земли», быстро сделались нищими и безработными. Настали непростые — но вовсе не скучные — времена. И отец, один из немногих писателей своего поколения, преодолел это время достойно: на прокорм он выращивал картофель в бушмановском овраге и продолжал писать и издавать книги, которые, на мой взгляд, лучше прежних, написанных в благополучные годы.

И теперь, когда за плечами отца почти шестьдесят лет литературной работы, я твёрдо заявляю: Юрий Васильевич Убогий — большой русский писатель. И его путь — путь мальчишки, выросшего без отца на послевоенных улицах Тима и ставшего чтимым среди знатоков патриархом отечественной словесности — это путь редкий по самобытности, твёрдости духа и верности собственному дарованию. А дарование, как писал Баратынский, есть поручение, которое надлежит исполнить во что бы то ни стало. И вот мой отец это поручение выполнил — за что и предлагаю мысленно снять перед ним свои шляпы.

Но ещё больше, чем жизненный путь и подвиг отца, меня восхищает и поражает жизнь матери. Пятьдесят семь лет быть верной спутницей писателя с весьма непростым характером; тащить на себе все бытовые проблемы семьи; перепечатывать на протяжении более чем полувека почти все отцовские рукописи и тем освобождать мужу время, нервы и силы для собственно творчества: а число перепечатанных ею страниц (на машинке, а в последнее время и на компьютере) исчисляется тысячами.

Трудно поверить: как, выполняя всё это, моя мама пятьдесят лет проработала врачом-психиатром в отделении острых психозов?!

И вот после такой жизни, проведённой в бесконечных трудах и заботах, она даже не стала старухой. Нет, сейчас это просто пожилая интеллигентная женщина, всегда со вкусом одетая, непрерывно заботящаяся о близких и до сих пор очень трудолюбивая. Она то готовит еду, то чистит квартиру, то что-нибудь прибирает в саду, то печатает на компьютере — то сидит с правнучкой Аней, когда та приболела и не может ходить в детский сад.

И я, вот уже пятьдесят шесть лет, имею перед глазами живой пример истинной христианки, заботящейся о ближних куда больше, чем о себе самой: пример собственной матери.

XV. РОДОВОЕ БЕССМЕРТИЕ

Что сказать напоследок? Пока я писал родословную, я испытывал двойственно-странное чувство: будто я умаляюсь и увеличиваюсь одновременно. С одной стороны, припадая к потоку по имени «род», ощущаешь себя незаметной частичкой, какою-то щепкой, которую вынесло на поверхность, пронесло-прокрутило по мутной, клубящейся, пенной воде — и вот-вот затянет обратно, во тьму и безвестность глубин. Что значу я сам и моя частная жизнь на фоне того, о чём я вспоминаю: на фоне национальных трагедий и войн, революций и смут, и великих переселений народов? Но если даже не мыслить в масштабах большой истории, а взять всего лишь историю рода — то и здесь я почти исчезаю в череде поколений, что непрерывно сменяют друг друга, в этом сложно запутанном множестве судеб, лиц и имён.

Но — странное дело — такое вот умаление ничуть меня не удручает. Напротив, лишь испытав, при помощи памяти и воображения, чувство причастности роду — обретаешь особого вида бессмертие. Проведя много времени в воспоминаниях, размышлениях и в написании этих страниц, я чувствую, что уже словно был в этом мире много прежде, чем появился на свет — и не исчезну тогда, когда надо мной пропоют «Со святыми упокой...». Мой род будет длиться — а, значит, с ним вместе и в нём, буду длиться и я.

И это, уверен, не просто иллюзия; при долгом общении с родом эту истину воспринимаешь как нечто естественное и несомненное — как то, чему не нужны доказательства.

Ещё Шопенгауэр утверждал, что реальность существования рода превосходит реальность существования отдельного человека. «Имеет значение род, а не особь», — утверждал философ из Франкфурта; и, хоть с «буддистом» Шопенгауэром трудно согласиться во всём, но надо признать, что в его словах много истины. И если физическая «включённость» в родовое тело дарит любому из нас физическое (точней, генетическое) бессмертие, то психологически осознание того, что ты являешься неотъемлемой частью огромного родового тела, дарит именно счастье — как «со-частьё», как чувство причастности к некоей силе, включающей, поглощающей твоё одинокое существование и проносящей его за черту смерти.

Говоря пушкинскими словами, «нет, весь я не умру»; и если не в «заветной лире», так хотя бы в чередовании поколений потомков я переживу собственный прах и передам им, потомкам, частицу себя самого. А уж что именно это будет — цвет глаз или голос, особенности характера или ума, или всего лишь способность изумляться и радоваться жизни, которую я в себе до сих пор ощущаю — не так уж и важно. Важно, чтоб род продолжался — чтоб лился и лился поток, проносящий нас через время и смерть...

Калуга, 2019 г.



Георгий Куликов

Куликов Георгий Викторович родился в 1950 году в Самарканде. Окончил Академию МВД СССР, Дипломатическую академию МИД России.

До 2006 года работал в сфере государственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Увлекается музыкой. Член Союза писателей России.

ГИБЛОЕ ДЕЛО

Утро пробиралось сквозь начинающуюся июльскую грозу. Между тучами ещё ложились золотисто-оранжевые просветы солнечных лучей, но вдруг всё вокруг потемнело и в воздухе отчётливо запахло дождём.

Начало рабочего дня работников уголовного розыска районного отделения милиции ознаменовалось стуком крупных капель дождя по оконному стеклу. В кабинете было необычно тихо: сотрудники отделения милиции строчили отчёт о проделанной за первое полугодие работе.

Самый старший из них по возрасту и по званию Лев Алексеевич Ерихин, обложившись серыми папками, крупными буквами быстро выводил на бумаге только ему одному понятные каракули.

За соседним столом, тяжело дыша, писал свой отчёт Саша Блинов, а стол их коллеги Виктора Колосова стоял в одиночестве, его хозяин где-то как обычно застрял.

Слева от Ерихина сидел самый молодой из всех оперативных работников — Евгений Кудрин. Несколько лет назад он, окончив школу милиции, попал по распределению в их отделение. За эти годы Женя смог заявить о себе как грамотный оперативный работник, раскрывший не одно преступление. Сотрудники с уважением относились к Кудрину за его открытый характер и умение расположить к себе людей.

Жене не хотелось ничего писать; он глядел в окно и испытывал наслаждение от начинающегося дождя. Ещё с детства он любил смотреть на дождевики, любил их холодное касание, которое передавалось всему организму, как бы сообщая о чем-то таинственном, происходящем в небесной канцелярии.

Вот и сейчас часто падающие капли соединяли в своём движении нарастающую силу ливня и удивительный запах чистоты, разносившийся из открытой форточки по всему кабинету.

«Создав человека, — думал Кудрин, — природа постоянно беспокоит его такими явлениями... И всё ведь происходит по определённом небесному клише: надвигаются тёмные тучи, усиливается ветер, вдали грохочет гром, вслед за редкими крупными каплями становится темно, и как из ведра льётся дождь. Природа покорно затихает под монотонным ливнем, в котором чувствуется сила могучей стихии».

Его размышления прервал резкий рывок входной двери, и на пороге появился весь взъерошенный Колосов.

— Вот теперь всю мелочь валят на меня, как будто у участкового инспектора мало работы, — возбуждённо проговорил он.

— Ты что, Витёк, пылишь? — поднимая голову от стола с бумагами, проговорил Ерихин.

— Да дежурный по отделению милиции совсем охренел, всякую мелочь на меня вешает, — ответил Колосов.

— Ты чего, Витька, не опохмелился с утра? — с улыбкой спросил Блинов.

— Ты представь, Лев Алексеевич, — продолжал Колосов, обращаясь к Ерихину, — вчера вечером один мужик из деревни Садовники привёз к своему дому целый прицеп конского навоза. Так вот, свой «Москвич» он поставил во дворе, а прицеп оставил за воротами.

— Понятно, — проговорил Блинов, — не хотел, чтобы запах говна мешал ему спать.

— И что же было дальше? — спросил Лев Алексеевич.

— Сегодня утром мужик вышел из дома и увидел, что нет ни прицепа, ни навоза, — ответил Колосов.

Все дружно рассмеялись, причём громче всех хохотал Колосов.

— Так вот, — продолжал он, — тот мужик написал заявление о краже, дежурный его зарегистрировал и, естественно, со своими комментариями доложил начальнику, который отписал это заявление мне. Я считаю, что такими делами должен заниматься участковый инспектор. Если я буду заниматься поисками дерьма, кто будет серьёзные преступления раскрывать!?

— Витёк, ты не прав, — уже серьёзно сказал Ерихин, — какая разница, что украли: прицеп с навозом или прицеп с золотом. Кража — это тайное хищение чужого имущества, так ведь трактует уголовный кодекс! Так что это именно твоё дело — найти пропавшее и вернуть его потерпевшему. Кстати, если колёс не было, значит, прицеп далеко увезти не могли; наверняка где-то в Садовниках и надо его искать.

— А как искать? — спросил Колосов.

— По запаху, дорогой мой сыщик, — с улыбкой ответил Ерихин.

Все снова дружно рассмеялись

— Ты не представляешь, Витек, — смеясь, продолжал Лев Алексеевич, — ты будешь первым в нашем отделении милиции, кто расследовал громкое дело о краже говна.

— По этому поводу есть анекдот, — сказал Женья и достал из кармана пиджака свою записную книжку, в которой записывал смешные фразы

и анекдоты. — Мужик пришёл в паспортный стол и говорит: «Меня зовут Иван по фамилии Говно, хочу поменять... имя на Эдуард».

Все снова дружно захохотали и не заметили, как в двери показался дежурный по отделению милиции капитан Неволин.

— Женя, срочно зайди к Николаеву, — коротко сказал он и вышел из кабинета.

Кудрин понял, что из-за отчёта заместитель начальника отделения милиции по розыску вряд ли стал его вызывать, видимо, что-то произошло.

Он нехотя встал из-за стола и медленно пошёл к кабинету начальника.

— Вот что, Женя, — сказал Николаев, — только что в нашу дежурную часть позвонил директор универсама на Старокаширском шоссе Барковский и сказал, что сегодня ночью их склад с товаром ограбили. Бери дежурную машину и разберись там. Я позвонил в райотдел, и машина со следователем и экспертом-криминалистом уже туда выехала. Наш дежурный по отделению предупредил участкового инспектора Ерофеева, и тот тоже будет через десять минут у универсама.

— И ещё, — добавил Николаев, — будь аккуратен, ведь Барковский, помимо того, что работает директором универсама, ещё и депутат нашего райсовета.

Женя вышел из кабинета начальника и напрямик направился в дежурную часть, где уже урчал мотором милицейский «Москвич». Через минуту он мчался по утренним улицам города.

Универсам располагался на первом этаже девятиэтажного здания в самом крайнем его подъезде. У его входа стояли несколько мужчин. Один из них, крепкого телосложения, в белой накрахмаленной рубашке, подошёл к машине и представился выходящему из неё Кудрину:

— Барковский Михаил Михайлович — директор универсама.

Стоящего рядом с ним щуплого человечка с маленькими, бегающими глазками он представил как заведующего складом Мищенко. Женя, в свою очередь, предъявил удостоверение личности и поздоровался с ними. В этот момент к ним подошёл участковый инспектор Ерофеев и подъехала дежурная «Волга» из райотдела. Из машины вышли следователь и эксперт-криминалист.

— Ну вот, теперь все в сборе. Что у вас произошло? — спросил Кудрин у директора магазина.

— Сегодня ночью неизвестные залезли к нам на склад и похитили привезённые вчера вечером с базы пятьдесят радиоприёмников «ВЭФ Спидола» и коробку с вьетнамскими веерами в количестве ста штук.

— Каким образом они проникли в универсам? Насколько я знаю, он охраняется вневедомственной охраной, а на окнах и входной двери находятся датчики, соединённые с пультом охраны. — спросил следователь.

— Они проникли с тыльной стороны здания через маленькое полуподвальное окошко. Не представляю себе, как человек мог туда проникнуть, — проговорил Барковский, — пройдёте туда, вы всё сами увидите.

Они прошли вдоль здания, обогнули его и подошли к открытой массивной двери.

— Это дверь склада, — пояснил Барковский, — как видите, она распахнута наружу, а открыть её можно лишь изнутри, отодвинув в сторону металлический засов.

Дальше он повёл их к небольшому углублению в фундаменте дома, внутри которого было совсем маленькое окошко без стекла, а рядом валялись железные решётки, вынутые из стены.

— Здесь у нас находится туалетная комната, — проговорил директор магазина, — видимо, через неё преступники проникли на склад и открыли засов входной двери.

— Да в это окошко человек никак не пролезет, — сказал эксперт-криминалист и сфотографировал его.

— Взрослый — да, а ребёнок запросто сможет, — ответил Кудрин.

Дальше пошла рутинная работа: участковый инспектор привёл двух понятых, следователь приступил к осмотру места происшествия, эксперт-криминалист раскрыл свой чемоданчик и приступил к поиску возможных следов преступления, а Женя методично стал опрашивать работников универмага.

Барковский ничего толком показать не смог. А вот заведующий складом Мищенко сказал, что радиоприёмники привезли вчера в восемь вечера; он вместе с грузчиком Власовым разгрузил товар и закрыл дверь на засов. Власов тоже ничего толком сказать не смог. И главный бухгалтер Лисова ничего существенного не показала, лишь вскользь заметила, что накануне ограбления заведующий складом о чем-то долго беседовал с работницей бухгалтерии Алымовой. Та, в свою очередь, сказала, что была не в курсе поставки радиоприёмников, хотя экономист просто обязан знать о движении товаров в магазине.

«Получается, что о точной дате привоза радиоприёмников мог знать лишь заведующий складом Мищенко, который, по словам Лисовой, является племянником Барковского, — подумал Кудрин. — Значит, они могли быть в тандеме. Если учесть, что такой радиоприёмник стоит шестьдесят четыре рубля, являясь супердефицитным товаром, то на «чёрном» рынке его можно запросто продать и за сто рублей. Навар получается огромный, и все в доле, и всем хорошо».

Когда все формальности были закончены, Женя попросил Барковского показать образцы радиоприёмника и веера, и, когда тот принёс, эксперт-криминалист сфотографировал их.

Директор универмага вручил Кудрину заявление о краже и, сославшись на занятость, уехал по своим делам. Следом уехала оперативная группа райотдела, а через некоторое время и Кудрин отправился в своё отделение милиции.

Через тридцать минут он уже входил в кабинет Николаева. Евгений подробно доложил начальнику об ограблении в универмаге.

— Вот что, — подумав, сказал Павел Иванович, — как только будут готовы фотографии радиоприёмника и вьетнамского веера, необходимо срочно будет

их размножить и разослать во все райотделы города. Я думаю, что украденные товары в скором времени могут проявиться на каком-нибудь московском рынке или в ближайшем Подмосковье.

— Что ты сам думаешь об этом преступлении? — продолжал Николаев. — Какие версии будешь выстраивать?

— Первое, что приходит в голову: это преступление совершили по наводке, — ответил Кудрин. — Преступники точно знали, когда придёт этот дефицитный товар; у них была всего одна ночь для его преступного изъятия из магазина, ибо на следующий день товар был бы уже на прилавке. К тому же преступникам явно кто-то сказал об окне, выходявшем из полуподвального помещения во двор, и, скорее всего, они точно знали схему прохода из туалетной комнаты на склад. Мы опросили почти всех сотрудников универмага, начиная с самого Барковского и заканчивая грузчиками магазина, но ничего интересного для нас они не показали.

— Держи карман шире, — усмехнулся Николаев, — так они тебе всё сразу и рассказали. Тут надо деликатно подойти и вначале выяснить окружение хотя бы основных лиц, знавших о привозе товара, нет ли среди них ранее судимых за аналогичные преступления лиц.

— Всё понял, — чётко ответил Кудрин и добавил: — Я, кстати, отдал заявление Барковского дежурному по отделению милиции для регистрации, а остальные бумаги, кроме протокола осмотра места происшествия, у меня. Следователь обещал завтра утром прислать его вместе с заключением эксперта-криминалиста.

Покинув кабинет начальника, Женя вышел на улицу, где в специально обустроенном месте была курилка, и, достав сигарету, жадно затянулся, испытывая при этом необыкновенное наслаждение. Он стал выпускать сизый дым колечками, которые отлетали от него, как маленькие облака.

— Женя, привет, — пробасил стоявший в окружении милиционеров его коллега Саша Блинов, — может, расскажешь что-нибудь новенькое из своей книжки с анекдотами?

Кудрин без возражений вынул из кармана пиджака небольшой блокнотик и начал читать:

— Останавливает работник ГАИ на дороге водителя и представляется: «Командир взвода Козлов. Предъявите документы». Водитель удивлённо: «Командир взвода кого?»

Все дружно засмеялись, а Женя, погасив окурочек в пепельнице, стоявшей на лавочке, вошёл в здание отделения милиции.

В кабинете никого не было, и он, усевшись за свой стол, стал анализировать события последнего дня. Однако, как ни старался, в голову ничего полезного не приходило: в сознании мелькали лишь лица, с которыми он общался в универмаге, и выбитое стекло окна, через которое преступники проникли на склад.

— Что произошло в универмаге? — раздался голос Ерихина, входящего в кабинет.

— Ночью ограбили склад, в который накануне с базы привезли пятьдесят радиоприёмников «ВЭФ Спидола», — ответил Женя. — Исчезла также корбка с вьетнамскими веерами.

— Ого! Товар самый что ни есть дефицитный, — громко проговорил Ерихин. — Если цена такого радиоприёмника в магазине шестьдесят четыре рубля, то на «чёрном» рынке он уйдёт за все сто рублей, а может, и больше.

Он почти дословно повторил мысли Кудрина о ценности этих дефицитных радиоприёмников.

— Ну, теперь жди, когда товар проявится на каком-нибудь рынке, — сказал Ерихин.

— Да вряд ли это будет в ближайшее время, — ответил Женя, — он по логике преступников, наверное, должен какое-то время полежать где-нибудь в укромном месте, прежде чем они пустят его в оборот. А вот вьетнамские веера, думаю, проявятся в самое ближайшее время.

— Правильно мыслишь, мой юный сыщик, — ответил Лев Алексеевич и вышел из кабинета.

Женя вновь пустился в размышления, выстраивая в голове различные логические цепочки.

«Почему Алымова сказала, что не знала о поступлении этого товара в магазин? — подумал он. — Ведь экономист должен знать об этом в первую очередь, и главный бухгалтер показала в объяснении, что та наверняка знала об этом. Даже если она и не знала, ей мог сказать Мищенко, который за день до ограбления о чём-то долго с ней беседовал. Что же заставило её сказать неправду?»

От этих мыслей у Кудрина начала болеть голова, и, поскольку было уже поздно, он спешно стал собираться домой.

На следующий день фотографии радиоприёмника и вьетнамского веера были размножены и ориентировкой разосланы по всем райотделам города. Следовательно, как и говорил, прислал в дежурную часть протокол осмотра места происшествия и заключение эксперта-криминалиста. Однако ничего заслуживающего внимания в этом заключении Кудрин не нашёл.

— Ну вот, похоже, дело «зависло», — подумал он, медленно читая протокол осмотра места происшествия.

Пребывая в скверном настроении, Женя уселся за свой стол и не спеша стал составлять отчёт о проделанной за первое полугодие работе. Хвастаться было особо нечем, поэтому он писал всё как есть, ничего не прибавляя и не приукрашивая.

Вдруг он перестал писать: в его голову закралась мысль, что все эти отчёты — лишь дурь начальства, которая пожирает время и силы. Но посидев без дела минуту, он подумал: «А может быть, это не такое уж бесполезное занятие? Ведь когда я пишу отчёт, мои мысли раскладываются в голове «по полочкам», и это в какой-то мере делает моё мышление более упорядоченным. Вот у меня сейчас мысли размножаются, как грибы после дождя, и от этого в ней невообразимая каша. А когда пишу отчёт,

то мысли сразу же начинают приобретать чёткую форму и структуру, а из этой каши даже можно выделить основные показатели работы за первое полугодие».

«Ну а далее, — продолжал философствовать Кудрин, — когда отчёт будет написан, он прочно укрепится в моей голове, и благодаря этому можно будет судить о том, что убедительно будет для начальства, а что нужно будет доработать и учесть при написании следующего отчёта... Кстати, показатели работы за полугодие совсем неплохие, а о некоторых я и вовсе забыл, пока не приступил к написанию отчёта. Это в определённой степени мотивирует и придаёт силы для дальнейшей работы. Вот и получается, что отчёты не совсем бесплодное занятие...»

От этих мыслей у Кудрина вдруг пробудился некоторый энтузиазм, и он с новым рвением продолжил написание отчёта.

Утром следующего дня в дежурную часть отделения милиции позвонил инспектор уголовного розыска Октябрьского райотдела и попросил телефон кого-нибудь из оперативников. Дежурный дал номер телефона оперативного состава отделения милиции. Трубку поднял Кудрин, а на том конце провода был оперативный работник Октябрьского райотдела Иван Родин. Он сказал, что сегодня утром на Черёмушкинском рынке одна из торговек стала продавать очень красивые веера, похожие на фотографии из сводки-ориентировки. Они договорились через час встретиться у входа на рынок. Родин описал себя, сказав, что он высокого роста и будет в светлом костюме.

Женя приехал к Черёмушкинскому рынку и у входа увидел молодого долговязого парня в светлом костюме.

— Привет, я Кудрин Евгений, — поздоровался Женя и протянул ему своё удостоверение личности.

— Ну, а я Родин Иван, — сказал долговязый. — Видишь крайнюю палатку? Нам туда.

Они подошли к палатке, в которой бойко торговала женщина средних лет с ярко накрашенными губами. Женя сразу же увидел вьетнамский веер, который он внимательно рассмотрел ещё в магазине, когда эксперт его фотографировал.

— Почём веер? — спросил он.

— Семь рублей за штуку, — ответила торговка.

— А что так дорого? — проговорил Родин.

— А найди дешевле, дядя. Не хочешь брать, отходи в сторону, — ехидно ответила она.

— Ну тогда, тётя, закрывай свою лавку и пойдём в администрацию рынка, — строго сказал Родин и показал ей удостоверение.

— За что забираете? — громко завопила торговка.

— Там всё узнаешь, — ответил Родин.

Пока она собирала свои вещи, Родин сказал Жене, что начальником охраны рынка работает их бывший участковый инспектор, который вышел недавно на пенсию. И ещё добавил, что Сергей Степанович Юсин — очень

опытный и хороший мужик, который всегда поможет в решении любых оперативных вопросов.

Через несколько минут они уже входили в здание рынка. У двери начальника охраны они остановились, и Родин, открыв дверь, поздоровался с человеком, сидевшим за небольшим письменным столом.

— Привет, Степаныч, — произнёс он.

— Ваня, какими судьбами! — ответил, улыбнувшись, Юсин. — Проходите, пожалуйста.

— Сергей Степанович, — проговорил Родин, — нам тут с коллегой по розыску Кудриным нужно пошепаться с этой гражданкой.

— А, понимаю, — ответил начальник охраны, — я пройду по рынку, а вы смело располагайтесь здесь.

Юсин вышел из кабинета, а Иван сел в его кресло и строго сказал:

— Предъявите документы, товарищ женщина.

Торговка достала из сумки паспорт и протянула его Родину.

— Так, Букреева Нина Сергеевна, проживающая на Профсоюзной улице, — медленно произнёс он.

— За что арестовали? — с раздражением спросила Букреева.

— Вас никто не арестовывал, просто проверка документов, — ответил Родин.

— Знаю я ваши проверки, — ехидно сказала она.

— Откуда у вас вьетнамские веера? — включился в разговор Кудрин.

— Да так, один знакомый принёс десять штук и просил продать, — ответила Букреева.

— А как зовут знакомого? — спросил Родин.

— Не скажу, — со злостью в голосе проговорила она.

— Ну тогда я скажу, а вы гражданка, подумайте, — резко сказал Женя. — Эти веера несколько дней назад были украдены со склада в одном из универмагов города. Я веду это расследование, а тут — некая гражданка Букреева нарисовалась с этими веерами. Так что, уважаемая Нина Сергеевна, теперь будете за это отвечать по полной программе и сидеть вам в тюрьме не один год.

— Да вы что, с ума, что ли сошли, я ничего не знаю, меня просто попросили их продать! — заволновалась Букреева.

— Давай, Нина Сергеевна, колись, что за мужик тебе их дал, — сказал Родин.

— Да Шабай это!

— Знаем такого, Лешку Шабаева, — проговорил Родин. — И когда он придёт за деньгами?

— Он сказал, что придёт сегодня к двум часам дня к моей палатке и принесёт ещё десять вееров, — ответила Букреева.

— Хорошо, — сказал Кудрин, — иди на своё рабочее место, но веерами больше не торгуй, а мы будем рядом.

Женя из кабинета начальника охраны позвонил в своё отделение милиции и попросил дежурного инспектора прислать к двум часам дня машину

к рынку для транспортировки в отделение милиции подозреваемых в ограблении универмага.

Они снова отправились на торговую площадку у рынка; Букреева встала за прилавок, а Женя и Родин примостились рядом на стоящей у палатки лавочке.

— А кто такой Шабай? — спросил Женя.

— Да один чёрт, который нам покоя не даёт, — ответил Иван, — ранее судимый за кражу, пьянствует, хулиганит, мелкими кражами промышляет. Уж сколько раз участковый инспектор его предупреждал, да и я неоднократно вёл с ним профилактические беседы, но с него как с гуся вода.

Через час к палатке Букреевой подошёл среднего роста широкоплечий парень с сумкой в руках и, наклонившись, что-то стал говорить ей.

— Это Шабает, — сказал Родин и направился к нему.

Тот увидел приближающегося Родина, бросился бежать, но Кудрин быстро настиг его и заученным приёмом самбо загнул ему руку за спину. Подошедший Родин схватил его за вторую руку, а Женя вынул наручники и надел их на запястья Шабаета. Они повели его в кабинет начальника охраны рынка, а Букреева, вновь сложив свои вещи в сумку, поплелась вслед за ними.

— Ну, привет, Шабай, — сказал Родин, когда они зашли в кабинет, — давно мы не встречались. Что принёс на продажу?

— Да ты что, начальник, там всякая мелочь, — пробубнил он.

— Давай посмотрим, что там за мелочь такая, — проговорил Родин, раскрывая сумку.

В сумке у Шабаета они обнаружили ещё десять вьетнамских вееров. Женя попросил начальника охраны рынка пригласить двух понятых. Через несколько минут в кабинет вошли две женщины, и Кудрин в их присутствии составил протокол изъятия. Когда все формальности были завершены, женщины вышли из кабинета, а Сергей Степанович сообщил, что к рынку подъехала милицетская машина.

Женя, поблагодарив Родина за содействие, поехал вместе с Шабаетым и торговкой в своё отделение милиции. Там он, как было принято, сдал задержанного дежурному по отделению, а сам с Букреевой прошёл к себе в кабинет. Он ещё раз опросил её и документально оформил показания, после чего отпустил и попросил никуда не выезжать из города в ближайшее время.

Через несколько минут дежурный ввёл Шабаета в кабинет.

— Ну, здравствуй ещё раз, Алексей Гаврилович Шабает, — медленно проговорил Кудрин, — насколько я знаю, ты «тёртый» человек, уже отбывавший наказание за кражу. Давай сразу, чтобы не мучить ни себя, ни меня, колись, где взял вьетнамские веера?

— Нашёл, — резко проговорил задержанный.

— Повторяю вопрос: откуда у тебя веера? — повторил Женя.

— Пошёл ты в жопу, — огрызнулся Шабает.

— Я сразу тебе скажу, — проговорил Кудрин, — такие веера очень редко бывают в продаже, их завезли маленькой партией месяц назад. Поэтому они очень приметные и ещё не успели попасть на продажу в магазины города. А потому я с полной уверенностью могу сказать, что они со склада универмага на Старокаширском шоссе, который был ограблен несколько дней назад.

— Я сейчас оформлю документы о твоём задержании по 122-й статье УПК, — продолжал Кудрин, — а пока ты будешь находиться в следственном изоляторе, возьму санкцию у прокурора на обыск твоей квартиры. Думаю, что там я найду много чего интересного: и пропавшие веера, и пятьдесят штук радиоприёмников «ВЭФ Спидола». Поэтому давай по-хорошему, рассказывай об ограблении универмага, а я тебе разрешу написать явку с повинной. У тебя есть две минуты, по истечении которых тебя ждёт камера, а я уеду за санкцией прокурора, но тогда о явке с повинной уже не может быть речи.

Стало заметно, как крупные капли пота потекли по щекам Шабаева, он смахивал их обеими руками сразу, так как они были в наручниках.

— Ну, время вышло, — сказал Кудрин и встал со стула.

— Я согласен, — выдавил из себя Шабаев.

— Тогда рассказывай, а я буду записывать, — проговорил Женя, снова плюхнувшись на свой стул.

— А не обманешь по поводу явки с повинной? — спросил Шабаев.

— Нет, раз обещал, то так и будет, — ответил Кудрин.

— Значит, так, — начал говорить Шабаев, — на той неделе ко мне заехал мой старший кореш Ляма. Мы выпили, закусили, и он рассказал мне о своей родственнице Таньке Алымовой, работающей экономистом в бухгалтерии универмага на Старокаширском шоссе. Он сказал, что она при встрече с ним похвасталась, что скоро к ним в магазин на склад должны привезти с базы партию дефицитных радиоприёмников «ВЭФ Спидола», и она смогла бы такой приёмник достать и для меня. И ещё говорил, что он у той родственницы выведал, что с фасада все окна и входная дверь находятся под сигнализацией, а вот склад расположен в подвале, с тыльной стороны универмага. Там, в подвальном помещении есть туалет, у которого есть маленькое окошко, выходящее прямоком во двор. Этот туалет коридором связан со складом, поэтому, если залезть через окошко, рукой подать до склада.

— Ляма предложил тогда мне ограбить этот склад, когда привезут товар, — продолжал Шабаев, — и я согласился.

— А как вы узнали о точной дате доставки радиоприёмников на склад? — спросил Кудрин.

— Как сказал мне Ляма, — проговорил Шабаев, — Алымовой накануне об этом сообщил заведующий складом универмага.

— А он что, с вами в доле? — удивлённо спросил Женя.

— Да нет, он никаким боком к нам не относится, это просто случайность, — ответил Шабаев.

— Как ты думаешь, знал ли заведующий складом о том, что у экономиста их бухгалтерии есть судимый родственник? — тихо сказал Кудрин.

— Да кто же это знает, хотя Ляма в том районе — личность известная своими залётами и пьяными выходками, наверняка не раз бывал в универмаге, — ответил Шабаетв.

— Так, и что дальше было? — продолжал допрос Кудрин.

— На следующий день, — рассказывал Шабаетв, — мы с Лямой подъехали к универмагу. Погуляв у его входа, мы зашли с тыльной стороны здания. Там рядом была стройка, и на земле валялось много арматуры и кирпичей. Мы увидели массивную дверь, а метров через десять в углублении красовалось небольшое окошко, ведущее внутрь подвала. На самом окне висели решётки из ржавых металлических прутьев, а когда я подцепил палкой один прут, то он сам просто вылез из стены. Тогда мне Ляма сказал, что сейчас ничего трогать не надо, пусть всё так и остаётся. Мне тогда показалось, что окошко слишком маленькое для взрослого человека, но Ляма сказал, что есть один тощий пацан, которому кто-то напел об разудалой воровской романтике, и он готов идти с ними на дело.

Шабаетв замолчал и снова уставился в пол.

— Продолжай, Алексей, что остановился на половине пути, — проговорил Кудрин.

— Ну а в тот день Ляма сказал, что его родственнице заведующий складом намекнул, что товар поступит этим вечером. Я почти целый день сидел на лавочке и ждал, когда он прибудет на склад. Где-то около семи часов вечера подъехала грузовая машина, дверь распахнулась, и вышли двое мужиков, которые достали из кузова пять больших картонных коробок и занесли в магазин.

Я сразу поехал на «хату» к Ляме на Нагатинскую улицу. Тот где-то раздобыл машину «Победа», и под утро, часов в пять, мы вместе с пацаном Костиком подъехали к воротам склада. Потом я аккуратно откинул в сторону прогнившие железки и надавил на стекло, которое моментально выскочило из рамы и упало на пол комнаты. Пацан с трудом залез в это окошко, спрыгнул в комнату, и через несколько минут мы услышали скрежет засова. Дверь распахнулась, и мы быстро зашли на склад. Сразу увидев большие коробки, стали вынимать оттуда маленькие коробочки с радиоприёмниками и заносить их в машину. А потом, погрузив все пятьдесят коробок с радиоприёмниками, прихватили ещё одну небольшую коробку с веерами и поехали к Ляме домой. В этом небольшом частном домике на Нагатинской улице мы и открыли одну из коробок, а оттуда выскочил... красный кирпич! Ляма охрел от увиденного и стал быстро открывать все коробки; везде были одни кирпичи.

— Вот как! — удивлённо воскликнул Кудрин.

— Ляма после этого долго сокрушался, что нас кинули, мол, какие гадкие люди работают в универмаге, — продолжал Шабаетв, — но кто именно это сделал, мы не могли понять. В расстроенных чувствах мы взяли все эти коробки с кирпичами и выкинули в яму у соседнего сарая. Чтобы как-то подсластить горькую пилюлю, я предложил продать на рынке оставшиеся

вьетнамские веера. Ляма согласился, и я часть из них отдал знакомой торговке Нинке для продажи в её палатке на Черёмушкинском рынке.

— Это всё? — спросил Кудрин.

— Да, я всё рассказал, — тихо проговорил Шабаев.

— Назови мне адрес Лямы, — попросил Женя.

— Он живёт в частном доме на Нагатинской улице, в доме № 14, — ответил Шабаев.

— А теперь пиши явку с повинной, — сказал Кудрин и дал ему листок бумаги и авторучку.

Когда Шабаева отвели в камеру, Женя направился на доклад к Николаеву.

Павел Иванович внимательно выслушал Кудрина, затем подошёл к окну и тихо проговорил:

— Вот это неожиданный поворот! Получается, что радиоприёмники подменили в магазине...

— Получается, что именно так, — ответил Женя.

— Хорошо, додумывать будем позже, — сказал начальник, — а сейчас «прогони» этого Ляму по всем учётам и поговори о нём с участковым инспектором Красновым, который обслуживает Нагатинскую улицу; надо сегодня же брать и его, и того пацана, который залез в окно, и везти их в отделение милиции.

Уже через час Кудрин знал, что Ляма — это некий Лямин Павел Фёдорович, в свои тридцать лет уже имевший судимость за кражу личного имущества. По информации участкового инспектора, с которым удалось быстро созвониться, стало известно, что Лямин в основном промышляет мелкими кражами, официально работает на плодоовощной базе грузчиком, но он вряд ли знает, где эта база находится. Вокруг него крутятся подростки, которых он спаивает и рассказывает о прелестях блатной жизни. Кудрин договорился с участковым инспектором, что через двадцать минут он подъедет на дежурной машине к пункту охраны правопорядка на Нагатинской улице.

Дежурный «Москвич» остановился у небольшого здания магазина «Диета», в торце которого располагался опорный пункт правопорядка. Краснов уже ждал на улице, и они вместе с милиционером-водителем направились к дому, где проживал Лямин.

Дверь им открыл худощавый человек небольшого роста с большими торчащими ушами. Увидев участкового инспектора, он попытался закрыть её, но Кудрин так резко рванул ручку двери на себя, что хозяин дома буквально рухнул на него. Краснов схватил мужчину за воротник рубашки и впихнул его в комнату.

— Ты что, Ляма, белены объелся или ещё не опохмелился после вчерашнего? — грозно проговорил Краснов.

Лямин весь съёжился и опустился на табуретку, стоявшую у стола.

Кудрин обратил внимание, что в комнате было грязно, валялся какой-то мусор, стоял терпкий запах табака и винного перегара. На столе стояла

початая бутылка портвейна «Агдам», два стакана и разрезанное пополам яблоко.

— А это ещё кто? — вдруг резко сказал Краснов, вытаскивая из-под стола худенького мальчишку на вид лет десяти.

— Костик я, проходил тут... — залепетал он.

— Ну вот, вся компания в сборе, — сказал Кудрин.

— За что забираете, я не при делах, — попытался возразить Лямин.

— Мы разберёмся, при делах ты или нет, — ответил Кудрин, — а сейчас вас ждёт космическая ракета, которая доставит на планету добрых милиционеров; марш быстрее в машину!

Участковый инспектор и милиционер-водитель повели задержанных в машину, а Женя пошёл к стоящему рядом сараю. В незасыпанной яме он увидел целую кучу коробок с надписью «ВЭФ Спидола» и груды валявшихся здесь же кирпичей.

Он взял одну из коробок, в которой виднелся край кирпича и тоже пошёл в сторону дежурной машины.

Приехав на работу, Кудрин сразу пошёл к Николаеву и доложил ему результаты поездки в дом Лямина. Он также рассказал о куче коробок с кирпичами, лежащих в яме у сарая, и показал одну из них.

Николаев долго крутил её в руках, потом произнёс:

— Надо же так придумать, кирпич оказался аккурат под коробку.

— Вот что, Женя, — продолжал Павел Иванович, — скажи Краснову, чтобы он взял в дежурной части фотоаппарат и снова пусть едет на дежурной машине на Нагатинскую улицу к той яме и всё там сфотографирует. А потом пусть пригласит понятых и составит протокол изъятия коробок и привезёт их в отделение милиции.

— А это зачем? — спросил Кудрин.

— Пригодится для дальнейших следственных действий, — ответил Николаев.

Уже через час Лямин полностью подтвердил показания Шабаяева, а подростка Костю взяла для дальнейшей работы инспектор детской комнаты милиции. Когда дежурный увёл Лямина, Женя устало откинулся на спинку стула и вдруг обратил внимание на большую жирную муху, севшую на край его стола.

«Ну вот, здравствуйте, — подумал он, уставившись на живность, — сидела, наверное, час назад где-то на говне, а теперь пожаловала ко мне. Странные, по сути, эти существа, с виду дурные до безобразия, вызывающие не только брезгливость, но и отвращение. Эти твари обладают стойкой назойливостью: смахнёшь её первый раз, а она снова прилетает. Так и будет донимать, пока не свернёшь газету и не ударишь её как следует. Мух никто не любит. Но с другой стороны — Чуковский ввёл муху и даже гнусного комара в ранг положительных героев».

Муха нервно ёрзала по столу, отбивая своими лапками какой-то необъяснимый марш, и продолжала донимать Кудрина. Он взял лежащую

на столе газету «Московский комсомолец», сложил её в трубочку и со всего размаха ударил по ней.

И вот оно счастье в виде тишины, и никакого тебе Чуковского с комариками и цокотухами. Женя закрыл глаза, и дрёма пришла сама по себе, ему казалось, что он лежит у моря, а рядом — манящий запах... колбасы.

— Ты никак задремал? — спросил вошедший в кабинет с большим бутербродом в руке Колосов.

— Что тебе надо, не приставай, — огрызнулся Женя.

— Да ладно, не ругайся, хочешь, отломлю кусочек? — примирительно проговорил Колосов.

— Нет, спасибо, — ответил Кудрин, — а что у тебя с тем навозом, нашёл его?

— Да разобрался я с ним, прав был Лев Алексеевич, — проговорил Колосов, — это сосед того мужика стащил прицеп с навозом, и, что самое интересное, я действительно по запаху вычислил.

— Ну вот, у тебя проявился нюх, как у ищейки, и теперь любое дерьмо сможешь учуять, — улыбнувшись, сказал Женя. — Чем всё-таки закончилась эта история?

— Хватить злорадствовать, — недовольно произнёс Виктор, — а история эта закончилась ничем. Сосед поставил тому мужику литр самогона, а тот и забрал сегодня своё заявление, мол, он ошибся и прицеп нашёлся. Здесь самое интересное — этот мужик купил навоз также за литр самогона.

— Круговорот самогона в природе! — с улыбкой произнёс Кудрин.

— Что, оно нашлось? — проговорил зашедший в кабинет Блинов. — Я знал, что Витёк — лучший из нас по поиску дерьма.

В этот момент Колосов запустил в Блинова лежащим у него на столе уголовным кодексом и книжка, описав дугу, ударила его в самое ухо.

— О! — воскликнул Кудрин, — уголовным кодексом прямо оперу в ухо, пора заявление строчить о попытке убийства милиционера на посту.

— Витёк, ты, видимо, совсем озверел от расследований продуктов жизнедеятельности лошадей, — со смехом сказал Блинов.

— Мужики, хватит об этом, надоело уже, — проговорил Женя.

— Договорились, — ответил Колосов, — давай по этому случаю лучше анекдот расскажи.

— Хорошо, — ответил Женя, — расскажу анекдот, а потом забываем про эту тему.

— Едет, значит, мужик по деревне, — начал он, — и развозит селянам навоз. Сгружает в одном из дворов. Хозяйка, оценив качество сырья, восхитилась: «Какой хороший у тебя навоз!» Мужик отвечает: «Говна не возим!»

Все дружно рассмеялись, в этот момент зашёл дежурный и сказал, что Кудрина вызывает к себе Николаев.

— Вот что, Женя, — сказал Павел Иванович, — необходимо будет провести обыск на квартире у Шабаева и в доме Лямина, вместе с участковым инспектором проведите его через часок. А я пока стоняю в прокуратуру за санкцией на обыск.

К вечеру Кудрин и участковый инспектор вошли в отделение милиции с картонной коробкой с оставшимися вьетнамскими веерами, которую они обнаружили во время обыска на квартире Шабаева. Больше ничего интересного обнаружить не удалось.

Женя сразу же, минуя свой кабинет, отправился к Николаеву.

— Ну что, Евгений, дальше будешь делать, какие новые версии у тебя по вновь открывшимся обстоятельствам? — спросил Павел Иванович, приглашая Кудрина сесть на стул.

— Понятно, что приёмники подменили в магазине, — начал рассуждать он, — разгружали эти коробки заведующий складом Мищенко и грузчик Власов. Мищенко утверждает, что он сам лично потом закрыл склад, после чего туда больше не заходил. Власов ушёл домой в девять вечера, после закрытия магазина вместе с другими работниками; они, кстати, подтвердили этот факт. А вот во сколько ушёл из магазина Мищенко, никто из опрошенных лиц не знал, и этостораживает.

— Мне кажется, врёт этот Мищенко, — продолжал Кудрин, — скорее всего, он не уходил домой, а остался на складе, ночью сам вынимал из коробок радиоприёмники и вкладывал туда кирпичи, благо их полно валяется во дворе. И ещё я думаю, что он это сделал по указке своего родственника Барковского.

— Мелковато это будет для директора универмага, небедного человека и к тому же депутата райсовета, — ответил Николаев.

— Много денег не бывает, думаю, что вполне директор универмага мог затеять такой трюк. Один решиться на такую авантюру он не мог, вот и привлёк своего родственника, на минуточку заметьте — директора склада, — проговорил Кудрин.

— Да нет, я больше чем уверен, что эту затею придумал и осуществил именно Мищенко, — возразил Павел Иванович. — И, мне кажется, в его действиях вырисовывается тонкий расчёт...

— Погодите, — перебил Николаева Женя, — я сам попробую выстроить логическую цепочку действий Мищенко. Во-первых, подменив радиоприёмники, он ничем не рискует, так как те, которые обокрали склад и обнаружили подмену, вряд ли побегут в милицию. С этой стороны всё шито-крыто и придраться не к чему. Во-вторых, Шабаев показал, что накануне ограбления склада Мищенко сказал Алымовой о дате привоза радиоприёмников в магазин. А зачем он поделился с ней этой информацией? А затем, что она скажет об этом своему известному в районе хулигану и ранее судимому за кражу Ляме. Мищенко наверняка знал об их родстве, так как тот неоднократно заходил в магазин, и Мищенко видел их вместе.

— Понятно, — сказал Николаев, — у них оставалось очень мало времени до осуществления своих планов.

— Совершенно верно, — ответил Кудрин, — на допросе Шабаев показал, что он целый день толкался у ворот склада и ждал привоза товара в магазин. У них была лишь ночь, чтобы ограбить склад, так как радиоприёмники со следующего дня пошли бы в продажу. А вот потом, после того как

товар был разгружен и помещён на склад, Мищенко действительно закрыл его дверь на засов и остался на складе. А ночью он и проделал все эти манипуляции с подменой, благо рядом во дворе в большом количестве валялись кирпичи и ему не составило труда заранее принести их и спрятать где-нибудь на складе. Он, может быть, даже и видел, как Шабаев и Лямин грабили склад.

— Логика в твоих рассуждениях есть, — ответил Николаев, — но я всё-таки ещё раз задам тебе вопрос: что ты думаешь по поводу участия Барковского?

— После ваших слов я засомневался в его участии, — ответил Женя.

— И я склоняюсь к этому, — проговорил Павел Иванович, — вряд ли Барковский замутил эту историю. Он, как я уже говорил, далеко не бедный человек, и лишнее приключение на свою голову ему ни к чему.

— Да, но сумма солидная вырисовывается после продажи радиоприёмников на «чёрном» рынке, — сказал Кудрин.

— Лично для Барковского — не думаю, — ответил Николаев, — а вот для Мищенко — да! Поэтому нужно сейчас всё внимание уделить именно Мищенко, проверить его связи и «прогнать» по нашим учётам. А что касается материала на других фигурантов, задержанных за ограбление склада, передавай его в следственный отдел. Сейчас наша главная задача — найти радиоприёмники.

— Понял, — коротко ответил Женя и вышел из кабинета начальника.

На следующий день он с самого утра снова отправился к Николаеву.

— Павел Иванович, — сказал Женя, — всю ночь мучился, просто не знаю, что дальше делать. По учётам Мищенко не проходит, правонарушений не совершал, с ранее судимыми лицами не общался; одним словом — ведёт нормальный образ жизни. Я вот подумал, а что он ещё может сказать? Да ничего: мол, принял товар, закрыл склад и ушёл домой. Я уже сто вариантов обдумал, но ничего толкового в голову не лезет. Гиблое дело!

Николаев задумался и подошёл к окну. Женя отметил про себя, что когда его начальник подходил к окну, в его голову всегда приходили умные мысли. Так уже случалось не один раз за годы, проведённые Кудриным в отделении милиции.

И сейчас Николаев через несколько минут произнёс:

— Кажется, я знаю, что нужно делать.

— И что конкретно? — спросил Женя.

— У меня есть один знакомый психиатр, — тихо сказал он.

— Уже интересно, — с улыбкой проговорил Кудрин.

— Так вот, — продолжал говорить Николаев, — года три тому назад, когда ты ещё не работал у нас, преступники обчистили его квартиру на Варшавском шоссе, и я тогда расследовал это преступление. Через пару дней мы задержали преступников на продаже магнитофона с той кражи и вернули потерпевшему все украденные вещи. Тогда мне этот психиатр по фамилии Глухарь сказал, что, если будет нужна помощь, он всегда поможет. Общаясь

с ним, я понял, что он занимается гипнозом и старается с его помощью излечить больных.

— И вот я думаю, — продолжал рассуждать Николаев, — а что, если попросить его приехать к нам и провести с Мищенко гипносеанс?

— Грандиозно! — воскликнул Женя. — А он не ученик ли Вольфа Мессинга?

— Об этом я не знаю, но Илья Васильевич Глухарь говорил, что был знаком с ним, — ответил он.

Николаев открыл свою записную книжку и, найдя телефон психиатра, тут же позвонил ему. Судя по разговору, Женя понял, что тот дал согласие на встречу, отчего у начальника поднялось настроение.

— Попробуем воспользоваться гипнозом, а вдруг прокатит, — проговорил Павел Иванович, — это остался, пожалуй, единственный способ уйти от повышения количества нераскрытых преступлений. Поезжай сейчас в психиатрическую больницу № 15 на Каширском шоссе, в главном корпусе в ординаторской он тебя ждёт. Расскажи Илье Васильевичу о наших проблемах и постарайся уговорить его приехать к нам для гипносеанса с Мищенко.

— Ну что, полетел я тогда в психиатрическое гнездо Глухаря, — с улыбкой сказал Женя, — дай бог в первый и последний раз.

— Пламенный привет Глухарю, — засмеявшись, проговорил Николаев, — давай поторапливайся.

Через полчаса Кудрин вошёл в ординаторскую главного корпуса больницы. За письменным столом, согнувшись, сидел и что-то писал худощавый седоволосый человек в белоснежном халате.

— Добрый день, Илья Васильевич, я от Николаева, — сказал Женя и протянул ему удостоверение личности.

— Присаживайтесь, молодой человек, — сказал психиатр, — слушаю вас.

Женя коротко рассказал ему об ограблении универсама и о подозреваемом Мищенко, к которому он не знал, как подступиться.

— Я так понимаю, что вы хотите с моей помощью развязать язык этому человеку и узнать, что на самом деле произошло на складе? — спросил врач.

— Да, именно так, Илья Васильевич, — ответил Кудрин.

— Для начала хочу сказать, что гипноз — это особая форма мозговой активности, которая включает в себя высокую концентрацию внимания и открытость к внушениям, — начал говорить врач. — Вы должны понять, что так называемая гипнабельность, то есть способность к внушению, это сугубо личностная черта. Перевожу на понятный язык: не все люди поддаются внушению. Однако вполне возможно заставить некоторых людей говорить то, что они никогда бы не стали без гипноза.

— Так давайте аккуратно попробуем, вдруг получится, — горячо воскликнул Женя, — боюсь, что это у нас последний шанс раскрыть преступление, да и Николаев очень просил.

— Ну, только ради Павла Ивановича я, пожалуй, соглашусь, я ему объясню, — проговорил врач, — а это не противозаконно?

— Да нет, не волнуйтесь, мы не переступим черту закона, да и об этом никто и не узнает, — ответил Кудрин, — когда мы вызовем к себе Мищенко, я вам позвоню.

Поблагодарив врача, Кудрин попрощался и поехал на троллейбусе в отделение милиции.

Подходя к нему, он увидел в курилке одиноко стоящего Николаева, который высоко задрал голову вверх, как паровоз, со свистом выпускал из рта клубы сизого дыма. Женя тоже достал сигарету и закурил.

— Ну что у тебя? — спросил начальник.

Кудрин подробно рассказал о встрече с Глухарём и что тот согласился приехать и провести гипносеанс.

— Это хорошо, молодец, — похвалил он Женю, — но эту встречу надо хорошо подготовить. Я думаю, что Мищенко надо будет вызвать в отделение милиции в компании с другими работниками универсама.

— А это зачем? — удивился Кудрин.

— Понимаешь, это будет тактически грамотно, — ответил Павел Иванович, — если бы мы вызвали только его одного, то Мищенко насторожится, уйдёт в себя, и трудно будет с ним разговаривать. А когда мы вместе с ним пригласим ещё пару человек, то он будет в более расслабленном состоянии. Пусть думает, что мы пригласили всех этих лиц для уточнения мелких деталей того дня.

— Классно, Павел Иванович! — проговорил Женя.

— И ещё, — продолжал Николаев, — надо будет взять в дежурной части магнитофон с микрофоном и незаметно спрятать его в кабинете, где будем проводить гипносеанс. И сделать это надо будет очень аккуратно, чтобы Мищенко его не заметил. Вызывай его и ещё двух работников магазина на послезавтра к часу дня и предупреди об этом нашего психиатра.

— А что другие будут делать, когда мы будем работать с Мищенко? — спросил Кудрин.

— Мы их подержим минут десять, проверим документы, а потом отпустим и ничего не будем объяснять, — ответил Павел Иванович, — нам бы только расколоть Мищенко!

Почти весь следующий день Женя занимался подготовкой к этому мероприятию: он долго и упорно тестировал магнитофон, через участкового инспектора передал повестки для явки в отделение милиции Мищенко и двум грузчикам универсама, продумывал вопросы, которые необходимо задать ему во время сеанса. А Николаев вызвал к себе весь оперативный состав, рассказал о планируемом мероприятии и попросил на это время не заходить в кабинет, где будет оно проходить.

И вот наступил день сеанса гипносна. Глухарь, как и планировалось, подъехал чуть раньше и сразу же прошёл в кабинет.

Он остановился у того места, где должен находиться во время сеанса испытуемый, и сказал:

— Необходимо создать для него так называемый «фон повседневности».

— А что это такое? — спросил Кудрин.

— Когда вы приглашаете человека на допрос, — продолжал он, — как правило, общение происходит исключительно между вами двоими, без посторонних лиц. А в данном случае нам нужно, чтобы испытуемый был в ослабленном состоянии, поэтому я сяду за какой-нибудь стол и сделаю вид, что тоже работаю здесь. Тогда у него спадёт напряжённость, и он сочтёт свой вызов в милицию за рутинное мероприятие. Это то, что нам надо; именно в таком состоянии в большинстве случаев и получается введение испытуемого в гипноз.

Они обсудили вопросы, которые должен задать врач, и приготовились к появлению испытуемого.

Ровно в час дня в кабинет постучали, и на пороге появился Мищенко.

— Здравствуйте, Олег Николаевич, — сказал Кудрин, — проходите и присаживайтесь.

Мищенко прошёл в комнату, посмотрел по сторонам и сел на предложенный стул.

— Я пригласил вас для уточнения некоторых деталей того дня, — начал Кудрин, — припомните, пожалуйста, не было ли посторонних лиц на складе в тот момент, когда вы закрывали дверь на засов?

— Нет, никого там не было, — живо ответил он, — я уходил со склада последним.

В этот момент незаметно подошёл врач, посмотрел Мищенко в глаза и положил свою руку на его голову. Когда через несколько секунд он снял руку с его головы, Мищенко на мгновение замер, потом посмотрел на него и опустил руки на колени.

— Расслабьтесь, — тихо произнёс врач, — ваши веки тяжелеют, закройте глаза и внимательно слушайте меня. Расскажите нам, что произошло на складе после того, как привезли радиоприёмники.

— В ту ночь я не ушёл домой, а остался на складе, — также тихо произнёс Мищенко, — вскрыл все коробки и вынул радиоприёмники. Вместо них положил кирпичи, которые заранее принёс со двора.

— Что было дальше? — продолжал врач.

— А дальше я спрятался в одной из комнат и под утро услышал звон разбитого стекла, потом зажгётся свет, и я увидел маленького мальчика, который открывал засов двери. Когда дверь открылась, вошли двое мужчин, которые стали выносить коробки во двор. Потом всё стихло, я снова зашёл в комнату, где и провёл оставшуюся ночь. А утром, когда работники магазина стали приходить на работу, я тихо вышел из комнаты, прошёл в салон магазина и незаметно смешался с сотрудниками, как будто бы только что пришёл на работу.

— А как вы так точно рассчитали, что именно той ночью будут грабить магазин? — продолжал с замедлением задавать вопросы Глухарь.

— Я знал, что у экономиста Алымовой есть родственник, который был судим за кражу, известный в нашем районе Ляма, — ответил Мищенко, — он несколько раз приходил в магазин, и я их видел вместе. Вот я ей и сказал о дате привоза этого товара в магазин с расчётом на то, что она обязательно

расскажет ему об этом. А поскольку у него в запасе была лишь ночь, я и рассчитал, что он именно тогда и залезет на склад.

— А какова здесь роль Барковского? — спросил врач.

— Да он ничего не знал, — монотонно проговорил Мищенко, — у нас с ним после случившегося месяца назад на складе сильно испортились отношения.

— А что там произошло? — спросил Глухарь.

— Тогда мы с одним грузчиком сильно выпили, а потом подрались и разбили две большие хрустальные люстры, — ответил Мищенко, — грузчика Барковский выгнал сразу, а мне предложил искать новую работу и больше со мной не общался.

— А куда вы дели радиоприёмники? — спросил врач.

— Сложил их в железный ящик в хозяйственной комнате склада, хочу сегодня вечером их вывезти оттуда, — ответил он.

Кудрин жестом показал, что можно заканчивать, и врач снова на секунду приложил свою руку к голове Мищенко, а потом сел на своё место.

Мищенко открыл глаза и повёл головой из стороны в сторону, а Женя, нагнувшись под стол, выключил магнитофон.

— Ну что, Олег Николаевич, сами расскажете, как подменили магнитофоны на кирпичи, или мне вам рассказать? — проговорил Кудрин.

Мищенко от удивления выпучил свои маленькие глазки и сделал вид, что не понял вопроса.

Женя опять нагнулся под стол, достал магнитофон, отмотал кассету и включил его. Когда Мищенко услышал свою речь, он вздрогнул, опустил голову, и по его щекам потекли слёзы.

— Я всё расскажу, это в первый раз бес попутал, — сквозь рыдания говорил он.

— Успокойся и не будь слезливой женщиной, — резко сказал Кудрин и протянул ему лист бумаги и авторучку, — пиши явку с повинной, суд учтёт твоё чистосердечное признание.

Мищенко схватил авторучку и быстро стал писать, продолжая хлюпать носом. Когда он закончил, Женя прочитал его заявление, а потом попросил подписать и поставить дату. Когда всё было завершено, он позвонил дежурному по отделению милиции и попросил увести Мищенко в камеру.

— Ну вот всё благополучно и завершилось, — сказал Кудрин, когда того увели. Он поблагодарил Глухаря помощь, за оказанную в раскрытии преступления.

— Вот видите, у него оказалась слабая нервная система, поэтому наш эксперимент удался, — сказал врач и, попрощавшись, вышел из кабинета.

Женя быстрым шагом пошёл в кабинет Николаева, подробно рассказал ему о проведённом эксперименте и передал ему листок бумаги с признанием Мищенко в совершении преступления.

— Молодец, Женя, всё же добил это гиблое дело, — похвалил его Николаев.

— Вам спасибо, один бы я не справился, — ответил Кудрин.

— А сейчас поезжай в универмаг, отыщи там спрятанные Мищенко радиоприёмники и передай их под расписку лично Барковскому, — сказал Павел Иванович, — и на всякий случай составь протокол осмотра того железного ящика, где спрятаны радиоприёмники.

Через полчаса Кудрин, в сопровождении Барковского и Лисовой зашёл на склад и вскоре нашёл в хозяйственной комнате железный ящик. Там, аккуратно сложенные, лежали все пятьдесят штук радиоприёмников «ВЭФ Спидола». Покончив с формальностями, Женя прошёл в кабинет Барковского. Тот поблагодарил Кудрина за работу и розыск пропажи.

— Вот гад этот Мищенко, ещё мой родственник, — проговорил директор магазина, — я же ему доверял как себе, а он такую свинью мне подкинул.

— Теперь всё закончилось, и у меня к вам просьба, — сказал Женя, — не пускайте товар в продажу, пока не закончатся следственные мероприятия.

— Понимаю, — ответил Барковский. — Скажите, а ведь наверняка вы и меня подозревали в совершении этого преступления?

— Нет-нет, как можно вас было подозревать, — с лёгкой усмешкой ответил Кудрин.

Попрощавшись с директором, он вышел из магазина и поспешил на автобусную остановку. На улице снова падали крупные капли дождя.

ЛИТЕРАТУРА
и
СУДЬБА



К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЕТЛАНЫ ЛЬВОВОЙ

Светлана Львова



Светлана Львова (Светлана Михайловна Трунина) (1951–2005) родилась в Саратове. В течение жизни сменила много мест жительства и профессий. Стихи публиковались в журнале «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Истина и жизнь», в сборнике «У четырёх ветров». Автор книг «Сквозь водоросли времени», «Её имя», «Беспечный сад». В последние годы жила в Калуге. Несмотря на тяжёлую болезнь, активно занималась литературно-общественной деятельностью, возглавляла Калужское региональное отделение Союза российских писателей, была составителем и редактором альманаха «Продолжение» (вышли два номера).

«ГДЕ ЛУЧ В СВОИ ВЕРНУЛСЯ НЕБЕСА...»

Из неопубликованного

* * *

Над Калугой, осыпанной пылью, вселенская грусть.
«Хванчкара» чуть качается. Зноем пропахшая кожа
зябко кажется озером. Я всё хочу наизусть,
только не получается чуда — а в общем похоже.

Спорим, не захлебнусь тишиной? Дотянусь до всегда,
до сейчас, до вне времени и пространства...
Ну и пусть здесь в озёрах изменчивая вода —
я её, как себя, уважаю за непостоянство.

Стихи

Приходят под утро тихонечко, трогают сон,
щекочут мне веки напраслиной, шепчут невнятно
легенду о том, что мой дом — тихий Дон, вечный звон
и прочую чушь — только мне почему-то понятно.

Понятней, чем правда слепая, чем липкая ложь,
понятней, чем общие правила телодвиженья
по кругу к себе и обратно. Стихи — мой крепёж,
когда распадаюсь — не просто воображенье.
Они моё тело, и дрожь, и всемирная кровь,

с горчинкой вино и друзья, тяжкий зной и прохлада.
Я в них не боюсь тихих слов, что ты скоро придёшь.
Я в них не боюсь, что мне этого больше не надо.

* * *

Приходит мой дом из углов и щелей
щеглом мандельштамовым, рыжим котом —
и ты меня не жалеи.

Четвёртую ночь я не плачу о том,
что даль завалило осенним листом
пропахших тобою аллеи.

Четвёртую вечность тебя не зову,
предметов припомнить хочу имена,
по вазам рассовываю листву,
чтоб видели: не одна.

Древесные стулья и солнечный блик,
заборы из книг и Владимирской лик,
а мой ненадёжный корявый язык —
отныне мне суд и страна...

* * *

Часы пробили шесть. И есть резон проснуться,
забыть прошедший день.
поскольку он прошёл —
об этом хорошо сказал ещё Конфуций,
а может, и не он, но тоже хорошо.

Встать, не любить властей, безденежья, повторов,
задастных ушлых баб,
беспомощных мужчин,
заторов на шоссе, советского задора
и лжи — но снова жить. Без видимых причин.

* * *

Я в старом алфавитном букваре
тебя искала, да забыла букву
твоих корней. Есть только нота «ре»
на острие земли, на самой луковке.

Где луч в свои вернулся небеса,
а голос потерялся в декорации.
Милениум. Ушедших голоса
нас не пугают. Так-то, друг Горацио.

Те, кто хотел, давно в Москве. А в ней
всё неразборчиво. Лишь в небе бьются «АНЫ»
с упорством птиц, не знающих обмана
прозрачности. Я помню окрик «эй»

из детства. Но не помню лиц,
дающих даром на лице улыбку.
Я не нашла тебя среди страниц.
Должно быть, где-то в азбуке ошибка.

* * *

Всё повторяется. Ничто не повторится
Пеку пирог. Написано «корица»
в моём рецепте вечном на глазок.
Вокруг живут приматы и приметы.
Кому-то снятся сны. Летят кометы.
Я так привыкла вглядываться в лица,
что не умею не ещё разок.

И пусть разор — последняя попытка.
Родство — первичный дар, не только пытка
огнём с водой и молоком в крови.
Но если он не сможет (может, знаю),
пойду одна, безмолвная, босая,
безумная от неба и любви.

И если он не спросит (знаю — спросит),
я всё равно скажу, что вот, мол, осень,
что по закону все права её.
Но я по праву своего бесправья
стою живая. Только, брат мой Авель,
ты помнишь ли, спрошу, лицо моё.

А он ответит, посмотрев спокойно:
не помню я ни стойбища, ни пойла,
но кровь, что сотворила мне судьбу,
поёт, что ты всё путаешь, сестрица.
Я брат твой Каин. Схожи наши лица
одной и той же метиной на лбу.



В творческом кругу.
Стоит: В. Обухов; сидят (слева направо): А. Киселёв, А. Трунина,
С. Львова, М. Улыбышева, Д. Кузнецов

Юрий Убогий

НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕСАХ

Светлана Львова, Светлана, Света, Фетинья... Не встречал человека, имя которого в такой степени соответствовало бы его натуре. Появится Светлана — и сразу всё светлеет: застолье, жильё, погода. И с фамилией было похоже: энергия в Свете жила редкая, львиная прямо-таки, пробиваясь даже по телефону. Едва услышишь в трубке её голос — и как током тебя встряхнёт бодряще! А ещё искренность и открытость людям были редчайшие, что притягивало их к ней, самых разных, и покоряло. Рассказала она как-то про хлопоты по изданию альманаха «Продолжение», который составляла и редактировала. Чиновник: «Почему вы держитесь так, словно я вам друг?» Светлана: «А разве враг?» Хорошо представляю, как засопел чиновник и, насупившись, подписал что-то там разрешительное.

Поразительно, что все черты природы отмеченные Светлана сохранила и в пору тяжелейшей болезни — до самого конца. От предложенных мной снотворных отказалась, сказав, что спит мало, но это её не тяготит, интересно даже... «Вспоминаю ... То смеюсь, то плачу», — её слова. Альманах, кстати, она сделала: два номера прекрасных, а третий не успела...

В долгое время общения я пытался понять, схватить в ней что-то ускользающе-главное, и никак не мог. Это при её-то искренности и открытости! Вот же она вся, смотри. Да, только главное всё равно недоступным

оставалось, лежало в глубине-глубине. Но однажды, вдруг — не подумал, а почувствовал, что это нечто небесное в ней, ангельское. И человек она вполне, но и чуть ангел — как-то так...

А про стихи и прозу что сказать? Чудесно всё — именно это слово! «Жить от руки» — из её прозы. Вот она и жила «от руки», и писала так же. Напрямую, от самой человеческой и ангельской сути своей.

Из поэтов ближе всех к ней Осип Мандельштам, так мне кажется, а у него — «Стихи о неизвестном солдате». Да она сама отчасти и была, Светлана-Света — нежный ангел-солдат...

2021 г.

Андрей Убогий

ЛЕТЯЩИЙ КОВЧЕГ

(памяти Светланы Львовой)

Сколько в ней было лёгкости и свободы! И в ней самой — в её речи, шутках, её поведении, искреннем и импульсивном — и в том, что выходило (казалось, что вылетало!) из-под её пера. Вот, навскидку, строфа о базаре:

...Поздним извозом по всей земле
Запах навоза, крик журавлей...
Вот у щербатой стены богатырь
ножиком гладит напильник.
Ох, шапито, шапито, шапито!
Палевый шок и опилочный шёлк...
Да, всё течёт, и печёт, и влечёт
бабушкин сгорбленный кремовый пыльник —
ах, всё не то, всё не то, ах ещё —
пыль и полёт — и поёт
голос шершавый, поросший былём:
«Старьё берём...»

Но и сколько в ней, Свете Львовой, было тяжести... Непроста была её жизнь — а финал её оказался мучителен — но, помимо своей личной боли и тяжести, она несла тяжесть и боль того мира, в котором жила.

Родина — что это? Жар этот летний?
То ли крестили, то ли топили,
плакали, ехали, слушали бредни.
Сбрендили? ВДНХ. Изобилие.
Били под дых и в лицо — я простила.
Я христианка. Но кто это — Родина?
Краше, милее... Зерцало дробила
злым каблуком — опадала смородина...

Была в её строках и строфах, звуках и рифмах ещё и иная — библейская — тяжесть. Это не просто память о горе и жертве — но жертвозаклание, происходящее здесь и теперь, в пространстве стихотворения:

Я — блудная дочь отгороженных мне времён,
 любимая наспех и накрест — всегда чужими,
 бредущая мимо, не помнящая имён —
 своё, как клеймо, навсегда выжигая имя
 на лбу твоём, ветер, стремящийся прочь — туда,
 где кончились звёзды и падают города.
 Там внук Авраама на хижину ладит дверь.
 Он ходит, как время, а мне говорит: не лги —
 и смотрит печально, как будто дитя иль зверь —
 и пахнут зерном винограда его шаги...

И сколько же в ней было нежности к миру! Одна только строка «так бредят хвоинки в предутреннем костерке...» — это же целое стихотворение, и это признание в любви и костру, и хвоинкам, сгорающим в нём, и рассвету, в чьём свете бледнеет костёр... Остро чувствуя, что любви недостаёт не только нам, людям, но и бессловесному миру, Светлана берётся собственным сердцем и голосом возместить недостачу любви и молитвы — выступая ходатаем за весь божий мир:

Язык, немотствуя, цепляется за нёбо —
 так просит неба каждая букашка,
 так взламывает ключ кору земную,
 так жадно жалость ищет утоленья...
 Беспечно-грустный сизокрылый голубь
 клюёт овсянку из разбитой чашки,
 волна узоры на песке рисует
 и, как ребёнок, тычется в колени...

Пытаясь собрать воедино всё то, что я написал выше о Свете Львовой — соединить её летучую лёгкость и ветхозаветную тяжесть, сочувствие жертве и зоркую нежность — я вижу единственный образ, вмещающий это: летящий ковчег. Для меня несомненно, что главная тема поэта — это спасение в гибели, личной и общей. Или, иными словами, — преодоление смерти, в осязаемом присутствии и ожидании которой Светлана провела свои последние годы.

Неодоимое дело уход — только я не про то,
 просто очень люблю этот мир, этот миф, эту зыбкость
 перевода с чужого, и дерево в красном пальто.
 Я на правильном белом живу речевой ошибкой.
 И куда меня не исправили красной чертой,
 сладко верить в прекрасную ложь нескончаемой речи,
 презирать афоризмы, терять перстенёк золотой,
 и смеяться, что горе несут долгожданные встречи.

А образ ковчега не мог не возникнуть пред мысленным взором того, кто прочитал её книгу — оттого, что краеугольное стихотворение в ней рассказывает о потопе. Это стихотворение необходимо привести целиком; вообще, цитаты из текстов Светланы вырываются с мясом и кровью: настолько плотна — цельнотканна! — живая ткань её стихотворений. Итак, «Потоп»:

Когда бы прослыть я посмела
 лесной беззащитной букашкой,
 змеи бы изгибы имела
 иль круглое зренье совы,
 когда б я синицей звенела
 и пахла медовой кашкой
 иль шла на закланье барашком,
 невинной не пряча главы,
 Когда бы я ланью скакала
 под синим скалистым покровом,
 когда бы я выла шакалом
 и добрых шагов не ждала,
 как ласточка б в небе мелькала,
 несла бы сосцы, как корова,
 и если б от отчего крова
 я так далеко не зашла,
 я б голос услышала Ноя
 и ветра б почувяла силу
 дыханьем, ребром и виною —
 мне б эхо прислали стволы.
 Я б дерево гофер валила,
 рубила, косила, носила —
 и кровью своею смолила,
 когда б не хватило смолы...
 Но я не услышала зова.
 Позвал ли по имени, Отче?
 Иль мёртвые чёрные ночи
 твой зов от меня отвели?
 Безумные воды хохочут,
 живым истребленье пророчат.
 Никто мне поверить не хочет,
 что Бог не оставит Земли.

А сколько в ней, Свете Львовой, помимо всей её лёгкости, тяжести, нежности — сколько в ней было тайны! Вот почему её книга — первая, главная — названа непривычным французским чарующим словом? «Elle s'appelle...» — «Её имя...» — читаем мы на обложке и тут же касаемся тайны: глубинной, мерцающей и ускользающей тайны имени... Эта тайна сакрально связана с тайной спасения. Назвать, именовать, помянуть — уже означает спасти: номенология перетекает в сотериологию так же естественно, как просьба «Помяни мя, Господи...» выражает чаяние «Спаси и сохрани...»

Имя — самое лёгкое и самое неподъёмное слово на свете; недаром существуют мистические и религиозные запреты на имена — а у нас, христиан, запрет на поминание Высшего имени всеу. Не оттого ли и имя на книжной обложке целомудренно задрапировано вуалью французского языка (пусть и близкого Светлане Львовой, но всё же чужого), потому что негоже о тайне говорить с площадной откровенностью: душа и имя поэта слишком ранимы. А что остаётся от нас и от целого мира — кроме имён? Поэтому именованье — сиречь спасение — главное дело поэта. Поэт — всегда имяславец: тот, кто считает, что имя есть высшее слово, и слово есть Бог.

Так вот и замыкается цепь поэтических образов. Потоп не щадит никого — поэты уходят — но остаются их книги-ковчег, на палубах, в трюмах, в каютах которых хранится поименованный и тем сохранённый от гления мир. А на борту решительно и вдохновенно взлетающего над земным прахом ковчега мы с благодарностью и восхищением читаем: «Elle s'appelle...» — её имя...

2021 г.

Ирина Устинова
студентка Института филологии и массмедиа
КГУ им. К. Э. Циолковского

ОТ ПИРОГА С КОРИЦЕЙ К СНАМ И КОМЕТАМ

Тихи Светланы Львовой можно уверенно назвать «тихой», «негромкой» лирикой. Однако, несмотря на это, её чуть слышный поэтический голос звучит уверенно и отчётливо, проникая в самые потаённые уголки души читателя.

В лирике Львовой соседствуют прошлое и настоящее, возвышенное и приземлённое, вечное и будничное. Обыденные вещи поэтический дар Львовой осваивает предельно тонко и весьма необычно, по-своему. Предметность в стихах Львовой прекрасно сочетается с глубоким лиризмом. Её лирика постигает вечное, идеальное через приземлённое, простое. Она идёт от внешнего к внутреннему, от будничному к высокому. Так, например, от привычного рецепта пирога с корицей плавно переходит к размышлениям о снах и кометах:

Всё повторяется. Ничто не повторится.
Пеку пирог. Написано «корица»
в моём рецепте вечном на глазок.
Вокруг живут приматы и приметы.
Кому-то снятся сны. Летят кометы.
Я так привыкла вглядываться в лица,
что не умею не ещё разок.

Поэт тонко чувствует мир, время, пространство. Окружающая реальность представляется Светлане Львовой как нечто изменчивое, зыбкое, неустойчивое, но в то же время необъятное и недостижимое: «Всё повторяется. Ничто не повторится». Есть в этом некое философское противоречие, отголоски которого присутствует во многих стихах Львовой. Поэт признаётся, что может дотянуться до «сейчас, до вне времени и пространства». А каким образом? Благодаря поэзии, ведь ей, как искусству, подвластно всё. Стихи у Львовой рождаются «тихонечко», украдкой, «трогая сон». Вот как она описывает механизм «рождения» своих стихов:

Приходят под утро тихонечко, трогают сон,
щекочут мне веки напраслиной, шепчут невнятно
легенду о том, что мой дом — тихий Дон, вечный звон
и прочую чушь — только мне почему-то понятно.

Сколько трепета и особого рода нежности в этих словах! Поэзия для Львовой не просто способ познания бытия, а её жизнь, её сущность, её основа:

Они моё тело, и дрожь, и всемирная кровь,
с горчинкой вино и друзья, тяжкий зной и прохлада.
Я в них не боюсь тихих слов, что ты скоро придёшь.
Я в них не боюсь, что мне этого больше не надо.

Эти строки могут служить своего рода ключом к пониманию лирики Львовой. Описывая обыденное, предметное, осязаемое, поэт проникает глубоко за пределы реального, по-особому чувствуя общий жизненный поток и его движения. Этот мир противоречив и нестабилен, но всё же прекрасен. Жить нужно «без видимых причин».

Лирике Львовой свойственно особое восприятие времени. Конечно, законы времени неподвластны нам. Однако лирическая героиня Львовой осваивает самую сущность времени, обнаруживая его зыбкость. Прошлое сродни старому алфавитному букварю, листая который мы можем не обнаружить нужную нам страницу, — время беспощадно.

Стихи Львовой полны метафор, являющихся для поэта своеобразным способом увидеть окружающую действительность, постичь себя. На первый взгляд они просты, понятны, «тихи», что укладывается в общую тональность её лирических произведений. Но стоит только вчитаться, попытаться проникнуть в самую суть метафоры, то появляется понимание, насколько большой объём ассоциаций, ощущений, переживаний она заключает в себе. Именно это сочетание простоты и причудливости отличает поэтический стиль Львовой. Главное, что должен сделать читатель — суметь попасть на одну волну с автором, ощутить движения её души, погрузиться в её настроение.

Хочется, чтобы поэзия Светланы Львовой стала известна большому кругу читателей. Ведь Львова — настоящий поэт. Поэт, хоть и «тихий», но очень хорошо слышимый нами. Её стихи трогают, тревожат душу, заставляют задуматься о вечном.

Юлия Перевезенцева,
*студентка Института филологии и массмедиа
КГУ им. К. Э. Циолковского*

«СТИХИ» И ДРУГИЕ СТИХИ СВЕТЛАНЫ ЛЬВОВОЙ

(тихотворение «Стихи» написано на вечную тему поэта и его творчества. Здесь мы видим приход стихов, их развитие, влияние и значение. Так, в первой строфе они приходят под утро, будят и шепчут что-то, что кажется спросонья невнятной чушью. Но для героини эта «чушь» очевиднее и понятнее всего вообще — что для других невнятный бред, для неё — очевидная истина. Она понятней и правды, и лжи, и привычных физических действий:

«Понятней, чем правда слепая, чем липкая ложь, / понятней, чем общие правила телодвиженья».

Стихи для неё не просто плод воображения, разыгравшегося где-то под утро, не только творение искусства, а спасательный круг, «крепёж», который служит скелетом, опорой: «Стихи — мой крепёж, / когда распадаюсь — не просто воображенье». Творчество не только рождается в её голове, ложится на бумагу и остаётся там, а является ею самой: её телом, её сутью, её ощущениями. В них и вкус вина, распитого с друзьями («с горчинкою вино»), и температуры, ощущаемые кожей (тяжкий зной и прохлада).

Именно в стихах героиня может выразить то, что боится сказать вслух, в чем боится признаться даже себе самой: «Я в них не боюсь, что мне этого больше не надо». Здесь мы также наблюдаем некий переход от общего к частному. Так, в первой строфе мы видим приход стихов, затем, во второй строфе и начале третьей, мы окунаемся в их значение для героини, а уже в конце третьей строфы, в двух последних стихах, мы видим упоминание конкретной ситуации — некая любовная драма, разрыв отношений — где героиня понимает, что её возлюбленный всё же вернётся, но ей уже это не нужно. Также именно в этих строках единственный раз встречается личное местоимение не третьего лица, относящееся к абстрактному понятию (стихи), а второго — «ты», относящееся к конкретному человеку.

Данное стихотворение настолько понятно и гармонично, настолько откровенно и искренно, что не нуждается в каком-либо толковании, поиске тайных смыслов. Оно не похоже на творения большинства современных поэтов, чьи стихотворения невозможно понять со второго и даже третьего раза; в нём нет лишнего пафоса, лишней эмоциональной нагрузки — всё, что в нём есть, находится на своём месте и трогает душу читателя ровно настолько, насколько и должно. Как и большинство стихотворений Светланы Львовой.

Все они уникальны и оригинальны, в каждом прослеживается особенный стиль автора, его голос. Так, почти во всех стихотворениях есть особенная фраза, которая цепляет взгляд, звучит складно, очень поэтично: «...а мой ненадёжный корявый язык — / отныне мне суд и страна...» (из «Приходит мой дом из углов и щелей...»), «... об этом хорошо ещё сказал Конфуций, / а может, и не он, но тоже хорошо», «...забыть прошедший день. / поскольку он прошёл...» (из «Часы пробили шесть...»), «вокруг живут приматы и приметы...» (из «Всё повторяется. Ничто не повторится...»). В основном эта особенность строится на умении использовать созвучные слова, повторы и прочее, а такое не каждому под силу.

Также автору прекрасно удаётся «играть» со звучанием слов, например, в стихотворении «Я в старом алфавитном букваре...»: «... тебя искала, да забыла букву / твоих корней. Есть только нота «ре» / на острие земли, на самой луковке...» — здесь сочетание слов «нота» и «ре» созвучно с «на горе», что отлично вписывается в контекст стихотворения (гора — «острие земли»).

Все стихотворения Светланы Львовой похожи на ручей (именно такая ассоциация возникает при их прочтении) — они свободно и легко струятся, не натываясь ни на какие преграды, доносят информацию легко и непринуждённо.

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЁВОЙ

Людмила Георгиевна Киселёва (1942–2021) — член Союза художников России, Союза журналистов России и Союза российских писателей, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат международной премии «Профессия — жизнь», лауреат премии Николая Островского, почётный гражданин города Боровска, инвалид с детства. Участник многочисленных художественных выставок, автор около десятка книг. Директор благотворительной организации «Дело Общего Милосердия — дети-сироты и инвалиды». Активный инициатор сохранения и возрождения боровских церквей.

Людмила Киселёва

ДАЙ СЕРДЦА ТВОЕГО КОСНУТЬСЯ СЕРДЦЕМ, ИЛИ ПУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ САМОЙ СЕБЯ

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

Уильям Блейк

В одном фильме есть такой диалог:

- Как ты думаешь, с чего птица начинает полёт?
- Наверное, крылья расправляет...
- Нет, сначала она набирает в грудь воздуха...

Вот и опять весна! День сегодня такой добрый: солнце льётся во всю ширь моего окна. И воздух такой дурманный, какой только весной и бывает.

Но всё реже во мне появляется смутное беспокойство птицы, которой пора отправляться в полёт, чтобы исполнить дело, предназначенное ей природой и жизнью, как бывало со мной прежде, в юности.

...Моё Небо — мой потолок. Где-то там ветра и туманы, движение, многоцветность мира, и мир этот — мимо меня. Когда ты родился больным и это уже навсегда, то кажется, что так и должно быть, и все привыкают, и сама привыкаешь. Вот только тревожный весенний зов наполняет душу смутой и тоской по чему-то неведомому, да ещё когда вечерний летний вечер приносит с другого края города звуки духового оркестра с танцплощадки горсада...

Но и это с возрастом проходит. Всё, к счастью и к сожалению, проходит. Вот эта мысль о каждом уходящем мгновении тревожит меня теперь. И мне кажется, что ещё чуть-чуть напряжения — и я пойму самую главную тайну человечества: для чего мы живём? Во что обращаются наши находки и потери?

В юности я думала: люди созданы природой для продолжения самих себя и бессознательно всегда идут к этому. Во мне тоскует природа, что я не могу восполнить её. Но ведь природа не терпит пустоты. Там, где подводит тело, должен с ещё большей остротой жить дух. И, значит, моя жизнь тоже имеет своё предназначение?

Вот только бы понять — в чём? Для чего? И как обретается дух?

Мой городок, в котором я родилась, остался за пределами моего бытия. Я видела его лишь в редкие часы своих поездок на машине, и мне кажется, живи я в другом городе, я была бы такой же, как сейчас. Зримый его образ сложился в моей памяти как нечто патриархальное. Его улочки, дома, где всё на горе или под горой, навевают настроение покоя, уюта, тишины, и постоянный гул автомобилей за моим окном не разрушает этого представления.

Тишина и покой побуждают к работе мысли, настраивают высоко, философски, но они же способствуют лени и вялому образу жизни. Всё двояко в этом мире. Но человеку дано выбирать. И я склонна думать, что не бешеные темпы, ритмы, смена впечатлений определяют напряжённость жизни человека. И что на ленивую душу даже Москва будет навевать деревенский сон.

А значит, обстоятельства не определяют судьбу, они только испытывают?

И человеку дано выбирать, чтобы узнать предел своих возможностей?

Однако возможно ли это — подняться выше потолка?

И где он, тот потолок, — над головой или в душе?

В Москве живёт моя подруга. Окончила Строгановское училище. Человек, профессия которого — украшать. Всегда унылым голосом рассказывает мне о своей работе, о столичной сутолоке, давке в метро и автобусах, как ни в чём проходят её дни, как быстротечно время... Стоп! Вот на этой мысли мы с ней встречаемся. А потом опять расходимся. Она считает, что раз уж не повезло и мы не отмечены божьей метой, и нас не мучает талант с пяти лет, как Чайковского, например, то и нечего из себя давить — масло из кирпича не выдавишь, такое только в сказке бывает.

Хорошо, что мы не встретились в моём прошлом, когда я впервые взяла в руки карандаш и попробовала рисовать — рисовать плохо, беспомощно и, казалось, безнадежно. Теперь мои друзья прошлых лет признаются, что свысока посматривали на мои первые рисунки и поражались, зачем я занимаюсь не своим делом. Нет, во мне не было потребности рисовать, но была неистребимая жажда самоутверждения, желание что-то делать, действовать — найти своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

И да здравствует вечный зов юности, который гонит нас за горизонты земли и самого себя, чтобы познать, понять, осуществиться! И благословен тот, кто услышит его в себе, — в этом смысле я человек счастливый.

И потому уж в который раз брала я безгласный, бездыханный в своей белизне лист бумаги и копировала то, что попадало в поле зрения, веруя, что вот это и есть искусство, что вот если однажды получится у меня каждая прожилка на листке цветка, каждая веснушка на лице соседки — вот это и есть предел мастерства. Цветок получался «как живой», и все ахали, как похожа соседка на моём рисунке, только дыхания в них не было.

Нет, не с умения воспроизводить натуру начинается художник. «Зорко одно лишь сердце — самого главного глазами не увидишь», — говорил мудрый писатель Сент-Экзюпери.

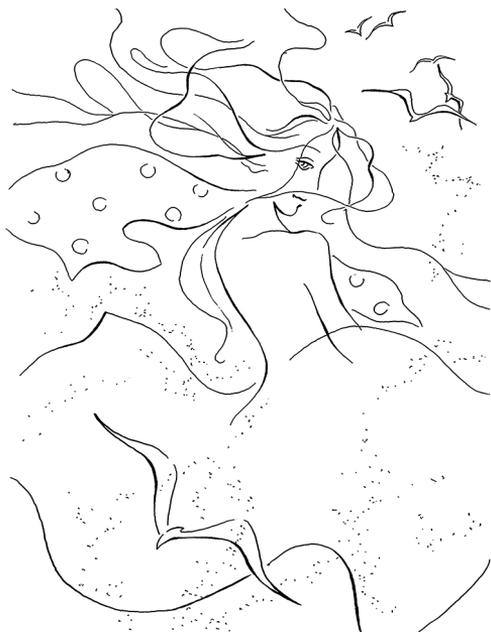
Сколько времени прошло, прежде чем я увидела мир в линиях, очерчивающих формы! Эта линия плавная и нежная, если она — девушка, мать, ребёнок, тревожная и напряжённая, если она — плач, горе, боль, изломанная, кричащая, если она — война...

А пока...

И отчаяние, и страдание, и слава, и власть — всё приходит к человеку для испытания. Ты скажешь: «Тебе хорошо, ты сильная от корней, потому тебе хочется преодолевать свои барьеры, оттого твои рисунки жизнерадостны. Но если человек по натуре рохля, пессимист, в общем, не борец?..»

А знаешь, из детства я вынесла одно самое острое ощущение — ощущение своей беспомощности, незащитности. Наверное, потому, что среди детей чувствовала себя «белой вороной», не было непосредственности детства, жизни взахлёб. Легко могла заплакать, но не умела легко рассмеяться. Стоило остаться одной, огромный страх расползлся по всем уголкам моего маленького существа. Так и сидела, боясь пошевелиться, пока кто-то не придёт, чтобы нарушить жуть моего одиночества. Мир казался непонятным и потому грозным, извергающим отовсюду опасность, беду. Вокруг бегало, прыгало, хохотало беспечное детство. Как птицы на ветке, сидели мы на нашей дворовой лавочке, но вот заводила пошептал что-то в одно ушко, в другое, и вся стайка — порх! — улетала неведомо куда.

...Одиночество заставляет страдать, но одиночество способствует размышлению и мудрости. Всё двояко в этом мире, и я выбираю НАПРЯЖЕНИЕ.



Не знаю, в какую минуту приходит осознание самого себя, конечно, к каждому в своё время, да и не вдруг, не сразу, но понимаешь, каким тебе хочется быть.

Даже в самом мальшовом возрасте — я это видела — люди ценят силу, сначала физическую, взрослея, — силу ума, таланта, старея — силу понимания, добра...

Они любят тех, кто весел, они тянутся к тем, кто излучает бодрость, с кем надёжно, интересно, кто их поймёт. И чтобы вырваться из плена своего одиночества, мне надо стать такой. И люди придут ко мне. Через их судьбы, их ощущения, дела, мысли я проникнусь тем миром, который для меня за горизонтом. Всё будет...

А пока — книги. Долгое время бывшие для меня развлечением, они однажды явили всю свою бесценность.

Книги — мировая душа человеческая со всеми её бедами, противоречиями, катастрофами, идеями, озарениями, в соприкосновении с которыми наполняется твоя душа их опытом, мудростью понимания. Когда так много носишь в себе, то невозможно жить со своим «сундуком», никому ничего не отдавая. И когда есть что сказать друг другу, жажда общения неизбежна. Меня любили и забывали, и приходили новые люди, и уходили порой навсегда, и опять приходили...

Кто знает, сколько прошло их через мой дом: юных и зрелых, счастливых и несчастливых, довольных и неудовлетворённых? Кто подсчитает, сколько мы отдали друг другу мгновений радости и печали, открытий и надежд? И я узнала счастье быть нужной — самое большое счастье в человеческой жизни.

И я поняла, что если очень устанешь, то не сильного надо искать, чтобы прислониться, а слабого — отчаяние другого, ищущего в тебе поддержку, мобилизует твои силы.

Но я убедилась, что если человеку всегда подставлять плечо, то он так и не научится сам стоять — участие не всегда несёт в себе добро.

И я узнала, что непримирима к людям безвольным, что готова простить неудачи человека, но лишь когда он ищет, напрягается, сопротивляется обстоятельствам, это его оправдывает, но нетерпима к живущим «по воле волн». «Я такой, потому что меня так воспитали», — я слышала это всеоправдывающее кредо от других, но моя душа противилась ему, потому что я поняла: человеку дано выбирать.

Я выбираю ЛЮБОВЬ. И любовь наградила меня, дав мне десять ушей, двадцать глаз, сто сердец, и потому так многолико раскрылся мир и все чувства — в меня. Я обрела способность ощущать его сердцем поэта из «Евгения Онегина», маленького, доброго, несчастного человека из чеховских рассказов, метаться сердцами его «Трёх сестёр», мечтать, как Ассоль, страдать от своей мудрости, как Маленький Принц, заплакать слезами своей подруги... И вдруг — утратить ощущение всех запахов, звуков, красок со смертью любимого человека.

... Два года я рисовала только цветы, чтобы в буйстве красок, линий, форм вновь обрести утраченное. И сколько раз в эти минуты мне казалось: «Вот





и предел, зачем любить, если так горько от обид, потерь, разлук, которые приносит любовь, зачем мне сто сердец, если и в одном столько муки, зачем всё — если смерть...» Цветы получались яркими и печальными на трагическом чёрном фоне, но в них назревала душа.

Жить — это медленно рождаться. Благо человека — если муку своего рождения он сможет обратить в радость.

А любовь снова возрождается из пепла и зовёт, тревожит. В каждом прикосновении к жизни меня хоть чуть-чуть, но ударяет её током. И тогда в невыразимой глухоте мира слышится сердцебиение людское. И потому, что бы там ни было, я подписываюсь под словами Экзюпери: «Самая большая роскошь —

это роскошь человеческого общения», — потому что только рядом с другими узнаёшь цену себе и силу свою, только с другими рождается твоё «я», когда уже не только СВОИМ горем живёшь, а болью всех, кто страдал, когда не только СВОЙ день жизни заботит, а земной человеческий день.

Незаметная точка на огромной географической карте — мой город. Невелики события его жизни. Но если моё сердце причастно к миру, то сжимается оно, узнав о трагедиях на другой половине земного шара. И тогда маленький дом вырастает до необыкновенных размеров. И неважно, в огромном городе ты живёшь или в селе. Если сердце причастно... И никакая тяжесть условностей, притягивающих меня книзу, не может согнуть, потому что я больше не бесформенный комочек глины-плоти, а частица мира, без которой мир и не существует.

Это ощущение пришло ко мне неожиданно в нашем старинном бору, веками окружающем мой город. Где-то в поднебесье качают своими лохматыми головами сосны, и в этом шуме деревьев — голос вечности. Только птичий щебет напоминает о земном, преходящем. И я такая маленькая у подножия вековечности, такая слабая и обречённая. Но вот я на обрыве. Где-то далеко внизу солнце высвечивает сверкающие блики — ручей. И оттуда поднимаются ко мне могучие сосны. Но нет, отсюда, сверху, могучими они не видятся. Ветер раскачивает их стволы, кажется, что они из картона и вот-вот надломятся.

Всё двойко в этом мире. Важно ощущение себя в нём. Что знают эти деревья, живущие так долго? Одинокие несутся в космическом пространстве светила, бесцельны бесконечные облака, проплывающие над нашими крышами. Только я, человек, знаю, как волнующи звуки музыки, как

прекрасны эти деревья, цветы и звёзды, как весел птичий и ребячий гомон, как неповторим первый трепетный поцелуй.

Да разве можно всё это, испытываемое за короткую человеческую жизнь, променять на долгое существование в немом безмолвии, в глухом одиночестве покоя! Мне здорово повезло, что я пришла в этот мир ЧЕЛОВЕКОМ. И это ощущение поднимает вверх. Потому мои рисунки — взгляд сверху. Сверху не видно деталей, мелочей, в поле зрения попадает лишь главное, суще: дети, цветы, сказка, весна, любовь, печаль, осень, одиночество, старость — всё вечное в своей повторяемости, возрождении и всё преходящее в жизни отдельного человека.

Однажды внук спросил деда: «Что такое красота?» И тот ответил: «Когда ты услышишь, как в цветке стучит сердце, значит, к тебе пришла красота». Видно, так рождается в искусстве своя тема. Так она вызрела во мне: чудо каждого дня. Облака на небе — приглядишься — похожи то на прекрасное платье сказочной феи, летящей над землёй, то на странного неведомого зверя. А струи дождя! Они словно струны, натянутые между небом и полом. Пролетит сквозь них стая ласточек, зацепит крыльями, и зазвенят, задрожат струны нежной песней. Если посмотреть себе под ноги, то можно увидеть ещё одно чудо: пушистое нежнейшее гнёздышко — одуванчик. Но только его нельзя трогать руками, исчезнет — чудо неприкосновенно. И вот ещё одно: девчушка, хрупкая и беззащитная, под режущими струями дождя среди ночи держит зонтик над звездой: чтоб не погасла, ведь звёзды так нужны людям.

Но если осень, грязь и лужи, ранние сумерки и холод дохнувшей зимы — где же тут красота? Может, в окошке, что светит посреди ночной тьмы, отражаясь в холодной воде, обещая тепло и уют? Ну, а старость? Какая уж тут красота? Но как прекрасно лицо женщины в осени! Как светла печаль её лёгкой улыбки, мудры всепонимающие глаза, добры большие натруженные руки, которые всё могут, всё умеют: это руки моей мамы. Красота всюду. Я увидела её в каплях дождя, рассыпавшихся, словно бусинки, по волосам моей подруги, и в добром свете глаз моего отца, и на румяных щеках моего друга пятилетнего Вовки. Она — в стуче сердец влюблённых, встретившихся в моём доме, и в комочке снега, принесённом с улицы моими друзьями в стакане, и в осенней ветке клёна, стоящей в вазе на моём столе...

Мизерные порции жизни, так скупо подаренные мне судьбой, обрели свою высокую цену, будучи в сущности бесценными.

И когда кто-то говорит: «Как неинтересно, как буднично жить», — это печально: значит, к человеку не пришла красота.

Но как рассказать обо всём этом в линиях, штрихах, мазках, где найти силу, чтобы рядом с моим рисунком человек удивился, узнав в необычном привычное, что окружает его каждый день? И тогда я пробую рисовать картину словами: «...С небес к окну приник с хрустальным звоном не то снежок, не то луны кружок. Казалось, только руку протяни, и на ладони ты ощутишь его скользкий холодок. Какой-то праздник праздновала ночь и наряжала звёздами деревья, застывшие фонтаном ледяным, и приглашала невидимых

гостей. Я эту ночь видала, я тайну подсмотрела в тот звёздный час зимы. И воскрешаю вновь забытые виденья ночи, утраченную добрую минуту.

Уж сколько сломано карандашей и перьев, чтоб не забыть нам сказок зимних, летних — всяких, чтоб не терять таких мгновений потом, когда на наши “почему” узнаем множество ответов и смотрим вновь на звёзды, на луну, а сердце не задето».

Как задеть сердце, чтоб услышали, увидели, узнали, полюбили?

...По ночам меня мучает бессонница. Друзья дают советы: димедрол, мёд, аутогенная тренировка... А лучше всего считать слонов. И я считаю: ...три, четыре, пять..., а вот эту линию я сделаю плавной, словно волосок на ветру... шесть... восемь, десять... Нет, не то — линии должны идти не вниз, а в стороны, чтобы воздух их обтекал... двадцать, тридцать, сорок...

Почему так печально лицо у моей Девочки Весны, словно она — подраненная птица? Так не бывает. Весна — начало, а в начале нет печали... тысяча пять... тысяча десять... тысяча двадцать...

Вероятно, все «слоны» пересчитаны, потому что я наконец засыпаю.

Мне снится стена, на которой я, словно мозаику, выкладываю из кусочков-заготовок лицо. Лицо дисгармонично, вроде бы всё есть, но всё не на своём месте, смещено: глаза — один в фас, другой — в профиль влево, нос — в профиль направо, в трагическом крике раскрыт рот, словно от боли и ужаса, что лицо его так изуродовано, что ему не суждено родиться из небытия, потому что художник этот — я, а лицо это — мой автопортрет...

Но приходит день и своим светом снова вселяет надежду, что смогу, сумею, найду, ведь я сама выбирала этот путь — путь за пределы самой себя, эту долгую дорогу труда и терпения, ведь жить — это медленно рождаться.

Помнишь, у Экзюпери: «Мучительно не уродство измятой человеческой глины, но в каждом из людей, быть может, убит Моцарт».

Нет, конечно, подруга-дизайнер права: гениальным себя не сделаешь, талант из ничего не родишь. Но разве мы рождаемся ни с чем? А дар образного восприятия мира — разве он не природен? Посмотри, как рисуют дети, как зорко их сердце! Маленький человек, зависимый от всех и вся, живёт наполненной внутренней жизнью, а вырастая, нивелируется стандартами жизни и в суете будней пропускает дни свои мимо себя. Глаза его слепы, а уши глухи — его не коснулся дух: не знает, не слышит, не любит. Я думаю и о таком человеке. Так рождается новая тема моих рисунков. Уходит из жизни поэт Марина Цветаева, так ярко, так сильно ощущавшая восторг жизни. Уходит из мира равнодушных — не понимают, не ценят, не любят.

Где-то на чердаке в сетях паутины погребён портрет «Прекрасной дамы». С печальным укором смотрят глаза прошлого: не помнят, не видят, не любят.

Склонилась над пустым столом с холодным стаканом чая сутулая фигура старушки. Глухая тишина окутывает её — тишина одиночества. И только скрипит, стонет старый дом: не помнят, не едут, не любят...

...Моя мама, приехав со мной, маленькой, уж который раз в больницу и ожидая чуда, услышала: «Медицина бессильна — не выживет»... Но чудо свершилось — я выжила.

Медики говорят об исключительности случая. А я думаю: может, потому, что ЛЮБЛЮ?

Из моего окна видна унылая стена соседнего дома, чуть пониже — концы ветвей деревьев, чуть дальше — собор с куполами-шлемами, как у древних русских витязей, которые я так люблю рисовать зимой, а чуть выше, в самом уголке рамы, — кусочек неба и две-три звезды на нём.

Вот и вечер. Ещё один день, день — жизнь. Пройдёт лето. Придёт осень. Мне теперь так хорошо в осени. Это пора домашнего уюта, тепла, возвращения домой «блудных сыновей». Вот только в лес осенний хочется, когда облетит с деревьев листва и покинут нас птицы, исполнив своё природное дело, и кругом тишина, покой, а воздух чистый, морозный, видно далеко-далеко, и ничего уже не жаль, и смиренно так в душе, и мудро в голове...

Так в чём же смысл МОЕГО мгновения под этим небом? Кажется, и теперь, в зрелом возрасте, я не знаю ответа на этот вечный вопрос. И только греет тихая тайная надежда, что всё не зря. Это случается, когда, читая книгу отзывов, привезённую с очередной моей выставки, я слышу голоса:

«Самое-самое сильное впечатление — это открытие себя — ещё не знакомой в окружающем мире. И ощущение, будто по росистому полю, навстречу рождающемуся дню несёшь ребёнка, трепетно и бережно прижимая его к себе...»

Или: «Всю жизнь я ищу чего-то, а что именно мне нужно — не знаю. Посмотрев рисунки, я подумал, что в них заключается смысл моих поисков...»

Значит, услышали, отозвались, любят.

Я приветствую тебя, человек, открывающий себя и мир в жажде познать пределы всего земного. «Дай сердца твоего коснуться сердцем»...

В газетах часто пишут про меня — мужественная. Чем чаще, тем более хочется стать женственной. В моём положении это непросто: чужое отношение создаёт моё ощущение.

Преодолеть отношение к себе как к больному человеку — значит, стереть грань этого ощущения. Когда преодолела, не заметила, а преодолев — полетела, хотя по-прежнему моё небо — мой потолок...

г. Боровск, 1968 г.



Наталья Торбенкова

КАК ОБРЕТАЕТСЯ ДУХ



Людмила Георгиевна Киселёва (31 января 1942 — 30 января 2021) родилась и жила в городе Боровске Калужской области. Художник и общественный деятель, почётный гражданин г. Боровска, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат Международной премии «Профессия — жизнь», член Союза художников России, Союза журналистов России, Союза российских писателей, лауреат премии Н. Островского.

Незнакомым с нею людям трудно представить, что все эти определения и звания относятся к неизлечимо больной женщине, инвалиду с детства, лишённой возможности

самостоятельно передвигаться. Если к этому добавить, что она не один десяток лет была директором благотворительной организации «Дело Общего Милосердия — дети-сироты и инвалиды», опекавшей сотни многодетных и малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами, десятки взрослых инвалидов, оставшихся без помощи близких, то удивление перерастает в недоверие. Разве так бывает?

* * *

О Людмиле Киселёвой снято около десятка фильмов, телепередач, о ней написаны книги, сотни газетных статей, ей посвящены стихи. Надо ли пересказывать её биографию? Маленькая девочка из простой семьи, родившаяся с генетическим заболеванием, не оставлявшим надежды на выздоровление. В четыре года она ещё могла стоять, держась за табуретку, но однажды упала и больше не встала. Под окном подружки весело играли в «классики». Люся чертила квадраты на тетрадном листе и «прыгала» по ним пальчиком. Как мало для жизни оставила ей судьба! Тесная комната и вид из окна.

«Окно — моё пространство в мир, и всё, что в нём происходит, — моя жизнь. Это такая радость, когда сидишь около окна с низким подоконником и видишь всю дорогу далеко-далеко, а по ней проходят редкие грохочущие грузовики, одинокий автобус с выдающимся вперёд «носом» и бегущие то сани, то телеги с лошадьми, которых тогда было гораздо больше, чем автомобилей».

Жизнь оставалась там, за окном, а дороги в тот мир у неё не было, как и сильных ног, чтобы пройти по той дороге.

Нужно было сотворить чудо, чтобы мир, отвергавший её из-за физической чуждости — слабости и неподвижности, обратил на неё, одинокую и больную, внимание, сам пришёл к ней и закружился вокруг неё со своими радостями, проблемами, конфликтами, стал искать её сочувствия и признания.

«Они любят тех, кто весел, они тянутся к тем, кто излучает бодрость, с кем надёжно, интересно, кто их поймёт. И чтобы вырваться из плена своего одиночества, мне надо стать такой. И люди придут ко мне. Через их судьбы, их ощущения, дела, мысли я проникнусь тем миром, который для меня за горизонтом. Всё будет...»

Она сотворила это чудо — чудо своей жизни.

* * *

«Там, где подводит тело, должен с ещё большей остротой жить дух. И, значит, моя жизнь тоже имеет своё предназначение? Вот только бы понять — в чём? Для чего? И как обретается дух?»

Скудный впечатлениями тесный мир квартиры раздвинулся до необозримых горизонтов и наполнился бесконечным числом образов, когда Люмила начала рисовать. Не потому, что чувствовала в себе неудержимую страсть таланта. А потому, что это был способ сказать миру, что она есть, что она думает и чувствует о нём — о мире людей, деревьев, животных и птиц, ветров, звёзд.

«Нет, во мне не было потребности рисовать, но была неистребимая жажда самоутверждения, желание что-то делать, действовать — найти своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ».

И в рисунках её было сказано главное — бережность друг к другу и всему, что есть на земле, нежность, неприкосновенность, забота и доброта. Люди, загнанные каждодневными хлопотами о деньгах, конфликтами, бытом, завистью, неурядицами, увидели Люсины рисунки и остановились в раздумьи и удивлении, и души их откликнулись.

Я видела, как люди плакали на её выставке. Я видела целую пачку писем от заключённых из колонии, куда попал журнал с Люсиными рисунками, — с покаянными исповедями, просьбами о прощении и сочувствии. Писем было много, разных, со всех концов Советского Союза. Приезжали незнакомые люди из отдалённых городов и просили рисунки, чтобы устроить выставку у себя, чтобы друзья и знакомые увидели, узнали нужное, важное, насущное, чего так не хватает для гармонии жизни.

Так в Люсином доме стали появляться люди. И её дверь распахнулась настежь.

* * *

Люди приходили и приезжали из ближних и дальних мест посмотреть на рисунки и на художницу. Несли ей свои боли и жалобы, думая, что раз

сумела с такой пронзительной мудростью понять и показать смысл жизни, то сможет и в конкретной ситуации разобраться. Она слушала, копила в себе чужие беды, вопросы, проблемы, обиды. Старалась разобраться, помочь советом или действием. И помогала.

Лёжа в районной больнице после инфаркта, Людмила узнала, что в одной из палат содержатся двое брошенных родителями-алкоголиками малышей. Её стараниями был создан детский дом в селе Асеньево.

Именно к ней однажды в отчаянии обратилась директор Ермолинского дома ребёнка: «Завтра нечем будет кормить детей...» Людмила нашла добрых людей, достала для детей еду. И еду, и одежду, и обувь, и игрушки, и цветные карандаши, и стройматериалы для ремонта. И это стало с тех пор основной её работой — опека детских домов и приютов, детей-инвалидов, инвалидов с детства и беспомощных одиноких стариков. А в её распоряжении только телефон и уверенность, что сумеет проломить корку равнодушия, найдёт понимание, что на её просьбу откликнется.

В 2013 году в Боровске открылся Православный центр милосердия и культуры для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных семей, созданный Людмилой Киселёвой. Здесь дети занимаются различными ремёслами и рукоделиями, обучаются пению, музыке, театральному искусству, ездят в путешествия и на экскурсии, получают духовное воспитание.

«Всегда прежде горевала, что детей в детских домах только кормлю, одеваю, обувая, не прикасаясь к их душам, а теперь делаю попытку открывать им мир красоты, учить создавать эту красоту своими руками, общаться друг с другом в доброжелательности и радоваться, когда отдаёшь что-то другому, как этому училась я».

Не странно ли, что человек, живущий в постоянной физической боли, несущий тяжкие страдания, самоотверженно и жертвенно занимается бедами и нуждами других?

«И я поняла, что если очень устанешь, то не сильного надо искать, чтобы прислониться, а слабого — отчаяние другого, ищущего в тебе поддержку, мобилизует твои силы».

* * *

Такой парадокс — ей, беспомощной и зависимой от других в своей каждодневной жизни, необходимо всё время спешить на помощь кому-то, быть кому-то опорой. Это давало ей силы и смысл жизни.

«Я не знаю другой земной радости, как просыпаться утром с чувством, что ты нужен, что у тебя есть дело, которому ты служишь, полезное для других, — работа. Это не то, что называется заработком, это то, что называется смыслом земного бытия: отдавать себя другим людям».

Люсины рисунки вырезали из газет и журналов, бережно хранили, собирали статьи, каждое словечко, сказанное в печати о Люсе Киселёвой. Зачем? Думаю, затем, чтобы опереться душой в трудный час, в минуту

слабости. Когда кажется, что жизнь несправедлива и света впереди не видно, болезни одолели, безденежье достало — ну, совсем плохо, то надо вспомнить о Люсе: а ей-то каково каждый день, каждую минуту? Сравниваю горы дел, с которыми при своём-то состоянии справлялась Люся, — и перестаю себя жалеть, поднимаюсь и иду жить дальше, понимая, что на самом-то деле у меня много чего есть для жизни, только я про это забываю и хочу большего. Так берегла меня и многих Люся от смертного греха уныния.

* * *

Статьи в районную боровскую и в областные газеты Людмила писала часто. Ей не приходилось искать темы для выступлений.

Её дом стал центром притяжения творческой интеллигенции города, здесь обсуждались самые волнующие проблемы. Людмила была не только в курсе всех значительных событий Боровска, но и активной их участницей.

Именно с её статьи «Я рисую Боровск», опубликованной в 1983 году в главной газете страны — «Правде» — в государстве начало меняться отношение к храмам, отданным под производственные и учрежденческие нужды, разрушавшимся без призрения и заботы. А в Боровске благодаря этой статье был спасён уникальный храм Бориса и Глеба XVII века, предназначенный градоустроителями под снос, и выделены средства на его реконструкцию.

«Каждый раз, когда я проезжала на машине мимо него, моё сердце сжималось при виде разрушенного купола, «скелетов» главков, с которых облетела кровля. Эта обезглавленность пугала, как если бы я увидела обезглавленного человека. Мне казалось, что эта кирпичная постройка чувствует боль».

Слово стало для неё, как и рисунок, способом общения и взаимодействия с большим миром, что за её окном. И чем слабее становилась Люси́на рука, чем труднее было ей держать кисть или перо, чем меньше могла она рисовать, тем большую значимость приобретало слово.

Позже газетные и журнальные статьи, написанные за 50 лет, вошли в книгу Людмилы Киселёвой «Если сердце причастно».

* * *

Друзья уговаривали её написать книгу о своей жизни, о замечательных людях, прошедших через её жизнь. Но на книги Люся долго не отваживалась. Хотя первые опыты были удачными. Её эссе «Дай сердца твоего коснуться сердцем, или Путь за пределы самой себя» было напечатано в нескольких журналах, литературным театром в Калуге по нему был поставлен спектакль, который оставался в репертуаре более четверти века.

И только в последнее десятилетие своей жизни Людмила решила написать книгу. Сначала одну — о себе, о прожитом, о своём восхождении к вере, к пониманию Бога. Книга-исповедь «Когда долго живёшь» вышла в 2012 году.

«В земной жизни нет счастливого конца, но есть возможность жить, чувствуя своё высокое предназначение. Восстановить храм гораздо легче, чем изменить своё сознание, обретая достоинство быть человеком по Божьему подобию. И мне хочется верить, что каждый русский вспомнит, что он русский, и не смирится с невидимым врагом, разрушающим его душу изнутри, и поднимется на него, как всегда в годы тяжких испытаний для Отечества. Ведь Отечество — это не только наша общая земля, страна, государство. Это наша общая душа».

* * *

А ещё Люся писала письма — друзьям, знакомым, тем, кто, увидев её рисунки, решил поделиться с ней мыслями о жизни, тем, кто, однажды написав ей, нашёл сердце, бьющееся в резонанс с его сердцем, и родилась новая дружба между людьми, никогда не видевшими друг друга. Каждому отвечала она подробно, обстоятельно отвечая на его вопросы, делясь мыслями, рассказывая о событиях своей жизни весело, иронизируя над своими болячками и «невозможностями».

Книги Людмилы Киселёвой «Живите в радости», «Испытаниями растём», «Встань и иди!», вышедшие одна за другой, составлены из писем, адресованных друзьям, людям, ищущим её помощи и душевной поддержки, тем, кто соучаствовал с ней в делах милосердия.

«Мне с людьми не бывает скучно никогда. Мне интересны их характеры, их быт, увлечения, радости, огорчения. Мне хочется «войти» в них, ощутить, прожить жизнь каждого из них, чтобы не одной своей, короткой, а многими и разными...»

* * *

Название книги «Что я буду делать, когда умрёт мама?» пришло из отчаянного письма девушки-инвалида. Людмила сама пережила страшное время, когда один за другим умерли родители. Государству нет дела до осиротевшего инвалида, за которым ухаживать некому. На нищенскую пенсию, которой едва хватает на хлеб, молоко и квартплату, сиделку нанять невозможно. А людям с тяжёлой инвалидностью в социальном учреждении не выжить. Более 10 лет длилась переписка Людмилы Киселёвой с президентом и разными министерствами. Люся убеждала, что нужно создать специальный фонд для подготовки и оплаты сиделок на дому для тяжёлых инвалидов. Её письма блуждали из министерства в министерство, из Москвы в Калугу, из Калуги в Боровск и возвращались с вечной фразой — «В бюджете не предусмотрено».

Людмила сама создала фонд «SOS — Спаси одинокое сердце», в который собирала деньги для оплаты сиделкам тяжёлых инвалидов. Но она не могла спасти жизни инвалидов по всей стране, поэтому отчаянно боролась средствами, которые были ей доступны, — писала письма президенту.

В книге рассказывается о реальных судьбах и страданиях инвалидов, оставшихся без попечения близких. И контрастом к этому — переписка Людмилы с министерствами, которые уверяют, как много делается в стране для инвалидов.

Эта её книга стала последней.

* * *

Человек, которого судьба и природа обделили самыми обычными для любого возможностями: самостоятельно передвигаться, справляться со своими потребностями, иметь сильные ноги, ловкие руки — может относиться к миру других людей с обидой, завистью, даже ненавистью. Есть и такие. Люся Киселёва при всех своих «невозможностях» вошла в этот мир с любовью, желанием соучаствовать с ним, трудиться для него и делать его лучше, с сердцем, распахнутым настежь.

«Я выбираю ЛЮБОВЬ. И любовь наградила меня, дав мне десять ушей, двадцать глаз, сто сердец, и потому так многолико раскрылся мир и все чувства — в меня».

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

О ДАЛЁКОМ И БЛИЗКОМ

Пётр Топорков

ИЗ ЦИКЛА ЭССЕ «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ»

ЕСЕНИНСКАЯ ТОСКА

Когда я был студентом, ездил в Рязань на Есенинский фестиваль. В общем, это неважно, и совершенно не интересно — но вопрос в другом. Дело в том, что каждый раз поездка была связана с неким фундаментальным, всепоглощающим чувством разочарования, тоски и горечи. При том что внешне ничего никому не было обещано: приехали ребята, пообщались, попили пива, посидели, попели песни, в лучшем случае переспали с кем-то, и разъехались. Но почему-то именно есенинский текст (ну был бы это типа Пушкинский, Некрасовский или даже Гумилёвский праздник, ничего бы подобного я не испытывал) придавал всему происходящему особое чувство, которое я долго не мог описать. И вдруг я понял: когда смотрел на талантливого Безрукова, три часа на юбилейном вечере в 20-м году читающего из есенинского наследия. В Есенине есть чувство чего-то крайне — как бы это сказать — слишком близкого, почти неприличного: и дело не в «...луну обоссать», не в хулиганстве и пьянках; если бы это было так, это было бы даже лучше. Я не обобщаю и не хочу связывать это с классическим стереотипом о «душе нараспашку»: этот стереотип мало общего имеет с реальными русскими людьми, независимо от возраста, достатка и степени близости общения. Есенин как бы приближается к тебе и предлагает нечто слишком близкое: то, чего не видится на расстоянии, — причём предлагает это близкое навязчиво и неотвратимо. Есенинская природа не рождает хлеба, не солит огурцов, не строит домов — она свидетельствует о чём-то окончательном. Как сказал мне мой учитель во времена моих занятий живописью, прекрасный художник Владислав Собинков: на картинах Левитана нет людей, но они там *всё равно есть*. Там есть след человека. Более того: там есть след человека с аневризмой аорты.

Традиционная, старинная живопись западных образцов, с которой обрзовывалась русская Академия, связана с представлением о функциональной природе. До романтиков и бидермайера на пейзаже не бывало воздыхателя, который своим обликом дублировал бы настроение пейзажа, вроде поэтического героя полотен Каспара Давида Фридриха в тумане немецких гор, или же филистера на бидермайеровских «сценках». На пейзажах люди занимались делом, будь то катание у Брейгеля или падающий Икар на фоне деловитого пахаря, вдохновивший Уинстена Одена. Любопытна история любви Сальвадора Дали к «Анжелюсу» Милле: крестьянин и крестьянка, склонённые над вечерним полем. Казалось бы, перед нами тот самый

современный, так сказать, символический пейзаж: и персонажи-медиумы, передающие дежурно-возвышенное настроение, эмоциональное содержание и т.д., и т.п. Дали же пронизательно предполагал, что молитва крестьян — это не о вечере и не о пейзаже как таковом: у этой молитвы есть, так сказать, *тема*. И действительно, просветив ультразвуком, уже в XX веке учёные обнаружили, что на первоначальном варианте картины супруги молятся над трупом их мёртвого — и захороненного под живописным слоем — ребёнка.

Так вот, есенинская природа окончательна. В мире этой природы больше нельзя жить: в неё можно приходить, плакать и петь, но жить, шевелиться, бытовать — нет. Не случайно Константиново окружается коттеджами, как и Ясная Поляна: символическое, космическое место по какой-то странной логике возвращается в мир, в круг вещей, вещей простых и понятных, а значит, переводимых в рубли.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ НА КОРАБЛЕ

Иван Александрович Гончаров ступает на борт фрегата. Последующее время он проведёт, в принципе, в каюте — баюкаемый волной, подобно Ионе в чреве дубового кита.

...бывают картинки такие: сердце радуется от самого нарисованного, от самой картинке, ну или фотографии. А есть картинке, что радуешься не ей самой, а, так сказать, точке зрения. Таков, например, корабль. Корабль на фоне моря.

Изображение корабля. Сам по себе корабль — ничего особенного, штукавина, в которой существенна только плоскость, сухость и скрип палубных половиц, пленявший Овидия. Но когда я вижу где-нибудь картинку — где корабль или самолёт, посреди огромного моря, посреди пространства, воздуха, маленький, уменьшающийся с перспективой, я вдруг замираю и отчётливо вижу — оказываюсь на месте этого смотрящего, оказываюсь вовне штукавины, вовне этого центра дурацких разочарований: ведь это только кажется, что есть романтика такого-то путешествия, что бригантина подымает паруса, на самом деле ничего нет, мы взрослые, опытные люди знаем, это бессмысленные моря и тягучее время, это тина и соль — так вот, вовне ты начинаешь чувствовать, что — как хорошо, что есть это: ты, понявший правду и пересевший в буржуазный автомобиль, — ты, иногда подверженный смутной, обманчивой мечте корабля, в которой ничего нет, в которой есть только ты сам, только твоё желание, как в трансвестите, которого принимаю за женщину, а позже появляется основная художественная деталь.

Корабль на лоне вод: не спускайся в каюты, не исследуй кают, не останавливайся на том, что должно идти и ускользать. Вероятно, такая прогрессия — дурная прогрессия — это то, что очень нравилось изображать Стэнли Кубрику: что космос в «Космической одиссее», что отель в «Сиянии» — это примеры дурной, неподвижной бесконечности.

Иди же, иди в каюты: там спит Иван Александрович.

Иван Александрович ступает на борт фрегата «Паллада». Удивительным образом масса классических, в смысле до-романтических, текстов построена как описание встречи путешественника — удивляющегося — с экзотической реальностью: причём эта встреча носит характер скольжения вдоль, сопровождаемая неучастием или минимальным участием. Такого рода туризм в XX–XXI веках станет нормой и будет монетизирован, более того: он изменит и саму суть научных экспедиций. Африканист Кирилл Бабаев описывал, как часто происходят лингвистические экспедиции в африканскую глубинку: затерянная деревня, давно в обиходе перешедшая на английский или французский, бережно хранит набор фраз на своём вымершем языке, чтоб затем выдать заученный текст чужакам с магнитофонами, которые в упоительном восторге мечтают о научных открытиях. Неучастие путешественника в путешествии может уберечь от подобных конфузов. Путешествия Жюль Верна в этом смысле гораздо ближе Свифту, чем Стивенсону: фигура героя — наивного и верного — близка фигуре умолчания, очарованного странника. Таким же образом литература старых времён строилась как очарованность. Ко времени «Фрегата» такой подход был уже несколько не в моде: не пройдёт и десятилетия после очаровательной посланнической спячки русского флота в водах близ Едо — Токио времён японской самоизоляции, как командор Перри в громе и молниях американской демократии пушек принудит Японию к дружбе и взаимовыгодной торговле. Из Едо новостей не поступало — сообщит русской миссии *человек* из Едо.

Иван Александрович идёт в каюту.

ДЯДЯ ВАНЯ И РУССКИЙ СТИЛЬ

В западных текстах разного рода — и литературных, и кинематографических — давно уже выработалась интересная традиция.

Герои собираются, и в навязчивом, повторяющемся быте — быте, который не устраивает участников, быте, который как бы навязан самим участникам — люди начинают вести совершенно фантастический разговор: причём фундаментальность, проблематическая монструозность этого разговора (смысл бытия, тщетность усилий человеческих, обвинения прошлому и его деятелям) так контрастирует с самой статикой, болотностью обстановки, что вспоминаются моменты особого общения — общения с пьянчугами на улице. Однажды ко мне подошёл такой человек — он попросил денег, и, когда я сослался на то, что карточки заменили наличку, — он вдруг, с досадой и лёгкой обидой, переходящей в пафос и в голос, стал говорить: «Что они думают, пропала Россия? Ведь будет Россия, будет великая! Никому не отдадим! Никому!!!».

Эта контрастирующая, состоящая из двух взаимоисключающих — и взаимно притягательных элементов: недеяние и говорение — получила название «русского стиля». Так обозначил суть пьесы «Дома, где разбиваются сердца»

Бернард Шоу — фантазия в русском стиле; так произошло с «Дядей Ваней на 42-й улице» Луи Маля; так происходит с новым фильмом одного из главных в «румынской новой волне», т.е. движении, которое едва ли и в минимальной степени может быть связано с советским кинонаследием — «Мальмкрог» Кристи Пуу, а также с его идейным и структурным, так сказать, предшественником: «Мышь под столом». Оба они сняты под влиянием — или, как в случае с «Мальмкрогом», — как буквальная экранизация текстов Владимира Соловьёва в любопытном жанре «разговора». В принципе, сама идея разговора как жанра изящной словесности кажется фундаментально чужеродной, вроде бы французской. Один из средневековых скандинавских королей в завещании потомкам сетовал, что бывлые кряжистые северные богатыри вырождаются, и уже выродились — почему? — потому что, как с горечью замечал король, стали поливать мясо соусом и проводить обеды в беседах а-ля франсэз. Французские дипломаты, оказавшись в Османской империи периода полураспада, отмечали в качестве странности дипломатических обедов ту самую тишину, типа знакомую советским пионерам по лозунгу «Когда я ем, я глух и нем». Турки ели молча, и это настораживало французов. В этом было что-то от заговора.

Но если отвлечься от национальной подоплёки — ну ладно, русские усвоили французскую манеру беседы, а может, и не усвоили, а может, это наше кровное, от Алексея Михайловича Тишайшего, неважно: что так пленяет в этой беседе? Почему говорить важнее, чем есть? Почему говорить важнее, чем делать? Почему мы будем трудиться — лишь для того, чтобы «мы отдохнём...»? Почему «Дядя Ваня» уступчиво, умирительно заканчивается не: пьянкой, обжорством, оргиями, не элементарным ружьём — но: болтовнёй?..

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН НА ЧЕРДАКЕ

Моё детство прошло на чердаке. Сначала на дачном, с узким коридором и лодкой, недостроенной и оставленной: в своём остоле из аккуратных планок, в своём замысле. Потом на чердаке нашего деревенского дома: он был тоже узким, сводчатым, как причёска старухи-лапландки из мультфильма о Снежной королеве. Чердак наполнялся старыми, весьма старыми — по журнальным меркам — номерами советского «Огонька»: я знаю и очень люблю Советский Союз по фотографиям из этих журналов. Я люблю, и моя душа живёт там — по крайней мере летом. Я вспомнил всё это потому, что недавно, прокручивая документальный фильм Вана Сяошуая «Китайский портрет» — странное полунатюрмортное зрелище китайского индустриально-людского потока, схваченного в конкретный и неповторимый момент — я вспомнил это своё чувство: известное в ряде языков чувство, называемое по-русски «ностальгия по тому, чего никогда не было», точнее, по тому, свидетелем чего я не был и что является ко мне в своей сиюминутной реальности как тонированная аналоговая фотография или киноплёнка. Герои фильма стоят и смотрят на тебя очень по-советски: в них есть сияние социального следа,

профессии, места в организованном человеческом мире. В таких случаях порой апеллируют к работам Августа Зандера — фотографа, который снимал портреты людей *в сумме* с профессией. Герои «Китайского портрета» не *отягощены* профессией, социальным окружением, региональным колоритом — они дают *этому* проходить сквозь них, пронизывать. И в таком смысле Распутин — очень китайский писатель.

В одной из сцен фильма тяжёлые самосвалы в яркий солнечный день накатывают горы грунта — накатывают в сторону камеры, идут на зрителя, на — тебя! На тебя идёт почвенничество. И в этом движении цивилизации — на тебя, в этой публицистической заострённости времени было — если мы говорим об опыте нашей страны — и есть (если о Китае) много, как пелось в песне, удивлённой любви, вспыхнувшей неуголённо.

Это чувство, пронзающее прозу Валентина Распутина. Он весь — сельская учительница. Село существует до учительницы и без учительницы; оно бессмертно, оно есть русское торжествующее средневековье — но учительница на фоне средневековья выглядит *красиво*, красиво в смысле Достоевского. Она краснеет и ходит на собрания. Она отдаст тебе деньги. Что ж ты? Бери же, ну.

Юрий Холопов

КАЛУЖСКИЕ ЧЕРТЫ В РАССКАЗЕ ПИСАТЕЛЯ БОРИСА ЗАЙЦЕВА «АТЛАНТИДА»

К 140-летию со дня рождения писателя



Творческое наследие Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) весьма обширно и разнообразно. Оно включает произведения самых разных жанров: романы, повести, рассказы, пьесы, художественные биографии, очерки, статьи, переводы, дневники, эссе, письма. Среди них знаменитая повесть «Голубая звезда», роман «Золотой узор», тетралогия «Путешествие Глеба», художественные биографии «Преподобный Сергей Радонежский», «Жизнь Тургенева», «Чехов. Биография» и другие.

Многие произведения писателя, покинувшего Россию в 1922 году, переводились на иностранные языки, издавались в разных странах мира, стали предметом изучения филологов во Франции, США, Италии, Японии и, конечно, на родине.

Калужанам творчество Бориса Константиновича Зайцева наиболее дорого: писатель немало лет прожил на Калужской земле и в самой Калуге. Он не только навсегда сохранил наш край в своей памяти, как об этом свидетельствуют его письма, но также с большой душевной теплотой и точностью внёс в свои произведения калужские черты и образы. Часто он делал это без всякого творческого домысла — подлинные названия калужских улиц, имена и фамилии калужан того времени (конца XIX в.), названия сёл, деревень, помещичьих усадеб — все эти калужские черты живут в его произведениях. Это особый предмет научной работы для филологов, историков и краеведов. Но мы сосредоточим своё внимание на одной калужской «детали».

В Калуге, на улице Воскресенской, как раз напротив церкви вмч. Георгия за лавками, находится старый каменный дом № 26, который примечателен тем, что в нём в конце XIX века проживал Борис Константинович Зайцев. То неповторимое время, самую уютную калужскую улицу и старинный храм писатель отобразил в своём прекрасном рассказе «Атлантида».

Отметим, что в нашем городе мало внимания уделяется сохранению памяти о знаменитом писателе-земляке. Для сравнения укажу, что в Орле, где писатель родился и прожил всего год, в Музее писателей-орловцев, вам обязательно покажут его портрет, находящийся по соседству с портретом писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) и расскажут о дружеских и творческих отношениях этих замечательных русских писателей.

Но как же семья Зайцевых оказалась в Калуге... Отец будущего писателя, талантливый горный инженер Константин Николаевич Зайцев, происходивший из дворян Симбирской губернии, был хорошим специалистом, поэтому от владельцев чугунолитейных и металлургических предприятий получал немало предложений. На территории Калужской губернии семья Зайцевых сначала жила в селе Усты Жиздринского уезда (ныне — Думиничский район), а затем переехала в село Людиново, где с 1890 года отец будущего писателя служил директором чугунолитейного завода. В августе 1892 года мать Бориса Зайцева привезла его вместе со старшей сестрой Татьяной (в замужестве Буйневич) в Калугу, где они сначала поселились на Спасо-Жировской улице (ныне ул. Салтыкова-Щедрина). Мальчик поступил в Николаевскую мужскую классическую гимназию, но не окончил её, перейдя, по настоянию отца, в четвёртый класс Калужского реального училища. Отец хотел, чтобы сын пошёл по его стопам и тоже стал инженером.

Вскоре Борис Зайцев перебрался в дом своего дяди — Михаила Николаевича Зайцева, который был одним из первых врачей калужской Общины сестёр милосердия Красного креста. Этот дом с мемориальной доской писателю и ныне находится по адресу ул. Луначарского, 31. Будущему писателю было комфортно в большом доме дяди-медика, но он, после того как покинул гимназию и стал калужским «реалистом», захотел пожить в отдалении от родственников. Так Борис Зайцев оказался на улице Воскресенской, где стал снимать в доме (ныне № 26) у вдовы полковника Крича Александры Карловны меблированную комнату с пансионом (т.е. столовался у хозяйки

и проч.). В своём рассказе «Атлантида» Борис Зайцев напишет об этом следующее:

«Утро, зима, полузамёрзшие стёкла, вид на Георгия, что за лавками, на деревья в церковном дворе, переулочек, вдаль уходящий далеко, утонувшего города с мило-бессмысленным именем Ка-лу-га...».

Обучаясь в Калужском реальном училище, которое находилось рядом в Воскресенском переулке (сегодня это учебный корпус КГУ им. К. Э. Циолковского), будущий писатель также занимался живописью. Как известно, он в юности даже мечтал стать художником. С тех времён сохранился акварельный рисунок Бориса Зайцева, представляющий из себя зимний вид из окна второго этажа дома № 26 по улице Воскресенской на церковь вмч. Георгия за лавками и на деревянный дом (через улицу), расположенный за алтарём, на территории храма. С правой стороны на рисунке значительную часть занимает угол церкви вмч. Георгия Победоносца за лавками, а именно — часть трапезной, построенной в самом начале XIX века стараниями прихожан церкви и калужского купца Никифора Галактионовича Билибина.

Видны три больших окна храма с наличниками, выходящие на северную сторону (на Георгиевский переулочек, ныне улица Декабристов), над окнами храма — в неглубоких нишах диски, выше виден зубчатый кирпичный фриз (декоративный элемент в виде полосы или ленты), проходящий под козырьком железной крыши. Часть трапезной, изображённой на рисунке, вертикально разделяет железная водосточная труба. Из-за храма также видна часть каменной часовни, в которой в пасхальные дни отпевали покойных. Рисунок с точки зрения композиции построен грамотно, видимо, у реалиста Зайцева был в Калуге неплохой учитель рисования.



Акварельный рисунок Б. К. Зайцева. 1898 г.

Так же отчётливо нарисован деревянный дом священника (он был по причине ветхости снесён в самом начале XX века), небольшие хозяйственные постройки (тоже деревянные), перед ними каменная ограда храма с деревянными балясинами. О деревянном доме священника, часовне и ограде постоянно упоминается в «Калужских клировых ведомостях», а конкретнее — в «Ведомости города Калуги о Георгиевской, что за лавками церкви...». Вдоль переулочка, перпендикулярно отходящего от ул. Воскресенской в сторону ул. Никольской (ныне ул. Луначарского), видны небольшие столбики, обозначающие территорию храмовой земли, которая располагалась

восточнее храма и занимала площадь, согласно архивным данным, 1895 кв. сажен (около 800 кв. метров). Но вернёмся к деревянному дому за оградой.

Некоторые калужские краеведы уверяют, что именно в этом деревянном домике жил учитель математики Калужского реального училища Александр Георгиевич Арефьев (реальное лицо), любимый педагог главного героя рассказа «Атлантида». Но так ли это на самом деле? Согласно архивным данным, за церковной оградой находились в то время два деревянных дома — дом священника церкви и деревянный дом пономаря, неоднократно упоминаемые в тех же «Клировых ведомостях». Однако дом пономаря, как сказано в документе, располагался на огородах — дальше от церкви. Его не видно на рисунке реалиста Бориса Зайцева. Был ещё один дом — у дьякона, но тот был каменным. Поэтому логично считать, что нарисованный Зайцевым дом — это дом священника, а не дом учителя Арефьева. Кроме того, если внимательно прочитать «Атлантиду», то можно также узнать, что дом, в котором проживал любимый учитель будущего писателя Александр Георгиевич Арефьев, был не деревянным, а каменным и стоял он в Георгиевском переулке (сегодня — ул. Декабристов). Прочитав отрывок из рассказа «Атлантида», в котором Борис Зайцев описывает прогулку своего героя по Георгиевскому переулку:

«...Выходя после обеда, перед сумерками, на прогулку, Женя проходил мимо его новоотстроенного красного кирпича домика. Дверь отворялась прямо с улицы, обитая клеёнкой. Вечером, с извозчика, можно было видеть Александра Георгиевича, закутанного в шарф и плед, что-то читавшего при лампе...» (Зайцев Б. К. Атлантида / сост. Н. И. Лаврентьева, вст. ст. А. П. Черникова. Калуга: Институт усовершенствования учителей, 1996. С. 41).

Как известно, будущий писатель окончил механико-техническое отделение Калужского реального училища с отличным аттестатом в 1898 году. Значит, акварельный рисунок храма вмч. Георгия за лавками с церковной оградой и деревянным домом священника, он выполнил зимой 1897 или 1898 года. В это время причт храма Георгия за лавками возглавлял старенький священник Александр Маркович Марков, прослуживший в церкви с 1871 до 1900 года, ему-то и принадлежал этот деревянный дом. В «Клировых ведомостях» начала XX века этот дом уже не указывается, видимо, был снесён за ветхостью, а семья бывшего священника Маркова проживает «в каменном доме на городской земле».

Рисунок Бориса Зайцева долгое время хранился у его внучатого племянника, доцента кафедры педагогики и психологии Калужского института усовершенствования учителей, организатора пяти Международных научно-практических конференций, посвящённых жизни и творчеству писателя Б. К. Зайцева, — Евгения Николаевича Зайцева (1929–2005). К нему же рисунок попал в 1996 году, когда на первую международную конференцию, посвящённую жизни и творчеству Б. К. Зайцева, в Калугу приезжала дочь писателя Наталья Борисовна Соллогуб, она и подарила этот рисунок Евгению Николаевичу.



Церковь великомученика Георгия за лавками. Фото начала XX в.

Судьба храма Георгия за лавками была типична для своего времени. Как известно, в 1929 году Калужская губерния была ликвидирована, а сама Калуга вошла в состав Московской области и оставалась там до 1937 года. Затем в результате нового административного деления, Калуга стала районным центром Тульской области. В сентябре 1929 года был образован Исполнительный комитет Калужского окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а через год он уже был ликвидирован. Москва начинает посылать в Калугу своих более радикальных и решительных выдвиженцев. Вот к этому-то времени и относятся наиболее «радикальные меры» борьбы с калужскими церквями. Именно тогда были разобраны колокольни многих калужских храмов. У церкви Георгия за лавками было снесено несколько ярусов колокольни над трапезной, сняты главы четверика храма, разобрана полностью на кирпич часовня, находившаяся на территории церковной земли в нескольких метрах напротив алтаря. От церковной каменной ограды тоже ничего не осталось. Ограда и часовня сохранилось только на рисунке Бориса Зайцева.

Не лишним также будет предположить, что будущий писатель заходил в храм Георгия за лавками и бывал там на службах. То, что его хозяйка Александра Карловна Крич, у которой он проживал и столовался, была прихожанкой Георгия за лавками, тоже явствует из текста «Атлантиды»:

«...А Женя (главный герой «Атлантиды». — Ю. Х.)... апрельским светлым днём уезжал на велосипеде за Оку по перемышльскому шоссе... а возвращался, когда Александра Карловна в чёрном цепце с лентами, в мантилье, с палочкой в руке переходила улицу в церковь Георгия за лавками...

Александра Карловна вернулась ото всенощной. И в некотором волнении вошла в его комнату.

— Ну вот, ты умный человек, Женя, и реальное кончаешь, всё-таки объясни мне, я не понимаю, как же я Жана своего (речь идёт о покойном муже Александры Карловны. — Ю. Х.) узнаю на том свете?..»

Составитель книги «Атлантида» Н. И. Лаврентьева даёт в конце издания следующий комментарий:

«...как же я Жана своего узнаю на том свете? — вопрос, мучающий квартирную хозяйку Жени, всю жизнь волновал и Б. К. Зайцева. В письме к архиепископу Сан-Францисскому Иоанну (Д. Шаховскому) от 1 сентября 1965 г. Б. Зайцев писал:

«Сейчас чувствую, что иду к ней (к умершей жене. — Н. Л.). Как это произойдёт, не знаю и не понимаю, так же как некогда, в Калуге шестнадцатилетним реалистом, не мог объяснить старушке — вдове Крич, у которой жил, на вопрос о покойном муже... Жизнь прошла с тех пор, а тайна такая же, но чувствую теперь больше, может быть, потому, что тогда я не был прикреплен нитью нерасторжимой ни к кому (просто был «Зайчик», первый ученик в классе, сидел на последней парте, откуда удобно было подсказывать)...» (Зайцев Б. К. Атлантида / сост. Н. И. Лаврентьева, вст. ст. А. П. Черникова. Калуга: Институт усовершенствования учителей, 1996. С. 580–581).

Калужский период в жизни Бориса Зайцева закончился в 1898 году, когда его семья переехала в первопрестольную. Там, в Москве, студент Московского технического училища (ныне Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана) начинает писать свои первые рассказы. Проучился Борис Зайцев в Московском техническом училище недолго: из-за участия в студенческих волнениях был исключён. Так Россия потеряла в его лице инженера, зато приобрела выдающегося писателя.

Но вернёмся снова к Калуге и к вопросу о сохранении памяти... Дом № 31 по улице Луначарского (бывшей Никольской), стены которого помнят юного реалиста Бориса Зайцева, сохранился до наших дней. Этот дом, построенный неким Шольцем фон Ашерслебеном и проданный врачу Михаилу Николаевичу Зайцеву в 1893 году, имел с улицы красивый парадный вход с крыльцом и хозяйственный «чёрный» вход со двора. В нём было восемь комнат и врачебный кабинет, в котором дядя будущего писателя вёл приём заболевших калужан. В цокольном этаже здания находилась аптека, где большие покупали себе лекарства. За домом находился яблоневый сад.

Само здание за годы советской власти сильно изменилось. После революции в просторный дом врача Зайцева въехало сразу несколько семей, внутри возникло множество квартир. И поныне это старое здание — жилой фонд, что сильно затрудняет возможность сделать его музеем. А сделать этот дом музеем нашего знаменитого земляка, который никогда не забывал город своей юности, было бы логично.

Но всё же начало было положено. В конце 1990-х группа краеведов-энтузиастов оборудовала цокольную часть дома под музей, в котором были представлены ксерокопии документов, связанных с жизнью Бориса Зайцева и его семьи, письма, фотографии, книги, материалы международных научно-практических конференций, посвящённых жизни и творчеству писателя, предметы быта конца XIX века и другие экспонаты.

Первоначально экскурсии в этом импровизированном музее по мере поступления заявок проводились внучатой племянницей Б. К. Зайцева — Любовью Евгеньевной Киселёвой (урождённой Зайцевой). Но не так давно хозяйка одной из квартир врезала во входную дверь цокольного этажа новый замок, и экскурсии прекратились.

И сегодня лишь мемориальная доска на фасаде дома напоминает о том, что в нём жил выдающийся русский писатель Серебряного века Борис Константинович Зайцев.

Удивительно и печально, что память о единственном крупном русском писателе, который долгое время жил в Калуге и запечатлел её черты в своём художественном мире, не имеет в нашем городе достойного музейного воплощения.

Владимир Ряполов
(Воронеж)

НЕ ЗАБЫТЬ «ЗАБЫТОГО»: к 175-летию Григория Ивановича Недетовского

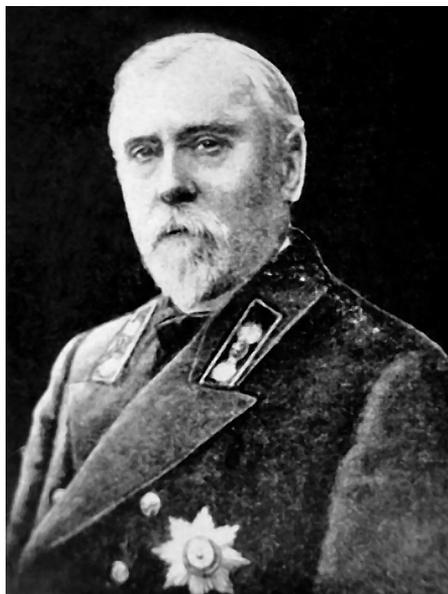
В январе 2021 года исполнилось 175 лет со дня рождения Григория Ивановича Недетовского, вошедшего в русскую литературу под именем «Отец Забытый». Избрание такого псевдонима было данью моде тех лет. Вспомним хотя бы такие имена, как Горький, Скиталец, Сологуб, Северянин, Чёрный, Белый... Но, похоже, избрав себе литературное имя «Отец Забытый», Григорий Иванович предрёк свою литературную судьбу и судьбу своих произведений. О нём в самом деле редко вспоминают.

В 1982 году в Воронеже вышла небольшая книга рассказов и очерков Недетовского, в примечаниях к которой было указано, что составители воспользовались ещё дореволюционными публикациями автора, изданными в таких журналах, как «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Русская мысль». Это говорило о том, что в советские времена повести и рассказы Григория Ивановича не издавались. Справедливости ради надо заметить, что из-за скромности автора и при жизни не вышло ни одной его книги, а всё, что дошло до нас, это журнальные и газетные публикации.

Издание в Воронеже книги Недетовского было делом вовсе не случайным: волей судьбы он оказался в губернском центре Чернозёмного края и отдал ему большую часть своей жизни. Но обо всём по порядку.

Родился Г. И. Недетовский 31 января 1846 года в селе Бор Тарусского уезда Калужской губернии в семье потомственных священников. Его дед по материнской линии сельский иерей Григорий Михайлович Соколов прославился знанием латинского, греческого, еврейского, французского языков, начитанностью, умом и красноречием. Отец был диаконом бедного сельского прихода. Мама, Людмила Григорьевна, слыла человеком образованным, любила музыку, много читала, сама сочиняла стихи. Конечно, обстановка семейной духовности не могла не отразиться на будущем Григория Ивановича.

Первым этапом его духовного роста стало Калужское духовное училище (1856–1862). Об этом периоде своего детства писатель оставил автобиографический рассказ «В былой бурсе», который полон юмора и одновременно



безысходности. Так, преподаватель училища Павел Стратонович, по прозвищу «Павлуха», заявляет: «Вы думаете, я вас для вреда секу? Нет, ребята, лоза — путь ко всякому добру. Не увидевши горького, не увидишь и сладкого». При этом Павлуха — не какое-то уродливое исключение: другие «молодые педагоги, сослуживцы Павлухи, развитые и гуманные, ласточки новой весны — шестидесятых годов (годы либеральных реформ Александра II. — *В. Р.*) — и те... секли учеников».

По окончании духовного училища в 1862 году Г. И. Недетовский поступил в Калужскую духовную семинарию, где прошёл полный пятилетний курс обучения. Оттуда он вышел не только знатоком богословских дисциплин, но и под влиянием мировоззрения «передовых преподавателей» познакомился с творчеством Гончарова, Тургенева, Островского, Салтыкова, Писемского, что определило его дальнейший путь — педагога и сочинителя.

С 1867 по 1871 год Недетовский учился в Киевской духовной академии, по окончании которой был направлен в Воронеж, где стал не только преподавателем, но и сформировался как писатель. Хотя необходимо заметить, что первые его очерки появились ещё в журнале «Воскресное чтение», когда он был студентом академии.

О воронежском этапе жизни Григория Ивановича оставил заметки в своей книге «История Воронежской духовной семинарии» его современник П. В. Никольский: «Кандидат Григорий Иванович Недетовский по окончании курса в Киевской академии в 1871 году определён в Воронежскую семинарию на греческий язык. В 1871 году, кроме того, назначен учителем истории и словесности в Воронежское епархиальное училище. В 1872 году перемещён на церковную историю. С 1873 года преподавал немецкий язык. С 1876 года, с основанием Воронежского реального училища, состоял частным преподавателем реального училища. В 1879 году, после сдачи экзамена при Харьковском университете на звание учителя гимназии, определён штатным учителем того же предмета. С 1885 года, кроме того, состоит инспектором реального училища. Г. И. Недетовский известен своими трудами учёного и литературного характера. Некоторые из них, написанные во время его семинарской службы, помещены в «Воронежских епархиальных ведомостях». Таковы, например, статьи: «Князь А. М. Курбский и его деятельность в пользу православия» (1873. № 21. 23. — *В. Р.*), «Речь, произнесённая в торжественном собрании Воронежской духовной семинарии 12 декабря 1877 года, в день столетнего юбилея императора Александра I», где назвал последнего «благословенным покровителем церкви» (1878. № 1. — *В. Р.*). Но особенно выдаётся Недетовский как автор интересных романов и повестей из быта духовенства, которые он помещал под псевдонимом отца Забытого в «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Северном вестнике» и «Страннике». Из них следует отметить «Миражи», «Велено приискивать», «Вокзальный собеседник», «Ходит» и др.»

Справедливости ради, надо заметить, что сам Григорий Иванович был далеко не высокого мнения о своих произведениях и не пытался издавать их в книжном варианте, при этом более чем в двадцати газетах и журналах была

опубликована его проза и публицистика. Тургенев, внимательно следивший в 70-е годы за творчеством Недетовского, говорил о нём: «Это — истинный талант». Весьма дорожил сотрудничеством писателя в «Отечественных записках» Салтыков-Щедрин, ценя в нём сатирическое дарование, и повести «Миражи» отвёл первое место в своём журнале. Известно, что появление какого-нибудь автора на страницах «Отечественных записок» уже приковывало к нему общее внимание читателей.

Горький ставил Недетовского в один ряд с видными писателями-народниками. Критика того времени очень благосклонно отнеслась к творчеству Забытого, сравнивая его повести, посвящённые русскому духовенству, с «Соборянами» Лескова, и даже находила в них некоторое преимущество перед последним. Куприн, Эртель также высоко ценили творчество Григория Ивановича. Но собственное мнение писателя о себе, основанное на природной скромности, привело к тому, что в настоящее время для публикации его произведений составителям приходится перекапывать груды старой дореволюционной периодики. Воистину псевдоним «Отец Забытый» оказался для автора фатальным.

Недетовский был автором и духовных сочинений. Так, в «Воронежских епархиальных ведомостях» за 1878 год вышло его «Слово в Великий Пяток» (№ 10. С. 393–400). Кроме этого, Григорий Иванович участвовал, что называется, в общественной жизни города. Так, в «Памятной книжке Воронежской губернии на 1915 год», в числе почётных членов Губернского статистического комитета значится директор 2-й мужской гимназии (ул. Б. Дворянская, 31) действительный статский советник Г. И. Недетовский. В то же время он исполнял обязанности председателя педагогического совета Частной женской гимназии и пансиона В. Л. Степанцевой и от учебного округа был членом Губернского комитета попечительства о народной трезвости.

Интересы Григория Ивановича были разносторонними. Ещё в 1898 году он опубликовал в «Памятной книжке Воронежской губернии. 1899 год» статью «Церковно-приходские попечительства в Воронеже», где сделал глубокий анализ деятельности данных общественных структур. Также Недетовский был членом Воронежского церковного историко-археологического комитета. 31 января 1901 года в качестве инспектора прогимназии участвовал в его открытии, которое проходило в братском читальном зале Митрофанова монастыря. Вступил он и в члены Воронежской губернской учёной архивной комиссии. В первый год её существования в 1903 году он предоставил свой труд, заслуживший особого внимания: «Василий Фёдорович Мокшин. Эпизод из истории сектантства в Воронежской губернии». Основывалась она на уголовном деле и посвящалась мистической секте «хлыстов» в Воронежской губернии.

26 сентября 1910 года Григорий Иванович был избран в состав Воронежского семейно-педагогического совета или, как его называли, Педагогического клуба. В клуб входили педагоги светских, духовных, государственных, частных учебных заведений, классических гимназий, реальных училищ и народных школ. Они занимались изучением края, публиковали материалы

на страницах местных газет и журналов, входили в благотворительные и культурно-просветительные организации. В Педагогическом клубе был и свой хор, которым руководил преподаватель духовной семинарии С. Н. Наумов. Так, 17 декабря 1911 года хор выступал на праздновании 40-летнего педагогического юбилея Г. И. Недетовского. По этому поводу в «Воронежских епархиальных ведомостях» № 52 от 25 декабря 1911 года вышла статья Ф. Поликарпова «Г. И. Недетовский («О. Забытый») (40-летний юбилей)», где, в частности, писалось: «15 сентября 1911 года исполнилось 40-летие педагогической деятельности директора 2-й мужской гимназии в г. Воронеже Г. И. Недетовского. С этим служебным юбилеем почти совпадает и литературный юбилей «О. Забытого» (псевдоним Недетовского). В истёкшем месяце педагогический и учёный мир Воронежа дружно чествовал маститого юбиляра: им получен ряд адресов, писем и телеграмм от разных воронежских учебных заведений, учёных и педагогических обществ и частных лиц. Чествование началось во второй гимназии, продолжалось в реальном училище и учёной архивной комиссии и закончилось в Педагогическом клубе. Не забыли юбиляра и его «верные читатели и товарищи по перу», как сказано было в приветственной телеграмме, присланной Недетовскому группой петербургских писателей: Баранцевичем, Куприным, Измайловым, Градовским, Фидлером, Корецким, Рославлевым, Ланским, Грушко, Зариным и Коринфским. В многочисленных приветствиях были отмечены редкие душевные качества юбиляра — как педагога, администратора, писателя и человека».

45 плодотворных лет прожил Г. И. Недетовский в Воронеже. Но в 1916 году ему пришлось покинуть ставший родным город и переехать в Ставрополь. Здесь он встретил 1917 год, и, являясь человеком демократических взглядов, приветствовал Февральскую, а затем и Октябрьскую революции. Насколько впоследствии сохранились эти его взгляды, неизвестно. Г. И. Недетовский ушёл из жизни 22 января 1922 года забытым, в соответствии со своим псевдонимом, бедным и неустроенным, что характерно было, в общем-то, для всей России того времени.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КАЛУГА

Поэтический облик Калуги	4
Город юности моей	4
<i>Валентин Берестов</i>	
«На два дня расставшийся с Москвою...»	4
Калужские строфы	4
Калуга, 1941	5
Ташкентский адрес	5
<i>Василий Лебедев-Кумач</i>	
Два друга	6
<i>Маргарита Алигер</i>	
«Затоптав орудийную выюгу...»	6
<i>Ярослав Смеляков</i>	
Несколько слов о Циолковском	7
<i>Станислав Куняев</i>	
«Я приеду...»	7
«Как посветлела к осени вода...»	7
«Неестественен этот разбег...»	8
<i>Валентина Невинная</i>	
«Калуга. Первый снег. Чугунные перила...»	8
Из Москвы в Калугу	8
<i>Олег Бушко</i>	
«Откуда картины такие...»	8
Старый дом	9
Палаты Коробовых	9
Каменный мост	9
Храм Космы и Дамиана	9
Глядя на Ромоданово	9
<i>Анатолий Кухтинов</i>	
Каменный мост	9
<i>Александр Авдонин</i>	
Марина Мнишек	9
<i>Михаил Кузькин-Воронецкий</i>	
В Калуге листопад	10

<i>Марина Улыбышева</i>	
Калуга	10
«На улице Воронина...»	10
Под старый Новый год	11
<i>Дмитрий Кузнецов</i>	
О родном городе	11
<i>Валерий Васильев</i>	
Январь	12
«В Калуге звездопад...»	12
<i>Вадим Терёхин</i>	
Матушка моя Родина	13
Провинция	14
<i>Юрий Холопов</i>	
«Часы на Троицком соборе...»	15
Каменный мост	15
Никольская переправа	16
Калуга I	16
<i>Сергей Бирюков</i>	
Гул Калуги	16
<i>Алексей Золотин</i>	
Калуга — космос	17
<i>Владислав Трефилов</i>	
«Этот город (за что, почему, — не пойму)...»	17
«Закрыв глаза, себя я вижу в городе...»	17
<i>Виктор Пухов</i>	
«Есть города далёкие, как звёзды...»	18
<i>Людмила Филатова</i>	
«Люблю я старую Калугу...»	18
Калуге	18
<i>Вячеслав Щетинников</i>	
«Я помню детства тёплые дожди...»	18
<i>Юрий Долгополов</i>	
Городской романс	19
«По лесной глухомани...»	19
<i>Александр Щербань</i>	
Купчиха-Калуга	19
<i>Маргарита Бендришева</i>	
Возвращение домой	20
На окраине	20

Набережная	20
Калуга	21
Осень в Калуге	21
Город на Оке	21
<i>Владимир Обухов</i>	
«На Коровинской, в гору...»	21
<i>Александр Трунин</i>	
«Сквозь февральскую серую вьюгу...»	22
Улица	22
«На Воскресенской яблони цветут...»	22
«Когда придётся туго...»	22
<i>Владимир Обухов</i>	
Гениальный город	23
СТИХИ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ	
<i>Людмила Филатова</i>	
Бабочка под стеклом <i>Отрывки из повести</i>	40
<i>Марина Улыбышева</i>	
Смотри на звёзды <i>Стихи</i>	53
<i>Ольга Клюкина</i>	
Козьма Прутков, или Бди! <i>Водевиль из провинциальной жизни XIX века</i>	58
<i>Дмитрий Кузнецов</i>	
Пушкинский венок <i>Стихи</i>	90
<i>Юрий Убогий</i>	
Железо и облака <i>Повесть</i>	94
<i>Виктор Черняевский</i>	
По ветру и по звёздам <i>Стихи</i>	130
<i>Вячеслав Некрасов</i>	
Из сборника «Семечки синичкам» <i>Короткая проза</i>	133
<i>Инна Теплова</i>	
Человек подчиняет слово <i>Стихи</i>	144
<i>Маргарита Бендрышева</i>	
Дом, в котором пропадают вещи <i>Повесть</i>	149
<i>Эльвира Частикова</i>	
Буду – не забуду <i>Стихи</i>	160
<i>Андрей Ребенок</i>	
Последняя зимовка <i>Рассказ</i>	163

<i>Игорь Красовский</i>	
Дом <i>Стихи</i>	176
<i>Галина Ушакова</i>	
Тайна жизни <i>Рассказ</i>	178
<i>Наталья Никулина</i>	
Вдогонку заходящему Солнцу <i>Проза поэта</i>	188
<i>Александр Киселёв</i>	
Из школьной жизни <i>Рассказы</i>	190
<i>Владимир Кормильцев</i>	
Оберег <i>Рассказ</i>	201
<i>Виктор Лареев</i>	
Продлить любовью день... <i>Стихи</i>	209
<i>Татьяна Бессонова</i>	
Лорель <i>Рассказ</i>	211
<i>Вадим Мальцев</i>	
452 градуса по Цельсию <i>Рассказ</i>	253
<i>Елена Фадеева</i>	
Дачные перипетии <i>Рассказ</i>	256
ПАМЯТЬ СЕРДЦА	
<hr/>	
<i>Андрей Убогий</i>	
Род	261
РЕТРО-ДЕТЕКТИВ	
<hr/>	
<i>Георгий Куликов</i>	
Гиблое дело <i>Повесть</i>	310

ЛИТЕРАТУРА И СУДЬБА

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЕТЛАНЫ ЛЬВОВОЙ

<i>Светлана Львова</i>	
«Где луч в свои вернулся небеса...»	332
<i>Юрий Убогий</i>	
На земле и в небесах	335
<i>Андрей Убогий</i>	
Летающий ковчег (<i>памяти Светланы Львовой</i>)	336

<i>Ирина Устинова</i>	
От пирога с корицей к снам и кометам	339
<i>Юлия Перевезенцева</i>	
«Стихи» и другие стихи Светланы Львовой	340
ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЁВОЙ	
<hr/>	
<i>Людмила Киселёва</i>	
Дай сердца твоего коснуться сердцем, или Путь за пределы самой себя	342
<i>Наталья Торбенкова</i>	
Как обретается дух	350
О ДАЛЁКОМ И БЛИЗКОМ	
<hr/>	
<i>Пётр Топорков</i>	
Из цикла эссе «Литература в школе»	356
<i>Юрий Холопов</i>	
Калужские черты в рассказе писателя Бориса Зайцева «Атлантида»	360
<i>Владимир Ряполов</i>	
Не забыть «Забытого»: к 175-летию Григория Ивановича Недетовского	367

ОБЛАКА

КАЛУЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск 4

В оформлении обложки использованы фрагменты картин *Ю. Полюгаевой*
«Монумент 600-летию Калуги» и «Каменный мост»

Редактор-составитель *А. В. Трунин*
Художественный редактор *М. А. Улыбышева*
Компьютерная вёрстка *С. И. Захаров*
Корректор *Н. Г. Любомудрова*

Издатель Захаров С. И. («СерНа»)
Тел. +7(910)914-95-30, e-mail: sergeizah@gmail.com

Подписано в печать 30.06.21. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 23,5 п. л.
Тираж 500 экз. Зак. 138

Отпечатано в типографии «Наша Полиграфия»
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126
Лиц. ПЛД № 42–29 от 23.12.99
Тел. (4842) 77-00-75